НОВЫЙ МИР

8

1959

НОВЫЙ МИР 1959

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV № 8 Август, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПЕТРО ДОРОШКО — **Пусть хоть простая, да работа,** стихи. Перевел с украинского Борис Иринин 3
Б. ШУМИЛОВ — **Деревенские стихи** 4
НИНА ИВАНТЕР — **Снова август,** повесть 7
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ — **Из новых стихов** 83
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — **Что мне годы...** Стихи 86
МАРО МАРКАРЯН — **Горная дорога. Дождя напрасно ждали в срок... От своих тревог и тайной боли...** Стихи. Перевели с армянского М. Петровых и А. Ахматова 87
ДЖОН УЭЙН — **Спеши вниз,** роман. Перевел с английского Иван Кашкин 89

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. АНФИНОГЕНОВ — **На двух полюсах** 152

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ТАЛАНОВ — **Пути-дороги** 173
МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ — РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР. Читатели о статье Л. Иванова «Когда сеять?» 183

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов 189
В. Стеженский. В ногу с жизнью.— **Л. Черная.** Доктор Бауш злорадствует рано.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ — **Несколько слов о реализме у нас и на Западе** 196
В. ЛАКШИН — **Глазами писателей** 212
А. БЕРЗЕР — **Революцией мобилизованный...** 226

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Стр.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 240

М. Блинкова. Правдоподобие и правда.— **Нат. Соколова.** В стране микронов.— **А. Синявский.** О новом сборнике стихов Анатолия Софронова.— **И. Серман.** Образ человека в литературе древней Руси.— **Ю. Манн.** Пафос упрощения.— **Дм. Урнов.** Северный свет.

Политика и наука 267

А. Хавин. Наступление на промышленную целину.— Кандидат юридических наук **Б. Габричидзе,** кандидат исторических наук **К. Федоров.** Против ревизионистских измышлений.— **Н. Явно.** Ядерное оружие должно быть запрещено! — Кандидат географических наук **И. Забелин.** Великий путь.— **А. Иглицкий.** Рассказы о шахматах.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ 280

Из переписки А. С. Новикова-Прибоя с Н. А. Рубакиным

КОРОТКО О КНИГАХ 283

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 286

ПЕТРО ДОРОШКО

★

ПУСТЬ ХОТЬ ПРОСТАЯ, ДА РАБОТА

Пусть хоть простая, да работа,
Чтоб не был день уныл и тих,
Чтоб в нем и в ней жила забота,
Да и не только о живых,

Но и о тех, кто нам заране
Еще неведом,— сын ли, внук?
Кто человеческое званье
Из наших примет честных рук,

Из наших замыслов, стремлений,
Из наших дел, из дум, из книг,
Кто и в грядущих поколеньях
Пойдет, дерзая, напрямик.

Пред кем все то предстанет въяве,
Что лишь в мечтах манило нас,
И за кого мы снять не вправе
С себя ответственность сейчас.

За чью судьбу платили кровью
В боях тяжелых и о ком
Всегда мы думаем с любовью,
Как о бессмертии своем.

Кому наш опыт, наши силы,
Уменье, взросшее в труде,
Желаний жар неугасимый
Передаем всегда, везде.

Все, что наследуем, как внуки,
Что в силах сами в жизни взять,—
Из рук он примет, чтобы в руки
Своим потомкам передать,

Из рук, которым пусть хоть малый,
Но неустанный труд знаком...

Чтобы по жизненным увалам
Не прогреметь порожняком.

Перевел с украинского **Борис Иринин.**

Б. ШУМИЛОВ

★

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТИХИ

ИЮНЬСКОЕ

Потянуло влажным
Славным ветерком.
Как стотонный молот,
Глухо ухнул гром.

И тотчас же с дальних,
С дальних ста холмов
Разом отозвались
Звонких сто громов.

Ворвался в деревню
Свежий запах ржи,
Бреют берег черный
Черные стрижи.

Распахну я ворот,
Кепку я сниму:
Молодчина дождик!
Знает, что к чему.

От веселых молний
Я почти ослеп,
А грома рокочут:
Здравствуй, новый хлеб!

А сквозь дождь и ветер
Залпы бьют и бьют,
Отдавая хлебу
Радостный салют.

КУЗНЕЦ

Бью я, не переставая,
В толстый брус, дышащий жаром,
И вздыхает, как живая,
Наковальня под ударом.

Предвечерний, деловитый
Ветерок промчится быстро.
Из дверей полуоткрытых
Рвутся вверх шальные искры.

Выйду я на свежий воздух.
Вечереет. Ближе к ночи.
А вверху, в дали морозной,
Сколько звезд — искристых точек!

Всем, знать, небом завладели —
Золотые, голубые...
Высоко же залетели
Вы от кузницы, родные!

***

Снилась мне необычная повесть:
Как комбайны, цепями гремя,
К наступленью большому готовясь,
В поле, в солнце ушли без меня.

И стоял у дороги я грустно.
Я своей не страшился судьбы,
Но на сердце тревожное чувство:
Как мне с честью и совестью быть?

В жизни всякое может случиться.
Не ищу я полегче труда.
Пусть же совесть моя будет чистой
И тревожной — всегда.

***

Ну чего особого
В стороне моей!
Речка да кустарник,
Глина да репей.

После вьюг февральских
Жадно солнца ждешь —
Как зарядит нудный
На полгода дождь.

Вьются средь оврагов
Полосы полей.
Ну чего особого,
В стороне моей!

Только дум бессонных
Про нее не счесть.
Отлучусь на сутки —
Истоскуюсь весь.

ПРО НЕУДАЧНИКОВ

Не к моим хорошим всем товарищам —
Их намного больше, чем плохих,—
И не к честным, умным, понимающим
Обращайся, мой спокойный стих.

Не нравоученья и не жалобы —
О себе пишу я не затем,—
Я в долгу давненько. Не мешало бы
Честно рассчитаться кое с кем.

С теми, кто улыбочкой затасканной
Прикрываясь, думает о нас:
«Неудачник. Мучится напрасно он.
Переполнен без него Парнас».

В этой жизни я живу не дачником
И за хлеб тружусь не первый год.
Не был и не буду неудачником,
Потому что здорово везет.

Вот спешу к комбайну, как обычно, я —
Черт возьми, как хорошо вокруг!
И зовут меня поля пшеничные
Начинать скорее первый круг.

Я пишу стихи не для солидности,
Это не случайность, не каприз.
Мне пришлось на сердце много вынести,
Гордостью рабочей запастись.

Много для меня за этим кроется.
Чем живу — про это и пишу.
Вижу, как светлее жизнь становится,
Есть о чем сказать карандашу.

Погасите же улыбки лестные —
Я ведь знаю, для чего они.
Мне в сто крат, чем вам, таким, известнее,
Кто удачлив вправду в наши дни.

Большое Мурашкино,
Горьковская область.

НИНА ИВАНТЕР

★

СНОВА АВГУСТ

Повесть

1

— Честное слово,— сказала Зойка и посмотрела на брата.

Он сидел, нахохлившись, и маленькой холодной ложечкой разминал мороженое. И снова Зойке стало ужасно жалко его. Просто невозможно, как жалко.

Окна в кафе сделались синими. Август. Девять часов — и уже смеркается. Под самым потолком засветились большие белые шары.

— Вот честное слово,— повторила Зойка,— это несправедливо. Выходит, если человек забыл поставить запятую и какое-то несчастное «чтобы» написал отдельно, он уже не должен учиться в институте?! А если он способный? А если он талантливый?.. Ты знаешь, что про тебя сказал Платон Иванович? Кира сама слышала. Он сказал: пусть меня повесят, если Башкиров не станет блестящим физиком.

— Его повесят,— угрюмо сказал Борис.

Зойка на секунду замолчала.

— Кира вообще считает, что ты самый одаренный из всего вашего выпуска и даже изо всей школы. И это на самом деле так. Вот помнишь математическую олимпиаду? Даже Антон Михайлович и тот сказал, что у тебя очень развито математическое мышление. А ведь Антон тебя не любит. И все-таки сказал...— Она остановилась: что бы еще такое приятное вспомнить?..— Или, например, тот вечер, где ты делал доклад о Маяковском... Знаешь, Борька, мы с Кирой даже удивляемся, как это у тебя все так здорово получается — и математика и литература...

Борис молчал. Зойка вздохнула. Нет, ничего она не может. Она никогда не может, если ему плохо... Вот если бы ей сейчас сказали: «Хочешь, его примут в институт, но зато ты останешься на второй год в десятом классе, хочешь?» Хочу! Зоя искоса взглянула на него. Можешь хотеть сколько угодно — его не приняли. Бедный Борька... Нет, неужели в самом деле ничего нельзя?..

— Боря, а помнишь Филонова — в прошлом году? У него было всего двадцать два очка, и его сначала не приняли, а потом приняли. Он ходил куда-то, не знаю куда, и его приняли... А у тебя ведь двадцать три. Что, если...

Борис резко поднял голову.

— Что такое?

— Ты не слушаешь. Я про Филонова. Он в прошлом году...

— Т-терпеть не м-могу... т-терпеть не могу... Т-ты, что же, хочешь, чтобы я, как Филонов? Это ты хочешь?! Такой же негодяй и проныра?..

— Бобик...— жалобно сказала Зойка.

— Н-не б-буду. Н-ни за что. Н-никогда...— Он на секунду замолчал, и Зоя увидела, как дрожат у него губы.— Хочешь знать, почему меня не приняли? Идиот, тупица, бездарность — вот почему. И, пожалуйста, прошу не предлагать мне подлостей. Пожалуйста.

— Ну, знаешь, Борис...

— И еще: мне не интересно, что думает обо мне твоя прекрасная Кира. И я не хочу слышать больше ни слова об этом обывателе Платоне Ивановиче... И ни о каких мерзавцах, подлецах и пролазах. Понятно?

Зойка посмотрела на его несчастное лицо и отвернулась к окну. «Мне все понятно: тебе плохо,— думала она.— Тебе плохо, и поэтому ты заикаешься и орешь на меня. Я все отлично понимаю, и все-таки это свинство — то, что ты сказал. Я предлагаю подлости!.. Это ты умеешь: сказать человеку самое обидное ни за что ни про что. Ну ладно, я сестра, и со мной ты не церемонишься (это, конечно, тоже свинство, но пусть), а вот Платона Ивановича — за что? Ты ведь сам во всем виноват. Ну, кому еще пришло бы в голову на последнем экзамене вдруг начать доказывать Антону, что он неправ, что способ решения системы уравнений, который он рекомендовал, никуда не годится, и тут же начать изобретать новый! Конечно, он разозлился и дал тебе запутаться. И поставил четверку. И ты не получил медали. А что Платон Иванович? Он только сказал тебе: «Никогда не следует дразнить гусей». Ты покраснел как рак, закинул голову, вот как сейчас со мной, и сказал: «Б-буду. Всю жизнь. Им-менно гусей». Он поднял брови. И тут тебя понесло, и ты выложил ему все, что ты думаешь о людях, которые советуют другим не дразнить гусей... Он тебе ничего не сказал — может быть, обиделся (учителя ведь тоже обижаются на нас). А может быть, ему стало тебя жалко?.. А вот мне не жалко, и я скажу тебе все. Раз ты мог сказать, что я предлагаю подлость,— не жалко. Ни капельки. Это раньше мне было тебя жалко, утром, когда мы собирались в институт, и потом, когда читали эти списки и у тебя дрожали губы. А теперь — ни капли. И я скажу. И пусть от моих слов тебе станет еще хуже. А то воображает, что он герой! Не задавайся, пожалуйста...»

Зойка посмотрела на брата. Он сидел, низко наклонив голову, не похоже было, чтобы он воображал и задавался. Спутанные волосы закрыли лоб, лица не было видно (может быть, у него и сейчас еще дрожат губы?), из слишком широкого воротника рубашки высовывалась тонкая шея, галстук сбился набок. Сегодня утром он долго возился с этим галстуком. Утром он, наверно, еще надеялся, что его примут. А вот теперь сидит, и шея такая худая, и я ничего не могу...

Зойка вздохнула и пересчитала деньги в сумочке — можно еще по одной порции.

— Тебе какого, Боря?

Он пожал плечами.

— Пожалуйста,— сказала она официанту,— шоколадного и сливочного по два шарика.

Официант поставил на стол мороженое и ушел.

За окном вдруг все стало голубое: это где-то невысоко вспыхнула световая реклама. Мимо окна прошел человек в голубом пальто, пронеслась голубая машина.

«Что я такое думала?.. Да, Кира права: он какой-то не такой, как все. И это, между прочим, очень глупо. Он может сорваться из-за ерунды, ну, просто совсем чепухи какой-то, другой и не заметит. Однажды

он плакал из-за такого, что просто смешно. Он думал, никто не видит, а я видела, и так жалко было... И постоянно с ним какие-то истории, ни с кем другим не случается — только с ним... А ведь все могло быть так хорошо — получил медаль, его приняли бы в институт, и мы шли бы сейчас по голубой улице, и мне не было бы так его жалко... И почему это раньше мне было все равно, что с ним? Раньше мы всегда ссорились, даже дрались — еще в седьмом классе, и мама всегда мирила нас и никогда не могла помирить. А теперь я мирю его с мамой. И тоже не получается. Мама его совсем не понимает... Никто его не понимает — только мы, я и Кира...»

Таяло мороженое в стеклянных вазочках, медленно оплывали кремовые и коричневые шарики, погружаясь в густую жидкость. Люди за соседним столиком давно ушли. Официант лениво беседовал с кассиршей.

— Почему ты не ешь? — сердито спросил Борис.— Ах, понятно: ты считаешь, что произошла страшная трагедия и есть мороженое легкомысленно!

— Ничего я не считаю,— поспешно сказала Зойка и придвинула к себе вазочку.

Некоторое время они молча ели мороженое.

— Если ты хочешь знать,— вдруг сказал Борис,— так это даже лучше — то, что меня не приняли.

Зоя осторожно взглянула на брата и ничего не ответила.

— Вот смотри: я учился в школе, ну что я видел? Черт знает, какую уйму вещей я пропустил! Дрезденскую галерею пропустил? Пропустил. Вьетнамская выставка открылась в Парке культуры. Был я на ней? Держи карман шире. В Третьяковке не был года три — с тех пор, как мы отрядом ходили, в седьмом классе... Да мало ли что еще! Вот, например, есть такой Музей охраны труда, я в «Вечерке» вычитал. Сначала я подумал: вот чушь. А между прочим, наверное, неглупо. Раз устроили музей, значит не зря.

— Конечно,—согласилась Зойка; она все еще не понимала, в чем дело.— Конечно, раз открыли, значит не зря.

— Ну вот... Да мало ли сколько еще разных музеев и выставок, о которых понятия не имеешь. А возьми литературу, знаешь, как я отчаянно отстал от всего! Вот, например, этот исландец, которого все так хвалят, Лакснесс, я даже ни одной его строчки не читал... Теперь смотри: вот меня, предположим, приняли в институт, что, думаешь, там лучше будет? Студентам еще хуже, чем десятиклассникам,— дыхнуть некогда. Значит, опять отставай? Еще целых четыре года?

Он замолчал. Зоя ждала.

— Или вот еще — зарядка и вообще всякая физкультура. Скажи, было у меня время заниматься зарядкой?.. Ну, положим, может, и было, но ведь не занимался же! А теперь? Можешь меня презирать, если я сейчас не займусь всерьез физкультурой...

Зойка вдруг счастливо засмеялась.

— Ой, Борька, просто замечательно.

— Постой, а Политехнический? На скольких лекциях я был в этом году? Всего два раза: о полупроводниках и о Моцарте. Позор. А теперь? Пожалуйста, можно ходить хоть на все подряд. Подожди,— остановил он сестру,— я вот еще что подумал. Платон Иванович говорил (конечно, он для меня теперь не авторитет, но в данном случае он прав), он говорил, что мы очень ценим всякие старинные документы — летописи там и все такое — и иногда не замечаем того, что рядом, а оно ничуть не менее значительно... Я подумал: а что, если начать записывать самое

важное, что происходит сейчас?.. Нет, постой. Вот представь себе, если бы теперь вдруг найти какие-нибудь записи участника войны двенадцатого года. Да любой писатель подпрыгнул бы до потолка! Но ведь то, что помнят люди сейчас, когда-нибудь тоже будет очень важно. Вот взять и начать записывать. Каждый день. Знаешь, как у Золя, он над камином выгравировал: «Ни одного дня без строки». А если — ни дня без страницы? Ну что строка! Каждый день хоть лопни, а напиши страницу, за год — триста шестьдесят пять...

— И ты ведь замечательно пишешь,— горячо сказала Зойка.

— Ну, положим, не замечательно, но дело не в этом.— Борис задумался.— В общем, можно здорово расширить свой кругозор, если взяться как следует.

— Еще бы,— сказала Зойка,— а то подумаешь, не попал в институт!..

— Только, конечно, надо быть организованным, иначе ничего не получится. Железный порядок и никаких уклонений.

Борис вытащил из кармана блокнот и отодвинул в сторону вазочку с мороженым. Зойка перетащила свой стул поближе к нему.

— Значит, так: вставать в шесть часов.

— Ой, Боря, рано.

— Ничего не рано, записываю — шесть часов. Потом зарядка, холодный душ, завтрак... ну, завтрак необязательно, позавтракать можно и после, и — в читальню...

Официант посмотрел на них, но народу в кафе было мало — пусть сидят.

— А чтобы не перезабыть всего до будущей осени, буду повторять. Для повторения надо составить особую программу.

— Боря, а давай вместе, а? Просто будешь готовить со мной все уроки. И мне будет хорошо, я знаешь в математике как плаваю.

Борис с сомнением посмотрел на нее.

— Плаваешь? А пятерки откуда?

— Пятерки! — презрительно сказала Зоя.— Думаешь, они ставят пятерки по заслугам? Видят, человек хорошо ответил, ну и ставят, а глубоко разве они разбираются! Вот смотри — ты ведь лучше всех знаешь, а Антон что сделал...

Борис нахмурился. Зойка поспешила переменить разговор.

— Надо записать театр, это ведь тоже расширяет кругозор.

Записали театр. Потом — симфонические концерты. Подумали и записали «изучение английского языка» и водный бассейн. Потом еще— лыжи и каток... Потом отодвинули штору и стали смотреть на улицу. Она уже не была голубой, зажглись фонари, засветились вывески и рекламы — красные, синие, оранжевые, улица сияла и переливалась всеми красками.

— С завтрашнего дня и начну,— задумчиво сказал Борис.

— Нет, Боря, давай с первого сентября. Первого я пойду в школу, и вместе начнем.

Борис согласился. С первого так с первого, в конце концов главное — решить в принципе.

— Ну вот,— сказала Зоя,— а маме я сама все скажу, ладно? Ты ничего не говори.

Борис кивнул.

Они выпили растаявшее мороженое прямо через край и вышли из кафе.

Дверь отворила мать.

— Я знаю,— сказала мать, глядя на Бориса такими же темными, как у него, глазами,— со мной никогда не считаются, но все-таки на этот раз можно было после института зайти домой, а потом уже отправляться по своим делам. Или ты не был в институте?

— Был, был,— быстренько ответила Зойка.— Ты только не беспокойся — был.

— Пожалуйста, не защищай его, он, кажется, сам может ответить.

— Кого защищать? — высокомерно спросил Борис.— В чем дело?

— Ни в чем. Если не считать пустяка: сын поступает в институт и не считает нужным сообщить матери, приняли его или нет.

— Понимаешь, мамуся,— поспешно вмешалась Зойка,— мы с Борей все обдумали. Так даже лучше, гораздо лучше.

— Как — лучше? Что значит — лучше? Его что, значит, не приняли?

— Все будет хорошо, мамочка, вот увидишь. Мы составили план. Боря, покажи наш план.

— Какой план? При чем тут план? Приняли тебя или не приняли?

Борис молча снял шапку и швырнул ее на вешалку.

— Конечно,— сказала мать,— со мной можно не считаться, мне можно не отвечать. Вот у папы высшее образование, и с ним бы ты, конечно...

Борис повернул к ней бешеное и страдающее лицо.

— П-при чем тут высшее образование! Ну, при чем? Д-другие даже трех классов не окончили и все-таки...— Он замолчал.

— Что все-таки? Нет, ты мне скажи — значит, другие для тебя лучше, чем...

— Мама,— закричала Зойка,— мамочка, не надо! Боря, перестань... Ну, зачем вы так... ну, честное слово... ну, я вас прошу, не говорите...

— А я не собираюсь говорить с ним,— дрожащим голосом сказала мать и вышла из комнаты.

— Ну, зачем ты так, Борька? — сказала Зойка.

— Как?! — заорал Борис.— Как, я тебя спрашиваю? И вообще, что тебе от меня надо? Что вам всем надо от меня?! Оставьте меня в покое.— Он рывком дернул дверь и вышел.

Зоя вздохнула и пошла искать маму.

2

Окно выходило во двор. Верхушка рябины доставала до стекла. Здесь, в ее ветвях, жили две старые знакомые — «Фиу-Фиу» и «Привет». Первой просыпалась «Фиу-Фиу»; окно было еще синее, только начинало светать, а она уже перепрыгивала с ветки на ветку и свистела тоненько: фиу, фиу. Это была утренняя птица. «Привет» подавал свой голос в любое время дня, а иногда и ночью. «Пр-р-ри-вет!» — говорил он хрипло, стоило только открыть окно.

Тысячу лет Борис не слыхал их. Во всяком случае с тех пор, как у него начались экзамены в институте. Может быть, они переселились куда-нибудь?.. Но нет, только он распахнул окно, как раздалось раскатистое: «Пр-р-ривет!»

— Ну, привет,— ответил он,— что дальше?

Дальше не было ничего, толстобокая птица зашуршала листьями и убралась куда-то. Борис лег грудью на подоконник и стал смотреть вниз, во двор.

Три часа дня. Солнце уже ушло за высокую стену, половина двора лежала в глубокой тени, но окна напротив слабо поблескивали и отливали розовым.

«Так что же будет дальше?» — повторил про себя Борис.

Ужасное все-таки свинство, что он не попал в институт, он должен был, обязан был попасть. Если не из-за себя самого, то хотя бы из-за отца. Отец очень хотел, чтобы он учился в институте. Мама, конечно, тоже, но не так, как отец. Когда мама узнала, она сердилась, даже плакала, а отец сразу согласился с его планом и сказал, что нет никакой беды, это совсем даже не плохо, что будет год передышки. Но Борис видел, что отец ужасно расстроен, гораздо больше, чем мама... Папе всегда хотелось, чтобы он хорошо учился, и он никогда не бранил Бориса, даже в тот год (это было, кажется, в пятом классе), когда на него вдруг со всех сторон посыпались тройки...

И Борис вспомнил. Вечер. Надо готовить уроки. Перед ним ботаника, серая страница с оторванным уголком.

— Что ж так много троек, а, Боря? — спрашивает папа. Он говорит тихо, наверно, чтобы не услышала мама — дверь в кухню открыта.

— Скучно, папа,— говорит он,— скучно мне учить уроки эти, ну, честное слово, скучно.

— Гм,— говорит отец.

Мама сказала бы: что значит — скучно! Какой ты после этого пионер? Неужели ты не понимаешь, что у каждого есть свои обязанности... И все такое в этом роде. Папа молчит. Потом спрашивает:

— А что именно скучно, Боря?

— Все скучно, папа! Грамматика — скучно, арифметика — скучно и история — тоже скучно.

— А это? — спрашивает папа и показывает на страницу с оторванным уголком.

Боря заглядывает в нее одним глазом. «Все растения состоят из клеток. Каждая клетка напоминает собой...»

— Скучно.

Папа прохаживается по комнате, потом задумчиво говорит:

— А знаешь, он, наверно, очень обрадовался, когда обнаружил, что растения состоят из клеток.

— Кто — он?

— Не знаю. Я ведь человек, в сущности, малообразованный. Шванн, кажется... Ведь до него ни один человек в мире не знал, что такое клетка. Это было настоящее открытие.

— Ты думаешь, он обрадовался?

— Я уверен, что он был просто счастлив. Он, наверно, потратил уйму времени, прежде чем открыл это.

Боря внимательно поглядел на страницу с оторванным уголком.

Папа раскрыл учебник русского языка и медленно прочитал:

— «Чтобы не ошибиться в правописании согласного звука в корне, слово надо изменить... например, просьба — просить, мороз — морозы...» А этот, думаешь, не обрадовался! Он, может быть, открыл это ночью, вскочил с постели и стал прыгать от радости; может быть, разбудил жену и детей... Нет, ты подумай, какую гору слов ему надо было переворотить, чтобы открыть, как определять эти согласные!

Боря представил себе голого танцующего человека.

— Вот чудак,— засмеялся он,— но он все-таки молодец, да, папа?

— Еще бы,— сказал папа.— А ведь в сущности все это открытия.— Папа кивнул на растрепанные учебники.— Что ни строчка — то открытие. Эти твои книжки просто хранилища великих открытий.

— А стол? — вдруг спросил Боря, водя пальцем по своему изрезанному, залитому чернилами письменному столу.

— Что стол?

— Стол — тоже открытие?

— Стол? — Папа на секунду задумался.— Ну, разумеется. Ведь не всегда люди сидели за столом; раньше это, вероятно, был просто камень.

— Наверно, здорово неудобно было. Он тоже молодец, правда?

— ...А каша? — спрашивает Борис уже за ужином.

Папа кивает головой.

— А чайник?

— Конечно.

— А дверь?

— Перестань, Боря,— строго говорит мама.— Опять какие-то глупости. Думал бы лучше об уроках.

Боря смотрит на папу, и они оба улыбаются.

Когда мама не видит, Боря показывает пальцем: а шкаф? А стакан? А окно? Папа улыбается и кивает головой.

Кажется, после этого разговора он стал лучше учиться. Просто ему вдруг стало интересно представлять себе всех этих открывателей, как они обрадовались, когда открыли, и как были довольны люди, что для них вдруг узнали разные необыкновенные вещи. Он изводил учителей вопросами: кто открыл правило о чередовании гласных, кому первому пришла в голову мысль, что ветер превращает камни в песок, кто первый увидел пятна на солнце?.. Он нетерпеливо листал учебник, чтобы поскорей узнать, что там еще открыто для него... Мама говорила отцу: «Видишь, что значит потребовать от ребенка?» Папа молчал.

«...Нет, это все-таки ужасное свинство, что я не попал в институт»,— подумал Борис и перегнулся еще ниже.

Из полуподвала напротив вышел долговязый подросток. Посмотрел на небо, потянулся, зевнул. Видно, только что проснулся.

«Ну вот, сейчас привяжется,— с неудовольствием подумал Борис.— И ведь сам не учится, когда еще бросил школу, а ведь непременно пристанет: ходил ли в институт, что сказали, почему не приняли?..»

Вадька лениво шагал через двор. Остановился под окном, поднял к Борису заспанное лицо.

— Ну как, ходил?

— Предположим, что ходил. Дальше?

— Ну и как?

— А никак. Не приняли.

— Кого не приняли? — удивился Вадька.— Куда?

— Меня. В Бауманский.

— А-а...— Вадька помолчал.— А на стадион не ходил? Ох и игра вчера была мировая! Вколотили «Спартаку», будь здоров.

«Счастливый все-таки человек,— подумал Борис,— вколотили «Спартаку», и ничего ему больше не надо». Но теперь, когда оказалось, что Вадьке, в общем, все равно, приняли его или нет, Борису захотелось рассказать, как было дело.

— Понимаешь, вкатили четверку по сочинению — и конец, не прошел по конкурсу. Как будто я у них сочинения собираюсь писать.

— Ясное дело, дурачье,— согласился Вадька. Он постоял еще немного и побрел обратно — наверно, досыпать.

«Ну и спи, чего тебе еще делать!»

Солнце поднялось выше, стена напротив стала совсем розовой. Борис высунулся из окна еще дальше. Все та же картина: маленький серый квадрат асфальта внизу, кирпичные стены, замыкающие его со всех сторон, и — окна, окна, окна до самого неба. «А ведь правда, казарма,— вдруг подумал Борис.— Папа совершенно прав, и что это я раньше не

соглашался с ним? Казарма и казарма. И что они только думали в тридцатых годах! Тоже мне архитектура...» Ветка рябины вдруг вырвалась из прищемившего ее окна и провела прохладными листьями по его щеке; он отвел ее в сторону. И это короткое движение словно перенесло его в другой мир, в другое время, и перед ним встал один день, нет, одно мгновение его прежней жизни...

...Папы и мамы нет дома. Он лежит на подоконнике, высунувшись, насколько возможно, и смотрит вниз, во двор. Прохладная ветка рябины трогает его щеку, он отводит ее в сторону и вглядывается в стену напротив. Он ясно различает продолговатое отверстие между двумя кирпичами, там что-то таинственно белеет. Сейчас он спустится и возьмет письмо, в правом верхнем углу три крестика — их с Вадькой тайный почтовый знак.

Если высунуться из окна и повернуть голову как можно сильней вправо, увидишь приземистый каменный сарай. Ворота еще закрыты — значит, синяя машина еще там, стоит в пахнущей бензином темноте и дожидается своего хозяина. А если перегнуться изо всех сил и всмотреться вниз, может быть, разглядишь одуванчик в пуховой шапочке, неведомо как выросший в щели между стеной и асфальтом... Изогнись и посмотри вверх — увидишь небо, квадратное небо их двора, оно почему-то не такое, как в других местах, например на улице или в школьном дворе. За трубу часто зацепляются облака и стоят там, не в силах стронуться с места... Он смотрит на квадратное небо, на одуванчик, и вдруг сердце его вздрагивает. По твердому асфальту раздаются быстрые шаги. Это идет девочка на высоких ножках в коричневых чулках, в руке у нее большая папка — ноты. Он знает только, что ее зовут Люма и что она ходит в их двор к учительнице музыки из шестой квартиры. Мальчишки прозвали ее Морской свинкой — у нее очень светлые ресницы и брови. И только он один знает, что она похожа на девочку из сказки... Девочка шагает по пустынному двору, и кажется, что сейчас случится чудо. И он стремглав мчится вниз навстречу чуду. Какому — он еще не знает. Может быть, одуванчик вдруг вырастет и превратится в тропическую пальму? Может быть, ему что-нибудь скажет девочка со сказочным именем? А может быть, хозяин синей машины посадит его рядом с собой и умчит на край света?..

«Д-да,— удивляется Борис и задумчиво смотрит вниз.— Неужели все это было? И куда все исчезло? Облако, Люма, одуванчик, Вадькино письмо... Ничего этого нет. Нет сказочной девочки Люмы. Вместо нее — тощая белобрысая девица Людмила. Все ходит со своей папкой. И одуванчики, насколько он заметил, нигде во дворе не растут. И ослепительной синей машины давным-давно нет, ее перекрасили в какой-то серо-коричневый цвет, это обыкновенный «москвич». И Вадька не тот Вадька. И сам он, наверно, другой. Одна рябина все та же. Она не растет, только стареет: сколько он ее помнит — все такая же старая. Даже осенью, когда на ней появляются веселые рыжие кисти, она не молодеет. Словно старушка — надела цветной платок, а все старая...

Да, всё прошло, все не те, и всё не то. И сам он, конечно, не тот, что раньше. Раньше он всегда куда-то стремился и чего-то хотел. А вот теперь ему ничего не нужно. Может быть, это проходит молодость? Ему семнадцать, но это ничего не значит. Вертеру, кажется, было тоже что-то в этом роде, и Печорин, в общем, был сравнительно молодой.

Некоторое время Борис лежал, глядя вниз, и сосредоточенно думал. Ну что толку вечно кипятиться, вечно из-за чего-то лезть в бутылку! «Я пережил свои желанья, я разлюбил свои мечты...» — тихонько запел

он и откашлялся. Голос никуда, грубый и как-то в сторону, а ведь слух как будто хороший... «Остались мне одни страда-анья...»

— Боря! — позвала мать.

— Ну что?

— Ты не сбегаешь в магазин, масло у меня кончилось.

— А Зойка?

— Зоя к Кире ушла.

«К Кире,— проворчал Борис,— далась ей эта Кира... А впрочем, не все ли равно? К Кире так к Кире; за маслом так за маслом!..»

Бориса не было долго. Успела прийти Зоя. Мать поджарила котлеты, заняв масло у соседки. Борис все не шел.

— Не понимаю, что это с ним случилось. Столько времени прошло, магазин за углом.

— Ничего не случилось,— сказала Зоя, не отрываясь от книги.— Тебе всегда кажется, что с нами что-то случается. А когда он ушел?

— Я не смотрела на часы, но, по-моему, не меньше часа.

— Ничего не случилось,— повторила Зоя. Однако отложила книгу, вышла на лестничную площадку и, перегнувшись через перила, стала смотреть вниз.

Она уже хотела идти в магазин, когда Борис вернулся.

— Господи,— сказала мать, взглянув на сына,— что случилось?

Ворот рубашки был расстегнут, кепка сидела набекрень, весь он был какой-то растерзанный.

— Ты что, деньги потерял?

Борис молча положил на стол смятую пачку денег — сдачу.

— А масло?

Он вытащил из кармана полурастаявший брусочек масла.

— Так что же?

Борис не ответил и прошел в свою комнату.

— Всегда с ним что-то случается, и никогда не знаешь, в чем дело,— вздохнула мать.— Зоя, может быть, он тебе скажет?

Зойка тихонько приотворила дверь.

Борис лежал на диване, заложив руки за голову, куртка валялась тут же на полу, кепку он снять забыл.

— Бобик,— просительно сказала Зоя.

— Ничего,— резко ответил он.

— Ну, мне-то можно, ты ведь знаешь, я никогда...

Борис молчал.

— Помнишь, ты мне рассказывал про Вадьку, разве я кому-нибудь...

— Нет, ты только подумай!..— Он вскочил с дивана и стал ходить по комнате.— Ах, сволочи, ах, негодяи!.. Нет, пусть они не надеются, что это им сойдет с рук, пусть не мечтают, что я это так оставлю... Нет, ты только представь себе...— Он остановился перед Зойкой.— Ты думаешь, я оставлю? Ушел, и все? Нет, тот, кто мирится с подлостью, тот сам такой же подлец. Если не хуже.

— Да, да,— кивала Зойка. Она ничего не понимала, но по опыту знала: лучше не перебивать и не спрашивать, он замолчит или рассердится. Лучше как-нибудь самой все понять.— Да,— сказала Зойка,— конечно.

— И ведь, наверно, на своих собраниях разные речи произносят. А сами только о своей наживе думают... Старуха, бедняга, стоит, топчется на месте, ничего понять не может. А я... я просто готов был убить его...

Понемногу Зоя поняла, в чем дело. Продавец обвесил какую-то старуху и еще обругал ее при этом («Тебе, бабка, на Ваганьково пора, а ты

тут с маслом со своим»). Борис вмешался. Продавец и ему нагрубил. Тогда Борис пошел к заведующему. Тот тоже сказал что-то не так. Борис потребовал жалобную книгу.

— А старуха испугалась: никакой, говорит, книги мне не надо, все правильно отвесили, и на продавца я не в обиде, ну, пошутил маленько... Такая, понимаешь, рабская психология.

Зойка уже успокоилась. Ничего страшного, обычная Борькина история.

— Ну и пусть,— говорил Борис, заикаясь и задыхаясь от злобы,— пусть он меня выставил, мне наплевать, дело не во мне. Но ты пойми: они, заведующий и все там остальные, они не видят во всем этом ничего особенного!.. Этот заведующий толстомордый: «Вы, молодой человек, напрасно горячитесь, социалистическая торговля...» Я бы запретил таким типам даже произносить слово социализм...

Зойка кивала головой.

— Нет, ты не понимаешь,— сказал Борис,— тебя это не трогает.

— Что ты, Боря, очень трогает. Эта бедная старушка...

— Да черт с ней, со старухой! Не в ней дело. Этот толстомордый, он ведь даже не возмутился. Прекрасно видел, что я не вру, и — не возмутился!.. «Напрасно вы, молодой человек...» Я ему покажу «молодого человека»!.. Вот что,— сказал Борис, внезапно остановившись,— я пойду в райком. Не в райком комсомола, в райком партии. И не когда-нибудь, а сейчас.— Он поднял с полу куртку и нахлобучил кепку.

Зойка представила себе, как он, такой взъерошенный, заикающийся, придет в райком и будет все это рассказывать, и никто ничего не поймет, и над ним, может быть, даже посмеются. И ей стало ужасно жалко его.

— Ну зачем же в райком? По-моему, надо совсем не в райком, а в какую-нибудь ихнюю торговую организацию, ну, в трест или как это у них называется? А райком совершенно ни при чем... И потом сейчас все равно уже поздно, ведь они до семи или даже до шести. Знаешь, Боря, я тебе завтра все узнаю, адрес и все, и мы вместе пойдем. Ладно?

Зойка не собиралась ничего узнавать, а тем более ходить куда-то. Главное было отговорить его сейчас, а завтра видно будет. До завтра он, может быть, сам решит, что все это совершенно ни к чему.

— И потом — ты ведь написал в жалобную книгу. Знаешь, как у них строго с этими книгами, их ведь постоянно проверяют. Ты заметил, они никогда не хотят давать эту свою книгу?

— Это верно,— уже спокойней сказал Борис,— никак не хотели. Но я все-таки раздобыл ее и написал.

— Ну, вот видишь, а в райком не надо, при чем тут райком... Ну что, в самом деле, из-за двадцати граммов...

— Ах, вот ты как! — вскипел снова Борис.— Значит, если двадцать, так можно? Значит, ты такая же, как они. Они хапают помаленьку и считают, что можно... А я считаю, что если кто-нибудь украдет хоть грамм, хоть полграмма, все равно он должен отвечать, как за тонну. Потому что...

— Верно, Боря, верно,— смиренно согласилась Зойка.— Раз социализм, все должно быть честно.

— Все, все,— сказал Борис.— Все и во всем.

Он еще долго говорил о честности, о принципиальности. Зойка поддакивала и соглашалась. Иногда спохватывалась, что не слушает, и поспешно кивала головой.

За окном стемнело, верхушка рябины все качалась, но ее уже не было видно, слышно было только, как шуршат по стеклу листья. Они не

стали зажигать света. Борис лег на диван, положив руки за голову, Зойка примостилась подле него, поджав ноги.

— Знаешь, Борька, вот я иногда представляю себе, а что будет через пять или даже через десять лет...

— Ну, наверно, все эти сволочи еще не переведутся, десять лет для них не срок.

— Нет, я не про то. А вот что будет с нами — с тобой, со мной.

Борис пожал плечами: а кто его знает, что будет.

— Нет, Боря, ты подумай. Вот прошло десять лет. Ты — известный физик, а я — врач, или, нет, я — геолог... в общем, это неважно. И вот мы сидим с тобой в этой комнате. К тому времени ты уже будешь женатый, у тебя, может быть, даже дети будут...— Зойка задумалась.— И почему это, когда представляешь себе других, вроде ничего особенного. А вот я подумала про себя, что у меня будут дети или что ты женат, и как-то странно-странно.

— Что касается меня, можешь не представлять: я жениться не собираюсь.

— Я не говорю — сейчас.

— Никогда.— Он помолчал.— Вообще, если хочешь знать, женитьба может только помешать человеку. Конечно, если он собирается что-то сделать в жизни. Это проверено на тысяче фактов: женился — конец!

Зоя на секунду задумалась.

— А Пушкин? Что, он мало сделал, по-твоему?

— Пушкин?! Да он сделал бы в тридцать, в сто раз больше, если бы не эта Гончарова. И уж во всяком случае не погиб бы так бессмысленно. Что, неправильно?

— Правильно,— неохотно согласилась Зойка.— А все-таки...

— Ничего не все-таки. Это факт. Возьми любого человека, великого или не великого — все равно, если как следует разобраться в его жизни, увидишь, зря женился. Я уж думал про это... Ну, а что касается меня лично, так у меня есть еще и другие причины.

— Какие? — живо спросила Зойка.

Стало совсем темно. «Пр-ривет!» — хрипло и бодро провозгласила невидимая птица. Зойка ждала.

— Человек женится тогда,— медленно сказал Борис,— когда кто-то без него не может. Ну, и он сам, разумеется, тоже не может без кого-то. А иначе — к чему же! Так вот: со мной не может быть, чтобы кто-то без меня не мог. Понятно? — Он помолчал и сказал небрежно: — Вообще-то все это меня мало интересует, но это так.

— Вовсе не так. Ты ничего не понимаешь. Ты думаешь, тебя никто не может полюбить, а на самом деле...

— Постой,— перебил ее Борис,— я говорю: по-настоящему. Ну так, как Елена — Инсарова.

Зойка представила себе Инсарова. Иссиня-черные волосы, орлиный нос... Да, как Инсарова, наверное, нельзя. Но вслух она сказала:

— А по-моему, это чепуха, при чем тут Инсаров?

— Нет, не чепуха. И я тебе скажу почему. Вот я. Я не могу влюбиться в некрасивую. Это уже проверено. Конечно, свинство. Ну, чем она в конце концов виновата, что некрасивая! Но я не могу. Пусть она будет какая угодно принципиальная и все такое, все равно — не могу. А в меня если и влюбится, так обязательно некрасивая, это я уж знаю, и ни черта не выйдет.

— А какая я, по-твоему?

Борис посмотрел на ее профиль, смутно вырисовывавшийся на чуть

белевшей стене. Спутанные кудрявые волосы, прямой короткий нос, немного выдавшиеся вперед губы.

— По-моему, ничего,— сказал Борис.— Вот только когда ты устраиваешь себе эту дурацкую прическу с буклями, тогда чепуха. А так ничего.

Они посидели немного в тишине и в молчании.

— Знаешь, Боря, я подумала: я тоже лучше буду одна, одной гораздо лучше. И мы будем с тобой жить вместе. В каком-нибудь маленьком домике, ну вот как у нашей молочницы, с зелеными ставнями.

Они снова замолчали. Каждый устраивал себе эту жизнь по своему вкусу. И до чего же не походил домик с зелеными ставнями, где устраивалась сейчас Зойка, на тот, в котором размещался Борис!

— Да,— протянул Борис,— неплохая может получиться жизнь.

— И никого нам с тобой не надо,— вздохнула Зойка.— Зачем нам они? Пусть даже они не могут без нас — зачем? Даже если кто-нибудь скажет мне, что он... ну, в общем, чтобы я была с ним, я ему скажу: нет, мы с братом решили, что будем всю жизнь одни.

— Ну, зачем же,— великодушно сказал Борис,— я тебя вовсе не связываю, мало ли что.

— Нет,— меланхолично ответила Зоя,— я сама не хочу. Зачем? А если он будет настаивать, я скажу ему: пожалуйста, приходите к нам. И пусть ходит, верно, Боря? Пусть ходит, пьет с нами чай, играет на пианино (у нас ведь будет пианино?), а вечером мы с ним попрощаемся, я буду стоять на крыльце и махать ему...

В дверь тихо постучали.

— Кто там еще? — недовольно спросил Борис.

— Я знаю, это Кира. Входи, входи, Кира.

Дверь отворилась. На пороге стояла девушка. Свет падал сзади, и виден был только ее силуэт, словно вырезанный из черной бумаги искусной и нежной рукой.

Борис поднялся.

— Я на минуту,— быстро сказала Кира.

— Пожалуйста,— сердито буркнул Борис и вышел из комнаты.

Кира все еще стояла на пороге.

— Это он из-за меня ушел,— сказала она, и голос у нее дрогнул.

— Ничего подобного,— поспешно соврала Зойка,— он все время собирался уйти. Иди сюда, Кира, садись.

Кира вошла в комнату, но не села, остановилась у стола, чертя пальцем по клеенке.

— Ну, как он?

— Сегодня ничего, а вчера просто ужас.

Кира кивнула.

— Знаешь, я все придумываю, придумываю, чем бы его отвлечь, но это так трудно, он очень переживает.

Кира порылась в портфеле и протянула Зое два билета.

— Маме дали на работе. В «Ударник». Там открывается декада французских фильмов. Вот пойдешь с ним.

— А ты?

Кира пожала плечами.

— Нет, Кира, я не пойду. С какой стати, в самом деле, мама для тебя достала.— Она взглянула на подругу.— А может быть, с ним пойдешь ты?

— Нет,— печально сказала Кира,— ты ведь знаешь.

Они помолчали.

— Ну, мне надо идти,— сказала Кира.— Ты только не говори, что от меня.

Зойка серьезно кивнула.

— Прогресс,— насмешливо сказал Борис, вернувшись в комнату.— Конференция продолжалась всего десять минут.

— И почему ты ее не любишь? Всем она нравится, только тебе не нравится.

— Кому это — всем? — небрежно спросил Борис.

— Всем,— твердо сказала Зоя.— А вот Рыбников, тот любит ее по-настоящему. Давно. Еще с первой четверти.

— Какой же это Рыбников? Вот этот, что ли? — Борис свел глаза к переносице.— Этот? Ну, тогда понятно.

— Что понятно? — сердито спросила Зойка.— Он не виноват, что у него такие глаза. А вообще, если хочешь знать, она лучшая девочка в нашей школе.

— Пусть она будет лучшей девочкой во всей стране, на всей планете, во всей Галактике. Я это только приветствую. Ура!

— Ну и пожалуйста,— сказала Зойка.

3

Конец сентября. Печальный, пасмурный денек. Рябина давно облетела, голая ветка просунула в окно один свой тощий голенастый палец. Подоконник мокрый, и на полу большое сырое пятно. Видно, ночью был сильный ветер, он и принес сюда мокрые брызги. Сейчас дождя нет, за окном серый туман, готовый вот-вот превратиться в дождь, в мелкие холодные капли. Комната Бориса полна сырым прохладным воздухом.

Собственно говоря, это не комната. Во всяком случае те, кто строил этот дом, предназначали ее не для жилья. Это был чулан, маленький чулан в конце коридора. Долгие годы он и был чуланом, пока Борису не пришло в голову, что из чулана может получиться отличная комната... Когда мать пришла с работы, все было сделано. Она отворила дверь и остановилась на пороге — по коридору невозможно было пройти. Не сняв пальто и браня Бориса (она сразу догадалась, что это его выдумка!), мать с трудом перебралась через баррикаду из безногих стульев, узлов и каких-то ящиков и — остановилась. Маленькая белая комнатка была залита солнцем, сквозь узкое оконце просовывалась зеленая ветка. В комнате уже стоял диван Бориса и его маленький письменный стол. Над столом висел портрет Ленина в тоненькой вишневой рамке.

Мать помолчала, потом сказала:

— А у Веры Даниловны ты хоть спросил? Это ведь не только наш чулан.

Но Вера Даниловна, толстая печальная старуха, ничего не сказала, она перетащила свои узлы в комнату. И Борис поселился в бывшем чулане.

Тогда он учился в седьмом классе. Прошло четыре года, в комнате ничего не изменилось: тот же Ленин на стене, тот же жесткий диван и даже — та же ветка в окне: рябина почему-то не росла. Только прибавилась на стене еще одна фотография, папина. Борис случайно наткнулся на нее, разбирая старые книги, вставил в рамку и повесил над диваном. Здесь папа был совсем молодой, лет восемнадцати, его окружали такие же молодые товарищи. Снимались они после какого-то воскресника.

Мать много раз пыталась навести в комнате свои порядки. Но Борис упрямо снимал с окна тюлевые занавески, стаскивал белые салфеточки, которыми она покрывала его книжную полку, сдирал со стены ковер с африканским львом. «Ну что у тебя за вкус,— удивлялась мама,— голая комната. Так не любить уюта!» Однако, когда у нее было нехорошо на душе, она приходила именно в эту голую комнату, садилась, поджав

ноги, на жесткий Борин диван, глядела в узкое незанавешенное окно и почему-то успокаивалась. И Зойка любила эту комнату: самые милые, самые задушевные разговоры с Кирой у них велись именно здесь. Конечно, устраиваться тут можно было только тогда, когда не было Бориса: он терпеть не мог, когда кто-нибудь торчал в его комнате.

Сейчас он проводил в этой комнате целые дни. Валялся на диване, читал, разглядывал на фотографии папу и его товарищей. Хуже всего бывало Борису утром. Утро тянулось бесконечно. Кажется, вечность прошла с той минуты, когда Зойка, хлопнув дверью, убежала в школу, а стрелка все еще не доползла до девяти. До половины второго — вагон времени.

Раньше утро неслось вскачь, летело стремглав, мчалось вприпрыжку. Его всегда не хватало. Только успеешь вскочить с постели — батюшки, уже полвосьмого! Наскоро полистаешь учебник (а вдруг спросят!) — ого, восемь!.. Залпом выпьешь стакан чаю, скосив глаза на часы. Как?! Половина девятого? Хватаешь портфель и сломя голову, летишь вниз по лестнице. Выстрелом хлопают двери — тах, тах; рысью мчишься по улице, пулей влетаешь в школу. Швырком — пальто нянечке. Номер? После, после... Раскатившись на подошвах, несешься по скользкому паркету коридора. Звонок настигает тебя у самых дверей в класс. С грохотом садишься за парту. Фу-у! С этого мгновения часы приходят в себя: минута становится минутой, час — часом, стрелки движутся с той скоростью, какая им положена. Иной раз даже слишком медленно. Например, перед большой переменой. К большой перемене живот подводит так, что ты понять не можешь, как это утром ты равнодушно смотрел на толстые ломти хлеба, на желтое масло? Сейчас ты был бы рад просто черной, густо посоленной корочке... Наконец перемена; ты мчишься в буфет, стараясь опередить других, первым получить французскую булку или ситник и вонзить в него зубы тут же, еще не успев взять сдачу... И дальше время движется так же стремительно. Не успеешь оглянуться — вечер, и опять оказывается, что ты чего-то не успел, что-то надо оставить на утро (вдруг спросят!). А утро летит с бешеной, неслыханной скоростью. Как, уже половина девятого? Я погиб!!

Интересно, а сколько сейчас? Борис смотрит на часы. Что, все еще нет десяти? Ну, это чепуха, наверно, они стоят. Нет, тикают, лениво, нехотя, но тикают. До половины второго — целая вечность. В половине второго приходит Зойка. Едва успев отворить дверь, она начинает рассказывать. Удивительно, сколько может произойти за одно утро в одном классе! Она моет посуду, накрывает на стол, бегает из комнаты в кухню, хлопочет и все время, не переставая, болтает. Борис слушает как будто без интереса, нехотя. Ей в голову не приходит, с каким нетерпением он ждал ее. Вот, пожалуйста, даже зевает.

— Раз тебе не интересно,— возмутившись, говорит Зойка,— я не буду рассказывать.

— Как хочешь,— отвечает он лениво.

Сегодня Зойка придет позже: классное собрание. Говорильня часа на два, со злостью думает Борис. Значит, она явится... раз, два, три... через шесть часов. Уйти нельзя, мама просила дождаться отца и проводить его на вокзал, он сегодня уезжает в командировку, зайдет за чемоданом... Пришел бы кто-нибудь или хоть позвонил.

Борис поднимается и выходит в прихожую. Телефон молчит. Он снимает зачем-то трубку, долго слушает протяжный гудок и кладет трубку обратно.

В прихожей пусто и прохладно. На гвозде возле комнаты, которую занимала соседка, Вера Даниловна, висит ее клетчатая кофта. И вдруг

он живо представляет себе, как открывается дверь и выходит Вера Даниловна, толстая и печальная, в этой своей кофте, и, переваливаясь на больных ногах, идет в кухню, ставит на огонь чайник и долго стоит над ним со скорбным лицом. И ему вдруг становится ужасно жалко эту старую женщину.

Она была одинокая. Раньше когда-то она жила в этой комнате со своим сыном, потом осталась одна. Сына ее Борис не помнил, ему было пять лет, когда Борис Петрович, сын старухи, исчез из их дома. Теперь уже скоро должен вернуться. Его ждут со дня на день.

Борис, кажется, даже никогда не замечал эту старую женщину, почему же она вдруг встала перед ним, как живая? Что помнил он о ней? Однажды она зазвала его к себе. Было лето, он торопился во двор, там его ждал Вадька, а она вдруг позвала. Он вошел в ее комнату. Она сидела на койке, толстые ноги неуклюже стояли на маленькой скамеечке.

— Ты Боря,— сказала она.

Она не спрашивала, не звала его, она просто сказала: «Ты Боря», как говорят — это вот книжка, или — это цветок. Он стоял, не зная, что ответить. Она с трудом поднялась, раскачиваясь тяжелым телом, подошла к буфету и дала ему карамельку. Конфета пахла почему-то нафталином. Он не решался выплюнуть ее, так и стоял, держа во рту, рот наполнялся слюной, и он не мог дождаться, когда можно будет уйти и выплюнуть эту нафталиновую конфету.

Он не знал, что он помнит это: и вкус конфеты, и выражение лица старой женщины, и запах ее комнаты, и шум за окном... И ведь тогда он не жалел ее, он хотел одного — поскорее уйти.

Борис вспомнил, что он еще раз заходил к ней. Вожатая отряда на сборе рассказывала, кто такие тимуровцы и как они помогают старикам. Борис заявил, что он знает одну, которой можно помочь. Все ребята ему завидовали: у него старуха была дома, а некоторым приходилось чуть не всю улицу обойти, чтобы найти старушку, которая согласится, чтобы ей помогали... Боря в этот же день зашел к соседке и скороговоркой повторил все, что рассказывала вожатая. Возле старухи лежала толстая потрепанная книга, она протянула книгу Борису. Он развернул — это был «Домби и сын». Борис думал, что она дает ему книгу в награду за его великодушное предложение, но она попросила почитать ей вслух. Он не любил Диккенса и не любил читать вслух. Лучше бы она попросила его наколоть дров или принести воды (вожатая почему-то больше всего упирала на дрова и на воду), но у них в доме было центральное отопление и водопровод, и рассчитывать на это было нечего. Надо было читать.

Он никак не мог понять, слушает она или нет, она смотрела куда-то вперед и качала головой. Боря осторожно спросил: может быть, она уже устала? «Нет, нет,— сказала женщина,— читай». И опять качала головой.

Борис с тоской ощупывал толстую книгу, ее должно было хватить на добрый месяц. Он попробовал пропустить несколько строчек, где описывался мрачный дом мистера Домби. Она не заметила. Тогда он стал смелей и перемахнул через целую страницу. Дело пошло быстрей. Он мигом расправился с мистером Тутсом, оставив на его долю из доброго десятка страниц каких-нибудь двадцать строк. Такая же судьба постигла Поля и красавицу Эдит... Через неделю с мистером Домби было покончено. И Борис нимало не страдал от угрызений совести. И начисто забыл об этом. И вот сейчас, в этот пасмурный денек, глядя на старую клетчатую кофту, он вдруг почувствовал такую острую жалость к чужой старухе, что у него защемило сердце.

...Старуху похоронили несколько дней назад. Был такой же серый, печальный денек, с неба моросил мелкий дождь. И почему-то в этот день Борису совсем не было ее жалко. Его даже раздражала та суетливая заботливость, которую проявила мама. Она отпросилась с работы, чтобы поспеть на похороны. «А ты разве не поедешь?» — спросила она у Бориса. Борис пожал плечами. «А зачем, собственно?» — «Ну как же, все-таки столько лет жили вместе... Ах, боже мой, это просто ужасно».— «Что, собственно, ужасно? — спросил Борис.— Ей было больше семидесяти». Мать не слушала. «Тебе, правда, лучше не ехать, одно расстройство. Я сегодня всю ночь не спала...»

Во двор въехала машина, обыкновенный грузовик, только по борту протянута красная материя, а по ней черная полоса. Из двери вынесли большой гроб, его поставили в машину. Потом в машину стали влезать люди. Влезли какие-то две незнакомые тетки, наверно родственницы, потом — маленький плешивый человек. Борис его помнил, он иногда приходил к старухе. Потом влезла мать. Рядом вертелся Вадька. Вдруг он перемахнул через борт и уселся на скамейке возле старичка. Борис удивился: этот еще зачем? Из любопытства, что ли?..

И тогда, когда машина тронулась, он не испытал никакой жалости к старухе. Просто было скверно на душе, но вовсе не из-за нее.

А вечером они с папой прохаживались возле дома. Мама вернулась с похорон поздно, она не успела приготовить поесть и послала их с отцом на улицу, чтобы не мешали.

— Вот я сегодня думал,— сказал Борис,— все-таки в нашей жизни еще очень много условностей и лицемерия. Ну вот умирает человек. Это совершенно естественно, особенно если он старый, и относиться к этому надо без ханжества.

Он вопросительно посмотрел на отца. Отец молчал.

— Вот мама,— продолжал Борис,— поехала на похороны в сущности чужого для нее человека, купила цветы, плакала. А вернулась домой — и сразу занялась хозяйством, и словно ничего не произошло... Ну скажи, к чему выполнять все эти обряды? Одно лицемерие.

— По-твоему, лицемерие,— тихо сказал отец,— а между тем ты сам говоришь, что мама плакала.

— А разве ты не знаешь, что есть люди, которые очень легко приводят себя в такое состояние. Павлов говорил, что слезные железы...

Отец остановился.

— Ты меня извини, но мне кажется, что в слезах мамы больше ума и сердца, чем в твоих рассуждениях. Хотя Павлова она, вероятно, не читала... Потом, знаешь что? Пойди домой, узнай, как там с ужином?

Борис с удивлением посмотрел на отца.

— Иди, иди, Боря,— сказал отец,— я еще похожу немного.

Борис пришел домой притихший. Мама сидела в его комнате и глядела в окно.

— Ты, наверно, есть хочешь, Боря?— сказала мама, и вдруг голос у нее задрожал.— Ну так жалко мне ее, просто сказать тебе не могу, как жалко. Главное, сына не дождалась. Это ужасно — так ждать и не дождаться...

Ему было неприятно вспоминать о разговоре с папой. Но не потому, что он жалел старуху. Нет, только сейчас, когда он посмотрел на ее бедную кофту, он вдруг с болью почувствовал, что он не должен был так говорить о ней и что, в сущности, он самая настоящая скотина со всеми своими рассуждениями.

И почему это он не понимает таких вещей сразу? Неужели так с ним будет всю жизнь, он будет говорить и делать глупости, и все кругом

будут видеть, а он сам — только в последнюю очередь?! Кто-то позвонил. Для Зойки еще рано. Наверно, папа. Борис отворил. В дверях стоял Вадька.

— Чего делаешь?— спросил Вадька.

— Да так. Ты проходи, проходи, никого нет.

— А хоть бы и были, мне-то что.

Вадим прошел в переднюю, взглянул на запертую дверь.

— Что, старухину комнату не заняли еще?

— Пока нет.

— Займут,— пообещал Вадька.

— Почему это займут? Мама ходила в домоуправление, телеграмму от него показывала. Его реабилитировали, он возвращается.

— Испугались они вашей телеграммы! Займут, да и все. Вот вселят вам многодетную мамашу, будете тогда знать.

Борис равнодушно пожал плечами.

— Ты сына-то ее помнишь? — спросил Вадька.

— Откуда мне его помнить, мне тогда лет пять было.

— Да-а. Приедет сынок, а жить негде... «Мамаша давно уж в могиле прикрыта сырою землей...» — сказал Вадька.— Слушай, когда он приедет, скажи, чтобы к нам зашел. Может, ему жить негде, пусть к нам переселяется. А тетка — плевать я на нее хотел, на тетку, она мне опекунша, а комната на мое имя. Захочу, так и вовсе выселю ее. Так ты смотри, скажи ему, не забудь. Правда, подвал, да это ничего, еще даже лучше, сердце не испортит по лестницам вашим лазить.

— А тебе-то что до него за дело?

— Значит, есть дело.

Вадька прошелся по коридору, заглянул в одну комнату, в другую и вернулся к Борису, стоявшему у окна.

— Помнишь, у старухи боты пропали? — неожиданно сказал он.

Борис кивнул.

— Ну, подумали на меня. Ведь у нас во дворе, как что у кого случится — Вадим виноват. Ну, начали на меня дело плести. Придумали, чего было и чего не было. А главное — боты. Дворник в милиции показал, что видел, как я на рынке с ботами стоял. Ну, пришли к старухе. А она говорит: ничего я такого не знаю, боты нашлись, они у меня под койкой лежали. Ну, они и умылись.

— Ну и что?— недоумевал Борис.

— А ничего.— Вадька ухмыльнулся. — Только никаких бот у нее под койкой не было. Откуда они могли там быть, когда я их спер.

— Как?!

— Как, как! А вот так. Они тут под вешалкой стояли, я от тебя вышел, вижу, боты беспризорные, ну и прихватил. И на рынке за двадцать монет загнал.

— А почему же... почему она сказала, что нашлись?

— А кто ее знает. Только если бы не она, был бы я сейчас в хорошем месте. А ну, подвинься.— Он подтолкнул плечом Борьку и стал у окна рядом с ним.

Во дворе не было ни души. Только в воротах стоял какой-то незнакомый человек и внимательно оглядывал двор. Потом поднял голову и долго смотрел вверх. Борису показалось, что незнакомец разглядывает именно их окно, но тот, кажется, не заметил ни его, ни Вадьки, надвинул кепку и пошел по двору.

Борис всматривался в этого человека и сверху различал только широкие костистые плечи и руки, которые двигались мерно, как будто шел человек в строю.

Человек с вещевым мешком еще раз оглядел окна третьего этажа и, ни у кого не спрашивая дороги, вошел в подъезд.

В передней прозвенел звонок.

Борис побежал отворять двери.

На пороге стоял большой человек в выгоревшей телогрейке, тот самый.

— Добрый день,— поздоровался он. Опустил вещевой мешок рядом с собой. Обвел глазами переднюю.— Телефон,— сказал он.— Давно телефон поставили?

— Н-не помню... не знаю... По-моему, он всегда тут стоял.

Незнакомец посмотрел на Бориса рассеянным и в то же время странно пристальным взглядом.

— А вы, насколько я понимаю,— молодой Башкиров... Та-ак.— Он снова оглядел все вокруг, и глаза его остановились на двери в конце коридора, рядом с которой висела старая клетчатая кофта.

— А что, комната... вот эта... не занята?

— Нет,— поспешно сказал Борис.— Я сейчас ключ принесу... Одну минуту.

Борис вернулся с ключом и отпер комнату.

Хотя после того, как похоронили Веру Даниловну, прошло уже несколько дней и мама здесь убрала, вымыла и вычистила, Борису казалось, что все тут хранит след одинокой жизни, медленно и печально проходившей в этих стенах: и это старое кресло с продавленным сиденьем, на которое теперь был надет накрахмаленный чехол, и эта кровать, застеленная свежевыстиранным одеялом, и низенькая скамеечка для ног, и вытертый коврик у порога...

«Если я так вижу эту комнату, если мне так печально и нехорошо, как же он? — со страхом и жалостью подумал Борис.— Нет, нельзя ему сейчас тут!.. Я должен что-то сделать, что-то сказать. Может, позвать его к нам?..»

Борис робко взглянул в лицо приезжему. Но, так и не решившись ничего сказать, вышел из комнаты.

В передней стоял папа.

— Где чемодан, Боря? В моем распоряжении...— Он взглянул на часы.— Беда, опаздываю! А почему дверь открыта? Ты что, меня ждал?

— Да... то есть нет,— сказал Борис и добавил почему-то шепотом: — Приехал сын Веры Даниловны. Только что. Он там.— Борис показал в конец коридора.

Отец стремительно двинулся по коридору и — остановился. На лице у него появилось не знакомое Борису выражение робости. Наверно, папе, так же как и ему, страшно жалко этого человека, и так же, как Борис, папа не знает, что нужно сейчас делать.

— Ты думаешь, ему лучше одному?— спросил Борис опять шепотом, как будто тот за закрытой дверью мог услышать.

— Не знаю,— в растерянности сказал отец.— Возможно...

Они постояли так рядом, глядя на закрытую дверь.

— А когда поезд?— вдруг спохватился Борис.

— Да, да, идем.

Борис побежал за чемоданом. И тут только заметил Вадьку, стоявшего в передней.

— Вы идите,— сказал Вадим,— а я тут побуду, может ему чего надо будет.

4

Зойка собиралась на вечер. Это был традиционный вечер, какие бывают во многих школах. О нем объявлялось по радио: «Окончившие школу номер такой-то и учителя приглашаются на вечер...» На вечер приглашались не только те, кто окончил школу, но и те, кто еще учился там. Конечно, не все. Но их с Кирой пригласили.

Приглашение по радио относилось и к Борису: он тоже учился в этой школе и окончил ее. Борис вытащил две свои парадные рубашки. Сначала надел стальную с темно-красным галстуком, потом — голубую в мелкую клеточку, потом — снова стальную. Потом лег в этой стальной на диван и сказал, что он никуда не идет и идти не собирался.

— Не выдумывай,— сказала мать,— как это не собирался, полчаса рубашки примерял!

Борис не ответил.

— Ну почему тебе не пойти, скажи, пожалуйста? Может, ты стесняешься, что в институт не попал, так...

— Мама!— шепотом сказала Зойка и посмотрела на нее большими глазами.

— Ну что — мама? Что ты мне подмигиваешь? Ничего я у вас не понимаю,— вздохнув, сказала мать и вышла из комнаты.

Зойка в новом синем платье с клетчатым бантом постояла у двери, глядя на Бориса, лежавшего на диване с книгой в руках.

— Так я пошла?— вопросительно сказала Зойка.

Борис не ответил. Зойка тихонько вышла из комнаты.

Борис отшвырнул книгу, встал с дивана и закрыл дверь на крючок. Вот так будет лучше, а то взяли манеру торчать у него в комнате! Но и с закрытой дверью лучше почему-то не стало. Как все надоело — и эта комната, и диван, и тощая рябина за окном... Борис поднял упавшую книгу, из нее вылетел листок бумаги. Это был листок, который он еще в августе вырвал из блокнота, чтобы записать на нем программу своей новой жизни. «Подъем в шесть часов»— чепуха, зачем? «Музей охраны труда»— чушь. «С девяти до четырех — работа в читальне» — какая работа? Ерунда. Все чушь и ерунда, никому не нужная. Он смахнул листок со стола; кружась и покачиваясь, листок опустился в корзину для бумаг, стоявшую под столом. Вот там тебе и место.

А все-таки, если подумать, так ни черта он не стоит. Ведь кое-что в этом листке было и толковое. Английский язык, например, или исторические записки. Давно ведь мог начать... Да что там говорить, он даже в райком не собрался. Эти жулики из магазина небось радуются: напали на трепача — накричал, наорал и ничего не добился, валяйте, воруйте дальше...

Что же делать? Нет, в самом деле, что же ему делать? Не сейчас — вообще. Готовиться к экзаменам? Но это идиотство, сейчас, в октябре, думать об августе. Поступать на работу? А что он умеет делать?!

Он включил радио. Оркестр играл что-то медленное, танцевальное. В школе сейчас все в полном разгаре. Все, конечно, уже собрались. По залу расхаживает благостный Платон Иванович, рассылая направо и налево свои улыбки. Но какое ему дело до них до всех? Не хочет он о них думать...

Нет, все-таки паршиво, паршиво, что там ни говори. Ни черта он не стоит вместе со всеми своими прекрасными планами. Даже в райком не пошел, и эти сволочи из магазина хихикают и потирают руки...

А в школе о нем никто и не вспомнит. Разве только Зойка. Небось и сейчас шепчется о нем со своей Кирой...

...Но нет. Борис ошибался. В эту минуту его сестра о нем не думала. И вообще трудно было определить, о чем она думала. Она смотрела сияющими глазами на все, что было вокруг: на белые стены зала, в котором зажгли все лампы, на сцену, украшенную зелеными гирляндами, на нарядных, совсем не таких, как обычно, учителей, и ей было удивительно, необыкновенно хорошо. Это началось еще внизу, в раздевалке. Она быстро сняла пальто и стояла, нетерпеливо постукивая кулачком по барьеру, ожидая, когда нянечка даст ей номерок, и вдруг почувствовала, что на нее смотрят. Она взглянула мельком, может быть полсекунды длился ее взгляд, но она заметила все: и необычайную долговязость смотревшего на нее юноши, и его кожаную курточку с меховым воротником, и фотоаппарат на узеньком ремешке, висевшем через плечо, и — главное — то простодушное, восхищенное удивление, с которым он на нее смотрел. Зойка не спеша взяла номерок и подошла к зеркалу; бант сидел отлично, но она все-таки поправила его и постояла немножко, ожидая чего-то. Ничего не последовало. «Ну, как хочешь»,— сказала она про себя и как-то неожиданно для себя, потому что сама не знала, что, собственно, означало это «как хочешь». Она повернулась, чтобы идти, но ее остановил незнакомый голос.

— Простите, пожалуйста, вы... вы не могли бы провести меня к директору? Дело в том...

— Нет,— сказала Зойка,— не могу.

Почему она так ответила ему? Почему она решила, что ему можно и нужно ответить именно так? Этого она сама не знала. С детства ее учили, что надо быть вежливой, она и была вежливой, но почему-то этому долговязому ей захотелось ответить вот так невежливо, и она с удовольствием заметила, как он растерялся и стал бормотать какие-то извинения. Она ничего на эти извинения не ответила, словно и не слыхала их. Повернулась и побежала наверх, постукивая каблучками по каменной лестнице, не оглядываясь и чувствуя себя легкой, тоненькой — именно такой, как надо.

А сверху уже неслись звуки оркестра. Не радиолы, не магнитофона, а именно оркестра, живого оркестра, который шефы — военная академия — всегда присылали к ним в школу на все торжества. «Ну что за шефы у нас замечательные,— подумала Зойка.— И как жалко, что когда-нибудь я буду приходить сюда вот как эта...» У колонны стояла седоватая женщина в темном костюме, бывшая ученица их школы. «Нет, такой я никогда не буду. А какой? Не знаю. Не хочу знать, хочу, чтобы всегда — как сегодня...»

Оркестр был чудесный. Да, оркестр это совсем не то, что радиола! Когда видишь, как блестят эти медные тарелки, и этого трубача, который дует и дует в свою трубу, и толстого барабанщика, изо всех сил колотящего по тугой коже, и дирижера в военной форме, который только и думает о том, чтобы тебе было прекрасно и хорошо, тогда понимаешь: нет ничего на свете лучше военного оркестра. Дирижер добился своего: Зойке было отлично. И когда оркестр замолчал и началась торжественная часть, все равно все оставалось замечательным.

Зал был полон. В президиуме сидели учителя и те из гостей, которые добились чего-то в жизни. «Может быть, и мы с Кирой будем когда-нибудь там сидеть?— подумала Зойка.— Я и она, обе в темных костюмах и в белых кофточках. И все будут смотреть на нас и думать: а что сделали эти двое? И будут завидовать нам. Это тоже хорошо: ты сидишь, а тебе завидуют. Но так, как сейчас, все-таки лучше. Ах, учиться бы и учиться и никогда не кончать школу»,— думала она, забыв о том, как еще вчера, перед контрольной, она мечтала только об одном: поскорей бы окончить

школу и никогда больше сюда не приходить. Сейчас все было иначе, и, если бы в эту минуту она вспомнила о своих вчерашних мыслях, она просто не поверила бы, что могла так думать.

Торжественная часть окончилась. Снова заиграл оркестр. Пожилые ученики пошли осматривать кабинеты, самые пожилые — в кабинет к директору. Ну, а остальные — танцевать. Зойку сразу же пригласили, и она радостно вошла в круг, думая лишь об одном: только бы они не переставали играть, только бы они не устали — эти трубачи и барабанщики, а она может кружиться тут хоть всю ночь.

И неслась, неслась музыка, и неслась, неслась Зойка, летела, кружилась, и все было необыкновенно. А то, что где-то там, у стены, в толпе, стоял длинноногий юноша с лейкой через плечо и следил за ней растерянными глазами (она не видела его, но знала: следит, следит!), это почему-то делало все окружающее еще удивительней, еще таинственней и прекрасней.

Последние движения, медленные, замирающие, и оркестр умолк. Зойка вздохнула и пошла искать Киру.

Кира не танцевала. Многие девочки не танцевали: их не приглашали. Они стояли вдоль стены, перешептывались, пересмеивались, делали веселые лица — словом, изо всех сил старались показать, что им отлично тут, у стенки, и они ни капельки не завидуют тем, кто кружится по залу под звуки военного оркестра.

Кира не разговаривала и не смеялась. Она стояла немножко поодаль, одна, прислонившись к стене и слегка запрокинув голову. И видно было, что она стоит так потому, что хочет стоять, и, если бы не хотела, она бы не стояла, а танцевала бы или ушла. И неподалеку от нее высился унылый юноша, глаза его слегка косили, и этими косящими печальными глазами он смотрел на высокую девушку в светлом платье, которая не думала о нем, а думала о чем-то своем, важном и немного грустном, запрокинув голову с двумя темными косами, спокойно и легко лежащими на ее груди.

Зойка подошла к ней, розовая, с растрепавшимися волосами, и остановилась.

— Кира, ты красавица!

Кира усмехнулась и перекинула косы за плечи.

— Нет, правда, Кира. Вот есть хорошенькие...— Зоя поправила кудрявые волосы.— Но ты... знаешь, ты какая? Вот раньше на балах, в каком-нибудь дворянском собрании... Не смейся, пожалуйста. Я серьезно...

Зойка вдруг умолкла, лицо ее стало озабоченным, она беспокойно обежала глазами разноцветную движущуюся толпу, потом, видимо, найдя то, что ей было нужно, отвернулась и стала рассматривать портрет Чернышевского на стене.

— Кира,— сказала она, не отрывая глаз от Чернышевского,— ты видишь там, возле стенгазеты, такого длинного, с лейкой? Он сюда идет?

— По-моему, сюда. А что?

— Так,— загадочно ответила Зойка.

Длинный юноша пробирался сюда. Он вытащил зачем-то блокнот и по пути останавливал то того, то другого. Вот подошел к печальному Рыбникову, спросил что-то, тот покачал головой.

Зойка продолжала рассматривать портрет. И он обратился не к ней, такой серьезной и занятой, а к Кире.

— Я корреспондент Радиокомитета. Мне нужно записать... верней, узнать, о чем думают... ну, мечтают выпускники средней школы. У нас готовится передача «Мечта молодых»... Вот мне и надо... верней, я хотел узнать... потом записать на пленку. В общем...— Он запнулся и замолчал.

— Зоя,— спросила Кира,— о чем мы мечтаем?

— Мою мечту нельзя записать на пленку,— сказала Зойка, мельком взглянув на корреспондента и снова обращаясь к Чернышевскому.

— Почему?— робко спросил он.

— Потому что,— начала она, не задумываясь, хотя еще не знала, что скажет дальше, но в это время к ним подошел коренастый летчик, он окончил их школу три года назад.

— Кира,— сказал летчик,— тур вальса с бывшим вожатым.

— Ой, Володя, что-то не хочется.

— Иди, иди,— сказала Зойка,— танцует лучше всех и не хочет.

Кира с летчиком вышли в круг первыми.

— Вы сказали...— начал долговязый.

— Смотрите,— перебила его Зойка.

Кирина рука свободно лежала на широком плече летчика. Лицо у нее было задумчивое, и видно было, что мысли ее далеки от этого зала и она не замечает, что на нее смотрят. И казалось, никогда не училась она тому, какие движения надо делать ногами, как держать руки,— она двигалась так, а не иначе потому, что так было для нее естественно. И казалось, что иначе и нельзя — все другое будет хуже.

А оркестр играл что-то тихое, медленное. Все, что перед тем отчаянно и радостно гремело, умолкло: молчал большой барабан, беззвучно поблескивали медные тарелки, и огромная сверкающая труба отдыхала, свернувшись в кольцо. Только маленькие трубы и флейты протяжно рассказывали какую-то свою милую и немножко печальную историю. И под эту тихую историю кружилась задумчивая Кира с бравым летчиком, тоже как будто притихшим и задумавшимся.

— Такая наша Кира,— сказал Зойка.— Танцует лучше всех, учится лучше всех и вообще — лучше всех.

Зойка на самом деле считала, что ее подруга лучше всех, и всегда сердилась, если кто-нибудь с ней не соглашался... И не удивительно ли, что сейчас ее как будто совсем не огорчило то, что в ответ на ее слова длинноногий корреспондент только рассеянно пожал плечами.

— Вы сказали,— снова начал он,— что вашу мечту нельзя записать.— Он робко взглянул на нее.— Почему?

— Потому что...— Она секунду помедлила, потом выпалила, не задумываясь: — Потому что мечты записываются только в сердце.

Зойка сказала и тут же испугалась. Она сама не знала, откуда взялась и как выскочила эта высокопарная фраза и что, собственно, она означает. «Записываются в сердце,— повторила Зойка про себя.— Ой, чепуха какая!..»

Она с опаской взглянула на юношу. Лицо у него было напряженное. Наверно, он обдумывает ее нелепые слова и сейчас скажет, что она сморозила страшную чушь...

— Знаете,— промолвил он наконец,— вы замечательно сказали. Мне это никогда не приходило в голову. Просто замечательно.

Зойка легко вздохнула.

Оркестр умолк. Летчик довел Киру до прежнего места и вопросительно посмотрел на нее.

— Нет, Володя, спасибо, больше не хочется.

Зоя счастливыми глазами смотрела вокруг. И вдруг померк для нее сияющий зал. Она даже сразу не поняла, что произошло,— сюда шел Филонов, студент университета Филонов, в своих узких брючках и с гладенькой прической. Он аккуратно поклонился и прошел мимо.

— Так Борьку жалко,— шепнула Зоя Кире.— Сидит там один.

Кира кивнула.

— Может быть, тебе надо было остаться с ним?

— Не знаю,— жалобно сказала Зойка,— я сначала думала остаться, а потом так захотелось сюда.

— Я бы осталась,— грустно и твердо сказала Кира.

Оркестр, намолчавшись, заиграл что-то новое, быстрое.

— Можно? — спросил корреспондент, робко занося руку.

Зойка печально вздохнула и положила руку на его плечо.

...А Борис в это время сидел в просторной комнате возле большого стола, накрытого зеленым сукном. Перед ним за меньшим столом сидел человек в мешковатом новом костюме, секретарь райкома товарищ Павлов, как было написано на дощечке, прикрепленной к двери.

Борис уже сказал все, что хотел сказать: о старухе, которую обвесили, о заведующем магазином, который не захотел с ним разговаривать, о жалобной книге, которую он с трудом выцарапал у кассирши... Теперь он хмуро ждал, что ему ответят.

Секретарь райкома записывал адрес магазина.

— Та-ак. А теперь ты мне вот что скажи, только по совести: что тебе свербит — то, что бабку обвесили, или, может, что тебя оттуда, как кутенка, вышвырнули?

— Это тоже,— угрюмо сказал Борис.— Не очень-то приятно, когда тебя берут за рукав и фактически выставляют из помещения. Но не в этом дело.

— Значит, бабку пожалел?

— Нет,— сказал Борис резко.— То есть мне ее отчасти жалко, хотя в общем, конечно, ерунда, двадцать граммов... Но дело не в этом.

— А в чем же? — Секретарь смотрел на Бориса с интересом.

Борису вдруг стало страшно жарко и как-то тесно. Слова, еще не сказанные, столпились в горле, как будто хотели вырваться все сразу. Он уже чувствовал, что не сможет сказать как следует, что сейчас начнет заикаться и этот за столом, может, будет смотреть на него с жалостью или даже посмеется над ним... «Ну и пусть,— со злостью сказал про себя Борис.— Если он так — пусть...» Борис глубоко вздохнул.

— К-коммунизма у нас еще нет? — Он остановился.

Секретарь кивнул.

— И всякие мошенники еще встречаются?

Секретарь опять кивнул.

— Так вот. Если мы хотим коммунизма, мы — те, кто не мошенники,— каждый раз, когда видим подлость, пусть маленькую, мы не должны спускать. Ни за что. А когда даже член партии так относится, ничего не выйдет. Он, тот заведующий, он ведь член партии. Так он знаете как? Ну вот дождь идет, неприятно, но что же делать? Так и с воровством этим: конечно, мол, это зло, но что же поделаешь, это неизбежно. Он должен был возмутиться, даже испугаться — у него в магазине жульничают! А он и не подумал, он стал говорить мне, что продавец, наверно, ошибся, торговля, мол, дело сложное... Отлично знал, что никто не ошибся, но его это не трогает...— Борис не мог как следует объяснить свою мысль, он чувствовал, что говорит совсем не так, что секретарь его, наверно, не понимает. И, разозлившись на него и на себя, замолчал.

— Так,— сказал секретарь,— вот, значит, что тебе свербит...

— Он, этот заведующий,— перебил его вдруг Борис,— да и все они там... они смотрели на меня, как на дурачка какого-то...— Борис внезапно смолк и исподлобья поглядел на сидящего перед ним человека с большими тяжелыми руками, державшими вечную ручку,— она казалась игрушечной в этих руках.

— Ну, это ты, брат, меньше всего, кто там что про тебя подумает, это, знаешь, дело десятое. Есть, конечно, такие, что рады каждого

в дурачки записать, с дураками-то оно ведь легче. А ты на это плюй, понятно?

Зазвонил телефон. Секретарь снял трубку и сделал Борису знак подождать. Борис кивнул. Теперь ему было легко, он сказал все, что хотел. Может, не так, как хотел, но все же сказал. Во всяком случае, этот секретарь, кажется, понял все, как надо. Теперь Борис огляделся. Лампа под зеленым абажуром освещала только стол, оставляя в тени всю эту просторную комнату. Мерцали в полутьме золоченые корешки книг и полированные дверцы шкафа с какими-то металлическими полосками, поблескивали узкие планки паркета. Шелковые спинки стульев отливали синим и серебряным. Борис поднял голову — над столом висел портрет Ленина.

Вот если бы так: каждый, прежде чем что-нибудь сделать, подумал — а как бы Ленин на моем месте? И сделал бы так, как Ленин. Пусть что угодно, а он — как Ленин. Тогда многое было бы по-другому. Эта мысль вдруг поразила его своей простотой и ясностью. В самом деле, как просто: только подумай, и ты уже никогда не сделаешь ничего скверного и подлого. Ну, взять хоть меня. Должен был я тогда говорить Платону Ивановичу, что он обыватель? Нет. Это было подло с моей стороны. Во-первых, на самом деле я так не думаю. Я злился на него и перегнул, как это со мной бывает. Вторая подлость была в том, что я сказал это при Антоне, который его не любит. И я радовался, что Антон слышит мои слова...

А тогда, в комитете комсомола, когда я напустился на групорга? Тогда правильно. Хотя я напорол там лишнего, но в основном правильно. Мне могло здорово нагореть, а я все-таки выступил... Да-а, иногда я все-таки правильно делаю. А если бы всегда, во всем, прежде всего подумать — а как Ленин? Вот тогда все было бы у меня и у всех правильно. А он, этот заведующий из магазина? Если бы он всегда примерялся к Ленину? Нет, не станет он, хоть и член партии...

Секретарь райкома кончил говорить по телефону и смотрел на взъерошенного юношу, который сидел против него, задумавшись о чем-то; спутанные волосы падали на лоб, брови были подняты, он смотрел куда-то далеко и думал о чем-то...

— Вот этот заведующий,— медленно сказал Борис,— он член партии. А зачем? Ведь для него главное, чтобы ему самому было хорошо. Он не может, просто не может — для других. И ведь он не один такой, есть еще. Ну зачем же ему быть в партии?

— Ну, это, брат, ты уж больно скоро решаешь. Один раз видел — и готово. А может, он еще не такой?

— Может быть,— уже спокойно согласился Борис.— Но ведь есть такие. Вот у нас, у матери моей, есть родственник, член партии, он бывает у нас, говорит разные там правильные слова. А дома у него всякие полированные и хрустальные штуки, всякие там гарнитуры и люстры... А по-моему, раз ты член партии, у тебя должно быть все самое простое, дешевое и только необходимое.

— Ну, это ты, брат, кажется, загнул. Что ж, по-твоему, нам надо на раскладушках спать и шинелями покрываться? Это, что ли, будет по-коммунистически? Нет, это уж прямая чепуха получается. Мы же эти гарнитуры не в Америке покупаем, сами делаем. Для кого? Для буржуев, что ли? Так нет у нас буржуев. Вот смотри,— он обвел рукой комнату,— обстановочка такая, что хоть послов принимай. По-твоему, тут небось надо бы скамейки некрашеные ставить? Нет, брат, если на этом месте,— он постучал по ручке своего кресла,— коммунист сидит, так ты ему хоть из чистого золота стол ставь — не бойся, не погибнет наше дело.

— Это я понимаю, это я отлично понимаю. Разве я о таких! Я о тех, кто хочет для себя только самое лучшее... Я бы таких...

— Что, из партии исключал бы?

Борис настороженно взглянул на секретаря райкома. Нет, тот смотрел на Бориса без усмешки, разве что с любопытством.

— Когда я был комсомольцем,— сказал секретарь,— лет тридцать назад, мы исключили одного за то, что он носил галстук. Не веришь? Было такое. И в решении записали: за мелкобуржуазность и нэпманские замашки. Сам писал, помню. А ведь дело-то было не в галстуке. Мы главное написать забыли — что он сукин сын был и шкурник...

Опять зазвонил телефон.

— Так о чем мы с тобой говорили? — спросил секретарь, положив трубку.

— Вы о галстуке рассказывали, товарищ Павлов.

— Павлов? — удивился он.— Какой же я Павлов? Павлов дома давно. Я Аристов со станкостроительного, дежурю тут... А ты-то сам откуда? Учишься, наверно?

— Нет.

— Так работаешь?

— Не учусь и не работаю,— угрюмо сказал Борис, вставая.

— Вот это так! Чем же ты занимаешься, слонов гоняешь?

— Да-да. Г-гоняю слонов.

— Постой, чудак человек, куда ты?

Но Борис уже был у двери, он буркнул «до свидания» и ушел.

...Возле их дома, у ворот, стояла Зойка. Рядом с ней — какой-то долговязый в кожаной курточке с меховым воротником.

— Познакомься, Боря,— независимо сказала Зойка,— это корреспондент Радиокомитета.

— Аркадий,— сказал корреспондент, протягивая руку.

— Башкиров,— буркнул Борис.

Они постояли немного молча.

— Давайте пройдемся,— предложил корреспондент,— такой вечер хороший.

Борис поднял голову к небу. Из темной глубины падали мелкие холодные капли. Он пожал плечами.

— Нет уж, я домой.

Зойка постояла секунду, потом кивнула своему новому знакомому и побежала вслед за Борисом. У дверей она оглянулась. Корреспондент все еще стоял в воротах, длинный-длиннющий в своей коротенькой куртке с пышным меховым воротником.

5

Светится зеленый глазок радиоприемника. Низкий голос бубнит что-то неразборчивое. Борис не слушает, но радио не выключает — пусть себе бормочет, может, скажет что-нибудь путное... Вечер еще не наступил, но все небо завалили толстые ватные облака, к самому окну прижался синеватый, разбавленный молоком туман, и в комнате — сумерки.

Мама с отцом собираются в гости. Не успел папа приехать, как его уже тащат к тете Вере... Но вообще это неплохо: по крайней мере никто не будет мешать. Мама хочет, чтобы и он, Борис, пошел вместе с ними, ну, это уж извините; охота было торчать там целый вечер. Во-первых, он занят, а во-вторых, почему это он обязан ходить туда, где ему совсем не интересно! Только потому, что тетя Вера — мамина сестра, Максим

Иванович — ее муж, а Виктор приходится им с Зойкой двоюродным братом?! Чушь. Все эти родственные отношения давно пора отменить. Люди делятся на умных и дураков, на честных и мошенников, на таланты и бездарности... В общем, как угодно, только не на тетушек и племянников и всяких там двоюродных и четвероюродных. Если дурак, так дурак, обыватель, так обыватель, и будь ты хоть трижды родственник, можешь не надеяться, что с тобой будут поддерживать отношения. Во всяком случае, что касается его лично — он не собирается, он в принципе не признает никакой родни. Вот, например, что связывает его с папой? То, что они — отец и сын? Ничего подобного! Они с папой сходятся во взглядах, во всяком случае по основным вопросам, вот и все.

Бормотание из приемника стало явственнее. Борис приглушил звук. Вот так. А теперь он начнет. В конце концов из всего, что он наметил в тот вечер, сидя с Зойкой в кафе, это — самое важное. Все остальное — чепуха... Жалко, что он не начал сразу, сейчас вся эта тетрадь была бы уже исписана.

Борис раскрыл тетрадь в клеенчатой обложке. Как назвать? Платон Иванович говорил, что во все эпохи свидетельство современника оставалось главным документом истории. А что, если так и назвать? Борис подумал немного, потом крупными буквами вывел на первой странице: «Свидетельство современника». Прищурился. Отодвинул тетрадь. Хорошо. Именно свидетельство, и ничего больше. Скупо, точно, правдиво — о самом главном, что он помнит. Жалко, что войны не застал: он был совсем малышом, когда война окончилась...

Борис задумался. С чего начать? Для начала хорошо бы какую-нибудь общую мысль, например об истории, о ее значении. Глупо, что у них в семье нет никаких архивов — ни документов, ни писем, ничего! Какие-то беспечные люди его родители: жили в интереснейшее время и ничего не собирали, а мог бы быть богатый материал, и ему бы сейчас здорово пригодился... Были бы хоть какие-нибудь дедушкины письма. Впрочем, дедушкины — это не так интересно: дедушка родился в эпоху, которая и без того освещена достаточно. Да, пожалуй, и прадедушка. Вот прапрадедушка жил в пушкинское время и наверняка мог оставить после себя что-нибудь исключительно интересное. А прапрапрадедушка? Ну, этот застал, наверно, Ломоносова и Екатерину Вторую... А интересно, прапрапрапрадедушка? Он жил при Петре Великом. А прапрапрапрапра?.. «Постой,— вдруг с удивлением подумал Борис,— а ведь в каждую эпоху жил какой-нибудь мой пра (не знаю, сколько раз «пра») дед, какой-то Башкиров! И при Иване Грозном, и при Елизавете, и при Александре Невском, и при Дмитрии Донском — во все времена ходили по земле мои «пра». И где-то там, в самой глубине, закутанный в звериные шкуры, самый древний Башкиров, который еще не назывался Башкировым и вообще, наверно, никак не назывался, но от которого пошли все мои пра (сто раз «пра») дедушки, мой дед, отец и наконец я! Значит, история — это не просто история страны или народа, это и моя история». Борис усмехнулся: нет, подумать только — пещерный человек по фамилии Башкиров.

Он взял ручку и стал писать быстрым размашистым почерком, совсем не похожим на тот аккуратный, которым была выведена первая строчка.

Он не успел написать и половины страницы, когда в дверь постучали.

— Кто там еще? — сердито крикнул Борис.— Потом.

— К тебе пришли,— сказала Зойка и отворила дверь.

Борис оглянулся. В дверях стоял какой-то долговязый юноша, и Борис не сразу узнал в нем Аркадия Таборко, корреспондента Радиокоми-

тета, с которым несколько дней назад его познакомила Зойка у ворот их дома.

Вот так всегда! Стоит тебе только усесться за стол, как непременно вломятся. Одну Зойку он выставил бы без всяких разговоров, даже не поинтересовавшись, зачем явилась, но что понадобилось от него этой коломенской версте?

Аркадий стоял в дверях, длинный, нескладный, и, даже отчаянно злясь на него, Борис не мог не заметить, что тот страшно сконфужен отчего-то.

— Проходите,— буркнул Борис и захлопнул тетрадь.

Все пять дней, которые прошли с того вечера, когда Аркадий впервые увидел Зою, он не переставал измышлять способы, как сделать так, чтобы встретиться с ней еще раз. Только один раз — о большем он не думал. Ему нужно было просто посмотреть на нее. Увидеть, такая ли она, как ему показалось там, на школьном вечере, и вообще — какая она. Потому что, как это ни странно, он не мог вспомнить ее лицо. Он помнил только то ощущение робости и счастья, которое толкнуло его в сердце, когда в полутемной школьной раздевалке он увидел эту тоненькую кудрявую девочку, и — топот ее каблучков, когда она бежала от него вверх по каменным ступеням, и — страх, что он ее больше не увидит, и — снова счастье, когда он нашел ее кружащейся в сияющем школьном зале... Вот это он помнил. Но какие у нее глаза, нос, губы — этого почему-то вспомнить не мог и страстно хотел увидеть ее один раз. Только один. Может быть, для того, чтобы убедиться, что все, что было в тот вечер, ему показалось...

Самое простое было бы дождаться ее возле школы. Но Аркадий не знал, в какой она смене, а стоять возле школы целый день он, к сожалению, не мог: у него была работа, строгий редактор, который на всякий случай считал всех своих сотрудников лодырями, его товарищ и соперник Валька Пареньков, который всегда стремился обставить его и доказать, что он, Пареньков, более оперативный, чем Таборко... Нет, к великому сожалению, он не мог дежурить возле школы, хотя и пытался. И он придумал другое — прийти к ней домой. Собственно, не к ней, а к ее брату.

Еще в тот вечер, когда он провожал ее домой, она сказала, что у нее есть брат, очень способный, даже талантливый, который по чистой случайности не попал в институт и который, может быть, пошел бы работать, если бы ему предложили что-нибудь исключительно интересное. Вот Аркадий и решил предложить этому талантливому работать у них корреспондентом. Никто не поручал Таборко подыскивать работников для Радиокомитета. Но ведь может быть этот брат еще и не согласится?..

Все получалось очень хорошо, покуда он обдумывал свой план, и когда ехал сюда в трамвае, и даже когда шел по лестнице, но сейчас, стоя перед этим суровым братом, он вдруг почувствовал ужасную робость. А что, если брат догадается, зачем он в действительности пришел к ним в дом, и попросту выставит его отсюда?! Это было бы страшным, непоправимым несчастьем, потому что стоило Аркадию только взглянуть на Зою, когда она стояла в дверях и с каким-то лукавым удивлением слушала, что он бормочет, как он понял: нет, она не такая, какой представлялась ему все эти пять дней. Она в тысячу раз, в миллион раз лучше, и, если он ее больше не увидит, он... он просто не знает, что тогда.

С отчаянием в душе выкладывал он Борису заранее заготовленную речь о том, что такое корреспондент Радиокомитета, боясь даже поднять глаза на Зою, которая стояла в дверях, заложив руки за спину и чертя носком башмака по полу.

— В общем, ничего особенного,— закончил он, не ожидая уже ничего хорошего,— самая обыкновенная работа. Нужны только три вещи: инициатива, быстрота и политическое чутье, как говорит наш редактор.

— Но откуда вы знаете, что все это у меня есть? — хмуря брови, сказал Борис.

«Конец,— с тоской подумал Аркадий.— Теперь конец всему».

— Впрочем,— добавил, подумав Борис,— инициатива и чутье есть у каждого, если он не полный кретин.

— Конечно,— радостно подхватил Аркадий.

— Но, кроме этого, насколько я понимаю, надо уметь писать. А я, собственно, никогда не пробовал.

— Не пробовал! — возмущенно сказала Зойка, перестав чертить носком.— А тот фельетон в новогодней стенгазете! Платон Иванович сказал, что его могли напечатать даже в «Комсомольской правде». Замечательный фельетон. Начинается так: в школу приходит некто...

— Перестань,— поморщился Борис,— ну, кому это интересно.

— Очень интересно,— живо откликнулся Аркадий.— Исключительно. Рассказывайте, пожалуйста.

Но досказать Зое не пришлось: за ее спиной появился отец.

— Ну как, Боря, может, все-таки отправишься с нами? Я, конечно, не настаиваю, но мама считает, что неудобно... Ах, у тебя гости,— сказал он, заметив Аркадия,— ну, это меняет дело.— Он присел на диван.— Не помешаю? Мама одевается, довольно длинная процедура. Посиди и ты, Зоенька, совсем я вас не вижу.

— Я сейчас, папа.

Через несколько минут Зоя вернулась, держа в руках какое-то рукоделие. Она уселась рядом с отцом и принялась работать.

Аркадий украдкой смотрел из своего угла, как она разгладила у себя на коленях серый квадратик ткани с торчащими во все стороны разноцветными нитками, вдела нитку в иголку и, беззвучно шевеля губами, начала считать какие-то клеточки. Тысячу раз видел Аркадий, как вышивает его собственная сестра, и никогда не находил в этом занятии ничего, заслуживающего внимания...

— И что ты вытащила эту ерунду? — вдруг удивился Борис.

Зоя вышивать не любила. Эту подушку она начала вышивать чуть ли не в седьмом классе, когда весь класс вдруг почему-то увлекся вышиванием. Но Зое быстро наскучило это занятие. Подушка валялась где попало, и чуть только она попадалась Зое на глаза, Зоя старалась закинуть ее куда-нибудь подальше, ей даже зевать хотелось, когда она видела эти скучные оранжевые клетки. А вот сегодня вытащила зачем-то. Зачем? Вот на это она, пожалуй, и сама не ответила бы. Вытащила, да и все. И вот сидит вышивает, и, глядя на нее, можно подумать, что она век занимается вышиванием, что это ее любимое дело и что осталась она тут, в этой комнате, только потому, что у нее есть дело. А если кто-нибудь смотрит на нее робкими и радостными глазами, так ведь она этого не видит — она занята...

Борис пожал плечами.

— Тратить время на такую ерунду! И сама ведь говорила, что никогда в жизни...

— Ой, папа,— сказала Зойка, не дав Борису кончить,— опять у тебя галстук криво завязан. Давай я перевяжу.

Отец покорно поднял подбородок. Зойка, сосредоточенно сдвинув брови, развязывала галстук. Отец сидел, немного мешковатый в своем новом костюме, от него пахло одеколоном.

— Ужасно люблю, когда ты такой,— сказала Зойка, копошась у него под подбородком.

— Какой же?

— Ну, такой... круглый такой, пушистый, коричневый... Вот теперь отлично,— сказала она, потрогав тугой узел галстука. Она искоса взглянула на Бориса и снова принялась за свою подушку.

Борис насмешливо посмотрел на нее.

— Я не для себя,— сказала Зойка,— для тети Веры. Тетя Вера любит кошек и вышитые подушки. Она кисло-сладкая. И Виктор тоже. Верно, Борька? Мы с Борисом можем любого человека определить. Только взглянем,— она мельком взглянула на Аркадия,— и готово. Верно, Борис?

Борис сердито передернул плечами. Все-таки она бывает ужасная дура, его сестра. Этот Аркадий может подумать, что они круглые идиоты. Ему, Борису, конечно, все равно, он вообще не обращает внимания на чужое мнение, но — глупо.

Борис не знал, что корреспонденту Радиокомитета Аркадию Таборко ничто уже не может показаться глупым, раз оно исходит от его сестры.

Отец встал.

— Пойду поторопплю маму, а то мы этак и к ночи не выберемся.

Темнело. В смутном свете ранних сумерек Аркадий видел кудрявые Зоины волосы, круглый крутой лобик и быстрые пальцы, делавшие что-то ловкое с серым квадратиком.

— Вот вы сказали,— неуверенно промолвил Аркадий,— что можете определить любого человека.— Он хотел спросить, как бы она определила его самого, но не решился.— Это очень интересно.

Зоя сосредоточенно считала клеточки.

— Глупости,— сказал Борис,— никого мы не определяем.

Тихо чирикало радио, постукивала в окно голая ветка. Хлопнула входная дверь: это ушли отец с матерью.

— Зажечь свет? — спросила Зоя.

Никто не ответил. Борис протянул руку к приемнику, тронул рычажок. Что-то зашипело, застрекотало, потом наступила тишина, и в этой тишине молодой голос задумчиво, как бы вспоминая, пропел:

Мне минуло шестнадцать лет...

Зоя поднялась, чтобы зажечь огонь.

— Постой,— сказал Борис.

Она села.

Я думала, весь белый свет —
Наш луг, поток и поле...

В комнате стало совсем темно, мерцал зеленый глазок, слышался милый голос.

«Голос,— думал Борис,— вот счастье. У тебя голос, и тебе уже не может быть плохо, оно всегда с тобой, это счастье...»

К нам юноша в село пришел,
Кто он, отколь — не знаю...

Притихла Зойка, замер в своем углу Аркадий. Борис уже ни о чем не думал, только слушал. В тишине и темноте они дослушали милую, чуть грустную историю чьей-то первой любви.

...Зачем покинул он меня
И скоро ль возвратится?

Она спросила и замолкла. Но что-то изменилось вокруг, будто голос, звучавший тут только что, не ушел, что-то от него осталось здесь, с ними, в этой комнате.

«Мы передавали концерт солистки Радиокомитета Ларисы Светлановой,— деловито сказал диктор.— Через полминуты слушайте...»

Борис выключил радио. Слушать ничего не хотелось.

«Да, голос,— думал Борис,— вот счастье. Пусть что угодно, а у тебя — голос; что бы то ни было — голос!..»

— Наверно, молодая,— задумчиво сказал он вслух. И тихонько, чтобы не сбить мелодию, пропел: — «Мне минуло шестнадцать лет...»

— Шестнадцать плюс шестнадцать,— сказал Аркадий.— Я ее знаю, эту Светланову.

— Как,— ужаснулась Зойка,— тридцать два?! — Ей стало жалко певицу. Тридцать два — вот ужас! Зачем ей голос, зачем ей все, если тридцать два! Зойке казалось, что после двадцати пяти, ну, двадцати шести все дни должны проходить в горести и печали. О том, что настанет день, и ей самой будет тридцать два, она как-то не тревожилась: до этого было еще далеко, а главное, поверить всерьез, что это когда-нибудь случится, было просто невозможно.

— Неужели тридцать два? — повторила она.

— Что-нибудь в этом роде,— ответил Аркадий.— Между прочим, им всем там по стольку — тридцать, даже сорок, молодежи почти совсем нет.

— А какое это имеет значение? — сказал Борис.— Пусть хоть шестьдесят.

— Нет, я ничего не говорю,— поспешно сказал Аркадий.— Конечно, для искусства возраст не имеет никакого значения. Вот Толстой, например, он написал «Анну Каренину», когда ему чуть не пятьдесят было.

— Ну, Толстой,— сказала Зойка.— Толстой — другое дело... А какая она, Лариса Светланова?

— Да так, ничего особенного, вот только волосы...

— А что волосы? — спросила Зойка и тряхнула кудрявой головой.

Борис не слушал. Туманный образ певицы вставал перед ним в полумраке комнаты — тоненькая, высокая и, конечно, никакие не тридцать два.

Разговор не клеился. Аркадий чувствовал, что надо уходить, дольше сидеть было просто невозможно, надо подняться и уйти. Но как он уйдет, если он не знает, сможет ли прийти сюда еще раз?! Зоя молчала. В темноте он не мог уловить выражения ее лица. Может быть, она морщится от досады, что он все еще торчит здесь? Наконец Аркадий собрался с силами и встал.

Борис поднялся, чтобы открыть ему дверь.

Когда он вернулся, в комнате уже горел свет и все было как всегда. Зойка стояла у окна и смотрела в темноту.

— Не понимаю все-таки,— сказал Борис,— зачем он приходил и почему тянет меня в этот Радиокомитет, ведь он меня совсем не знает.

— А может быть, он вовсе не из-за этого приходил,— сказала Зойка, не оборачиваясь.

— А из-за чего же?!

— Не знаю,— сказала Зойка и улыбнулась в темноту.

— Делать ему нечего,— сказал Борис.— Балда.

— Балда,— легко согласилась Зойка. Весь вечер улыбка бродила у нее по лицу, и с этой рассеянной улыбкой она легла спать.

Борис раскрыл клеенчатую тетрадь. Под аккуратным заглавием бежали торопливые неровные строчки. Он прочитал и удивился. Это были обыкновенные слова. Странно, что мысль, так поразившая его, на бумаге выглядела совсем обычной. Ему даже показалось, что он где-то читал эти слова о том, почему человек должен изучать историю своей страны и своего народа. Куда же девалось открытие, которое он сделал? Борис еще раз посмотрел на тетрадь, удивляясь этому необыкновенному превращению. Потом медленно зачеркнул все, что было написано, и посидел над раскрытой тетрадью, задумчиво покусывая кончик карандаша. Если бы ему не мешали, может быть, все-таки что-нибудь и получилось бы... Еще один бестолковый день.

6

Кто-то отпер дверь своим ключом. Зойка? Нет, у нее сегодня шесть уроков. И не Борис Петрович: он обычно сразу проходит к себе в комнату, не задерживаясь ни на секунду. А этот топчется в коридоре, шаркает ногами, гремит чем-то железным.

Борис вышел из своей комнаты. В передней стоял Вадька. Почему-то с ведром. Вадька только мельком взглянул на Бориса, кивнул ему и прошел в комнату Бориса Петровича.

Мама была очень недовольна тем, что Борис Петрович доверяет Вадиму ключи от всех дверей. Но то, чего она боится,— ерунда; что вспоминать про эти боты, когда это было! Сам Борис думает о другом: что́ Борису Петровичу в этом Вадьке? Что находит в нем интересного? О чем они могут разговаривать?

Украдкой, но с жадным вниманием вглядывался Борис в лицо соседа, стараясь понять, что чувствует, о чем думает этот человек с такой нелегко сложившейся судьбой. Но этот пристальный и вместе рассеянный взгляд, эта складка у губ, говорившая не то об усталости, не то о твердости,— ничего ему не раскрывали.

Почему-то раньше, еще до приезда Бориса Петровича, у Бориса сложилось впечатление, что сосед и папа были когда-то друзьями. Откуда это впечатление, он и сам не знал. Может быть, из-за Веры Даниловны? Отец и мама очень заботились о ней. Мама всегда ходила для нее за покупками. Папа хлопотал о какой-то пенсии... А может быть, потому, что Борис Петрович в первый же день приезда назвал маму просто Валей, а про отца говорил — Дима? Но все это могло быть и между давними соседями.

Давно уже вернулся папа из командировки, а Борис не видел, чтобы они подолгу о чем-нибудь разговаривали. Перекинутся двумя-тремя словами — и все. «Сыграем в шахматы?» — скажет Борис Петрович. «Давай»,— ответит отец. А чаще: «Устал я что-то, отложим...»

Из всех Башкировых Борис Петрович больше всего разговаривал с мамой. Мама заходила к нему в комнату, вместе они ездили на могилу Веры Даниловны. Борис спросил потом у матери, о чем они так долго разговаривали с Борисом Петровичем. «Сирень не принялась,— вздохнула мать.— Уверяли меня в садоводстве, что лучшие кусты подобрали. А я по всему вижу — не принялась. Лучше было акацию взять, а я вокруг всей могилы сирень высадила...»

Однажды Борис услышал голос Бориса Петровича в кухне. Он разговаривал с Зойкой. Борис с нетерпением ожидал, когда они кончат.

— Ну, что он говорил? — с любопытством спросил он у Зойки.

— Да так, ничего особенного. Спросил, куда ведет новая линия метро и как ему лучше доехать до Лужников. И потом — продаются ли теперь телефонные книжки.

— И все?

— И все.

К Борису Петровичу звонили мало и приходили редко. Вот только Вадька. Этот ходит и ходит сюда, чуть ли не каждый день является. И что нашел в нем Борис Петрович?..

— Эй, Борис! Оглох, что ли? Иди-ка сюда.

Борис вскочил и пошел на голос Вадьки. Дверь в комнату Бориса Петровича была открыта. Борис остановился на пороге. Он не был тут давно. Вещи стояли на тех же местах: и кресло, и стол, и диван, и шкаф с волнистым зеркалом, но почему-то раньше было видно, что тут живет старый человек, а сейчас, хотя вещи те же, видно, что хозяин другой. Или ему это кажется?..

— Как думаешь, ничего? — спросил Вадим.

— Что — ничего?

— Вот балда, а пол? Не видишь, что ли?

Борька посмотрел — пол как пол, самый обыкновенный, только мокрый: видно, его только что мыли.

— Тетка хотела прийти вымыть, да ну ее, развезет волынку часа на три, а я раз-раз и готово.— Вадим беспокойно оглядел мокрые квадраты паркета, схватил тряпку, вытер лужицу у шкафа. Наклонил голову к плечу и осмотрел свою работу еще и с этой позиции.

— Слышь, Борька, а как это натирают, чтобы блестел? Вот как у вас.

— Ну, надо мастикой намазать, потом — щеткой.

— А у вас есть мастика эта?

— Наверное, есть. Но сейчас все равно нельзя, надо, чтобы высохло.

Вадька с сожалением посмотрел на мокрый пол.

— Не успеть, Борис Петрович скоро придет. Обещался к пяти. Ладно, в следующий раз натрем.

Он схватил ведро с грязной водой и потащил на кухню. Борис пошел за Вадимом. Стоял, смотрел, как он выливает ведро в раковину, расплескивая воду на пол, как неумело полощет тряпку и выжимает ее, неловко выворачивая кисти рук.

— Слушай, а он что, просил тебя?

— Чего просил?

— Ну, пол вымыть.

— Ну да, просил! — Вадька выжал наконец тряпку и повесил на батарею сушиться.— Он, понимаешь, говорит вчера: что-то домой неохота. Может, говорит, потому, что пыльно, пол не мыт? Ну я и смекнул: надо вымыть... Мы вчера с ним в кино ходили.

Борис с удивлением посмотрел на Вадьку. Вот как, даже в кино!

— ...А потом в ресторан пошли. Не веришь? Ей-богу! В «Асторию». Самый, знаешь, такой, с музыкой... Сели мы с ним за стол. Официант глаза вылупил. Там, понимаешь, оркестр, люстры всякие, а тут...— Вадька оглядел себя и пропел: — «Бродяга я, та-ра-ра-ра». А Борис Петрович говорит: не обращай внимания, это, говорит, они только с виду важные, а так обыкновенные смертные, служащие, и поскольку они служат, пусть они нам и подают. Заказал, и приволокли полный поднос. Суп они, знаешь, в чашки наливают, я сначала думал — чай. Котлеты принесли,

салат какой-то, вроде и не салат — яблоки там. Потом он еще пломбир заказал. Для меня. Сам не ел, только курил... До полпервого сидели.

— До полпервого?! О чем же вы с ним говорили?

— О чем, о чем...— передразнил Вадька.— Мало ли о чем! Я ему про наш двор рассказывал, про себя... Ну, про себя-то особенно нечего... Про футбол.

— А он? Тоже про себя?

— Он? — Вадька задумался. Потом с удивлением сказал: — А знаешь, он вроде ни о чем и не рассказывал. Курил да слушал.— Вадька потрогал тряпку, не высохла ли, и перевернул на другую сторону.— А про меня он знаешь чего говорит? Чтобы на работу устраивался. Хочешь, говорит, на наш завод? Он ведь на тот же завод пошел, где раньше работал. И ты, говорит, к нам поступай, а про наследство свое забудь. А лучше всего — отдай его тетке, небось она тебя на свои кормит, твои бережет... И правда,— задумчиво сказал Вадька,— могла бы и взять, книжка-то на нее, четыре тысячи сто семьдесят рублей, как одна копеечка. А в завещании сказано: передать мне, когда мне восемнадцать стукнет.— Он помолчал, глядя в окно.— А и черт с ними, с деньгами с этими,— вдруг сказал он,— что я, на самом-то деле, капиталист, что ли? На кой они мне, пусть берет. Вот стукнет мне восемнадцать, велю ей все деньги с книжки забрать, сто семьдесят себе возьму, а четыре тысячи ей: на, пользуйся моей добротой...

Вадька взглянул в окно, схватил тряпку и помчался в комнату.

Борис тоже посмотрел в окно — по двору шел Борис Петрович.

Вадька разостлал возле дверей тряпку и побежал открывать дверь.

— А, капиталист,— услышал Борис голос Бориса Петровича,— уже здесь?!

«Ну, теперь Вадька так скоро от него не уйдет. И пусть. Мне-то что!» — подумал Борис и пошел к себе.

Однако на этот раз Вадька ушел быстро. Борис слышал медленные шаги Бориса Петровича, это он ходил запирать за Вадимом дверь. Шаги остановились возле комнаты Бориса. Борис поднял голову, прислушиваясь, почему он тут стоит. В дверь постучали.

— Да,— сказал Борис.

На пороге стоял Борис Петрович.

— Не помешал?

— Нет, нет, что вы,— пробормотал Борис,— пожалуйста. Я ничем особенным не занимался, так просто...

— Нет ли у вас спичек? Я забыл купить, а выходить не хочется.

— Сейчас,— торопливо сказал Борис.— На кухне... у нас спички всегда на кухне...

Борис выбежал из комнаты. Когда он вернулся, Борис Петрович стоял у стола и внимательно рассматривал старую фотографию отца, висевшую на стене. Борис давно повесил ее сюда, ему нравился молодой папа, который исподлобья, доверчиво смотрел отсюда добрыми глазами.

— Здесь мой отец,— сказал Борис,— вот этот, с краю. Ему здесь почти столько же лет, сколько мне сейчас.

Борис Петрович кивнул, взял у Бориса спички, потряс коробкой, потом вытащил портсигар и достал папиросу. Он хотел было закурить, но так и не зажег спичку.

— Вы курите, курите, пожалуйста,— сказал Борис.

— Ну, зачем же дымить в комнате,— ответил Борис Петрович, постукивая папиросой по коробке. Он взглянул на Бориса.— Вадим говорил мне, что вы навещали мою мать.

— Иногда,— быстро сказал Борис.— Очень редко.

— Кажется, вы даже читали ей?

Борис кивнул.

— Наверно, Диккенса?

— Диккенса,— отрывисто сказал Борис.

Борис Петрович собирался еще что-то сказать или спросить, но Борис перебил его:

— Да-да, я читал... Н-но все было не так, как вы, может быть, думаете... П-потому что... Словом, не так.

Борис Петрович внимательно взглянул на Бориса и закурил.

— Я не хотел читать,— сказал Борис, не глядя на Бориса Петровича.— Потому что я не люблю Диккенса... Нет, не потому,— перебил он себя.— То есть я его действительно не люблю, но не потому... Мне просто не хотелось сидеть там.— Он показал подбородком на дверь.— И я старался поскорей... я пропускал целые страницы...

Борису стало жарко, ладони горели, он посмотрел прямо в лицо этому человеку, перед которым он был глубоко, непоправимо виноват. Но как бы то ни было, врать и выкручиваться он не станет. Никто не знает, как он перемахивал через строчки и как стремился поскорей удрать из ее комнаты. Но сам-то он знает! И пусть Борис Петрович презирает его.

— Я тоже пропускал,— неожиданно сказал Борис Петрович.— Иногда даже целые главы. Она не замечала. Моя учительница сказала ей, что для меня почему-то будет очень полезно читать вслух. И вот мать купила Диккенса и уверяла меня, что ее необыкновенно интересует жизнь мистера Домби. Я думаю, она так и не усвоила эту печальную историю, хотя слушала ее дважды,— грустно усмехнулся Борис Петрович.— Но во всяком случае — спасибо тебе.

— Нет,— сказал Борис.— Я должен был не так... я должен был...

Борис Петрович вытащил новую папиросу и закурил.

Борис смотрел, как он шагает по комнате, видимо забыв, что он не у себя. Шагает, останавливается и снова шагает. Борис присел на краешек дивана и молчал, чтобы не мешать ему ходить и думать. Но Борис Петрович вдруг остановился и помахал перед собой рукой, разгоняя дым.

— Ну и накурил же я тут!

— Ничего, ничего,— торопливо сказал Борис.— Это ничего.

Борис Петрович вышел.

Борис остался один, странно взволнованный этим разговором. Вдруг он заметил, что на столе лежат спички. Борис Петрович забыл их тут. Борис схватил коробку и вышел из комнаты. Он поднял руку, чтобы постучать к Борису Петровичу, но так и не постучал. Через дверь были слышны мерные шаги. Борис Петрович шагал по комнате. Останавливался, шагал снова. Борис представил себе его лицо, рассеянное и в то же время странно пристальное, и не решился войти. Он пристроил коробку у ручки двери и на цыпочках отошел.

Вернувшись в комнату, он снял со стены фотографию, которую рассматривал Борис Петрович. Папа стоял с самого края в своей юнгштурмовке, с портупеей через плечо, под мышкой у него была зажата книга. Рядом с ним на траве сидели и стояли такие же молодые, как он, ребята и девушки — комсомольцы тридцатых годов. Внизу была неясная подпись: «Комсомольцы Краснопресненского райо...» Дальше букв не было, как будто край фотографии был отрезан. Борис в первый раз обратил на это внимание. Он вытащил карточку из рамки, фотография и в самом деле была обрезана; у папы не хватало половины руки, девушка, сидевшая на траве, была обрезана по плечо, с края не было бе-

лой полоски, которая окаймляла фотографию. Ее срезали вместе с теми, которые стояли тут рядом со всеми, на этом воскреснике, и память о которых почему-то не хотели сохранить.

7

Аркадий теперь даже вспомнить не мог, какая жизнь была раньше. Ну, ходил на работу, старался во что бы то ни стало обштопать Вальку Паренькова и первым добыть информацию для «Последних известий»; ну, доставал билеты на стадион, радовался, когда проигрывал «Спартак», горевал, когда вбивали гол «Динамо»; по вечерам ходил в кино, а то заваливался на диван с «Тремя мушкетерами»... Но то был как будто не он, а какой-то другой Аркадий, и то, что тому Аркадию казалось важным, этому представлялось такой чепухой, о которой и думать не стоило. Ну, какое имело значение, кто первым достанет информацию о митинге на «Шарике» — он или Пареньков, если Зоя согласилась пойти с ним на вечер! И можно ли было всерьез огорчаться из-за того, что вратарь «Динамо» пропустил в свои ворота два мяча подряд, если она вчера сказала такую загадочную фразу: «Если человек хочет нравиться, он не должен хотеть нравиться». Над этими словами можно было размышлять целые сутки. Во-первых, человек — что это означает, вообще человек или он, Аркадий? Во-вторых, означает ли это, что он ей нравится или, наоборот, что только хочет понравиться? В-третьих, почему все-таки он не должен хотеть ей нравиться и как сделать, чтобы она не заметила, что он все-таки хочет? В-четвертых... в-пятых... в-десятых... Он так глубоко погружался в размышления, что Пареньков, бесстыдно пользующийся его беспомощным состоянием, выхватывал у него из-под носа самые интересные задания, и он даже не замечал этого.

Нет, покоя в жизни не было! Это раньше все зависело более или менее от него самого. Теперь нет, шалишь, кончилась вольная жизнь. Теперь, если даже сию минуту ему и было хорошо, он с беспокойством ждал, что будет дальше. А уж этого никак нельзя было знать заранее. Если накануне вечером Зоя не выдернула у него своей руки и он целый квартал вел ее под локоть, то на следующий день в телефонной трубке раздавался такой холодный, каменный голосок, что жизнь теряла всякий смысл.

Вот и сейчас. Ведь только вчера она сказала, что пойдет с ним на вечер и даже посоветовала, какой надеть галстук. А сегодня держит себя так, будто и разговора никакого не было. Сидит, прилежно склонив голову над тетрадкой, и даже не оборачивается, он видит только ее кудрявый затылок.

— Ну почему,— говорит он в отчаянии,— ведь ты сказала, что пойдешь?!

— Вы ошибаетесь: я сказала — может быть.

У него заныло сердце — опять «вы».

— Но, Зоя...

— Неужели вы не понимаете, человек занят, у него уроки.

Конечно, он мог бы ей сказать, что уроки не сию минуту свалились к ней на голову, она знала о них и вчера, и позавчера, и месяц назад... Но это мог сказать тот, прежний Аркадий, который получал удовольствие от «Трех мушкетеров» и приходил в ярость оттого, что ему достался билет не на западную, а на восточную трибуну. Этот мог только страдать и мучиться. Он смотрел на ее кудрявую головку, на прямые плечики под коричневым форменным платьем, и ему хотелось плакать.

Она продолжала что-то писать, заглядывая в книгу.

Аркадий присел на стул около двери, даже не расстегнув куртки, и ждал, сам не зная чего,— он уже ни на что не надеялся.

— А когда начало? — спросила она, не оборачиваясь.

— В восемь,— встрепенулся он.

— Вы опоздаете.

Он встал.

Зоя оглянулась.

— Скоро должен прийти Борис, может быть он пойдет с вами.

Он сел.

Когда пришел Борис, Аркадий все еще сидел у дверей. Зойка прилежно решала задачу.

— Что случилось? — спросил Борис, поглядев на обоих.— Насколько мне известно, вы собирались на вечер.

— Я не могу,— примерным голосом сказала Зойка,— уроки.

Но она могла провести кого угодно, только не Бориса.

— Правильно,— сказал Борис слегка в нос.— Никаких вечеров. Абсолютно. Исключительно. Очень. Очень.

— Пожалуйста,— поспешно сказала Зойка,— не знаешь, так не говори. Нам сейчас столько задают, просто ужас!

— А я о чем? Правильно. Абсолютно. Бесперебойно.

Зойка искоса взглянула на Аркадия. Нет, он ничего не понял, сидел у дверей такой же унылый. И быстро, чтобы Борис не успел вставить еще чего-нибудь, она сказала:

— Аркадий приглашает тебя на вечер.

— В самом деле, Борис,— сказал Аркадий без воодушевления,— хороший вечер будет, лучшие силы.

«Пойти, что ли? — подумал Борис.— Все равно делать нечего».

— Слушай, Зойка, а почему ты все-таки не идешь?

— Ну что ты, Борис, скоро конец четверти, разве я могу...

— Совершенно верно. Не можешь. Прекрасно...

Она не дала ему кончить.

— У тебя, наверно, нет чистого платка, я принесу.— И выбежала из комнаты.

На первое отделение они опоздали. Публика уже выходила из зала и растекалась по фойе. Борис с Аркадием вступили в пестрый круг людей и пошли вместе со всеми.

Борис сам не ожидал, что его так взбудоражит эта праздничная толпа, яркий свет, блеск люстр, запах духов. Он шел, глубоко засунув руки в карманы и жадно оглядываясь вокруг.

Аркадий шагал рядом, опустив голову. Он все еще не мог опомниться. Как ни привык он к своенравным Зоиным поступкам, каждый раз они его ошеломляли и он долго не мог оправиться. Только постепенно он начинал приходить в себя, природный оптимизм брал верх, и, воспрянув духом, он с надеждой говорил себе: «А может быть, еще не так плохо?» Но сейчас такая минута еще не настала, и он шел, понурив голову и не замечая ни этой оживленной толпы, ни сияния электрических огней, ни веселого гомона... «Может, позвонить ей завтра утром? Нет, утром не надо, утром почему-то всегда хуже...»

— А что во втором отделении? — перебил его мысли Борис.

— Не знаю,— рассеянно ответил Аркадий, мельком взглянув на Бориса. «А ведь они похожи,— вдруг заметил он.— Такой же нос короткий, только у нее тоньше; такие же брови, темные и длинные... Вот что! Мне надо поговорить с ним. Незаметно навести его на разговор и обо всем расспросить, как она ко мне и — вообще. Он брат, он должен знать...»

Аркадий повеселел и стал понемногу возвращаться к жизни.

— Смотри, Борис, вон идет Светланова.

— Светланова? К-как Светланова?! Г-где?

— Да вот же прямо на нас идет; видишь, под руку с лохматым. Это дирижер Алимов.

С того вечера, когда Борис по радио слушал Светланову, он не раз ловил ее нежный небольшой голосок. Ему нравилось потушить свет в комнате и слушать, как она выговаривает, как будто ему одному, свои милые и всегда немножко грустные слова. Она представлялась ему высокой, темноволосой, тоненькой, с усталым, грустным лицом...

Маленькая женщина с очень светлыми кудрявыми волосами шла ему навстречу. Она, смеясь, говорила что-то очень быстро своему спутнику, дергая его за руку и подняв голову, чтобы видеть его: он возвышался рядом, как колокольня. Борис смотрел на артистку во все глаза... «Настоящая Светланова,— думал он.— Волосы, глаза, даже платье — все светлое. А этот, рядом, кто он ей?»

— Слушай, а кто этот с ней?

— Так я ж тебе говорю: Алимов, дирижер, слыхал, наверно?

Борис кивнул. «Оркестр под управлением Алимова» — да, он слыхал.

— Слушай, Борис, а хочешь, я тебя с ней познакомлю?

— Т-ты с ума сошел!

— А что такого. Она меня знает. Мы с ней один раз вместе вечер организовывали в подшефной школе. Я даже у нее дома был.

И Аркадий потащил Бориса к Светлановой. Борис даже как-то оглох от волнения и не слыхал, что говорит Аркадий.

— ...Простить себе не можем,— вдруг дошло до него.— Пропустили ваше выступление. Мы в отчаянии, особенно он.— И Аркадий подтолкнул Бориса вперед.— Это ваш поклонник, он обожает ваше пение... Так мчался, чуть было под трамвай не попал.

Светланова с улыбкой посмотрела на Бориса, потом на своего спутника, приглашая и его взглянуть на чудака, чуть не попавшего из-за нее под трамвай. Но дирижер смотрел куда-то поверх всех и не слушал.

— Вот,— закончил Аркадий,— он чуть было голову себе не сломал.

— И была бы напрасная жертва,— смеясь и блестя очень белыми зубами, сказала Светланова,— я выступаю во втором отделении.

Она хотела сказать что-то еще, но лохматый дирижер слегка подвинул ее, и она пошла, увлекаемая им, обернувшись к юношам, улыбаясь и кивая.

— Эт-то свинство! — яростно сказал Борис, когда Светланова скрылась.

— Что такое? Почему?! — опешил Аркадий.

— Как ты смел так говорить... так пошло, так отвратительно! «Поклонник», «обожает»... Гадость какая!

— Да что с тобой, в самом деле? Ей-богу, ничего не понимаю, я ведь для тебя... Я думал, ты будешь рад.

— Я не идиот,— резко сказал Борис.

«Что он, с ума сошел? — разозлился Аркадий.— Для него стараешься, а он бросается, как собака, обзывает свиньей неизвестно за что. А сам!..»

— А ты сам? Пусть я сказал что-нибудь не так, хотя, по-моему, ничего особенного, а ты? Она тебе руку протягивает, а ты засунул руки в карманы и смотришь на нее так, как будто она тебя укусить хочет. Это как, по-твоему?

— К-как в карманы?— растерялся Борис.— Разве в карманы?.. Ну, а она что?

— А что ей оставалось делать? Видит, что имеет дело с невежей, она и опустила руку.

— Нет, в самом деле?!

Аркадий взглянул на смущенное, растерянное Борькино лицо. Такое лицо бывало иногда у Зои, очень редко, правда... Но как они похожи!

— Да ладно,— сказал он,— подумаешь, беда какая. Она, может, и не заметила.

— Нет, наверно, заметила,— мрачно сказал Борис.— Ведь ты же заметил.

— Ну, мало ли, что я. А ты разве не видел, как она оборачивалась и улыбалась? А раз улыбалась, значит не заметила.

— Да? Улыбалась? Ты хорошо видел?

Прозвенел звонок. Начиналось второе отделение.

— И что ты говорил, будто ей тридцать,— сказал Борис, когда они уселись на свои места.— Никакие не тридцать.

— А ты посмотри получше. Даже больше.

— Чепуха. Она как наша Зойка.

— Как Зоя?! — поразился Аркадий.— Странно, что ты даже сравниваешь. Зоя...

Но тут на сцену вышел конферансье, и пришлось замолчать.

Борис рассеянно слушал художественное чтение, безо всякого интереса следил за акробатическими номерами и как-то пропустил мимо ушей выступление тенора. Он ждал Светланову.

Совсем молодая, она подошла к роялю и, сложив руки перед грудью, запела неаполитанскую песню...

После Светлановой выступали еще многие, но Борис почти не слушал, он все старался вспомнить мелодию. «Нет, нет, мой друг, ни за что...» Мелодия ускользала.

Покуда они сидели в зале, на землю пришла зима. Когда они три часа назад шли по этим улицам, тротуары были мокрые, мостовые блестели от дождя. И вот, пожалуйста, все кругом бело, а снежок так и сыплет. Ветер подхватывает его и несет под фонари и кружит там в желтом свете, словно для того, чтобы прохожие могли как следует разглядеть его и убедиться — зима, зима!

— Послушай,— сказал наконец Аркадий. Он долго думал, с чего бы ему начать, но, так и не придумав, решил спросить напрямик.— Послушай, как ты считаешь, твоя сестра действительно...

— Постой,— перебил его Борис, он наконец поймал начало.— «Нет, нет, мой друг, ни за что...» — пропел он. — Так?

— Что — так?

— Ну, эта песня, которую она пела.

— А-а,— протянул Аркадий. Он не слушал Светланову и даже не заметил, что там она пела.— Кажется, так.

— Никак не мог вспомнить. Постой,— опять остановил Борис Аркадия, собиравшегося что-то сказать, и пропел еще раз первую фразу, и вдруг сама собой потянулась следующая; он осторожно спел и тихонько попробовал, а как там дальше выйдет. Вышло! Он с наслаждением допел до конца и начал снова. Он знал — всегда так бывает: сначала наслаждаешься новой мелодией, и кажется, что она всегда будет нести с собой эту радость. Потом привыкаешь, и она становится в ряд с другими, давно знакомыми, и ничего уже не находишь в ней прелестного и необычайного. Но сейчас она сияла необыкновенной свежестью и новизной, эта милая песенка, с которой связывалось воспоминание о пушистых волосах, светлых глазах и ласковой улыбке... А ведь она действительно улыбалась.

Значит, не заметила, что руки в карманах. А если и заметила, то не обиделась, иначе зачем стала бы улыбаться! Аркадий прав.

Аркадий шагал рядом, подняв воротник.

— Послушай, Борис,— начал он снова,— как по-твоему, что должна означать такая фраза: «Если человек хочет нравиться, он не должен хотеть нравиться»?

— Как?— переспросил Борис и снова спел начало, начало было лучше всего.

Аркадий повторил.

— Чушь какая-то,— сказал Борис.— Ничего не означает, просто чушь. «Если человек хочет нравиться, он не должен нравиться»? Чушь.

— «Не должен хотеть нравиться»,— поправил Аркадий.

— Все равно чепуха... Скажи, а тот высокий, лохматый, он что, муж ее?

— Да нет, наверно, просто так,— рассеянно ответил Аркадий.

— Как это — просто так?

— Ну, любовник, что ли.

— Как?!— Борис даже приостановился.

Аркадий продолжал шагать вперед. «Вот даже брат и тот не может понять ее,— уныло думал он.— Нет, ее понять невозможно. Она не похожа ни на кого. И то, что она говорит, тоже не такое, как у других. «Если человек хочет нравиться...»

— Т-ты все-таки глупость сморозил,— сказал Борис.

— Почему глупость? — живо отозвался Аркадий.— Ты просто не хочешь вдуматься. Вот слушай: «Если человек...»

— Да я не про то. Вот ты говоришь, что этот дирижер... что он...— Борис запнулся. Тысячу раз читал это слово, а произнести вслух как-то неловко, что ли.— Ну... что он ее любовник. А по-моему — чепуха. Это во времена Мопассана, в общем в начале века, ну и раньше, в девятнадцатом, были эти... любовники. А сейчас даже слова такого нет, и вообще устаревшее понятие. Ну, любят друг друга, так при чем тут это?

— Почему нет слова? А если у нее есть муж, а она любит другого, тогда как, по-твоему?

— А что, у нее есть муж?

— Нет, кажется, нету.

Они свернули в переулок. Здесь снег вдруг повалил густыми хлопьями, и Борису показалось, что тут, в этом полутемном переулке, где тесно стоят высокие дома, и должен идти такой, а тот, легкий, кружащийся,— для широкой, просторной площади.

— А ты, собственно, куда? — Борис вдруг остановился.— Ты, по-моему, на Таганке живешь.

— Да так, просто пройтись захотелось. Я провожу тебя.

— А-а, ну давай.

А снег валил и валил. Фонари еле мерцали сквозь плотную снежную завесу. И зима шла и шла своими снежными лапами. Так явственно пришло другое время года, просто на глазах осень сменилась зимой.

— Знаешь, Борис,— наконец снова начал Аркадий.— Мне кажется, что у вас в доме недовольны, когда я прихожу. Вот когда я был у вас в последний раз, не сегодня, а еще в среду, мне показалось, что твоя сестра была недовольна, она все время выходила из комнаты... Мне было страшно неудобно.

— Чепуха! Не обращай внимания. Ты вообще, когда приходишь, валяй сразу ко мне. Если меня нет, заходи и располагайся в моей комнате, и никто туда не сунется. Я их приучил. А хочешь, я им сам скажу, что когда ты у меня, пусть не лезут?

— Нет, нет, зачем!— испугался Аркадий.— Я ведь так, вообще.

Аркадий дошел с Борисом до конца переулка и остановился. Все равно никакого разговора не получалось. Надо домой.

— Пошли к нам,— предложил Борис,— у меня диван широкий.

Аркадий не ответил.

— Вот что,— сказал он уныло,— вчера у нас записывался на пленку один редактор заводской газеты. Я сказал ему про тебя, он говорит, пусть зайдет, им там нужны люди. Вот, если хочешь, я записал адрес.

Борис спрятал бумажку с адресом.

Пойти, что ли, в самом деле? В конце концов так болтаться тоже мало радости. И потом, ведь в школе все говорили, что он очень способный и здорово пишет. А в девятом классе он даже сам решил, что будет журналистом.

— Я только не знаю, какой там оклад.

— Ладно,— сказал Борис,— при чем тут оклад? Так пойдешь к нам?

— Нет, не стоит.

Борис открыл дверь своим ключом, осторожно, стараясь не греметь, наложил цепочку. Наверно, все спят, первый час... Но в кухне горел огонь.

Зойка, поджав ноги, сидела на табуретке; перед ней на кухонном столе были разложены учебники и тетради.

— Разогреть тебе картошку?— печально спросила она.

— Зря ты не пошла,— сказал Борис, не отвечая на вопрос,— ничего концерт был.

Конечно, зря, она сама знает, что зря. А вот не пошла. Почему? Ну откуда она знает почему. Сначала у нее и в мыслях не было остаться дома. Она вытащила из шкафа синее платье, выгладила и снова завязала клетчатый бант. И только когда увидела, как он входит в комнату, длинный в своей курточке, ей вдруг захотелось сказать, что она не пойдет. Почему? А она сама не знает почему. Сказала, и все. А потом, когда сказала, ей самой понравилось, что вот она сидит, такая занятая, а он стоит сзади, и ждет, и томится, а она даже на секунду не может оторваться, так она занята, ей надо во что бы то ни стало решить задачу. И кто его знает почему, чуть только захлопнулась за ним дверь, задача сразу перестала решаться, ну просто никак не решалась...

Ах, зачем, зачем она сказала, что не пойдет?! Теперь все кончено. Он больше к ней не придет. И не позвонит. И она не услышит в трубке его робкого голоса, не увидит его покорных глаз. Ну как же она теперь будет без всего этого?.. Ах, зачем она не пошла...

— Между прочим, пела Светланова,— сказал Борис,— та, что по радио, Лариса Светланова. Оказывается, Аркадий ее знает. Он даже познакомил меня с ней.

— Красивая? — спросила Зойка.

Борис кивнул.

— И он хорошо ее знает?

— Он даже дома у нее бывал...

Ах, зачем она не пошла! Теперь все кончено.

— А он все-таки балда, этот Аркадий,— продолжал Борис,— дошел со мной чуть не до самого дома и поперся обратно на свою Таганку через всю Москву.

— А зачем же он шел с тобой?

— Так я ж тебе говорю — балда. Всю дорогу приставал с какой-то идиотской фразой: «Если человек должен нравиться, так он не может нравиться...», что-то в этом роде, какая-то чушь.

— Да?— радостно сказала Зойка.— В самом деле чушь какая-то. Ой. Борька,— она счастливо засмеялась,— а я ведь так и не решила задачу Антон съест меня завтра.

Она потянулась, тоненькая коричневая фигурка на белой стене.

— Надо спать.

Зойка пошла к себе. Не зажигая света, быстро постелила кровать и легла. Положила под щеку маленькую подушечку, подвигалась немного, чтобы найти самое удобное положение. Было тепло и тихо. «Ничего он мне не нужен. Это я просто придумала. Ну вот совсем не нужен. Борька нужен, Кира нужна, ну, папа и мама, конечно. А он — ну вот ни капельки...» Она плотней укуталась в одеяло. Было так уютно лежать и представлять себе, как он, длинный и унылый, в своей коротенькой курточке, шагает где-то по Таганке, и думает о ней, и ломает себе голову над тем, что должны означать ее слова. А в самом деле, что это значит: «Если человек хочет нравиться...» Она не успела додумать и уснула.

А Борис долго не мог заснуть. В ушах все время звучало: «Нет, нет, мой друг, не верю я...» В темноте перед ним светилось ее лицо, развевались легкие пушистые волосы. Тридцать— вот чепуха! А интересно все-таки, кто он ей, этот лохматый? Врет, наверно, Аркадий, откуда он может знать, что там у них. Знают только они двое, а зачем они будут рассказывать. Во всяком случае, он сам ни за что не стал бы!.. Борис вдруг представил себе, как она, смеясь и блестя зубами, входит в эту комнату. Ему стало жарко, и он откинул одеяло.

За окном стояла ночь, но ветка рябины, еще темнее темного воздуха, вырисовывалась на стекле. Если бы деревья могли помнить, думать, знать, эта рябина знала бы о нем все.

8

Раннее-раннее утро. Впрочем, только часы говорят, что сейчас утро. Пустынные улицы, проплывающие за трамвайным окном, темные витрины магазинов, широкие безлюдные площади — все дремотно, сонно бормочет: ночь, ночь... Дремлет кондукторша, опустив на грудь голову, дремлют пассажиры, прислонившись к окнам. Только один, совсем еще молодой, смотрит живыми проснувшимися глазами на все, что вокруг. Из-под кепки свешивается прядь темных волос, она еще не просохла после умывания, брови сжаты. Он внимательно и жадно смотрит вокруг, и все ловит, все замечает острый молодой взгляд — все, что давно примелькалось и сонной кондукторше и дремлющим пассажирам...

Небо еще ночное, темное, и звезды не погасли, а день уже начался. Еще горят ночные фонари, а день идет. Идет, идет рабочий день. И как-то даже не верится, что есть такие чудаки (во всяком случае, до сегодняшнего утра были!), которые спят в этот час без задних ног. Они спят, ленивые и глупые. Они не знают, как светятся в синем утреннем воздухе матовые шары фонарей, словно множество маленьких лун, спустившихся с неба, чтобы повиснуть вдоль пустынной темной улицы; как бежит по невидимым в темноте проводам ролик троллейбуса, высекая оттуда длинные голубые искры; как звенит и грохочет отдохнувший за ночь трамвай. Им еще долго спать, этим ленивым чудакам, ведь они думают, что день начинается только тогда, когда начнет светлеть их окно и станет видна ветка, раскачивающаяся за стеклом... А день уже давно идет. При свете ночных фонарей, под темным ночным небом, под высокими мерцающими звездами идет по земле день, день рабочих людей!

Сколько же на свете разных работ! Вот ползет на телеграфный столб человек в кепке, под мышкой у него моток проводов. Сейчас взберется, будет чинить. Это его работа. Хорошая работа, ничего не скажешь... Вот засветилась-заблестела витрина напротив, засияли за окном высокие зеркала. Подошел к зеркалу длинный лысый дядя, схватил ножницы.

Сейчас будет стричь, брить. Молодец лысый, что выбрал для себя такую работу, что делали бы люди без него!.. Стоит на перекрестке одинокий милиционер. Вот он засвистел кому-то, поднял палочку — все остановилось. Такая у него работа. Ну что ж, работа как работа, может быть, ему даже нравится...

Сколько же работ на белом свете! Проехал фургон с надписью «Хлеб»— работа. Пробежала женщина с чемоданчиком, из-под пальто виднеется край белого докторского халата — работа. Прошла молочница с бидонами — и это работа. Дворник с метлой, почтальон с сумкой, женщина с кошелкой — работа, работа, работа... Они не думают сейчас друг о друге, эти люди, каждый — о своем. Но если монтер заболеет, такая в белом халате придет лечить его. А если у нее потухнет свет, он явится и починит. А всем им привезет хлеб этот в зеленом фургоне. Все, все на свете связано между собой. И это особенно видно в такое вот синее утро, когда ты едешь в трамвае вместе со всеми в первый раз в жизни на свою работу. И хотя неизвестно, как там у тебя получится, все-таки ты вместе со всеми, ты едешь на свою работу, как все они, в это синее утро, еще похожее на ночь.

Звенит, покачивается трамвай, дремлют прислонившиеся к окнам пассажиры... Много таких утр будет в его жизни, но это он запомнит навсегда, это всегда будет стоять особняком — утро, когда он в первый раз ехал на работу.

— Завод,— протяжно говорит кондукторша.

Борис вскакивает.

Тот снег, что шел, когда они с Аркадием возвращались с концерта, давно растаял и превратился в мокрую кашу. Тогда он падал словно только для того, чтобы утешить людей: не печальтесь, скоро будет вот так — снежно, бело, чисто... Но сейчас на улицах опять грязно, в темных лужах отражаются дрожащие фонари. Темное небо сыплет на людей мокрую холодную крупу.

Вместе с Борисом на трамвайной остановке вышло много людей. Все они шли к заводским воротам, на ходу вытаскивая пропуска. Борису пропуска не нужно: вход в редакцию с улицы, рядом с заводскими воротами.

Борис был тут накануне.

Редактора, кажется, совсем не смутило то, что Борис никогда не работал в редакции и вообще нигде не работал.

— Ну что ж,— сказал редактор,— все-таки десятилетка, сочинения-то писали.

Редакции очень нужны были люди: газета выходила два раза в неделю, и работников было всего шестеро, считая машинистку и курьера.

Об окладе Борис не спросил. Это было неудобно: неизвестно еще, как он будет работать, а уже интересуется, сколько будут платить. Редактор сам заговорил об окладе. Оказалось, что никакого оклада вообще нет.

— Видите ли,— сказал редактор,— все штаты у нас заполнены. Обещают нам еще одну штатную единицу, но это, так сказать, в перспективе. Так что, если устраивает в порядке практики,— пожалуйста. У нас тут был один практикант, теперь он в университете, на факультете журналистики. Мы ему дали хорошую характеристику, его приняли. Может быть, вы тоже на журналистский?

— Нет,— сказал Борис,— я не на журналистский.

— Ну, это меняет дело.

— Почему меняет? — сказал Борис.— Ничего не меняет.

Так Борис согласился работать в заводской газете без оклада, вне штата, до тех пор, пока не утвердят эту недостающую редакции еще одну единицу.

Мама была очень недовольна всей этой затеей. Сидел бы уж лучше дома и готовился в институт. Но папа сказал, что нет, почему, это совсем не плохо — поработать. Пусть.

— Для тебя всегда — пусть! — вспылила мать.— Что бы он ни придумал — пусть. Когда в восьмом классе он вдруг решил прыгать с парашютом, ты тоже сказал — пусть. Если бы не я, у него были бы давно переломаны руки и ноги.

— Но ведь им не разрешили этот парашютный кружок.

— Мало ли что не разрешили, могли и разрешить, что тогда?!

Отец молчал.

— А кавалерийская школа? — продолжала мать.

— Но ведь он сам раздумал...

— А если бы не раздумал?.. Для тебя так: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

— А тебе надо, чтобы они плакали? — мягко спросил отец.

— Не остри. Терпеть не могу, когда острят. В общем, делайте, как хотите. Меня никогда не слушают.

Этот разговор был вчера вечером. Утром Борис встал раньше всех и, стараясь никого не разбудить, вышел из дому.

Видимо, он пришел слишком рано. За стеклянными перегородками, тянувшимися вдоль длинного коридора, было еще темно. При свете лампочки, одиноко свисавшей с потолка, можно было прочитать надписи на дверях: «Партком», «Завком», «Комитет ВЛКСМ». За дверями — тишина и темнота.

Только в самом конце коридора светилась одна дверь. На дощечке было написано: «Редакция газеты «Ленинский путь».

Борис потянул дверь.

За большим столом, над которым висела табличка с надписью «Ответственный секретарь», Борис увидел длинного худого юношу; он сидел, подперев голову руками. Не то думал, не то спал. Перед ним на столе в беспорядке валялись листы бумаги, на каждом было написано строк пять-шесть.

— Рано, рано,— сказал юноша, не поднимая головы.— И потом, кажется, договорились — уборку начинать с того конца?

Он поднял голову и посмотрел на Бориса сквозь очки узкими черными глазами. Волосы у него были тоже черные и, наверно, жесткие: они щеткой торчали над лбом.

— А я думал, уборщица.— Он взглянул на часы.— Скоро явится, божья старушка. А вы что, к Макееву? Рано еще.

Борис сказал, кто он.

— А-а, редактор говорил. У нас тут, между прочим, был один практикант, лодырь первого класса, но в общем ничего. Теперь он в университете, на журналистском. Вы тоже на журналистский? Нет? Зря. Журналистика — самая перспективная профессия... Ну, давайте знакомиться — Кор.

Борис вспомнил, что вчера, сидя тут, в редакции, и перелистывая заводскую газету, он несколько раз натыкался на стихи, подписанные этой странной коротенькой фамилией. Значит, это он пишет стихи?

— В порядке принуждения,— объяснил Кор.— Кроме меня, в редакции никто не умеет рифмовать. Ничего не поделаешь, приходится. Читать их, впрочем, не стоит,— добавил он небрежно.— Так, ерунда... Вы, разумеется, не прочитали? — спросил он, помолчав.

— Нет, прочитал. И, по-моему, вовсе не ерунда. Особенно одно там.

— Какое? — живо спросил Кор.

— Не помню названия. Что-то про холодную войну. И про атом... Правда, насчет атома — явно ненаучный подход: у вас там атом раскалывается с треском, как орех.

— Неважно,— сказал Кор,— это гипербола. Главное — общее впечатление.

— Общее определенно здорово.

Они помолчали.

— А вообще вы правильно сделали, что пошли сюда,— неожиданно сказал Кор.— У нас тут жить можно. Если бы еще...— Он замолчал, потом добавил задумчиво: — Ну что газета без стихов! Ничего не смыслят.

Борис не успел спросить, кто, собственно, ничего не смыслит, когда в коридоре, совсем близко, загремели ведра.

— Идет,— с досадой сказал Кор.

— Нет, кажется, мимо...

Они прислушались. Ведра умолкли. Видно, уборщица зашла в другую комнату.

— Черт бы ее побрал, эту божью старушку, сбила мне строку сегодня! Влезла со своими ведрами, и я потерял рифму... А вообще поэзия — баба капризная,— сказал он.— Я не служу ей. Вот.— И Кор похлопал по листам.

— Статья? — спросил Борис.

— Роман,— коротко ответил секретарь.

— Я помешал вам,— смущенно сказал Борис.— Слишком рано вышел из дому... как-то не рассчитал...

— Неважно. На сегодня я уже свое отработал.— И Кор взглянул на часы.— Почти. Я прихожу в редакцию за два часа до начала работы. Я высчитал: если я буду вставать всего на два часа раньше, за один месяц наберется шестьдесят лишних часов. За год — семьсот двадцать, или, иначе говоря, месяц. Таким образом, каждый год я добавляю себе месяц жизни. Если я проживу, скажем, еще двадцать лет, то фактически это будет: двадцать лет плюс двадцать месяцев. То есть еще почти два года сверх того, что мне отпущено. Точный расчет. Здорово?

— Здорово,— согласился Борис.

Кор потянулся так, что затрещали суставы.

— Эх, завалиться бы сейчас и поспать хоть часика три,— сказал он в полном противоречии со своими недавними расчетами.

Он сдвинул в сторону листы и снова вытащил свой блокнот.

Небо за окном было все еще темное, ночное. В сероватом сумраке виднелись машины с каким-то непонятным грузом. Сколько времени прошло с тех пор, как Борис вскочил с кровати и, наскоро умывшись, вышел на улицу, а за окном все еще ночь. Вчера в это время он еще спал. И позавчера. И месяц назад. Если подсчитать, сколько часов он бездарно проспал за свою жизнь — просто позор! Нет, хватит. На этот раз он решает твердо — хватит. С сегодняшнего дня он не валяется в постели ни одной минуты лишней... А молодец этот Кор — роман, стихи... И вообще здорово рассчитал!

Ведра звякнули совсем близко.

— Явилась,— сказал Кор, неодобрительно глядя на уборщицу, стоявшую в дверях с тряпкой в руке.

— Могу и вовсе не убирать,— сказала уборщица.— Мне-то что. Сейчас народ сходиться начнет.

Из открытой двери потянуло холодом. Листы на столе зашевелились и полетели на пол.

Борис нагнулся, чтобы поднять.

«Багровое, словно раскаленная домна, солнце вставало над заводом...» — прочитал он, мельком взглянув на один листок. «Раскаленное солнце, словно дышащая пламенем доменная печь...» — было написано на втором. «Солнце, дышащее огнем, словно...» — стояло на третьем.

Борис помог Кору собрать листки. И все эти багровые, раскаленные, огнедышащие солнца поместились в тощей папке с белыми тесемками, которую ответственный секретарь со вздохом то ли сожаления, то ли облегчения положил в ящик письменного стола и запер на ключ.

Уборщица стояла, опершись на щетку.

Кор достал откуда-то со шкафа мыльницу и полотенце, завернутое в газету. В дверях он столкнулся с девушкой. Улыбаясь, она спросила:

— Ну, как спалось?

Кор, ничего не ответив, вышел из комнаты.

— Ну чего дразнишь, Валентина,— укоризненно сказала уборщица.— Ну устал человек, ну уснул, что за грех.

— Спал бы дома,— насмешливо сказала Валентина, подошла к шкафу, поправила перед темным стеклом свои кудри и ушла.

— Секретарша завкома,— сказала уборщица,— десятилетку окончила, в заочный пошла. Язва девка.

За окном загрохотали моторы. Это тронулись с заводского двора грузовики.

— Станки поехали,— сказала уборщица.— Готовая продукция.

Станки. Их делают люди, которые ехали вместе с ним в трамвае и сошли на этой остановке, держа наготове свои пропуска... А что все-таки важнее: делать станки или писать о них? Не вообще (вообще известно с детства: «все работы хороши», «мамы всякие важны...» и тому подобное), нет, что важнее, что лучше для него? Потому что, если человек толком не знает, чего он хочет, на что он способен, пусть по крайней мере делает такое, что нужнее всего, без чего нельзя. Так вот: правильно ли он выбрал? Может быть, все-таки станки, а не заметки о станках?.. Нет, чепуха, ведь ему еще в школе говорили, когда он написал фельетон для стенгазеты, да и еще раньше, что он очень способный, даже талантливый... Нет, он правильно решил — редакция!

За спиной у Бориса щелкнуло что-то металлическое. Это машинистка сняла футляр со своей машинки.

Борис и не заметил, как ушла, сделав свое дело, уборщица и в редакцию стали собираться люди.

Быстрыми шагами вошел редактор. Не заходя к себе, за фанерную перегородку, он сказал:

— Я на партком, товарищи. Придет Корзинкин, скажете ему. Вы еще не видели Корзинкина? — спросил он у Бориса.— Ну, явится, пусть введет вас в курс дела и даст задание.

Редактор ушел.

Борис снова устроился на подоконнике. Никто не обращал на него внимания, каждый был занят своим делом. Борис задумчиво смотрел на них на всех. Вот это, значит, и есть редакция? Ну что ж, в общем он так и представлял себе: стучит машинка, звонит телефон, люди сидят и пишут... А кто они, эти люди? Почему они выбрали для себя эту работу, а не другую? И что делает здесь каждый из них?

Вон тот плотный, коренастый, кто он тут? Сидит, навалившись грудью на стол, и пишет толстыми лиловыми буквами. Прежде чем сесть за стол, он снял пиджак, повесил его на спинку стула и слегка подтянул рукава рубашки, словно собирался пилить дрова или заколачивать гвозди, а не водить пером по бумаге. Строчки медленно стекают с его пера, загибаются книзу, исписанная страница издали кажется сплошным лиловым

пятном. Он совсем не похож на журналиста, не то что Кор в его клетчатой рубашке, в роговых очках, за которыми блестят узкие быстрые глаза... Вот он кончил писать, собрал свои лиловые страницы и идет к машинистке. Лицо у машинистки недовольное.

— Товарищ Макеев, придется диктовать, невозможный почерк...

Снова треск машинки, телефонные звонки и еще какой-то звук, тонкий и скрипучий. Это фотограф, не сняв с плеча фотоаппарата на ремешке, скребет каким-то ножичком портрет — ретуширует... Машинка внезапно умолкает.

— Проезжая станцию, у меня слетела шляпа ,— говорит машинистка и вынимает из сумочки зеркальце.

Макеев вопросительно смотрит на машинистку.

— «Выполняя план, у него сдали подшипники»,— поясняет машинистка,— то же самое.

— То же самое? — спокойно сомневается Макеев.

— Еще хуже.

«А что делает этот самый молодой из них? Я его видел вчера, Устинов его фамилия»,— продолжает думать Борис. Вид у Устинова озабоченный. В руках ножницы. Он режет на части страницу, на которой что-то напечатано. Потом раскладывает разрезанные куски, всматривается в них. Перекладывает. Снова всматривается. Берет кисточку, макает ее в клей, но мазнуть по бумаге, видимо, не решается. Снова перекладывает...

Опять умолкает треск машинки.

Макеев смотрит на машинистку.

— Вы, очевидно, забыли о том, что, кроме запятых и двоеточий, есть такой знак препинания — точка. Полстраницы без единой точки. Задохнуться можно, пока прочитаешь.

— Да, пожалуй,— медленно говорит Макеев и закуривает.

Машинистка опять вытаскивает зеркальце и внимательно оглядывает свое лицо. Лицо желтое, длинное. «Помогла бы ему лучше распутаться с его запятыми»,— думает Борис.

А что делает тут эта женщина, сидящая в углу у печки? На табуретке возле нее дымится чай, на коленях — большой портфель. И как-то не идет этот портфель к ее платочку, подвязанному под подбородком, к этим мальчиковым башмакам...

Открылась дверь. В комнату вошел Кор. Мокрые волосы торчали ежиком. Узкие глаза блестели оживленно и весело.

— Ну, братцы кролики, сегодня последний день. Через час ваши предложения должны лежать у меня на столе. План праздничного номера будет утверждаться на парткоме. Так что поторапливайтесь. «Октябрь уж наступил, уж роща отряхает...» и так далее... Тетя Паша, привезли гранки?

Женщина в платочке расстегнула свой портфель и вытащила оттуда кипу длинных узких листков, на которых было что-то напечатано.

Борис удивился: он думал, что гранки — это что-то металлическое.

— А как у вас, Башкиров? — спросил Кор.— Виделись с редактором? Говорили с ним?

— Да...

— Ну и отлично.

Кор сел за стол и разложил перед собой гранки.

Борис хотел было спросить у него, кто такой Корзинкин и скоро ли он придет, но Кор уже начал читать гранки, делая на них быстрые пометки и откладывая в сторону.

«Ладно, придет этот Корзинкин — я сам увижу»,— решил Борис и уселся поудобней на своем подоконнике.

Трещала машинка, звонил телефон, скрипел ножичек фотографа — люди работали. Когда машинка ненадолго умолкала, слышно было, как насвистывает Кор, читая гранки, как вздыхает Устинов, щелкая ножницами, и как где-то в конце коридора, наверно в бухгалтерии, трещит арифмометр.

В редакцию то и дело заходили разные люди. Больше всего к Макееву. Корзинкин все не шел.

Кор кончил читать гранки, вытащил из кармана блокнот, рассеянно взглянул на Бориса.

— А почему вы, собственно, сидите? Разве редактор не дал вам задания?

— Я жду Корзинкина.

Кор несколько смущенно поправил очки, спрятал блокнот.

— Ну-ка, идите сюда. А что, редактор не сказал, какое вам дать задание? Нет? Что бы нам такое придумать?.. Марго, где у нас письмо о столовой, вы перепечатали его?

— Интересно, когда это я могла успеть напечатать письма,— воскликнула машинистка, мгновенно переставая работать,— когда Устинов задержал меня вчера на два часа из-за своей информации, которую он теперь кромсает, как лапшу, и все равно не сдаст вовремя.

Взъерошенный Устинов поднял голову.

— На два часа?! Да покуда я диктовал, вы три раза ходили в буфет.

— А что мне оставалось делать, когда вы по полчаса раздумываете над каждой запятой!..

Кор, не слушая их, подошел к машинистке, перебрал письма в папке, вытащил одно и передал Борису.

Это было письмо работницы о том, что в заводской столовой плохо моют ложки: просто окунают их в теплую воду и, не вытерев, подают на стол.

Надо было пойти в столовую, проверить, справедлива ли жалоба работницы, и написать строк пятьдесят о порядках в столовой.

Кор начал объяснять Борису, как пройти в столовую.

— Путаться будете,— сказал Макеев.— Проводить надо.

— Кто ж пойдет? За вами передовая, мне надо в типографию. Может быть, вы, Устинов?

— Пойду,— радостно отозвался Устинов, бросая кисточку.— А информацию сдам завтра.

— Что я говорила! — воскликнула машинистка.

— Информацию сдать сегодня,— заметил Кор.— Но кто же все-таки пойдет с ним?

— Совсем не надо со мной ходить. Я сам найду.

Уже стоя в дверях, Борис вдруг услышал фамилию Корзинкин.

— Товарищ Корзинкин, так мне ехать или погодить? — спросила тетя Паша.

Ответственный секретарь оторвался от своего блокнота.

— Поезжайте, поезжайте, тетя Паша. Только в цинкографию не забудьте, насчет клише.

В столовой стоял шум, во влажном теплом воздухе пахло едой. Подавальщицы на огромных деревянных подносах разносили тарелки с борщом.

Борис стоял в проходе между столами, несколько растерявшись от этого шума и движения. Подавальщица, проходя мимо, нечаянно задела его локтем. Борис посторонился и толкнул другую, с полным подносом; тарелки на подносе заколебались, борщ розовой струей потек на пол.

— Путаются тут на самом проходе,— сердито сказала подавальщица.

— П-простите,— заикаясь, начал Борис,— я н-не з-заметил. Я...

— Настя, давай первое, что ты еще с ним разговариваешь! — крикнул кто-то из-за соседнего стола.— Раскорячился тут. Делать ему нечего!

— Я из редакции,— сказал Борис тонким, каким-то не своим голосом.— Мне надо проверить...

— Нашел время проверять! У людей обеденный перерыв, а он — проверять. Катись-ка ты отсюдова.

Борис окончательно растерялся. Он все еще стоял посреди прохода, весь красный от собственной неловкости, от стыда за себя, за свой тонкий, неестественный голос, от злости на эту подавальщицу и на этого в спецовке, который орет, не зная, в чем дело... Больше всего ему хотелось уйти отсюда.

Может быть, он бы и ушел, если бы из-за столика не отозвался еще один человек, сосед того, кто только что так грубо орал на него... Нет, все равно не ушел бы (это был бы позор — уйти ни с чем!), но он просто не знал бы тогда, что ему делать, если бы не этот человек.

— Ты чего,— сказал тот своему соседу,— ну чего ты? Человек проверять пришел, из редакции, а ты...

— А я что,— отозвался тот,— пусть проверяет. Обедать надо, вот что... А ты куда, Агафошин?

Но парень, не отвечая, вылез из-за стола.

— Вы из какой газеты, из центральной? — спросил он, дружелюбно глядя на Бориса круглыми коричневыми глазами.

Ах, вот что! Он думает, что я пришел сюда из самой «Правды».

— Нет,— сухо ответил Борис.— Не из центральной. Из заводской.

— Из нашей? — еще шире улыбнулся тот.— А здорово вы нашего коменданта продернули, прямо-таки здорово! Мы эту газету по всему общежитию расклеили... А тут что, тоже протягивать кого будете?

Борис рассказал ему, зачем пришел сюда.

— Пошли,— деловито сказал Агафошин.

— Куда?

— Я так думаю, прежде всего в раздаточную. А потом директора попросим... Или нет: сначала завпроизводством, директора потом.

И он повел Бориса в раздаточную, как будто само собой разумелось, что он должен сопровождать его.

Что делал бы тут Борис без него! Как разговаривал бы с хмурым толстым директором, который все время глядел куда-то в окно, словно и не слушая, что ему говорят. Догадался бы он или нет вытащить мокрые ложки прямо с подноса подавальщицы и положить на стол заведующего производством, который утверждал, что ложки не только моют, но полощут и вытирают? Ничего этого он не сделал бы, наверно, мямлил бы и путался или сорвался и нагородил бы бог знает чего!

...Покуда они с Агафошиным ходили и разговаривали то с тем, то с другим, обеденный перерыв окончился. Столовая опустела.

— А теперь, значит, писать будете? — уважительно сказал Агафошин.— Меня вот сколько раз заставляли в стенную газету заметку подать. Напиши, говорят, Агафошин, ну про чего хочешь, про то и напиши. Я сяду, вроде в голове сложил все, сяду писать, макну перо в чернильницу — и конец, ни одного словечка в голове не удержалось.— Он засмеялся.— Насчет этого никуда не гожусь... Ну, я побежал, а то перерыв окончился.

Борис вернулся в редакцию.

Как будто не очень сложная штука написать заметку о том, что в заводской столовой плохо моют ложки. Но Борис очень долго сидел за

столом и грыз ручку, прежде чем вывел первую строку... Со школьными сочинениями он, кажется, справлялся куда быстрей.

На улицах стемнело, а он все еще писал, перечеркивая написанное и начиная сначала. Давно уже вернулся из типографии Кор, сверстав очередной номер газеты. Уже сдал свою передовую Макеев, перепечатав ее еще раз у придирчивой машинистки. И даже Устинов, переклеив наконец свою информацию, отдал ее ответственному секретарю. А Борис все еще писал.

За окном давно уже горели фонари, когда вконец замучившийся Борис решился идти к машинистке.

— Послушайте,— шепотом сказал ему Устинов,— главное, не обращайте на нее внимания.— Он кивнул на машинистку.— И знаки препинания ставьте тоже, как хотите, какое ее дело!

— Как вас зовут? — спросила машинистка, вынимая из стола бутерброд.

— Борис... Башкиров.

— Ну вот что, Боба, я бы вам рекомендовала, прежде чем перепечатывать, показать Кору. Это будет полезно для вас — Кор прекрасно редактирует. И для меня — я съем бутерброд, я сегодня плохо пообедала.

Борис покорно поднялся и пошел к Кору.

— Пусть не валяет дурака,— сказал Кор.— Это срочно. Марго, что еще за новости, печатайте!

Машинистка спокойно доела бутерброд и вытащила из сумочки губную помаду.

— Кор сказал — срочно,— заметил Борис.

— Ну и что из этого?

— А то, что губы можно намазать и после.

Борис выпалил эти слова, и ему самому неловко стало, так грубо они прозвучали.

Но машинистка не обиделась.

— Нельзя,— спокойно ответила она,— у меня производительность труда падает, если губы не намазаны.

Борис с ненавистью смотрел на ее костлявые пальцы и длинные желтоватые зубы, которые она оскалила, чтобы было удобней мазать рот.

Она неторопливо окончила свое дело, спрятала помаду и зеркальце и кинула руки на машинку.

— Быстрей,— сказала машинистка Борису после того, как он произнес первые слова.— Еще быстрей. Ну что вы тянете, быстрей!

Ее руки неслись по клавишам с такой быстротой, что невозможно было разглядеть пальцы; в воздухе стоял слитный треск, из него нельзя было выделить стука отдельных клавиш. Она печатала с той скоростью, с какой Борис произносил слова. И все приговаривала:

— Быстрей, еще быстрей. Не останавливайтесь!

Даже Борис, которому редко приходилось видеть, как работают машинистки, был поражен этой быстротой.

Марго умела работать и любила пустить пыль в глаза.

Она небрежно протянула Борису перепечатанные страницы.

— Ну как? — спросил Устинов, когда Борис вернулся, сдав заметку ответственному секретарю.

— Конец вычеркнул и название переменил, а так, говорит, в порядке.

— А эта? — Устинов кивнул в сторону Марго.— Здорово привязывалась?

— Да нет, только торопила.

Устинов удивленно пожал плечами. Это был действительно редкий случай, чтобы машинистка не отпустила ни одного замечания по поводу

материала, который она печатала, не придралась ни к одному выражению, не дала ни одного совета. Но на этот раз Марго, пожалуй, не смогла бы даже припомнить, о чем там говорится, в заметке нового сотрудника. Она была слишком занята тем, чтобы поразить его, и не заметила, о чем идет речь.

В заметке нового сотрудника ответственный секретарь расставил хвостатые закорючки, обозначающие абзацы, надписал сверху страницы непонятные слова: «Боргес 3 кв.». И заметка эта вместе с другими нашла себе место в потрепанном клеенчатом портфеле тети Паши, редакционного курьера. Потом она проделала длинный путь, сначала в вагоне трамвая, затем в метро, покуда не доехала до типографии. Здесь она первым делом попала в руки корректора. Корректор вычеркнул две лишние запятые и поставил две новые, изобразил сбоку птичку, означающую, что заметку можно набирать, и переслал ее на другой этаж, в наборный цех. Тут заметку взял в руки линотипист: он укрепил листок с заметкой перед собой и, поглядывая то на листок, то на клавиши своего линотипа, быстро отстукал текст.

Еще горячий металлический столбик из готовых строчек стянули шпагатом и поставили на большую чугунную доску рядом с другими заметками, статьями, очерками и клише, которые все вместе составили номер заводской газеты.

Номер этот отпечатали на большой печатной машине, сложили в пачки и отправили на завод, чтобы все, кто тут работает,— слесари и токари, кузнецы и формовщики, уборщицы и работники завкома — рано утром развернули газету и, радуясь или огорчаясь, прочитали все ее материалы, среди которых между фельетоном и объявлением о пленуме заводского комитета поместилась заметка о непорядках в столовой, подписанная двумя буквами — «Б. Б.».

9

«...Кор — молодец. Он сразу стал относиться ко мне так, как будто я сто лет работаю в редакции, и начал давать мне такие же задания, как и Устинову, хотя Устинов околачивается тут года полтора, а я только явился. Если бы он стал со мной, как с мальчишкой, все было бы ни к черту. Я, конечно, не ушел бы (из самолюбия!), но мне было бы паршиво...»

— Башкиров, как с литературным портретом? — спрашивает Кор.— Когда вы встречаетесь с Никольским?

— Сегодня после смены. Он в утренней.

— Отлично. А как ваши дела, Устинов? Имейте в виду: праздничный номер сдается в среду. В десять ноль-ноль. Опоздание выговору подобно...

«...Так о чем я думал? Да, о Коре. Он молодец, этот Кор... Вот роман пишет... Нет, кажется, уже не пишет, но это неважно — он задумал поэму. И со мной — молодец. Вот с праздничным номером. Мог ведь поручить мне какую-нибудь ерундовую заметку. А он — литературный портрет. Я сразу согласился и даже спрашивать не стал, как пишутся такие портреты, хотя, по правде сказать, никогда раньше не слыхал... Но это же ясно каждому дураку! Само название говорит: написано должно быть так, чтобы каждый прочитал и—словно на портрет взглянул, сразу увидел того, о ком пишется... Ну, вот я гляжу, например, на картину этого француза (Ренуар, кажется?) «Женщины в шляпах». Они — как птицы. Уселись за стол в шляпах, похожих на птиц, и сами — легкомысленные, как птицы... А можно это же самое — словами? Конечно! Есть же люди, которых я никогда не видел, ни на портретах, ни вообще, а я вижу и понимаю

их иногда даже лучше, чем тех, кого видел триста раз. Андрей Болконский, например. Или Григорий Мелехов. Или Левинсон. Их никогда не было на свете, они сделаны словами... Конечно, это было в миллион раз труднее: они ведь не существовали. А мой Никольский жив-здоров. И мне ничего не надо о нем придумывать — он сам расскажет мне о себе. И я увижу. И напишу. И сдам в десять ноль-ноль!.. Эх, Никольский, Никольский, стоишь ты, Никольский, у своего станка и даже не подозреваешь, что в каких-нибудь ста метрах от тебя сидит за столом один человек и собирается писать о тебе и что благодаря этому человеку ты скоро станешь тут известным всем и каждому! Ты его не знаешь, этого человека. А впрочем... может быть, тебе случалось читать в газете материалы о том, что в столовой плохо моют ложки, что в общежитии прошел вечер самодеятельности, а на базу привезли новые лыжи? Может быть, тебе встречалась такая подпись — «Б. Б.». В таком случае мы с тобой отчасти знакомы, потому что я о тебе тоже кое-что знаю. Ответственный секретарь редакции говорит, что ты очень положительный человек. Ну что ж, это очень любезно с твоей стороны, что ты положительный. Потому что о положительном писать, конечно, легче. Вот меня, например, было бы просто невозможно описать. Я бы даже сам не мог описать себя, хотя, казалось бы, сам человек знает себя куда лучше, чем другие. Но я уже проверил, что в разное время я почему-то оцениваю себя по-разному. Конечно, я не положительный, это факт. Наверно, и не отрицательный. Так, какой-то средний...»

— Башкиров, к телефону!

Борис поднялся, взял трубку.

— Слушаю... Ты, мама? Ну, в чем дело?..

«...Женщины все-таки удивительный народ. Вот мне или папе никогда не пришло бы в голову звонить ей на работу, чтобы спросить, в котором часу она обедала и что было на обед... Да, так о чем я думал? О литературном портрете, что это то же самое, что рисунок, только — словами. Значит, главное для меня с этим Никольским—найти слова. Нет, сначала увидеть, понять, что он за человек. А вдруг я не пойму? Ведь так со мной бывает: придерусь к чему-нибудь одному и ни черта больше не вижу... Впрочем, нет, так бывало раньше. Теперь я, кажется, разбираюсь в людях, это проверено на нескольких случаях уже здесь (Агафошин, Кор)... Вот могу и сейчас попробовать. Возьму кого-нибудь из тех, что сейчас передо мной, и определю положительное, отрицательное, вообще все. Вроде литературного портрета, только писать не буду, мысленно... Кого бы взять? Ну, пусть — Макеев.

Вот какой он сидит сейчас передо мной. У него широкое лицо в мелких оспинках, нос толстый, плечи круглые, и кажется, что им тесно в пиджаке, а круглым рукам тесно в рукавах... Вообще пиджак ему как-то не подходит, к нему лучше подошла бы майка борца-тяжеловеса или штангиста... Вот он поднял глаза (его окликнул кто-то), и лицо сразу другое — живое и любопытное. Когда глаза опущены, лицо неподвижное, тяжелое, словно из теста... Вот он опять опустил голову — пишет, лепит свои толстые лиловые буквы одну к другой, строчкам тесно на странице, они загибаются книзу и налезают друг на друга. Это глупо, но мне почему-то кажется, что таким почерком ни за что не написать хорошей статьи. Макеев на самом деле пишет плохо (почерк тут, разумеется, ни при чем!). Его правят все. Даже Марго. А один раз — даже я. Он сам знает, что пишет плохо, но его это почему-то совсем не трогает. Для него важно не то, как написана статья, а «есть ли в ней суть». Вчера Кор сказал ему про одну статью, что она плохая. Макеев страшно удивился. «Как — плохая?! Смотрите, он предлагает изменить технологию. Это даст по крайней

мере десять тысяч рублей экономии!» Когда он читает письма, которые приходят в редакцию, он тоже ищет в них «суть». Уткнет свой толстый нос в бумагу и ищет. И если найдет, хохочет и потирает свои толстые ладони. Он всегда смеется, когда радуется чему-нибудь... Вот Макеев кончил писать, сколол свои лиловые страницы булавкой и посмотрел на часы. Наверно, ждет кого-нибудь. К Макееву ходят больше, чем ко всем другим. А если его нет, всегда ждут, хотя прекрасно могли бы обратиться к кому-нибудь еще... Ну, вот опять к нему кто-то пришел...

Если записать все, что я о нем сейчас думал, ничего толкового не получится, никакого портрета, мешанина какая-то...

Возьму-ка я лучше Марго.

Вот она сидит за своей машинкой. Если только посмотреть на нее, вот такую желтую, длинную, можно подумать, что это очень молчаливая и печальная женщина. Но это совсем не так. Она говорит больше всех в редакции и особенно почему-то в то время, когда ей диктуют... Сначала люди здорово злятся на нее и даже ненавидят за то, что она с бухты-барахты начинает называть их разными Бобочками и Гогочками, но потом выясняется, что она называет так всех и не хочет этим подчеркнуть, что человек ничего не понимает в газете или, например, выглядит, как мальчишка. И постепенно все привыкают и сами называют ее Марго, хотя она пожилая и настоящее ее имя — Мария Львовна... Вот она вытащила зеркальце, красит губы. Это уж совершенно глупо. Марго очень некрасивая. Впрочем, когда привыкаешь, она кажется уже не очень некрасивой, а обыкновенно некрасивой. Но все равно, краска ей не поможет, и надо ей по-товарищески посоветовать не тратить время на ерунду, а лучше заняться самообразованием, потому что, несмотря на то, что в отношении грамматики и правописания она исключительно хорошо подкована, в политическом отношении она очень отстала. Ошибка редакции состоит в том, что ее до сих пор не втянули в систематические занятия...»

— Бобочка, что вы на меня так уставились?

— П-почему уставился... Совсем не уставился. П-просто так...

«...Нет, Марго что-то тоже не получается. Ну, это не удивительно — женщина, в женщинах я вообще плохо разбираюсь...»

— Башкиров, скоро три часа, вы не прозеваете своего Никольского?

Борис схватил блокнот и карандаш и, не надевая пальто, выбежал вниз, на заводской двор, заметенный только что выпавшим снегом.

Рыженькая девушка из конторы привела Бориса в красный уголок и сказала, что Никольский скоро придет, как кончится смена, так и придет.

В красном уголке было пусто. Борис сел за стол и огляделся. В этом цехе он еще не был. На стене висел старый плакат, призывающий молодежь принять участие в осеннем кроссе: краснощекий физкультурник выпуклой грудью разрывал ленточку финиша. Рядом висела таблица хода шахматного турнира первого цеха. Есть ли тут Никольский? Вот, пожалуйста, в самом начале списка. Правильно, раз положительный — должен уметь играть в шахматы. А как дела у положительного? Все в порядке: три выигранные партии, одна ничья...

На столе, покрытом измятым красным ситцем, лежали старые журналы, растрепанный комплект заводской газеты, валялись шахматные доски. На стене висели часы. Обыкновенные домашние ходики. Маятник бесшумно двигался из стороны в сторону, тикания слышно не было: из-за стены доносился шум моторов. Шум был слитный, непрерывный. И через несколько минут Борис перестал его слышать, ровное низкое гудение уже воспринималось, как тишина, и не мешало думать.

Какой-то юноша вошел в красный уголок, под мышкой у него был журнал. Не глядя на Бориса, он сел за стол, достал карандаш и, раскрыв журнал, начал что-то вписывать туда. Видно, решал кроссворд. Этот, наверно, из вечерней смены, просто пришел пораньше.

Борис потянул к себе комплект газеты и стал медленно листать. Раз, два, три... шесть материалов. За три недели не так уж плохо: тот лодырь практикант, которого неизвестно почему приняли в университет, за три месяца, говорят, сделал меньше...

Снова отворилась дверь. Нет, это был не Никольский, которого Борис не знал, а его недавний знакомец—Агафошин. С тех пор как Борис встретил его в столовой, Агафошин несколько раз забегал к нему в редакцию по разным делам и без всяких дел. Круглое лицо Агафошина расплылось в улыбке.

— Здорово, Борис,— сказал он.— Что, писать о нашем цехе будешь? Это хорошо, а то про всех пишут, про нас не пишут. А у нас тут народ изо всего завода передовой.

— Правильно,— сказал юноша с журналом,— давай, давай, Агафошин, нахваливай. Реклама — двигатель торговли.

— А что,— спросил Агафошин,— что, скажешь, нет у нас передовых?

Юноша не ответил.

— А хорошая у вас работа,— сказал опять Агафошин Борису,— прямо замечательная: пиши да пиши.

— А ты бы взял да сам написал, раз такая замечательная,— сказал юноша, не подымая головы от журнала.— Чем вкалывать тут, попросился бы в редакцию — может, приняли бы. И пиши, сколько влезет.

— Я напишу,— засмеялся Агафошин,— я так напишу, что вы все живстики надорвете.

Юноша поглядел в журнал и вписал какое-то словечко.

— Вот когда я на фронте был,— продолжал Агафошин,— к нам в часть тоже приходили из редакции. Поговорят, порасспросят и — раз-раз, смотришь, уже и газетку несут. И все в точности описано, как есть. Прямо-таки здорово писали, и статейки и стишки.

Борис с удивлением посмотрел на Агафошина: неужели он успел побывать на фронте? Борису казалось, что если Агафошин и старше его, то совсем не намного. Когда это он успел?

— Я сам думал — не успею,— сказал Агафошин.— Война началась, мне только шестнадцать стукнуло. Думал, так и кончится война без меня. Нет, все-таки застал. До Берлина самую малость не дошел — километров восемьдесят: ранило меня. А то бы еще орден или хоть медаль получил. У меня так: год прошел — и награда. За сорок третий — медаль, за сорок четвертый — орден...

— За что же орден?

— Орден? А это за то, что языка взял.

Борис забыл все: где он, и зачем сюда пришел, и что ему надо тут делать. Еще в детстве ему страстно хотелось увидеть своими глазами, рукой потрогать человека, совершившего подвиг. Выспросить, дознаться: как решился, как отважился, что чувствовал, о чем думал в ту минуту? И примерить к себе: а я бы смог, не струсил, решился?..

Значит, он, вот этот человек с простодушным лицом, с круглыми коричневыми глазами, с остреньким любопытным носом, он вот этими руками схватил фашистского солдата? Как же это было?

— Как было? Да так, обыкновенно... Послали нас. Ну, мы и пошли. И взяли.

— А как пошли? Кто еще пошел? Как все это было?

— Пошли мы еще с одним на пару, здоровый такой был, Симаков по фамилии. Ну, выследили мы там одного, подобрались сзади, руки ему скрутили, рот зажали и поволокли.

— А как?— жадно спрашивал Борис.— Ну... как поволокли?

— Да так... Тащим себе и тащим, трава в рот лезет, он промеж ног крутится: неохота в плен-то. Хорошо еще, тощий попался, а то не доперли бы.

— Ну, а что еще? Как еще было?

— Ей-богу, Борис, не помню я. Ну, привели мы его, сдали, как полагается... Потом командир нас вызывал... Потом из редакции пришли, фотографировали нас с Симаковым.

Так ничего больше и не мог добиться Борис. И он отступился.

«Удивительно,— думал он,— Агафошин ведь на самом деле ничего больше не помнит, ничего, кроме этой лезущей в рот травы... Но как это можно не помнить, забыть?..»

— Мне кажется,— сказал он задумчиво,— я бы помнил все, до последней мелочи, если бы я такое сделал.

— Ну, это еще неизвестно,— заметил юноша, все еще сидевший над своим кроссвордом.

— Почему неизвестно? Я вот замечаю, что помню иной раз совершенные мелочи. Ну вот чепуха какая-нибудь, совсем пустяк, а помнишь. Иногда такие подробности, что сам удивляешься.

— Я не про то. Помнить—это еще не фокус. А вот что сделал бы, если бы очутился на его месте, вот что неизвестно. Может, лапки кверху и запросил пардону.

Борис посмотрел на юношу. Тот, опустив голову, вписывал в пустые клеточки найденное слово.

— Да, я действительно не знаю, удалось бы мне притащить этого фашиста или нет, может, просто не хватило бы силы,— сказал Борис, глядя на склоненную голову юноши.— Но вот, что не поднял бы рук и не сдался бы в плен — это я могу о себе сказать.

— Никто ни черта не может о себе сказать, покуда его не ткнули носом. Болтовня одна.

— Нет, не болтовня. Кое-что может. И должен. Даже если его еще не ткнули.

— Например?

Юноша поднял голову от страницы, и Борис увидел насмешливые синие глаза.

— Н-например,— сказал Борис,— ч-что мы не украдем, даже если представится удобный случай; не ударим ребенка; не ограбим старуху; не продадимся иностранной разведке... В общем, будем людьми, а не скотами. Если мы этого о себе не знаем, мы не имеем права уважать себя. Во всяком случае, лично я не стал бы уважать себя.

— А сейчас, значит, уважаешь?

— Представь себе!

— Да ладно, ребята,— успокоительно заговорил Агафошин.— Ну чего вы, на самом деле, из-за ерунды какой-то...

— Ладно,— насмешливо сказал юноша,— не ной, не подеремся. Это же научный спор, теоретическая дискуссия. Понятно?

И он снова склонился над кроссвордом.

Борис вытащил блокнот и карандаш, хотя писать ему было нечего. Вдруг над самым его ухом затикали часы. Это были ходики, висевшие на стене. Только сейчас он услышал это настойчивое тикание. Где же все-таки Никольский?

— Послушай, Агафошин, ты не поможешь мне? Мне нужен Никольский. Обещали прислать, а он все не идет.

— Никольский?— удивился Агафошин.— Так вот же он сидит. Коська, это ж тебя дожидаются!

Юноша поднял голову от журнала.

Нет, он совсем не был польщен тем, что о нем собираются писать в праздничном номере газеты. Он нехотя поднялся из-за стола. Теперь он стоял рядом с физкультурным плакатом. Высокий, широкоплечий, тонкий в поясе, он агитировал за кросс куда убедительней, чем краснощекий бегун на плакате. Он был похож на античного легкоатлета, какими их изображали древние греки. Только насмешливая, совсем не античная улыбка бродила в углах его рта.

— Что ж, пишите,— скучающим голосом сказал юноша.— Фамилия — Никольский, Константин Николаевич. Возраст — восемнадцать лет. Образование — восемь классов. Стаж работы — два года. Разряд — пятый. Что еще?

Борис с трудом придумывал вопросы. Сколько времени он на заводе? Ах да, это он уже сказал... В какой школе учился? (Ну какое это имеет значение!) Где работает его отец? (Вот уж совсем чепуха, не все ли равно?) Кажется, он что-то изобрел?.. Да вот, пожалуйста, об изобретении, в чем суть, какую дает экономию?

Никольский отвечал коротко и небрежно. Небрежными, легкими штрихами изобразил приспособление к автомату. «Вот станок, а это резец, если резец поставить под углом в сорок пять градусов... Понятно?» Было не очень понятно, но Борис не стал расспрашивать, ладно, сам разберется...

— Все? — спросил Никольский.

— Все.

Оглушительно трещала машинка. Устинов яростно листал комплект. Фотограф скоблил ножичком какую-то фотографию. Макеев дописывал свою лиловую страницу... Удивительно, как они могут работать при таком треске?!

Борис перечитал те несколько строк, которые он успел написать. Разорвал и бросил под стол. Эти строчки не имели никакого отношения к тому парню, с которым он только что разговаривал в красном уголке первого цеха. Ничего не передавали они: ни его силы, ни насмешливости, ни этих широких плеч и небрежных ловких рук...

— Башкиров, хотите взглянуть на своего героя? Я сейчас отправляю в цинк.

И Кор перебросил на стол Бориса фотографию Никольского. Отретушированный Никольский смотрел на Бориса с явной насмешкой.

Борис взял чистый лист бумаги.

Он измучился вконец, но так и не сумел выдавить из себя хоть одну строчку, которую он мог бы без стыда оставить на бумаге. Он зачеркивал и начинал снова.

И, так ничего и не написав, встал из-за стола.

Домой он пошел вместе с Кором, им было по пути.

— Не знаю, что делать с Макеевым,— пожаловался Кор.— Сдал сегодня мне статью — сам черт ногу сломит. И главное — никакого самолюбия: я ему, как дважды два, доказал, что это не статья, а жвачка, а он хоть бы поморщился. Пусть жвачка, говорит, а напечатать надо. Нет, из него никогда не выйдет журналиста! Ну скажите: вам было бы все равно, если бы ваш материал забраковали?

— Нет,— сказал Борис,— мне не было бы все равно, но из меня тоже не выйдет журналиста.

— Почему это не выйдет? Главное для журналиста — это быстро ориентироваться. А это, по-моему, у вас вырабатывается.

— Ничего у меня не вырабатывается,— уныло промолвил Борис.

10

— Братцы кролики, — сказал Кор, — имейте в виду, сегодня все должно быть сдано вовремя. Я не собираюсь опаздывать на Светланову. Учтите.

На столе возле Кора лежал маленький театральный бинокль.

— Светланову? — спросил Борис. Так странно прозвучало здесь, в этой комнате, ее имя.— Какую Светланову?

— Есть такая,— ответил Кор, продолжая расставлять абзацы в чьей-то статье.— Лариса Светланова. По радио выступает. А сегодня у нас в клубе. Так что учтите,— повторил он, глядя на Устинова,— кто-то должен сдать сегодня бытовые мелочи и информацию. — Взлохмаченный Устинов мотнул головой.— А как у вас, Башкиров? Ну да, вы все сдали. Теперь домой?

Домой?! Ну нет.

...Целую неделю на дверях клуба висела афиша: «В субботу состоится большой эстрадный концерт». Борис равнодушно скользил по афише глазами. Эстрадный? Наверно, чепуха какая-нибудь. И вот оказывается— Светланова! Нет, неужели Светланова? Борис быстрыми шагами вышел из редакции.

Афиша висела на прежнем месте. За эту неделю ее изрядно поколотило косыми дождями, с некоторых букв стекла краска, иные и вовсе смыло. Борис быстро пробежал глазами по размытым разноцветным строчкам. «Братья Евтушенко — гармонь... Михаил Соколов — бас. Акробатические номера... Балет...» Ну конечно никакой Светлановой. И в самом деле, если бы она была здесь, неужели он мог бы не заметить... И вдруг сердце его прыгнуло и замерло. Это было просто поразительно: ну как он мог до сих пор не видеть этой сверкающей строки!

«Лариса Светланова — песни советских композиторов»... Два слова на старой, мокрой от дождя афише, и перед ним снова она, живая, улыбающаяся... Лохматый великан увлекает ее куда-то, она оборачивается, сверкает своими белыми зубами и улыбается ему, Борису... Неужели он снова увидит это сегодня?! Борис спохватился: он тут стоит, а в это время, может быть, продают последний билет! И он сорвался с места.

До концерта оставалось еще много времени. Борис вернулся в редакцию. По-прежнему трещала машинка. Он тихонько прошел к окну. Дождливый пасмурный день шел к концу. Сквозь частую сетку дождя (он, казалось, не падал на землю, а висел в воздухе) виднелось здание клуба. Окна еще темные, и у подъезда не горят фонари. «Интересно, в какие двери проходят артисты? — подумал Борис.— Подойти бы туда пораньше и встретить ее... Вспомнит или не вспомнит? Ну, где там вспомнит, она видела меня всего каких-нибудь три минуты! Да, но ведь я-то помню. Ну и что ж, то я, а то она... Да, но она улыбалась мне. Именно мне, а не Аркадию, хотя Аркадия она знает давно, а меня видела только в первый раз. Аркадий сказал, что я, наверно, понравился ей. Я сказал ему, чтобы он не порол ерунду. Но ведь я был пристрастен, а у него была объективная точка зрения, поэтому я должен отнестись к его мнению спокойно и объективно: могло или не могло быть, чтобы я ей понравился? Рассуждая

объективно — да, могло. Ведь бывает так, что с первого взгляда... Ох, перестань, ох, чушь!.. Позвольте, а почему, собственно, чушь? С другими же бывает, почему не может быть со мной?..»

Машинка за спиной внезапно смолкла. И ему вдруг показалось, что люди в комнате услышали его мысли и смотрят на него. Он так покраснел, что даже шее сделалось горячо. Некоторое время стоял, боясь обернуться. Потом осторожно оглянулся. Нет, на него никто не смотрел.

Кор, выпятив нижнюю губу, продолжал править статью. Устинов с отчаянным лицом, как будто летел с горы, писал что-то. Марго, перестав печатать, вытащила из сумки зеркальце и рассматривала свое лицо. Все лицо в зеркальце не помещалось, и она разглядывала его по частям: лоб, нос, одну щеку, другую, потом раскрыла рот и стала осматривать зубы...

Борис снова отвернулся к окну. Он смотрел в туманное стекло и снова возвратился в тот мир, в котором был только что, снова его окружал тот удивительный воздух, тревожный, радостный и зыбкий, смутные надежды на что-то, беспокойные и неясные желания.

«Да, с другими бывает,— продолжал он думать. — Жюльен Сорель, например. Госпожа де Реналь сразу обратила на него внимание, едва он вошел в ворота их замка. А Растиньяк! Стоило ему только взглянуть на баронессу, и она уже не могла думать ни о ком другом. А ведь, собственно говоря, они обыкновенные ребята, ну французы, ну девятнадцатый век, а что же еще? Значит, то, что было с ними, может случиться со всяким...»

— Послушайте, Башкиров,— окликнул его Кор.

Борис вздрогнул.

— Не в службу, а в дружбу, не смогли бы вы сбегать на сборку? Не несут, черти, сводку. А без сводки никак нельзя, вчера такой нагоняй был на парткоме.

Борис взглянул на часы: успеет, тридцать раз успеет.

— Возьмете сводку, продиктуете на машинку и отдадите тете Паше. Второй экземпляр — мне под стекло. А я пошел, мне еще в парикмахерскую надо.— И он потер небритый подбородок.

— Только поторопитесь, Бобочка,— сказала Марго,— а то придется печатать самому. Мой рабочий день кончается.

— Опять штучки,— сказал Кор и посмотрел на часы.— До конца работы пятьдесят пять минут.

— А вы забыли, что вчера я задержалась на полтора часа?

Кор посвистел.

— У вас есть бабушка?

— Есть,— опешила Марго.— А что?

— Вот вы ей это и расскажите...

Дальше Борис не слышал, он бежал на сборку.

Начальника цеха на месте не оказалось, сводка была не готова. Борис долго проторчал в цехе, покуда добыл все нужные сведения.

Конечно, Марго ждать не стала. В пустой комнате, пригорюнившись, сидела тетя Паша, редакционный курьер, и ждала, пока Борис даст ей сводку, чтобы везти в типографию. Печатать пришлось самому. Машинку Марго предусмотрительно оставила открытой.

Покуда Борис нашел копирку, покуда вставлял бумагу, проложенную копиркой, в узкую щель — она комкалась и не хотела влезать,— покуда выстукивал цифры, то и дело ошибаясь и начиная сначала, концерт в клубе уже начался. Плюнуть бы ему надо и уйти, вот что! Полна редакция штатных единиц, а они ищут дурачков, которые работали бы вместо них. Могли в конце концов сами позаботиться о своей сводке, если боятся, что им влепят выговор. Ему-то какая печаль — пусть выговор!.. Но что бы

он себе ни говорил, уйти он не мог. И он печатал, изнемогая от злости и досады на самого себя (зачем согласился?!), на Кора (какого черта он сваливает на других то, что должен сделать сам!), на Марго, бессовестно оставившую его наедине с этой проклятой машинкой, на смиренную тетю Пашу, тихо вздыхающую в уголке, как будто он виноват в том, что она торчит тут, вместо того чтобы сделать свое дело и отправляться домой.

В зал его не пустили. Надо было ждать перерыва.

«Может быть, она во втором отделении, как в тот раз?» — с надеждой думал Борис, стоя у бархатной портьеры и прислушиваясь к тому, что делается в зале.

Кому-то аплодировали. Потом аплодисменты стихли. Конферансье объявил что-то. Снова аплодисменты... Тишина... И — ее голос!

...Может быть, эта пахнущая пылью портьера была виной тому, что этот голос не принес ему радости? Может быть, надо смотреть на эту сверкающую улыбку, видеть эти светлые легкие волосы, и только тогда он кажется прекрасным, ее голос? Может быть, нужно сидеть у себя в комнате одному, и тогда он звенит, и льется, и живет настоящей жизнью, грустит, и радуется, и отзывается в самом сердце?

Борис не узнавал ее голоса. Он знал: поет она, Светланова, и — не узнавал. Не так, совсем не так! Он не мог определить, что именно не так, и стоял, нахмурившись, и сердито дергал свисавшую откуда-то сверху толстую шелковую веревку с кистью на конце...

И песню эту, печальную и тревожную, не узнавал, хотя тоже слышал ее раньше. Это была песня о Чапаеве, о последних его часах. Плывет раненый Чапаев, шлепают по воде справа и слева пули.

Урал, Урал, Урал-река,
Привольна и широка...

Вот-вот настигнет Чапаева последняя пуля, и он навсегда захлебнется в холодных водах Урала...

Урал, Урал, Урал-река,
Слабеет его рука...

Ей все равно — вот что! Она поет так, словно это какой-то спортивный заплыв на тысячу метров, а не последний час, последняя минута жизни Чапаева.

...Наверно, он ни черта не понимает: вон как ей хлопают. Один даже выкрикивает что-то, на бис, что ли, вызывает?.. Вот аплодисменты еще громче — наверно, она вышла и кланяется. Что-то говорит конферансье, кажется, объявляет новую песню. Снова аплодисменты: они радуются, что она не ушла...

Нет, с ним что-то случилось. И эта новая песня тоже не нравится ему. И песня дурацкая, и поет не так. Не так, не так, все не так!..

— Теперь входите,— сказала седая билетерша, приоткрывая дверь.

В длинную щель Борис увидел пустую сцену, Светланова уже ушла. Двое рабочих втаскивали на сцену какие-то брусья — наверно, для акробатического номера.

— Ну что же? — сказала билетерша.

Борис помотал головой: нет. Билетерша пожала плечами и скрылась за дверью.

Он стоял в полутемном пустынном фойе. И почему это с ним всегда так: вот он представит себе что-нибудь необыкновенное и замечательное,

напридумывает черт-те чего. А потом все как-то перевертывается, и оказывается, что ничего особенного, все самое обыкновенное. Ничего особенного нет в ее пении. Поет, как все эти эстрадные поют. И сама, наверно, такая, как все. Все он придумал: самая обыкновенная, и ей тридцать два года... Хорошо, что он не встречал ее у входа, все равно не узнала бы, да если бы и узнала — к чему?

— Эй, Бориска!— вдруг окликнул его кто-то.

Борис оглянулся. Это был Агафошин.

— Ты чего тут делаешь? — спросил Агафошин.

— Да так,— нехотя ответил Борис.

— Хочешь, в зал проведу?

Борис покачал головой.

— Не веришь?

— Нет, просто не хочу.

— Ну смотри, а то провел бы. Меня на любой вечер бесплатно пускают, и провести могу кого угодно. Я тут по освещению работаю. «Бесприданницу» видал? Наш драмкружок ставил. Лунная ночь — это я освещение давал. Потом еще «Три сестры», пожар — тоже я...

Борис кивнул, он почти не слушал.

— А за кулисами у меня свой кабинет есть, вот честное слово. Хочешь, покажу?

Борису было все равно, куда идти. Они прошли за кулисы. Агафошин держался тут очень свободно. Борис нырял вслед за ним под какие-то балки, протискивался между какими-то ящиками. Потом они вышли в длинный темный коридор.

— А вот тут у нас артисты гримируются,— показал Агафошин.— Уборная называется.

Борис рассеянно заглянул в приоткрытую дверь. Заглянул и — остолбенел. В маленькой, ярко освещенной полупустой комнате с голыми фанерными стенами стояла Светланова! Блестели в электрическом свете пушистые светлые волосы, в маленьких ушах качались и переливались дрожащим блеском хрустальные подвески, словно две крошечные люстры, из-под длинного платья, расшитого какими-то блестящими цветами, виднелись серебряные туфельки на высоченных каблуках... Нет, она не была обыкновенная. Как он мог подумать, что обыкновенная!

Агафошин потянул Бориса за рукав: пошли, чего там. Борис отмахнулся.

Светланова обернулась.

— Вы ко мне?

Борис смотрел на нее и молчал.

— Ну? — улыбнулась Светланова.

Покачивались серьги-люстры, сверкали белые зубы, блестели бисерные цветы на платье...

— Вы, наверно, слышали мое выступление?

Борис кивнул.

— Может быть, вы даже хотите мне что-нибудь сказать? Ну, входите же, входите.

Он шагнул в комнату.

— А теперь говорите.

Но говорить он не мог. Знакомо противно сжалось горло. Первое слово комом стояло в глотке, мешая дышать. Его надо было вытолкнуть силой, это несчастное первое слово. Тогда оно вырывалось, скомканное, изуродованное, и открывало путь другим словам. Но он не мог выговорить это проклятое первое слово. Перед кем угодно, перед ней не мог! Светланова

смотрела на него, склонив набок голову, улыбаясь и, видимо, забавляясь смущением и отчаянием, которые были написаны у него на лице.

Ему надо уйти отсюда — вот что. Повернуться и уйти, пусть она думает, что он идиот, кретин, но пусть не слышит, как он заикается.

— Так как же? — спросила она, продолжая улыбаться.

Борис молчал. Она ждала. В тишине чуть слышно урчала электрическая лампа. Вдруг урчание стало сильней, на миг комната осветилась еще ярче, потом раздался короткий треск, и они очутились в полной темноте.

— Бога ради, не уходите!— вскрикнула Светланова и схватила Бориса за руку.

— Перегорела,— раздался в темноте голос Агафошина. Он все это время, видно, стоял за спиной у Бориса.— Сейчас новую принесу.

Они остались одни в полной темноте.

Борис чувствовал на своих пальцах легкую прохладную руку.

— Это глупо,— сказала Светланова,— но я ужасно боюсь темноты. Просто ужас, очутиться одной в незнакомом месте в полном мраке!

И вдруг — оттого ли, что было темно, или из-за этой гладкой прохладной руки, или потому, что она, как маленькая, боится темноты,— вдруг горло его разжалось и он почувствовал, что теперь он может сказать ей все, что захочет.

— Я вам очень благодарна,— сказала Светланова,— одна я бы тут умерла.

— Нет, это я вам благодарен,— сказал он легко и свободно.

— За что же? — Он услышал в ее голосе улыбку.

— За все. За то, что — голос. Вообще за все.

В коридоре послышались шаги. Это шел Агафошин с новой лампочкой.

— Значит, вы слушали мое выступление? — сказала Светланова, щурясь от яркого света.

— Я вас много раз слышал. По радио и так... Однажды вы пели Даргомыжского...

Борис вспомнил тот вечер у себя в комнате, когда в унылых сумерках вдруг, как чудо, зазвучал ее голос. И потом весь вечер, и на следующий день, и еще много дней подряд ему все слышалось: «Мне минуло шестнадцать лет...» А потом он увидел ее.

— И, наверно, разочаровались? — улыбаясь, сказала Светланова.— Наверно, оказалась совсем другая?

— Нет,— быстро сказал Борис.— Не другая. Именно такая.

В комнате стоял короткий жесткий диванчик без спинки, обитый красным плюшем. Такие же стояли в фойе, этот, наверно, перекочевал оттуда. Светланова села. Но сидеть на этом узком диванчике было, наверно, не очень удобно, и она скинула туфли и подобрала ноги. Она сидела тут, в этой случайной фанерной комнате, словно у себя дома, и туфли ее валялись на полу тоже, как у себя дома. Так, конечно, и должно быть: артистка, она всем нужна, и она всюду дома. И вещи ее тоже всюду дома.

— Садитесь же,— сказала Светланова. Ее платье широким веером лежало на диване.

Борис сел на краешек.

— И говорите. Говорите все, что вы думаете, о моем голосе, об исполнении. Нам ведь очень редко приходится слышать настоящее откровенное мнение. Артисты в этом отношении несчастные люди. Аплодисменты, аплодисменты... Но ведь это еще не все. Говорите.— Она устроилась удобнее.

К сожалению, ему не удается слушать все ее выступления, хотя он следит за радиопрограммами и всегда знает, когда она поет. Просто не всегда оказываешься возле радиоприемника. Однажды, например, он ее

слушал на рынке. Ну да, возле их дома — рынок, и он проходит через рынок, чтобы сократить дорогу, а там, на рынке, установлен репродуктор... Между прочим, в таких местах он вообще запретил бы ставить репродукторы.

— Почему? — удивилась Светланова.

Борис вспомнил. Он шел по рынку. Было сыро и пасмурно. Под ногами хлюпала грязь, валялись капустные листья, стояли тележки с мокрой, покрытой землей картошкой, фыркал грузовик, нагруженный красными мясными тушами, пахло перегоревшим бензином. И вдруг над всем этим — ее голос. Ее никто не слушал, только он. И ему стало обидно за этот милый грустный голос, которым пренебрегают все эти люди, покупающие и продающие свою морковку. Ему даже захотелось влезть на столб и сорвать репродуктор.

— Вот как, сорва-ать,— с удовольствием сказала Светланова нараспев.

— Ну, конечно, это гипербола,— нахмурился Борис.— А в принципе я считаю, что нецелесообразно устанавливать репродукторы в таких местах.

Она сидела, подобрав ноги, и тихонько улыбалась, глядя на Бориса.

— У вас есть блокнот? Дайте-ка.

Борис вытащил свою толстую растрепанную записную книжку.

— Вот смотрите, я записываю свой номер телефона. В четверг я выступаю по радио, в двадцать два тридцать. Позвоните мне после концерта. Мне интересно, что вы скажете. Вот.

Борис взял книжку, подул на тонкие косенькие цифры, которые вывела ее рука, и бережно спрятал книжку в карман.

— Да,— сказала Светланова,— аплодисменты, похвалы, рецензии — это еще не все, важно откровенное мнение. Пусть отрицательное, но откровенное... Конечно, в моем исполнении есть недостатки. Нет, нет, не говорите, я знаю, есть.

— Конечно, есть,— сказал Борис.

Светланова подняла брови.

— Да-а?

— Конечно. Вот, например, сегодня. Вы пели какую-то песню о том, как прощаются двое. Ну что это такое! Слова дурацкие, музыка — убожество какое-то. Ну скажите, зачем такое петь, это же просто чепуха.

— Ах, вот вы о чем. Да,—вздохнула Светланова,— да, да. Мы целиком во власти композиторов и поэтов. А среди них попадаются такие халтурщики. И все-таки вы заметили, как меня встречали?

— Да, хлопали вам действительно здорово, но, по-моему, это не самое главное... Вот вы говорите — халтурщики. Ну и пусть, пусть они халтурят! А почему вы должны петь, если халтура?

— Н-ну, это не так просто... Иногда приходится.

— Хорошо. Пускай. Но тогда пусть будет видно, что ерунда. Вот вы пели про каких-то двух: они прощаются, он говорит ей, чтобы она ни с кем без него не гуляла, а то он тоже найдет себе кого-нибудь вместо нее. Но ведь это просто пошляк какой-то! А вы поете так, будто это Ромео с Джульеттой прощаются. А там все такое мелкое, маленькое... Или другая песня, про Чапаева. Ее вы пели так, словно для вас совсем не важно, что Чапаев гибнет, как будто вам все равно... как будто самое главное — это показать, какой у вас голос, как вы умеете...

Светланова высоко подняла брови.

— А ведь главное совсем не вы, не ваш голос, а Чапаев! — продолжал Борис.— Вот у вас голос. Ведь это — счастье, и вы получили его просто так. Ну, как подарок. Каждый бы рад, чтобы у него был голос, но ведь человек ничего не может сделать для этого, родится и — голос.

Но раз так, раз голос, он должен, непременно должен, он просто обязан петь как можно лучше, это его обязанность перед людьми... Вот я где-то читал, что Станиславский...

Светланова спустила с дивана ноги, нашарила туфли и поднялась.

— Станиславский говорит, что артист...— несколько растерянно повторил Борис.

— Вы нашли такси? — сказала Светланова, поворачиваясь к вошедшему в эту минуту лохматому дирижеру.— Или мне придется опять мерзнуть на улице?

— Почему опять? — пожал плечами дирижер.— Такси стоит у подъезда.

— Так чего же вы молчите? — резко сказала Светланова и вышла из комнаты.

Борис остался, как был, на жестком диванчике. Что же это такое? Нет, что случилось? Почему она вдруг ушла? Она рассердилась? Но на кого и за что? Ведь все было так хорошо, и она улыбалась...

— Ну, Бориска,— сказал Агафошин, входя в комнату,— ну, здорово же ты на нее критику навел! Я стоял у дверей и все слышал. Ну, прямо здорово.

— Ты считаешь — здорово? — растерянно спросил Борис.— А мне показалось, что она рассердилась.

— Рассердилась? Что значит — рассердилась. Ты ж ее не с работы снимаешь, а даешь свои замечания, самокритику наводишь...

«Рассердилась или не рассердилась? — продолжал думать Борис по дороге домой.— И из-за чего она могла рассердиться? Ведь он сказал то, что она просила,— откровенное мнение. И все было замечательно, она слушала и вовсе не собиралась уходить — и вдруг поднялась и даже не попрощалась. Ничего нельзя понять...»

В четверг, в назначенный час, Борис сидел в своей комнате, запершись на крючок. Он тщательно настроил приемник, сверил по телефону часы и теперь сидел, нетерпеливо посматривая на циферблат. Двадцать два часа двадцать девять минут. Еще одна минута.

...Ах, как он мог, как смел он сказать ей все то, что он сказал, сидя там, рядом с ней, в маленькой фанерной комнате!.. Чистый, нежный голос лился из приемника. Она пела песню за песней. Без названий. Только маленькие паузы отделяли одну песню от другой. И это было хорошо, что ничей другой голос не становился между песнями,— только тишина. Немного тишины, чтобы он мог перевести дыхание, и — снова ее голос.

Это был цикл песен Шумана «Любовь и жизнь женщины».

Борис не мог понять, в чем дело. Что же было тогда в клубе? Сейчас в голосе Светлановой звучала настоящая страсть и неподдельное чувство...

Будет радость, будут слезы,
Счастье в сердце оживет...

Сильно и задушевно зазвенел ее голос и умолк. От этого нежного и чистого звука у Бориса замерло сердце.

Концерт окончился.

Борис долго сидел в своей комнате, не двигаясь. Потом достал записную книжку и пошел к телефону. Набрал номер. Он не знал, как ее назвать. Не по имени же! А отчество он не догадался спросить. Товарищ Светланова? Нет, так тоже не хорошо. Ну ладно, как-нибудь, главное — сказать.

Он сразу узнал ее голос.

— Это я,— сказал Борис, страшно волнуясь,— тот, который, помните... там в клубе... Я только что слушал вас...— Он помолчал, чтобы перевести дыхание.

— Светлановой нет дома,— вдруг услышал он в трубке.

Он опешил. Это был ее голос! Это говорила она, Лариса Светланова...

— Послушайте, вы, наверно, не узнали меня... Это я... Вы еще просили позвонить, записали свой телефон...

— Нет дома,— повторила она.

Борис стоял, в отчаянии прижимая к уху трубку, в которой слышались короткие злые гудки.

11

— Как ты думаешь, он любит меня? — задумчиво спросила Зойка.

Они сидели на диване. Зойка — подняв колени к подбородку и охватив их руками. Кира — подперев щеки ладонями и глядя в окно. На столе валялись раскрытые учебники, тетради, черновики, промокашки... Сегодня у них все шло как-то удивительно быстро, еще нет семи, а все уроки сделаны. Остался только один пример по алгебре, но его решать необязательно — Антон сказал: это для любителей на закуску.

Блаженное время, ничего над тобой не висит, никуда не надо торопиться, ты чист перед самим собой и перед людьми. И эти минуты, когда ты сидишь и смотришь в окно,— твои. На них никто не посягает: ни Антон, учитель математики, который считает, что самое важное в твоей жизни — алгебра; ни секретарь комсомольской организации, которому всегда что-то от тебя нужно и всегда ему кажется, что ты чего-то не сделала (и тебе самой так кажется!); ни мама, которая постоянно о тебе беспокоится,— стоит тебе прийти домой хоть на минуту позже, и она уже не находит себе места... Эти минуты твои, и ты можешь сидеть вот так, подперев щеки ладонями, и ни о чем не думать, просто смотреть на этот снег. А снег падает и падает, летит и кружится, все изменяя, делая все в мире другим, не таким, каким оно было совсем недавно. Мягкими и округлыми стали железные линии крыш, мохнатой и нежной — голая ветка, неслышными — шаги прохожих. И комната сделалась другой, она стала уютнее, тише и, кажется, даже меньше. И все из-за того, что снег. Когда такой снег, в жизни может произойти все самое прекрасное и необыкновенное, даже то, во что ты уже немножко перестала верить и на что порой перестаешь надеяться...

— Иногда мне кажется, что любит,— так же задумчиво продолжала Зойка.— А иногда я думаю: а может, настоящая любовь — это что-то другое, совсем не такое? Я даже у него самого спросила: он знает, что такое настоящая любовь? Он говорит: «Знаю. У меня настоящая».

— Я бы не спрашивала,— медленно сказала Кира.— Я бы знала сама.

— А если бы он молчал?

— Все равно знала бы.

Да, она знала бы. Сейчас ничего нет. И она это знает. Он молчит, но она знает — ничего. Ему все равно, есть она на свете или ее нет, он смотрит на нее и — не видит... Но увидит же когда-нибудь! Не может быть, чтобы не увидел... Такой снег за окном... И она сразу узнает; он вот только войдет, станет в дверях на пороге, он еще ничего не скажет, только посмотрит на нее одним быстрым взглядом, а она уже будет знать — наконец-то, наконец это пришло!..

— Да, ты бы сразу узнала,— подумав, сказала Зойка,— ты ведь не такая, как я, это я не знаю. Про Рыбникова ты, конечно, сразу узнала.

А он ведь сколько времени молчал, он до третьей четверти, до самых каникул молчал.

Рыбников?! Кира была за тысячу верст от Рыбникова, от его печальных косящих глаз, от его робкого задыхающегося голоса. Нет, не о Рыбникове думает она, глядя на этот кружевной движущийся воздух. Не из-за Рыбникова так изменилось все в ней. Но рассказывать об этом она никому не будет. Даже Зое. Зачем? Все равно этого рассказать нельзя. Однажды она попробовала написать просто так, для себя, чтобы понять: что это, ну, что же это такое — великое это счастье или великое несчастье обрушилось на нее, то, чем она всегда полна, то, что всегда с ней, готовит ли она уроки, слушает музыку, бегает на лыжах или смотрит на этот снег... Она ничего не написала, ни строчки. Это написать невозможно. Даже для себя самой. Потому что оно ведь не только в тебе, то, что изменило твою жизнь, это несчастливое счастье,— оно рядом, в этом теплом воздухе, и в тикании часов, и там за окном кружится и танцует вместе с этим волшебным снегом.

— А вчера мы идем с ним по Усачевке,— продолжала Зойка,— и он вдруг говорит: хотите, я стану перед вами на колени? Я ничего не успела сказать, а он — бух и стоит! Знаешь, там на углу, где «Гастроном». Так неловко было, кругом народ, а он стоит... Как ты думаешь, если человек становится на колени, это что — любовь?

Кира смотрела в окно. Снег все летел и летел, не останавливаясь, столько его было там наверху запасено.

— ...А Борису я рассказывать не стала. Он начал бы высмеивать Аркадия. Мне, конечно, все равно, но просто неприятно, когда человека высмеивают.

«Борис...— подумала Кира,— а он мог бы стать на колени? Нет, он — нет. Постой, а если бы любил? Ну так любил, что уже все равно, тогда мог бы?» И Кира вдруг представила себе, как Борис с растерянным и отчаянным лицом (у него бывает иногда такое) стоит на коленях... Ах, как надо любить, чтобы стоять вот так и чтобы все равно — «Гастроном» или не «Гастроном»...

— Он тебя любит,— сказала Кира.

— Да? А я вот нет,— вздохнула Зойка.— Ну вот ни капельки. И мне совершенно все равно, приходит он или не приходит, звонит или не звонит.

— Но ты все-таки встречаешься с ним.

— Мне его жалко. Знаешь, Кира, какое это сильное чувство — жалость? Я где-то читала, что оно даже сильней любви... А полюбить я, наверно, не смогу никогда,— печально сказала она.— Конечно, это очень грустно всю жизнь прожить без любви. Наверно, приятно любить. Конечно, когда и тебя любят.

«А если не любят?— спросила себя Кира. — Тогда, может, лучше и самому не любить? Ну вот совсем не любить. Жить себе и жить, ну, школа, лыжи, концерты, книги... И все? Нет, все-таки лучше любить! Пусть даже ничего никогда не будет? Пусть».

— Один раз мы с Борькой сидели вот так же и решили, что никогда не выйдем замуж, то есть я не выйду, он не женится. Будем жить вдвоем в маленьком домике, только я и он. Ставенки такие зеленые и высокие цветы, не знаю, как называются, вроде маков, только высокие... И никого нам с ним не надо. Мы оба с ним такие — никого не можем полюбить. Ну, друзья, конечно, нужны. Друзья будут к нам приезжать. Ты будешь к нам приезжать, Кира?

— Не знаю.

Зойка внимательно посмотрела на подругу.

— Знаешь, Кира, я считаю, что наш Борис очень замкнутый. Мама говорит, что он грубый и не умеет себя держать в обществе. А по-моему, он просто замкнутый. Иногда кажется, что он к кому-нибудь плохо относится, а на самом деле — очень хорошо. Вот я, например, уверена, что к тебе он очень хорошо относится.

— Не знаю,— сказала Кира.— И потом, это не имеет значения. Твой брат очень принципиальный человек, а это, по-моему, самое главное. И я его уважаю независимо от того, как он ко мне относится.

— Кира! — с восхищением воскликнула Зойка.— Ты просто удивительная. Вот я не могу так. Если я вижу, что ко мне кто-нибудь плохо относится, я сразу начинаю ужасно его не любить и мне хочется отыскать в нем самое плохое. Вот, помнишь, Гольдберг Юрка, он всегда ко мне придирался, и я его просто ненавидела. А потом, после той записки,— помнишь? — когда оказалось, что все наоборот, он мне сразу начал казаться другим. Нет, я не могу так, как ты.

Они замолчали. Снег за окном все летел и летел, и почему-то не было скучно на него глядеть. Может быть, потому, что такой снег означал что-то прекрасное и необыкновенное?

— Ой, Кира,— сказала вдруг Зойка.— Совсем забыла тебе рассказать! Помнишь, я тебе говорила про Светланову, артистку? Так вот Борис ей вчера звонил. Поздно ночью. Я уже легла спать и вдруг слышу, он просит к телефону Светланову. Я, правда, не все разобрала, но, знаешь,— она сделала большие глаза,— по-моему, между ними что-то есть. Он ей говорит...

— Не надо,— сказала Кира и быстро встала.

Она подошла к окну. Снег все валил и валил. Самый обыкновенный снег, сырой, липкий. Вон мальчишка плачет, в него залепили снежком. Вон старик стучит валенком о порог, никак не может сбить снег... И почему это она решила, что этот пухлый снег что-то означает?!

— Аркадий говорит, она красивая, эта Светланова,— сказала Зойка.— Ей уже тридцать, но она такая кокетка, что просто ужас. Не понимаю, как это можно любить кокеток.

Кира не ответила.

Зоя подумала, что Аркадий в своем Радиокомитете на каждом шагу встречается с разными певицами и, конечно, все они кокетки.

— Знаешь, Кира,— сказала она,— если они могут влюбляться в кокеток и всяких там тридцатилетних — пусть. Какое нам дело!

Кира подошла к столу и раскрыла учебник.

— Ты что, Кира?

— Там остался еще один пример.

— Но Антон сказал — необязательно.

— Прошлый раз он тоже говорил, а потом спрашивал.

— Да,— вздохнула Зойка,— и за что нам такое несчастье, Антон этот?

Она тоже встала с дивана, забралась с коленками на стул и, подперев голову руками, стала читать условие.

Кира придвинула к себе тетрадь.

— А если так? Смотри.

Карандаш быстро забегал по бумаге. Они уже ни о чем не разговаривали. Тикали часы, позванивали трубы парового отопления, где-то за стеной тихо бормотало радио. Они работали.

...А за окном шел снег, который ничего не означал.

12

Давно уже был напечатан в газете очерк о Никольском и после него — еще несколько материалов Бориса на разные темы. И можно было бы уже забыть и этот очерк и самого Никольского. Но Борис почему-то не забывал.

Конечно, никакого литературного портрета у него не получилось. После всех его мучений, когда он с яростью и отчаянием вычеркивал строку за строкой и писал снова и снова, осталось всего каких-нибудь две странички, которые он и отдал Кору, ничего не говоря, но испытывая стыд за каждое слово. Все было не то и не так. Ни одной строки, которая передавала бы хоть какую-нибудь черту этого насмешливого парня!.. Пусть Кор скажет ему, что это никакой не портрет, а жвачка, он примет это, как должное, и попросит только об одном: не печатайте.

— Ну что ж,— сказал Кор, дочитав до конца.— Нормально. Конечно, не Ромен Роллан, но нормально.

Кор быстро расставил абзацы, что-то вычеркнул, что-то вписал и — отправил в набор. И вот в газете появилась фотография, а под фотографией — заметка, два несчастных столбца, которые кончались словами: «Все помыслы новатора производства К. Н. Никольского направлены на строительство коммунизма». Этих слов Борис не писал — их вставил Кор. И хотя слова были, наверно, правильные, они почему-то не совпадали с насмешливой, небрежной и задумчивой улыбкой, которая явственно виднелась на туманной фотографии. Наверно, о том, как строит коммунизм Никольский, надо было написать другими словами.

Каждый раз, когда Борису попадался на глаза номер газеты с этой фотографией, он поспешно переворачивал газетный лист, чтобы не видеть этого лица и подписи под заметкой, которую Кор зачем-то выписал полностью — «Борис Башкиров».

Однако дома (он имел глупость притащить этот номер домой), дома к этой подписи и к самой заметке отнеслись совершенно иначе.

Особенно довольна была мама. Она тут же позвонила тете Вере и стала читать заметку вслух по телефону. Потом она заставила подойти к телефону Бориса, и он должен был выслушивать несусветную чушь, которую несла тетя Вера по поводу его литературных способностей. Мама стояла рядом. Глядя на Бориса, она вздохнула: «Опять он недоволен! Господи, никак не поймешь, чего же ему надо».

Зойка, конечно, потащила газету в школу, и можно было не сомневаться, что распрекрасная Кира, и ее косой рыцарь, и все остальные Зойкины одноклассники уже были в курсе дел новатора производства К. Н. Никольского и прославившего его Бориса Башкирова.

Но хотя он довольно строго сказал Зойке, чтобы она перестала его рекламировать, в общем все это было ему довольно безразлично — и что подумают о нем десятиклассники и какие еще мудрости изречет тетя Вера... Но когда мама сказала, что надо непременно послать газету в Днепропетровск папиным родственникам, Борис решил — хватит.

— Где там у тебя номер? — спросил он у мамы.

— А что?

— Ничего. Просто я думаю, что Днепропетровск как-нибудь проживет и без моих высокохудожественных произведений.

— Напрасно,— сказала мама,— всем очень нравится, а тетя Вера считает...

— Ладно, ладно,— сказал Борис,— давай-ка сюда газету.

— А у меня ее сейчас нет. Я отдала почитать Борису Петровичу. Мы тут с ним как-то говорили...

— К-какому Борису Петровичу? — испуганно спросил Борис.

— Ну как это — какому! Соседу нашему. Мы с ним говорили...

— Зачем?! — завопил Борис.— Зачем ты ему отдала? Кто тебя просил?!

— Что ты кричишь? — растерявшись, но стараясь быть строгой, сказала мать.— Что тут особенного? Я не понимаю, ведь...

— Не понимаешь, так не вмешивайся! Тысячу раз просил я тебя... Но ты всегда вмешиваешься... Мне это в конце концов...

В коридоре раздались шаги. Это был Борис Петрович. Проходя мимо кухни, он мельком взглянул на багровое лицо Бориса, на растерявшуюся мать и пошел дальше по коридору.

— Мало того, что ты груб,— сказала мать,— ты еще...

— А-а...— Борис в отчаянии махнул рукой и вышел из кухни.

Меньше всего на свете хотел он, чтобы его дурацкая заметка попала на глаза этому человеку.

Недавно на кухне Борис разглагольствовал перед Зойкой на тему о том, что значит быть настоящим журналистом. Борис Петрович не вмешался в их разговор, стоял и курил. Но Борису казалось, что он одобряет его категорические суждения против всяких пошляков и халтурщиков вроде этого Паренькова, которым восхищается Аркадий... И вот пожалуйста!.. Нет, пошляком и халтурщиком его самого назвать, конечно, нельзя, но то, что он написал, бездарно. И Борис Петрович теперь может презирать его. «Да, теперь я в его глазах бездарная, ничтожная личность»,— мрачно думал Борис.

...Спустя некоторое время к нему постучали. В комнату вошел Борис Петрович; он протянул Борису злополучный номер газеты.

Борис Петрович был в пальто и в шапке — видимо, он собрался уходить и зашел только для того, чтобы передать этот номер.

— Вы... вы ничего мне не скажете? — пробормотал Борис.— Я, конечно, понимаю, что... ничего хорошего... Но все-таки...

— Видите ли, я плохой моралист,— сказал Борис Петрович.— Во всяком случае, это занятие — читать мораль — никогда мне не удавалось. Даже когда я старался. Впрочем, я давно уже не стараюсь. Так что уж лучше воздержаться.

— Нет,— угрюмо сказал Борис,— не лучше.

— Не уверен.— Борис Петрович присел на валик дивана и вытащил папиросу.— Дело в том, что у меня есть одна теория (она, надо сказать, нимало не согласуется с принципами педагогики): сколько бы человеку ни втолковывали самые элементарные истины, он их не усвоит, покуда не придет к ним в результате собственного опыта... Ну вот, к примеру, ему с детства твердят, что лгать нехорошо. Он не перечит, нет, он даже соглашается: в самом деле нехорошо. А сам врет потихоньку, когда придет необходимость. Или даже без особой необходимости. И вдруг настает день, и он делает открытие: батюшки, а ведь врать-то скверно! Куда как лучше говорить правду. Ему это твердила еще в первом классе его первая учительница, но должны были пройти годы, чтобы он уверовал в ее слова.

Борис слушал, не понимая, к чему он клонит.

— Между прочим,— продолжал Борис Петрович,— большинство подобных открытий я совершил между тридцатью и сорока годами.— Он затянулся.— Самое последнее открытие вот какое: оказывается, доброта — это достойнейшее из человеческих качеств и иногда весит больше всяких иных добродетелей... Дело в том, что в те годы, когда человек активнее всего занимается самовоспитанием, я считал для себя необхо-

димым вырабатывать в себе железную стойкость, стальную решимость и тому подобные металлические качества. Что же касается доброты, чуткости, деликатности, то все это я относил к той категории человеческих свойств, которыми я, как мне казалось, мог обзавестись в любую минуту. Захочу — и буду добрым, подумаешь, добродетель! И в себе и в других людях я ценил иное. Вот сколько должно было пройти лет, чтобы я вдруг уразумел, что человеческая доброта — прекрасная и необходимейшая в жизни вещь. И знаете, кто мне помог открыть эту истину? Ваша мать. Не бог весть какое открытие для вполне взрослого мужчины. Но тем не менее я от него, вероятно, уже не отступлюсь.

Борис Петрович вытащил новую папиросу.

— Согласно моей антипедагогической теории излагать вам все это — занятие бессмысленное. Пройдет какое-то время, и вы сами откроете что-нибудь в этом роде. Например,— он сбоку взглянул на Бориса и затянулся,— например, что кричать на мать — по меньшей мере постыдно. Даже в том случае, если она перед тобой в чем-нибудь виновата, хотя, надо сказать, с матерями это редко случается. Но стоит ли вам проповедовать такую элементарную истину? Тем более, что вы с ней, наверно, уже знакомы. Пройдет время, и вы сами, я надеюсь, придете к этому.

— Я свинья,— сказал Борис, глядя прямо в глаза Борису Петровичу.— Нет, нет, не говорите ничего, я свинья.

Борис Петрович тихо усмехнулся и поднялся.

— К-как, вы уже уходите? А я думал... а я хотел...

— Если хотите, идемте вместе,— вдруг предложил Борис Петрович.— Куда? А просто — в Москву. Я с ней знакомлюсь заново. Вот только не решил, куда сегодня...

— Давайте в Лужники,— предложил Борис,— там все новое.

— В Лужниках я уже был, Черемушки видел, Ново-Песчаные тоже. В Сокольники, что ли?

— Ну, Сокольники! В Сокольниках все то же. Вот мы с Зойкой еще в детстве ездили туда, нас отец возил. Я помню, там такой круглый островок, словно по циркулю сделанный, а на нем дерево. Тогда стояло и теперь стоит. Липа, кажется.

— Знаю я эту липу,— задумчиво сказал Борис Петрович.— И островок знаю. Вот что, пошли к липе! Посмотрим, как она там.

— Думаете, изменилась?

— Нет, но я другой. Посмотрим, как она примет меня сейчас.

Они вышли в переднюю. Из столовой выглянул отец.

— Мы — в Сокольники,— сказал Борис.— Может, и ты с нами?

— В самом деле,— поддержал Борис Петрович.

Отец как-то нерешительно взглянул на него.

— Н-не знаю... я взял домой работу...

— Ну-ну,— сказал Борис Петрович и отворил дверь.

Да, дерево росло на том же месте — посредине островка, круглого, словно вычерченного по циркулю. Вода была сине-серая, и даже издали угадывалось, какая она тяжелая и холодная.

Борис Петрович подошел к самой кромке берега. Остановился и закурил. Борис стоял рядом. И оба они молчали. И Борису не было неловко из-за этого молчания. Он чувствовал, что никак не мешает и, может быть, даже чем-то нужен сейчас этому человеку, который ничего не говорит, только курит и смотрит вперед — на круглый островок и на единственное дерево, растущее там.

— Да, вы были правы: все такое же,— сказал Борис Петрович.— Это все-таки неплохо, что кое-что остается таким же. Тебе даже на минуту может показаться, что и ты сам все такой же и ничего не потеряно. Правда, ты сделал кое-какие открытия касательно людей и их качеств...— Он снова замолчал.

Стало совсем темно. Где-то сзади зажегся фонарь, дрожащий блеск лег на тяжелую воду.

— Вот вы говорите, что доброта — очень важное качество,— сказал Борис.— Это я, конечно, понимаю. Но...

— Наверно, не очень понимаете, если «но»,— перебил его Борис Петрович.— Поэтому, хотя я некоторым образом отрицаю педагогику, поступлю, как педагог: дам вам наглядный пример. Из долгих и далеких странствий приезжает человек. В силу многих обстоятельств он чувствует себя, как... ну вот как эта липа (по-моему, ей одной там не слишком уютно. Как вы считаете?). Он, этот человек, возвращается на то же место, где когда-то работал, садится за тот же стол, и над головой у него все та же табличка, ну, скажем, «инженер-технолог». Времени прошло много, и хотя там, где он был, он сложа руки не сидел, тут все настолько изменилось, что называть его технологом можно только с очень большой натяжкой. Короче говоря, зарплату ему платить не за что. Кругом не младенцы: прелестно понимают это. И что же? Уловил ли он хотя бы один неприязненный или насмешливый жест за те длинные первые две недели, когда он бродил по цеху, словно слепой котенок... Нет! Впрочем, может быть, для всего этого есть другое, более точное слово, чем примелькавшееся и скучноватое — доброта... Может быть, это — товарищество... А? Деликатность... Но мне все-таки кажется: доброта.

Они постояли еще немного и пошли обратно. Мимо них с лязгом и звоном проходили трамваи, проносились автобусы. Один остановился неподалеку и стоял, словно ждал, чтобы они подошли и сели в него. Они подошли, посмотрели друг на друга и — зашагали дальше.

Красная Пресня спешит на воскресник.
Красная Пресня шагает, хоть тресни...—

в такт шагам проговорил Борис Петрович.

— Были когда-то в нашем комсомольском обиходе такие стихи. Они не пелись, а говорились на ходу. Под них отлично шагалось... И, может быть, поэтому я до сих пор не знаю, талантливые они или бездарные.

Борис вдруг вспомнил о своем очерке. Ведь Борис Петрович ничего так и не сказал ему. Наверно, он считает, что вконец бездарно. И не надо спрашивать. «Красная Пресня спешит на воскресник...» — в самом деле хорошо шагать. И не буду я спрашивать. Не надо... Нет, надо. Я хочу знать, что думает обо мне этот человек...

— Очерк? — переспросил Борис Петрович.— А я его не читал. Видите ли, мне показалось, что вам не очень хочется иметь еще одного читателя, и я решил избавить вас от возможной неприятности. Если такое под силу человеку, он обязан это сделать.— Борис Петрович улыбнулся.— Тоже одно из моих открытий... Когда мне будет лет этак под семьдесят, я, наверно, совершу самое великое свое открытие, что-нибудь вроде того, что черное — это черное, а белое остается белым, несмотря ни на что. Только, пожалуй, тогда у меня уже останется маловато времени, чтобы проверить, так ли это. Не правда ли?

Вдали засверкала красная угловатая буква «М». Они подошли к метро.

13

Придет ли оно наконец, то счастливое время, когда отменят к чертям деньги и никому не будет дела до того, какая у кого зарплата и получает ли человек зарплату вообще!

Собственно говоря, плевать он хотел на эту зарплату. В сущности, деньги ему не нужны. Но просто противно: все получают, расписываются, а ты сиди, уткнувшись носом в первую попавшуюся газету, делай вид, что не можешь от нее оторваться, чтобы они, чего доброго, не подумали, что ты кому-то там завидуешь. Конечно, ты не завидуешь — чепуха какая! — но просто противно.

Сегодня пятнадцатое. Самый неприятный день месяца — день выдачи зарплаты. Все получили свои деньги и отправились в буфет пить пиво. Даже Марго. Он не пошел. Марго шепотом спросила у него:

— Бобочка, может у вас нет денег?

— У меня есть деньги,— сказал он громко.— Я не люблю пива.

Борис не пошел с ними и остался один в пустой редакции. Не потому, что он не любит пива (хотя он на самом деле не любит его). И не потому, что у него нет денег (в кармане всегда лежит пятерка, которую мать дает на обед). Он не хочет покупать пиво на эту пятерку. Он хочет, как все, расплачиваться теми деньгами, которые получают через маленькое окошечко из рук толстого лысого дядьки, похожего на банкира.

Настроение препаршивое. И все-таки, если докопаться до самой глубины,— не из-за денег. В конце концов зарплату он получать будет: утвердят же когда-нибудь эту штатную единицу. Нет, причина другая, и тут уж никто ему не поможет. И если быть честным, надо наконец прямо сказать это самому себе и им, тем, кто сейчас пьет в буфете пиво. Если они сами еще об этом не догадались... Что и говорить, не очень-то приятно сообщать о себе такое. Но ничего не попишешь — это так. Раньше он еще мог в этом сомневаться, но после очерка о Никольском сомневаться нечего.

Когда же они наконец вернутся из буфета? Должен же он сказать Кору, что не пойдет в первый цех. Пусть туда идет Устинов, а он возьмет задание Устинова. Причина? Никаких особенных причин: просто он уже был в этом цехе, писал, ему не интересно...

Сегодня утром редактор поручил Борису сделать беседу с парторгом первого цеха о резервах производства. Он никогда ни от чего не отказывался. И если бы вот сейчас не наткнулся на портрет Никольского в газете, пошел бы и сделал. А теперь не хочет. Может же он чего-нибудь не хотеть! Так вот он не хочет больше встречаться с Никольским. Что же они не идут? Сколько времени можно торчать в буфете и пить это горькое пойло!

Они вернулись все вместе, продолжая разговор, начатый, видимо, еще в буфете.

— ...Нельзя сократить,— говорил Макеев.— Сократишь — суть вытряхнешь.

— А я ставить не могу,— сказал Кор.— Смотрите, что получается на полосе: три колонки постановления парткома и ваш кирпич.

— Некрасиво,— согласился Макеев,— а сократить нельзя.

— Нет такого материала, который нельзя было бы сократить,— сказала Марго, вынимая из сумочки зеркальце.

Макеев ничего не ответил ей, даже не обернулся.

— Нельзя сократить,— повторил он, глядя на Кора своими маленькими умными глазами.— В кузнечном знаете какое положение? Зашьемся мы с планом из-за них, вот что. Им вдолбить надо, что так дело

не пойдет, пусть изменят технологию. Здесь все это написано, и короче нельзя. Вы прочитайте, вы же не знаете, какое там положение.

— Зато я знаю, какое положение в газете,— сердито сказал Кор.— И говорю вам, даже не читая: статью можно сократить ровно в два раза, и она от этого станет только лучше.

Макеев пожал плечами.

— Если бы вы разбирались в производстве, вы бы поняли. Беда, что вы не разбираетесь.

— Это необязательно,— запальчиво сказал Кор.— Я не могу разбираться во всем на свете. Я журналист, для меня главное — уметь ориентироваться... Ну вот что. Давайте мне вашу статью, я ее сам сокращу. Ровно в два раза. И ее суть от этого станет в пятьдесят раз ясней.

— Пожалуйста,— спокойно сказал Макеев и передал Кору статью.

— Писать надо так,— поучительно сказал Кор, листая страницы,— чтобы словам было тесно, а мысли просторно.

— Как, как? — переспросил Макеев.

Борис рассеянно слушал этот разговор, дожидаясь, когда освободится Кор, и машинально перелистывал комплект газеты. И снова на него с газетной страницы поглядели насмешливо прищуренные глаза и словно спросили: трусишь?

Он поднялся.

— Вы что-то хотели мне сказать? — спросил Кор.

— Нет.

В красном уголке первого цеха все было, как в тот раз. Только не висела таблица на стене. Видно, турнир кончился. «Интересно, кто у них победил. Наверно, Никольский?..— подумал Борис.— Ничего интересного,— холодно остановил он себя.— Мне абсолютно все равно».

Парторг сидел за столом и читал какие-то бумаги. Потом он поднял голову, некоторое время всматривался в Бориса и словно вспоминал что-то.

— Вот это да! — сказал он наконец весело.— А я думал, навек мы с тобой расстались. Откуда ж ты тут взялся?

Борис смотрел на парторга, не понимая, о чем это он.

— Сняли ведь мы мошенника твоего,— продолжал парторг.— Сняли и под суд отдали. Такой жук оказался! Какие там двадцать граммов, там тоннами пахло.

Борис только сейчас узнал в парторге того человека, к которому приходил когда-то, чтобы рассказать о жульничестве в магазине, и которого принял тогда за секретаря райкома партии товарища Павлова.

— Да, судить его будут, субчика этого. К нему, оказывается, давно присматривались, да никак накрыть не могли. Ты что стоишь, присаживайся, в ногах правды нет.

— А я решил тогда, что напрасно к вам пришел,— задумчиво сказал Борис, садясь напротив Аристова.— Я даже жалел потом.

— Не напрасно. Напрасно, брат, редко что бывает: все где-нибудь отзовется.— Аристов закурил.— А жалел почему же? Боялся, что, может, не так на тебя посмотрели, может, кто посчитал, что ты с мелочью пришел? А ты никогда о таком не думай. Ты, раз считаешь, что прав, гни свое, и точка.

«Как он догадался? — подумал Борис.— Ведь правда, я именно этого боялся: что он обо мне подумает, как о мальчишке, который суется со всякими пустяками, хотя я сам считал, что это не пустяк... Но как он догадался? И он прав: такого никогда не надо бояться. Это слабость — бояться, что о тебе плохо подумают. Надо, чтобы было все равно, что́

о тебе думают. Интересно, а как он сам, он боится? Нет, конечно, это сразу видно. А он всегда был таким или стал? И как становятся такими?..»

Аристов перебил его мысли, он крикнул через дверь:

— Входите, входите, что скребетесь там?

«Никольский! — с неприятным чувством подумал Борис. И тут же себя одернул.— Вот это и есть слабость. Мне должно быть все равно».

Но вошел не Никольский, а какой-то незнакомый Борису паренек со школьной тетрадкой в руках.

— Ну, что скажешь, Горошкин? — спросил Аристов.

Паренек молча протянул ему тетрадку и с ожиданием смотрел, как Аристов листает. Его узкое остренькое личико было все в движении: морщился нос, поджимались губы, двигался подбородок, но он ничего не говорил.

— Ладно,— сказал Аристов.— Прочитаю. Я уж все сразу прочитаю.

Горошкин кивнул и ушел.

Аристов вытащил из ящика картонную синюю папку, где уже лежали такие же тетради, прибавил к ним еще одну и снова спрятал.

— Так о чем мы с тобой говорили? Да, о жулике твоем. Это ты, брат, хорошо сделал, что пришел тогда. Прямо тебе скажу: правильно сделал. За таких надо всем скопом браться, а то мы знаешь как иной раз? Дома с женой поговорим — и все.— Аристов взглянул на часы.— Послушай-ка, ты не торопишься? Тут ко мне из редакции один прийти должен. Мы с ним скоро управимся, ты не подождешь, а?

Аристов сказал это просительно. Борис даже удивился: «Что он, боится, что я сбегу?»

— Так подождешь?

— Конечно, подожду... Товарищ Аристов,— вдруг сообразил Борис,— а может, это вы со мной разговаривать должны? Ведь я из редакции.

— То есть как — ты?

— А так. Я работаю там, и товарищ Марфин поручил мне взять у вас беседу.

— Вот оно что. Значит, сотрудник?

— Да... то есть не совсем сотрудник... я пока еще не в штате. Но в данном случае это не имеет значения, мне поручили...

— Постой, постой, а как это не в штате, это что означает?

Борис рассказал, как он пришел в редакцию и как случилось, что он до сих пор не получает зарплаты.

— Ай да Марфин! — Аристов покрутил головой.— Нет, ты скажи, пожалуйста! Партком велит ему актив привлекать (он все плачет, людей ему не хватает), так он — нá тебе — привлек. И много у него там таких бесплатных? Нет, на самом деле, это что же такое получается, это ж прямая эксплуатация!

— При чем тут эксплуатация? — холодно сказал Борис.— Я сам попросил, чтобы меня взяли. А то, что без денег, так это для меня не имеет значения.

— Для тебя не имеет, а для отца с матерью небось имеет. Или они у тебя капиталисты?

— Не капиталисты,— угрюмо сказал Борис.— Но они не возражают.

— А ты бы сам возразил, чем на их шее сидеть...— Аристов взглянул на помрачневшее лицо Бориса.— Ну ладно, извини. Дело твое... Так о чем у нас с тобой разговор будет?

Борис вытащил из кармана блокнот.

— О резервах производства.

— Та-ак. А скажи, пожалуйста, как ты себе эти резервы представляешь? Туманно? Ну, а если я, скажем, захочу тебе очки втереть, наговорю такого, чего и в помине нет, тогда как?

Борис молчал, вертя в руках карандаш.

— Ну ладно, я, положим, врать не стану. Но ведь может тебе встретиться такой брехун — их, слава богу, хватает,— тогда что?

Борис исподлобья взглянул на Аристова. Тот смотрел на него с любопытством.

— Я вас понимаю. Вы хотите сказать, что если я не разбираюсь в производстве, я не должен был сюда приходить? И, может быть, вообще не имею права работать в редакции? Да, да, вы это хотите сказать! Так вот я этого не считаю. Для журналиста главное — уметь ориентироваться, все знать он не может.

— Ну, все-то необязательно,— миролюбиво сказал Аристов. Он помолчал, потом спросил: — А скажи, пожалуйста, это ты один так считаешь? Или, может, тебя в редакции так учат?

— Никто меня не учит,— сказал Борис и, не давая Аристову раскрыть рта, быстро добавил: — Но вообще вы правы — я действительно не должен работать в редакции. Только не поэтому. Совсем по другой причине.

Аристов подождал. Но Борис ничего больше не сказал.

— Почему же не должен? — осторожно спросил Аристов.— В чем причина? Может, тебя там Марфин прижимает?

— Марфин тут ни при чем. И вообще никто ни при чем. Дело в том...

Борис молчал. Ну почему он должен говорить этому человеку то, в чем не хочется признаваться и самому себе! Он вовсе не обязан говорить! Да, он не обязан, но он скажет. И не только ему, а всем. И пусть о нем не думают того, чего нет. Борис сильно покраснел, но, глядя прямо в лицо Аристову, сказал:

— Дело в том, что я бездарен. Я этого раньше не знал. Если бы я знал, я не пошел бы сюда. Но теперь я знаю.

Аристов сильно затянулся, потом долго выпускал дым тоненькой струйкой и наконец сказал:

— Ну, брат, об этом ты судить не можешь. Иной раз человек сам себе уродом кажется: он на себя только в зеркало смотрит, а зеркало, бывает, врет. Надо людей послушать. В редакции-то что о тебе говорят?

— Нет, они ничего... они даже хвалят иногда. Но я сам... Я знаете как считаю? Да, может быть, я не Ромен Роллан. Но заранее знать о себе, что ты не Ромен Роллан, и соглашаться с этим я не желаю... Вы не думайте, что у меня какая-нибудь там мания величия. Здесь совсем другое.

Аристов понимающе кивнул.

— А может, ты все-таки маху даешь? — спросил Аристов.— Может, тебе только поначалу не далось, а там научишься?

— Нет, — резко сказал Борис. — Не научусь. Этому научиться нельзя. Чему-нибудь другому можно, этому — нет.

Кто-то отворил дверь. Аристов махнул рукой, дверь закрылась. Аристов встал из-за стола, прошелся по комнате.

— Значит, твердо решил — не выйдет?

Борис кивнул.

Аристов долго и внимательно смотрел на него, потом сказал решительно:

— Есть предложение. Раз такое дело... что, если тебе в самом деле плюнуть на Марфина и поискать себе другую дорожку? Какую? Ну, скажем, перейти сюда, к нам в цех, а? Профессию мы тебе дадим

лучше не надо — слесарь-лекальщик. А не хочешь слесарем, другое подберем. У нас тут, брат, полный университет по металлу можно пройти. Ну, что скажешь на это?

— Н-не знаю... Я как-то про это не думал... И вообще пока не собирался уходить из редакции. Это ведь я так для себя решил, что не гожусь. А им я, наверно, все-таки нужен...

— Ей-богу,— сказал Аристов,— не пожалеешь.

Он курил, поглядывая на растерявшегося от неожиданного предложения Бориса.

— И потом опять же — зарплата. Ну чего на самом-то деле за спасибо работать! Перейдешь в цех, деньги домой принесешь, себе купишь, что надо. А? Ну вот смотри. Есть у нас такой, Агафошин. Он и не думал в цех идти, комендантом хотел устроиться в общежитии. Посоветовал я ему — вот работает, не скучает. Или хоть Горошкина возьми, вот что заходил сейчас. У этого, брат, такая жизнь была развеселая! Возле кино околачивался с билетиками, ну и все прочее. Уговорил я его, перетащил сюда. И вот, пожалуйста, стихи стал писать.— Аристов посмотрел на ящик, где лежала синяя папка, и слегка вздохнул.— И зачем вы мне все, братцы, нужны, сам не знаю. Хлопот с вами...

Аристов взглянул на Бориса, словно прикидывал, не будет ли и с ним хлопот. Потом сказал:

— Ну, так как же?

— Не знаю... Для меня как-то неожиданно. И потом, я ведь осенью в институт собираюсь.

— Ну что ж, пойдешь в свой институт, не задержим. Давай-ка вот что: ты сейчас ничего не говори; придешь домой, посоветуешься с отцом, с матерью, а там скажешь мне. Идет?

— Хорошо,— задумчиво сказал Борис,— я тогда зайду к вам... А знаете, что я вообще думаю о работе в редакции? Все-таки там делается не самое важное в жизни. Главное все-таки — самому работать, а не описывать, как работают другие. Вы как считаете?

— Да как тебе сказать...— неопределенно начал Аристов.

Зазвонил телефон. Аристов снял трубку.

— Кто говорит? Марфин? Здорово, Марфин. Как со статьей? С какой статьей? А-а... Будет, будет тебе статья, вот сидим пишем. Что? Да не беспокойся ты, интересная будет. Такая интересная, как ты и не ждешь.— Аристов подмигнул Борису и положил трубку.— А теперь доставай свой блокнот.

— Ну, задал мне работу Макеич,— сказал Кор, поднимая глаза на вошедшего Бориса. Перед ним все еще лежала статья Макеева.

— А я думал, вы давно уже сократили.

— Какое там! Тут голову сломать можно с этой технологией. Но ничего, я ему покажу, как я не разбираюсь в производстве! Посмотрим, что у него будет за физиономия, когда он увидит, какая конфетка получилась из той дряни, что он мне сдал.— Кор поднялся.— Ну, я пошел в кузнечный. Второй раз из-за этого Макеева в цех бегаю.

Макеевская статья была готова только к концу дня.

— Вот,— небрежно сказал Кор, перебрасывая на стол к Макееву сколотые страницы.— Обратите внимание, сокращена ровно вдвое.

Макеев взял статью, уткнул голову в свои толстые ладони и углубился в чтение. Кор тоже придвинул к себе какие-то бумаги. Но Борис видел, что он не читает, только переворачивает страницы и искоса взглядывает на Макеева.

Макеев читал долго. Наконец добрался до последней страницы. Подумал. И начал сначала. Кор с досадой передернул плечами. Борис поглядывал то на одного, то на другого.

Второй раз Макеев читал еще дольше, чем в первый. Наконец перевернул последнюю страницу. Положил на стол свои могучие кулаки борца и проговорил:

— Ну, Кор, ну что вы за хлопец!

— А в чем дело? — спросил Кор, продолжая перелистывать страницы.

— Молодец вы, вот что! Ну прямо такой молодец, что и сказать нельзя.

Кор не мог сдержать радостной мальчишеской улыбки.

— Обыкновенная правка,— сказал он.— Ничего особенного.

— Нет, не обыкновенная. Мысли стало просторно, вот что. Это вы вчера хорошо сказали, я все думал потом.

— Это не я, это Некрасов.

— Ну все равно,— сказал Макеев.— А то что же это! — Он поднял свои лиловые страницы.— Это же фактически брак... А как вы думаете, может человек научиться?.. Ладно,— сказал он, не дожидаясь ответа,— там видно будет.

И он снова стал перечитывать статью, потирая под столом ладони, радуясь и восхищаясь, как умел он восхищаться всякой хорошо сработанной вещью.

— Вот только насчет поковки надо бы подробней.

— Хорошо,— великодушно разрешил Кор,— валяйте еще строк двадцать, в крайнем случае петитом наберем.

Макеев задумался.

— Нет,— сказал он решительно,— эдак и испортить недолго. О поковке можно будет в другой раз.

«Кор — молодец,— думал Борис.— И Макеев — молодец. Один пишет здорово, другой производство знает. А я — ни то, ни другое. Да, со мной все иначе, и мне надо как-то решать...»

Домой он пришел поздно. Все уже спали.

Борис долго стоял под душем. Потом медленно прошелся по коридору, зашел в кухню, постоял там. Потом вышел зачем-то на площадку, заметил в почтовом ящике не вынутую с утра газету, хотел вытащить, но тут же забыл. Вернулся в комнату и включил радио. Играли что-то тихое, протяжное. Он слушал и не слушал. Взял с полки журнал, полистал его, пристально всматриваясь в картинки, потом отложил, даже не запомнив, что он такое там разглядывал. Раскрыл книгу и, не начав читать, положил на место.

Все в нем словно затормозилось — и движения и мысли. Он как бы медлил перед новым поворотом своей жизни.

Он не заметил, как очутился у окна в своей комнате.

Старая знакомая — рябина — махала ему ветвями, постукивала по стеклу сухими темными пальчиками.

«Давно мы с тобой не виделись»,— сказал Борис.

Пальчики дробно постучали по стеклу: «Да-да-да!»

«А ведь ты все такая же. Ты такая же, а я уже опять другой».

Сильный ветер заставил рябину склониться и снова выпрямиться, она словно развела в недоумении руками — и замерла.

«Да, представь себе — другой. И я снова не знаю — что дальше? Может быть, ты мне скажешь?»

Рябина беспокойно зашуршала, зацарапала по стеклу.

«Не знаешь? Вот и я, к сожалению, не знаю».

А ведь ему казалось, что он уже знает. Он бегал по заводу, собирал информацию, правил заметки, диктовал на машинку и думал, что знает; он уже видел, что там у него, впереди... Замечательные, великолепные люди вставали, как живые, из-под его пера. Великие события гремели и взрывались в его горячих строках. Неведомые страны покорно ложились на страницы его блокнота и снова возникали перед удивленными глазами читателей с газетных полос со всеми своими запахами, красками, звуками...

Рябина металась за окном, ее тонкие ветки приникали к стеклу и снова отстранялись.

«Ну что ты машешь, что ты машешь своими руками? Ну не будет этого, так будет же что-нибудь другое. Ведь будет?! Не может не быть!»

Ветер улегся. Дерево тихо покачивало ветвями...

(Окончание следует)

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

***

Бабьим летом гаданно и жданно
Праздную твой день рожденья, Анна!
С птицами отлетными, что в стаях,
И с цветами, что нельзя оставить
Под метели ярые и вьюги.
Я собрал их тут со всей округи
В честь твою.
Ты видеть их должна!
Голубая, синяя волна,
Белая и алая взлетают,
Падают и вновь горят все вместе,
Мечутся и вновь стоят на месте:
Пятьдесят? Сто тысяч? Полных двести?
Где их счесть? Не счесть!
Все они
в твою собрались честь.
Будь здорова, Анна,
будь здорова!
Это имя — песня
или слово?!

НА БЕРЕГУ

Вечер. Солнце, будто тлеет,
Гаснет постепенно.
Над волною чайка реет,
Умываясь пеной.

Это все зовется былью...
Возле моря, где-то,
Ты простерла руки-крылья,
Словно чайка эта!

***

«Мы поклялись, что будем двое».
С. Есенин.

Латыши давно бы взяли в дайну
Эту нашу маленькую тайну.

Если б знали,
Если б ведали,
Если б тайной
Кто заведовал!

Поклялись мы,
Вот в чем дело,
Над черемухою
Белой;

По-над белою поющей,
По-над белою кипящей,
И куда-то нас зовущей,
И куда-то в даль летящей!

КАРТИНКА

В синем, выцветшем немножко,
Платьице горошком
Шла девчонка-босоножка
По лесной дорожке.

И свистела, как мальчишка.
И никак иначе:
То ль от радости излишка,
То ли от удачи.

***

Чем тебя одаривать?
Молви, не таи.
Хорошо бы палевую
В волосы твои.

Иль еще под зорями —
Тут сама решай —
И пройди в лазоревой,
Мне ее не жаль!

Над землею талою
Звезд видны рои...
Хорошо бы алую
В волосы твои;

Хорошо б атласную,
Чтоб горела в ночь.
Хорошо бы красную,
Огненную, дочь!

БЫЛИ СТЕЖКИ В ИНЕЕ...

Встречусь я с тобой когда-нибудь
И скажу: что было — позабудь!

Ничего и не было, краля краль,
Ничего и не было. Был февраль.

На тропинках узеньких был ледок,
На твоей головушке цвел платок.

Были стежки в инее, шел февраль,
И чего-то, милая, было жаль!

ГОРЕНИЕ

Ничего не надо, Лада, Лада,
Только б день горел своим огнем,
Да земля шумела новым садом,
Новой рощей, добрым летним днем;

Да досталось сердцу то, что мило,
Чтобы всюду солнце перед сном
Русские березы золотило,
Как подружек их, что под окном;

Да сердца горели бы бесстрашьем
На великой родине моей,
Как литые звезды на фуражках
У ее отважных сыновей!

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ЧТО МНЕ ГОДЫ...

В жизнелюбии своем ты прав.
— Что мне годы,— как-то ты сказал.—
Зеленью лесов и трав
Не насытились мои глаза,
Не насытились сияньем дней,
Звездным холодом над головой —
Только сделали еще нужней
Этот мир с бессмертной синевой.
На черты любимого лица
Тоже не насытился смотреть,
И не все свершил я до конца,
Чтоб имел я право умереть.
Не познал еще я всех глубин
И такое мне еще под стать:
Светом рек и пением турбин
Вновь и вновь хочу стихи питать.
Что мне годы,— дальше молвил ты,—
Если вдруг теряю я покой,
Чтобы трепет женской чистоты
Передать языческой строкой.

МАРО МАРКАРЯН

★

ГОРНАЯ ДОРОГА

Горная дорога,
Трудная дорога!
Через вешние луга,
Через вечные снега
От отрога до отрога
И отвесно и отлого
Прямо к солнцу ты идешь,
Горная дорога!
Ты кружишь по краю кручи,
Ты спешишь навстречу туче,
Над тобой нависли скалы,
Под тобой гремят обвалы,
Вкруг тебя царит тревога,
Горная дорога!
Ты средь бури и безмолвья
Вьешься ввысь в ожогах молний,
И недаром над тобою
Ветер веял, ливни лили —
Ты не знаешь душной пыли,
Знаешь небо голубое.
Ты прошла и позабыла
Мутнопенные потоки,
У тебя хватило силы
Обрести удел высокий,—
Лишь вершинам снежных круч
Солнце дарит первый луч,
Горная дорога!

***

Дождя напрасно ждали в срок,
Он не нашел путей-дорог,
Когда сгорал от жажды сад.
И вот не к месту, невпопад
Явился дождь — и льет и льет,
Сухие ветви бьет и гнет,
То горько плачет он навзрыд,
То молча мрачно моросит,

То бурным ливнем хлынет вдруг.
Вода шумит, кипит вокруг,
Поит деревья до корней...
А сад? Что саду делать с ней?
Что пользы в ней? Какой в ней прок?
Желанный дождь пришел не в срок.

Перевела с армянского **М. Петровых.**

***

От своих тревог и тайной боли
Ты не уделил мне ничего,
Не доверил и малейшей доли
Скрытого страданья своего.

Краткими отделался словами,
Холодно учтив был в этот день,
И легла навеки между нами
Отчужденья тягостная тень.

Я не домогаюсь, не неволю,
Но грущу, что жизнь моя пройдет,
Непричастна и к малейшей доле
Мук твоих, печалей и забот.

Перевела с армянского **А. Ахматова.**

ДЖОН УЭЙН

★

СПЕШИ ВНИЗ

Роман

«Спеши вниз ко мне, моя крошка,
Дома ждать тебя буду я».

Старинная песня.

«Быть может, моралист придет
К моей могиле, сух и строг;
Чужих не ведая забот,
Он сам себе и мир и бог».

Вордсворт. «Эпитафия поэта».

1

А может быть, вы все-таки скажете мне, мистер Ламли, почему, собственно, вам не нравятся мои комнаты?

В голосе хозяйки прозвучала и оскорбленная враждебность и нотка сверхчеловеческого терпения, готового в конце концов лопнуть. Чарльз с трудом удержал стон. Надо ли объяснять пункт за пунктом, почему он не может больше жить у нее? Кашель ее супруга по утрам, лай собаки при малейшем движении, зашарканный половик в прихожей. Нет, это невозможно. Ну почему не хватает у нее милосердия поверить его вежливой лжи? Ему, во всяком случае, придется стоять на этом. Он посмотрел на бусинки ее обличающих глаз и сказал как можно примирительнее:

— Право, миссис Смайт, с чего это вы взяли, что мне не нравится комната? Я всегда был ею доволен. Но я же вам сказал вчера — мне надо жить поближе к месту работы.

— А где вы работаете? Я вас об этом не раз спрашивала, мистер Ламли, но вы никогда не давали мне ясного ответа.

«А на кой черт тебе знать, где я работаю»,— чуть было не крикнул он. Но затем рассудил, что, собственно, она вправе задать ему этот вопрос. Он прекрасно знал, что с самого начала приводил ее в недоумение. Ни платьем, ни речью он не похож на щеголеватых клерков или учителей начальных школ, которые обычно снимали у нее комнаты. И все-таки нечего было и думать отвечать ей напрямик. «Я только что с университетской скамьи, с никчемным дипломом историка. У меня нет места и нет никаких перспектив, и живу я на те пятьдесят фунтов, кото-

---

Английский писатель Джон Уэйн (род. в 1925 году) окончил Оксфордский университет и с 1947 года преподавал литературу в Ридингском университете.

Автор двух книг стихов, двух книг критических статей и четырех романов, Уэйн принадлежит к той литературной группе, которую принято называть «рассерженной молодежью» (Кингсли Эмис, Джордж Осборн и другие). «Спеши вниз» — первый роман Уэйна. Он вышел в 1953 году, но до сих пор является наиболее яркой и содержательной его книгой.

«Спеши вниз» — первое произведение Д. Уэйна, переведенное на русский язык.

рые сберег в банке на случай переезда». Ни за что! Он содрогнулся, как всякий раз при мысли, с каким дьявольским рвением она ухватилась бы за все с этим связанное, как выискивала бы для него в газетах объявления о найме, как «сочла бы своим долгом» справляться о состоянии его финансов: «Мне придется просить вас платить вперед, мистер Ламли. Деньги это небольшие, их, знаете, нам ненадолго хватает». Он, казалось, слышал, как она говорит это своим пронзительным голосом, выражавшим наихудшие подозрения.

— Не понимаю. Вы как будто не хотите сказать мне, чем занимаетесь. Уж я-то, кажется, не навязчива, боже упаси!

И какой он дурак, что не придумал чего-нибудь на такой случай! Ну кем он мог быть? Учителем? Но кого обучать здесь, в Стотуэлле? Надо было взять на заметку какую-нибудь школу в радиусе пяти миль, тогда бы еще можно было соврать. В сущности, что он знает о Стотуэлле? Есть здесь собачьи бега. Может быть, там? Ну, скажем, на тотализаторе. Но тут же поймал себя на мысли, что ни разу в жизни не видал тотализатора. А кроме того, он слишком часто оставался дома по вечерам. Служба у какого-нибудь стряпчего? Но она непременно спросит, какого именно и где его контора, и напрасны будут выдумки, потому что, раз уж у нее возникли подозрения, она не пожалеет труда, чтобы разоблачить его. Надо отвечать. Он отдал приказ языку, вполне уверенный, что тот что-нибудь да скажет сам по себе, без его помощи.

— Видите ли, какое дело, миссис Смайт. Слышали вы о... о Свидетелях Иеговы? [1]

Она резко повернула голову. Ее испуганные глаза старались заглянуть ему в лицо.

— Так вы хотите сказать, что вы из этих...

— Собственно, не из них. То есть не совсем из них...

— Мистер Ламли, чем вы занимаетесь?

— Я частный сыщик.

Слова эти сорвались с языка сами по себе. Была не была!

— Частный сыщик? Свидетели Иеговы? Что это значит?! И отвечайте сейчас же, молодой человек, отвечайте сейчас же! У меня еще не было ни одного жильца, за респектабельность которого я бы не поручилась, да, и все на приличной работе, а вы все тянете, не хотите сказать, чем занимаетесь, а теперь оказывается, что вы сыщик, человек, связанный с преступниками... Еще того и гляди приведете их в мой дом — конечно, если то, что вы мне рассказываете, правда.

Чарльз вытащил пачку дешевых сигарет.

— Минуточку,— пробормотал он.— Оставил спички в спальной.

— При чем тут спички? — взвизгнула она, но он выбежал, захлопнув за собой дверь, и бросился вверх по лестнице к себе в комнату.

Первым побуждением его было спрятаться под кровать, но он знал, что это бесполезно. Надо собраться с духом. Закурив сигарету, он глубоко затянулся горьким дымом и повернулся лицом к хозяйке, которая уже настигла его в спальной. И вдруг ум его прояснился: она требует объяснений, ну что ж, он даст их. Не дожидаясь вопроса, он понес околесицу, пространно и подробно расписывая, как Центральное правление Свидетелей Иеговы направило его следить за одним из своих окружных казначеев, Блэкволлским, которого подозревали в различных злоупотреблениях,— тут он перешел на таинственный полушепот,— и пусть она не обижается, если он о них не будет распространяться.

---

[1] Свидетели Иеговы — религиозная секта (*Здесь и дальше примечания переводчика.*)

Он тут же сочинил название сыскного агентства, в котором был младшим компаньоном. Помнит ли она дело Эванса, то, что заняло так много места на столбцах «Со всего света»? Ну да, она, возможно, не читает этой газеты и не слыхала про Эванса; но, во всяком случае, именно Чарльз разоблачил этого человека. Он говорил внешне спокойно, но не переставая чувствовать себя прескверно. А что касается казначея — тот поселился в маленькой гостинице в самом городе (когда она открыла рот, чтобы спросить, в какой гостинице, он опередил ее, мягко спросив, уж не собирается ли она выведать у него служебную тайну), и теперь вот ему приходится по долгу службы перебраться в ту же гостиницу.

— Так что видите, миссис Смайт, говоря вам, что мне необходимо переехать поближе к месту работы,— тут он веско улыбнулся,—я был скрупулезно точен.

Впервые за свои пятьдесят шесть лет миссис Смайт лишилась дара речи. Она уловила едва ли треть из того, что он говорил, и ее голова шла кругом. У нее было единственное желание — поскорее избавиться от Чарльза Ламли. Победа была за ним.

Наутро, с чемоданом в руке, Чарльз в последний раз прошмыгнул через зашарканную переднюю и выбрался на июльское солнце. Лежа ночью без сна, Чарльз предвкушал удовольствие от того пинка, который он охотно и рассчитанно отпустит собаке, если та вздумает его облаять. Но именно сегодня, впервые со дня его появления в доме, собаки не было на месте, и он удалился без шума.

Чарльз был уверен, что миссис Смайт провожает его подозрительным, беспокойным взглядом, высунувшись из-под пожелтевших кружевных занавесок гостиной, и постарался пройти по улице с самым независимым видом. Но ему ясно было, что три недели, проведенные в Стотуэлле, были напрасно потерянным временем: двадцать одно бесцельное утро и столько же отупляющих дней и гнетущих вечеров, которые ни на минуту не прояснили его безнадежно упорствующих мыслей. Как часто за последний проведенный в университете год он поздравлял себя с тем, что нашел выход из привычного тупика; в тех случаях, когда у него возникала назойливая мысль — а чем он будет жить через несколько месяцев? — он гнал ее прочь, обещая себе заняться этим и всем остальным после нескольких недель покоя и одиночества. Тогда на все вопросы о своем будущем он отвечал: «Простите, но сейчас я не принимаю никаких важных решений. Нельзя же все сразу, знаете. В данный момент я готовлюсь к экзаменам и,— добавлял он торжественно,— стараюсь жить, как подобает нормальному человеку. А когда с университетом будет покончено, тогда я подумаю, как мне зарабатывать на жизнь, не выделяя этого вопроса из ряда других важных проблем». Такие ответы очень подбадривали его. Он даже обставил свой отъезд незатейливым церемониалом. Тот город, куда он удалится, чтобы принять обдуманное решение, был выбран на дружеской вечеринке. Он попросил приятелей написать на листе названия десятка городов, небольших городков, где можно снять комнату подешевле, и с великолепной небрежностью ткнул наугад иглой.

— Мне совершенно безразлично,— высокомерно изрек он,— будет это деревня или промышленный центр: взор мой будет устремлен только внутрь меня самого.

По забавной случайности игла его в первый раз попала как раз в тот из городов Англии, который был для него ни к чему: в город, где он родился, рос и где жили его родители; город этот без всякой задней

мысли был вписан одним из его приятелей. При второй попытке игла ткнулась в самый край листа, и лишь в третий раз он угодил прямо в Стотуэлл. Полный надежд, он спешно прибыл в это скопище грязных улиц и фабрик в другом конце страны только для того, чтобы несколько драгоценных недель кусать себе ногти, не зная, на что решиться. Ничто так и не было решено, даже такой простой и насущный вопрос — чем заняться? — не говоря уже о более глубоких и сугубо личных проблемах, которые он годами накапливал в ожидании этой небольшой передышки.

«Почему бы это? Почему такая неудача?» — думал Чарльз, таща тяжелый чемодан по главной улице на станцию. Ответ, как и все прочее, был обрывочный: отчасти потому, что университет, хаотично напичкав его за три года случайными знаниями, отучил его ум от серьезного мышления; отчасти из-за постоянного понукания обстоятельств («Непременно уходи с утра, а то она догадается, что ты без работы», «Решай сегодня же, не теряй времени понапрасну — ищи в газете объявления по найму»), а отчасти по той простой и ясной причине, что проблемы эти были для него вообще неразрешимы. Во всяком случае, утешал он себя, он остался самим собой. Ведь продолжай он жить среди самодовольной благожелательности тех, кто старался «руководить» им, какие гибельные шаги могли бы уже быть им предприняты! А сейчас он был в том же положении, как и в начале задуманной им поры решений. Он еще не представлял себе, какие обстоятельства скоро научат его уму-разуму, не понимая, что трудности, им испытываемые, не могут быть устранены путем размышлений.

И поэтому неизбежной была та горечь поражения, которая ссутулила спину Чарльза и избороздила его лоб морщинами, когда он уплатил свою последнюю фунтовую бумажку за билет до родного города, где его отец и мать, родня и знакомые уже давно готовились спросить его, где же он пропадает. Если бы не Шейла, угрюмо думал он, дожидаясь тех нескольких шиллингов сдачи, из которых состояли теперь все его ресурсы, он бы еще как-нибудь продержался, ночуя на садовых скамейках, перебиваясь продажей газет. Но ему необходимо было повидаться с ней, хотя он ничем не мог объяснить своего молчания, или ускорить их свадьбу, или еще чем-нибудь обрадовать ее. Что за нескладица! Чарльз глубоко вздохнул, засовывая билет в карман пиджака, и принялся собирать сдачу.

Подошел поезд, и он нехотя вошел в купе остановившегося перед ним вагона, закинул чемодан на сетку и пристроился в уголке. Чрезмерная сдержанность, привитая воспитанием, не позволяла ему разглядеть своих двух спутников по купе, они представлялись ему размытыми очертаниями пожилой супружеской четы, лишенной каких-либо определенных признаков. Только когда поезд отошел от станции и за окнами замелькали поля Мидлэнда, он почувствовал, что они его рассматривают, робко, но с острым интересом, который явно побуждал их нарушить молчание. Он поднял глаза и встретил их взгляд. Что это? Да он их где-то уже видел!

— Мистер Ламли, не так ли? — сказал наконец сидевший напротив мужчина.

— Да, меня так зовут,— недоверчиво отозвался Чарльз и торопливо забормотал: — Не помню, когда имел честь, лицо ваше, конечно, знакомо, но право же...

Женщина без малейшего смущения выдвинулась вперед с ободряющей улыбкой.

— А мы папа и мама Джорджа Хатчинса,— мягко сказала она.— Мы вас видели, когда навещали его в университете.

Чарльз сразу же вспомнил сцену, которую охотнее позабыл бы. Джордж Хатчинс, невыносимо прилежный, лишенный юмора студент, жил в соседней комнате и, вечно поучая Чарльза, бубнил о пользе упорного труда.

— Никакой системы,— снисходительно замечал он, оглядывая его книжные полки,— совершенно случайный подбор без всякой системы. Вы просто забавляетесь. Ну, а я не могу позволить себе забавляться. Я последовательно закрепляю каждый шаг продуманной программы. Подготовительный обзор, потом чтение вплотную, а затем, через три месяца, проверка. И все накрепко и навсегда. Так поступали люди вроде Локвуда, и я следую их примеру.

Локвуд был скучный, кислолицый курсовой наставник, к которому Хатчинс питал чувство глубокого и неподдельного восхищения и который направлял его на путь самодовольного педантизма. После таких поучений Чарльз подолгу сидел в оцепенении, скорчившись перед камином и глядя в огонь: то смутные фантазии, то жар интуитивных откровений заменяли для него интеллектуальный метод, засушенный и выдохшийся в гнетущей атмосфере грубой активности Хатчинса.

— Полагаю, вы уже слышали об успехах Джорджа,— сказал мистер Хатчинс. Говорил он бодро и доверчиво, но с оттенком какой-то тревожной гордости.— Он получил доцентуру,— прибавил он, произнося это непривычное для него слово так, будто прилаживал чужой черенок в расщеп низкорослого ствола своего просторечия.

Несколько минут разговор кое-как клеился, но чисто механически; на поток штампованных поздравлений Чарльза: «заслуживает похвалы, упорно работал, вполне достоин», пожилая супружеская чета отвечала вялой жвачкой: «Он всегда добивался, далось не без труда, вы сами знаете». Прикрываясь маской учтивости, Чарльз на самом деле жалел их: они были так явно встревожены, даже больше, чем в тот день два года назад, когда он случайно зашел в комнату Хатчинса за плиткой и увидел их там всех втроем. Хатчинс так явно и отталкивающе стыдился рабочего вида и простоватых манер своих родителей, что даже не представил их, очевидно надеясь, что Чарльз не догадается, что это его отец и мать. Но семейное сходство говорило за себя, и Чарльз задержался на несколько минут, болтая с ними отчасти из желания досадить Хатчинсу, а отчасти из душевной потребности чем-то подбодрить этих приличных и приятных людей, а заодно показать им, что не все такие скороспелые снобы, как их сынок, и хоть чем-то скрасить явно гнетущее впечатление от этой сцены. Они больше никогда не показывались в университете, и Хатчинс никогда не упоминал о них. Однажды только Чарльз, чтобы сделать ему приятное, спросил, как поживают его родители, но рычание, которое он услышал в ответ, ясно показывало, что Хатчинс рассматривает это как оскорбление. Его откровенный культ успеха не позволял ему терпеть тех, кто произвел его на свет; они не были ни преуспевающими богачами, ни знаменитостями, их бирмингамский говор только подчеркивал искусственность его собственного произношения (в точности копировавшего педантичный выговор Локвуда) — короче говоря, все в них его раздражало. Поглощенный собственными заботами, Чарльз все же находил время радоваться, что не похож на Хатчинса, что пытка нелепых затруднений не сломила его душу, что душа не умерла в нем.

Он не любил изречений, но понравившийся когда-то отрывок невольно пришел ему сейчас на память, и он пробормотал:

— «Из тех я, кто всегда творит, хотя б то был и мир страданий...»

— Простите? — недоуменно переспросил мистер Хатчинс.

— Нет, ничего, ничего,— успокоил его Чарльз.

Он хотел загладить неловкость непринужденностью, но слова его прозвучали развязно и могли показаться невежливыми. Раздосадованный, он встал, снял чемодан с сетки, буркнул: «Мне, знаете, на следующей станции» — и выскользнул в коридор, надеясь отыскать где-нибудь свободное место. Но одно-единственное нашлось в купе, где четверо синещеких брюнетов шлепали картами по чемодану и с такой враждебностью посмотрели на него, что он тотчас же ретировался и, боясь, чтобы в коридоре его не настигли мистер и миссис Хатчинс, оставшиеся сорок минут провел в уборной.

Несмотря на такое обескураживающее начало, Чарльз к половине пятого успел преодолеть поразительное число препятствий. Прибыв в родной город, он оставил чемодан в камере хранения и, решив как можно дольше оттягивать свое официальное прибытие, сейчас же прошел на станцию пригородного автобуса, чтобы поспеть на машину, проходившую через ту деревню, в пяти милях от города, где жила Шейла и ее родные. И в то время как автобус медленно пробирался по зеленым проселкам, все сильнее жгло его тело и душу подавляемое уже несколько месяцев желание повидаться с ней. Это было так нужно ему — возвращение, признание, точка опоры, но без необходимости оправдываться или немедленно принимать решения. Однако этот душевный покой еще надо было завоевать. И настолько сильно было сейчас его внутреннее напряжение, что, ступив на садовую дорожку, Чарльз весь дрожал.

Но случилось так, что ожидание его еще раз не оправдалось. В ответ на излишне громкий и продолжительный звонок дверь ему открыл мрачный толстяк лет тридцати пяти. Это был Роберт Таркдз, муж старшей сестры Шейлы — Эдит. Мрачность его при виде Чарльза перешла в меланхолическое раздражение: опять этот дурак! И никак он не может привести себя в приличный вид. Да и никогда не сможет.

— Шейлы нет,— сказал он, не дожидаясь вопроса и не здороваясь с Чарльзом.

— Но все-таки можно к вам? Я издалека,— пробормотал Чарльз.

— Дома только мы с Эдит,— сказал Роберт, как бы предупреждая, что Чарльза ожидает здесь неприятное объяснение, как оно и случилось.

Чарльз молча протиснулся в щель и прошмыгнул мимо Роберта в переднюю. Из кухни вышла Эдит и встала в дверях.

— Шейлы нет дома,— сказала она.

— Знаю,— быстро и невнятно буркнул Чарльз.— Роберт уже сказал. Может, вы мне все-таки предложите чашку чаю? А когда Шейла вернется? Мне надо с ней повидаться.

Под их пренебрежительными, враждебными взглядами он весь подобрался, вошел в кухню и сел на стул.

Так бывало всегда при его встречах с Робертом и Эдит. Не то чтобы они попрекали его за неудачи; по их мнению, за неудачи взыскивать не следует, неудачниками можно просто пренебречь. Раздражало их то, что он даже не старался добиться успеха. Хотя они и не смогли бы это выразить достаточно ясно, они винили его в том, что он не носит положенного стандартного костюма. Облекись он в костюм преуспевающего лавочника средней руки, такого, как Роберт, они бы его признали своим. Или же, если б он усвоил внешний безалаберный шик богемы, они по

крайней мере поняли бы, кем он хочет быть. В их мире каждый должен был носить отличительные знаки, которые обозначали бы его положение, его призвание, его амбиции; бутсы и комбинезон землекопа или профессорский сюртук — все равно что, но необходимо, чтобы каждый носил с в о е, удостоверяющее личность платье. Но Чарльз, видимо, не сознавал этого священного долга. Студентом он не носил вельветовых брюк и цветных сорочек. Даже не курил трубку. Ходил он в пиджаке, но не того покроя, который носят деловые люди, и его тяжелые башмаки не имели ничего общего с ботинками на сверхтолстых подошвах, какие носят модники-спортсмены.

Мало того, все попытки Чарльза снискать расположение родных Шейлы были встречены весьма холодно. При первой же встрече он предложил Роберту смотаться выпить перед завтраком. Но Роберт не привык бегать куда-то ради стаканчика, а предпочитал откупоривать полупинтовые бутылки пенистого пива у себя дома, важно извлекая их из серванта красного дерева. Когда в один из выходных дней прислуги Чарльз взялся мыть посуду, Эдит уверенно предрекла, что он что-нибудь да сотворит, и в конце концов он действительно разбил невосстановимый соусник из сервиза. Когда Роберт в качестве положительного и надежного супруга старшей сестры спросил претендента на руку младшей сестры, чем, собственно, он намерен заняться и каковы его планы, Чарльз ответил по своей университетской привычке весьма уклончиво и шутливо. Чарльз не прижился в их мире, не усвоил их языка, и после недолгой попытки приспособить его к своей чопорной, серенькой, непостижимой для него рутине они с отвращением отвернулись от него, не оставляя, однако, в покое. Чувствуя на себе их взгляд, Чарльз с тоской подумал, что за чашку чаю ему придется проглотить в придачу порцию советов, таких неудобоваримых и таких же бесполезных, как ватные пуфы на диване.

Наступление начала Эдит, уставив на него свои до смешного маленькие глазки. В своем уродливом платье и забрызганном переднике она заняла твердую позицию у посудной раковины — типичная женщина в своей крепости.

— Вы, должно быть, хотите поговорить с отцом? (Слава богу, она по крайней мере не звала это чучело гороховое «папочкой»!) Теперь, когда вы получили диплом, вы, конечно, хотите привести свои дела хоть в некоторый порядок. (Косвенный, хотя и прозрачный намек на его бестолковое отношение к жизни.) Он и то уж удивлялся, когда же вы наконец пожалуете. (Иными словами, имел в виду, что он уклоняется от ответственности.)

Чарльз сдуру попался на крючок.

— Собственно, я вовсе не намеревался говорить с вашим отцом, — сказал он.— В этом, по-моему, нет... нет никакой неотложной необходимости и...— Тут только он понял, что попался.

Последний десяток слов так легко было обратить против него («Вы дошли до того, что сказали», «Вы, кажется, не отдаете себе отчета» и т. д.). Эдит уже раскрыла рот, чтобы выпалить заряд заготовленных обвинений, как вдруг неожиданно вмешался Роберт:

— На днях я встретил ваших родителей. Мы с ними перекинулись парой слов о вас и вообще. И я должен сказать,— тут он заговорил резко и твердо, тоном начальника, подводящего итог,— вам надлежит понять, что поведение ваше вызывает всеобщее неудовольствие. Ну как, например, понять ваше исчезновение сразу же после экзаменов? Отец ваш сказал, что вы даже не оставили своего адреса. Они лишены были

какой-либо возможности снестись с вами. Нечего сказать, достойное поведение!

Чарльз действительно прибег к этому единственно верному способу лишить родителей возможности вмешиваться в его жизнь, коверкая ее, затемняя туманом родственных эмоций все то, что он пытался прояснить под старательно налаженным микроскопом независимости. Но что можно было ответить на дурацкое убеждение этих людей, что его отказ копошиться при каждом решении в том могильнике архаических чувств, который вот уже двадцать два года разрывали его родители, был просто «недостойным поведением». Полная неспособность найти с ними общий язык душила его, опустошала мозг. Так бывает в ночных кошмарах, когда представляется, что тебя сажают в сумасшедший дом и ты ничего не можешь поделать.

Голоса Роберта и Эдит назойливо зудели. Чарльз пытался не слушать, но их самодовольство, наглая полуправда, откровенная грубость вызывали его на отпор. И наконец одно замечание Эдит заставило его вскочить в неудержимом порыве ярости.

— Вам никогда и в голову не придет отдать долг тем, кто старался вам помочь.

В вихре возмущения Чарльз представил себе лица тех, кто «старался ему помочь», а за лицами мелькало сияние, отблеск зари на снеговых вершинах, которые (это он вдруг сейчас почувствовал) могли бы быть и в его жизни, если бы его предоставили самому себе, избавили от их руководства. Если бы всех, кто прикрывал свои притязания словами «старался помочь», каким-то чудом можно было убедить оставить его в покое! А она опять говорит о долге!

Ухватившись за спинку кресла, Чарльз искал ответ, быстрый, сокрушительный; всего несколько слов, но таких убийственно-ядовитых, чтобы они впились в сознание Эдит и не покидали ее ни во сне, ни наяву до самой ее смерти.

Конечно, это бесполезно. Таких вряд ли проймешь словами. Невероятно, чтобы можно было что-нибудь внушить им с помощью слов, разве что повалив на землю и оставив связанными и с кляпом во рту перед граммофоном, бесконечно повторяющим простое и лаконичное суждение. Какое удовольствие доставила бы ему возможность заняться на досуге выработкой подобного суждения и в нем коротко и ясно выразить, какое преступление против человечества они и все им подобные совершают самым фактом своего существования.

— Ты, кажется, попала в самую точку, Эдит,— сказал ее супруг.— Наш друг не знает, что тебе ответить. Ты лишила его дара речи.

Точно вдруг прозрев, Чарльз уставился на Роберта. И ему начало казаться, что щеточка рыжеватых усов для придания солидности просто нелепа на человеческом лице. Словно она пересажена с морды какого-нибудь эрдель-терьера.

— Я думал вовсе не о том, что сказала Эдит,— ответил он полуизвиняющимся тоном.—Просто я недоумевал, как это никому не придет в голову состричь ваши нелепые усики и употребить их на щетки вроде тех, что висят возле унитаза.

Чарльз говорил спокойно и вежливо, но после короткой паузы, которая потребовалась им, чтобы понять смысл его слов, они, тем не менее, осознали, что он их определенно оскорбил. Лицо Эдит словно увеличилось вдвое, она выпучила глаза и разразилась громкой и бессвязной тирадой, истеричной и в то же время угрожающей. Роберт, со своей стороны, без колебаний принял соответствующее решение. Он стиснул зубы, весь напыжился и шагнул вперед — легко, но решительно, как Рональд

Кольман [1]. Когда же его жесткое и размеренное «Хватит об этом!» не дошло до сознания Чарльза и кудахтанье Эдит стало все больше походить на рыдания, тогда Рональд Кольман исчез и его место занял Стюарт Грэйнджер [2], настороженный, грозный, неотразимый. Он схватил Чарльза за лацканы пиджака. На мгновение его неожиданный наскок застал Чарльза врасплох. Как быстро и каким роковым образом развернулись события! Теперь всю вину взвалят на него! «Оскорбление. И что оставалось Роберту, как не выставить его вон! И конечно, теперь ноги его не будет в нашем доме».

Одутловатое глупое лицо Роберта угрожающе надвинулось. Черт! Ну так пусть получают сполна. Резким движением Чарльз вырвался, бросился к умывальнику и схватил таз: Эдит перед его приходом мылась и почему-то не успела вылить воду. Чарльз рванул таз из подставки, и часть серой пены вылилась на него самого, а остальная вместе с водой расплеснулась по всей кухне, когда с чувством огромного облегчения он широко размахнулся тазом. Почти одновременно в кухне раздались три звука — всплеск воды, громкий взвизг Эдит и грохот пустого таза. Не успел еще таз докатиться в угол, как Чарльз распахнул дверь и выскочил на улицу. Краешком глаза он успел заметить лицо Эдит, обрамленное мокрыми кудерьками, и Роберта, протиравшего глаза от мыльной пены.

Когда за Чарльзом захлопнулась калитка и он побрел по дороге, ему вдруг стало ясно, что́, собственно, сейчас произошло. Порвал-то он не с Робертом и Эдит, а с Шейлой. Чарльз любил ее с пассивным упорством еще с того самого жаркого, вскружившего ему голову вечера, когда семнадцатилетним юношей он впервые почувствовал, что такое любовь. С тех пор Шейла вошла в его существо, стала его сердцевиной. После разумного периода колебаний она согласилась выйти за него замуж, когда будет возможно, и надежда сделалась основой его жизни— и в мыслях и в действиях. Теперь, идя по сумрачной улице, он слышал, как даже собственные его шаги отстукивают, что это невозможно. Перед его глазами возникло ее лицо: выражение полного покоя, доверчивого, нежного умиротворения, каждый раз поражавшее его еще задолго до того, как привычным гостем водворилось в его сознании. Но сейчас сквозь глаза Шейлы просвечивали глаза ее матери; они смотрели на него из-под стекол очков, торжественно строгие, осуждающие. В линиях ее подбородка он видел острый подбородок ее отца, то начисто выбритый, то заросший седоватой щетиной под плотно сжатым нервным ртом. Нет! Никогда он не боялся, что с годами она потеряет свою стройную округлость — расползется или засохнет, но сейчас он представлял ее не только постаревшей,— он видел, как с каждым днем она все более будет смыкаться с той чопорной, ограниченной средой, в которой она расцвела. В его ушах все еще раздавались самодовольные нравоучения Роберта и яростные выкрики Эдит, и он знал, что именно этого он не потерпит в Шейле. Все кончено. Шейлы больше нет!

И при мысли о непоправимом нахлынули воспоминания: гладкая, как слоновая кость, кожа у нее за ушами, и то, как дрожал кончик ее подбородка, когда она подняла к нему лицо и он в первый раз поцеловал ее, и ее тонкие руки... Сердце колотилось в груди, словно крикетный мяч, скачущий по неровной площадке; он вздрогнул, и так сильно, что его шатнуло и он ударился о каменную изгородь сада какого-то преуспе-

[1] Известный на Западе киноактер.

[2] То же.

вающего фермера. Грубая прочность камня словно вышибла на миг эти воспоминания, но тотчас же в пустой голове замелькали новые: он увидел лицо Шейлы, бледное, просветленное, полное решимости, а за нею четкое в своем убожестве лицо ее отца, покорное, сморщенное лицо матери, злобно вздернутые выщипанные брови Эдит, и надо всем этим ненавистная телячья морда Роберта, размахивающего пухлыми кулаками.

— Не могу я жениться на Роберте! — громко, с невыразимой болью произнес Чарльз.

Стоявшие у автобусной остановки пожилая женщина и мальчик обернулись и уставились на него с нездоровым любопытством. Чарльз прибавил шагу. Скорее бы завернуть за угол и скрыться с их глаз, но и убегая он знал, что бежит от всего, что до этого времени было смыслом его жизни.

Все кончено. «Шейлы больше нет» и «Уют» — эти слова перекрещивались на ярко освещенном окне пивной. Еле живой, он ухватился за медную ручку двери и ввалился внутрь.

— Я знаю одно,— говорил хозяин пивной,— когда он у меня работал, он ни черта не стоил!

Он говорил запальчиво, словно оспаривая чье-то неверное суждение. Его краснорожий собеседник возражал спокойно, но убежденно.

— Он может купить вас со всеми потрохами, если ему вздумается... Все ваше заведение. Каждый кирпич, каждую былинку...

Хозяин пивной, видно, начинал сердиться не на шутку. Он злобно поглядел на пустую кружку, протянутую ему Чарльзом для повторения, и нахмурился так, что его и без того низкий лоб совсем съежился.

— Я, видите ли, не хочу сказать, что на него вовсе нельзя положиться,— продолжал он с таким видом, словно старался выискать хоть какие-нибудь положительные черты у совсем никудышного человека,— не могу сказать, чтобы он стащил что-нибудь, ну, скажем, деньги из кассы, или вино из погреба, или стаканы какие-нибудь, или подносы, не в пример другим. Но что я знаю, то знаю,— произнес он угрожающе, перегнувшись через стойку.— Он не может отличить правую руку от левой. А насчет грамоты, то едва ли он способен был написать что-нибудь, кроме своего имени. Иногда, стоя рядом с ним за стойкой, я сомневался: да разбирает ли он надписи на бутылках? Спрашивают, положим, Двойной Алмаз, и хорошо еще, если он не нацедит им Гиннеса.

Чарльз, который терпеливо стоял у стойки, стараясь не думать ни о чем, кроме трех уже поглощенных пинт пива и четвертой, которую он тщетно старался получить, вдруг пробудился к жизни при слове «Гиннес».

— Нет, благодарю! Гиннеса не надо,— сказал он поспешно.— Мне все того же.

Хозяин, не обращая на Чарльза ровно никакого внимания, лег животом на стойку и злорадно усмехнулся прямо в лицо краснорожему. Он-то воображал, что ведет спокойный спор.

— Да он недотепа,— выставил он последний довод.

Но краснорожий по-прежнему твердил:

— Вздумай он только — и мог бы купить все ваше заведение.

Хозяин, позеленев от злости, нажал на рукоятку пивного сифона и пустил в кружку Чарльза сильную струю пенистой жидкости.

— Я знаю двух парней, которые работают у него,— пользуясь паузой, продолжал краснорожий.— Шесть фунтов десять шиллингов в неделю и двойная плата в субботние вечера — конечно, по желанию.

Хозяин угрюмо подвинул кружку и смахнул шиллинг Чарльза под стойку.

— Он этого добился контрактами,— сказал краснорожий.— Все дело в контрактах. Он отправляется в какое-нибудь большое учреждение или, скажем, отель и берет подряд на мытье окон. А потом, каждые три месяца, знай посылает им счета.

— Счета! — взорвался хозяин.— Да когда он работал у меня, я бы ему не доверил получить и медяка за полпинты пива. Бывало, как только прослышат, что он за стойкой, так и соберется к нам шпана со всей округи — знают, черти, что он считать не умеет. Закажут пять кружек, а платят за три. А как стал работать на себя,— хозяин произнес эти слова так, словно выбранился,— теперь, оказывается, он может посылать счета по всей форме. И, конечно, без ошибок.

— Ну, не сказал бы,— ввернул краснорожий.— Думаю, что он порядком присчитывает.— И он засмеялся, восхищенный собственным остроумием.

Чарльз поставил пустую кружку и зашел в уборную. Когда он вернулся, говорили уже о другом; очевидно, хозяина не так уж волновала судьба малограмотного богача. То, что казалось у него крайним проявлением гнева, на самом деле было только манерой разговаривать, что, должно быть, недешево обходилось фирмам, пиво которых он продавал в своем заведении.

— Повторить? — сердито буркнул он, когда Чарльз вернулся к стойке.

— Нет, виски, пожалуйста,— ответил Чарльз, потому что сейчас ему больше всего на свете хотелось напиться, а в кармане у него оставалось только шесть шиллингов. Может быть, если он смешает напитки, денег хватит. После виски можно будет взять джин, а затем, если останутся деньги, доконать себя стаканом портера.

До сих пор их в пивной было только трое, но теперь начал подходить народ. За какие-нибудь десять минут здесь появилось с полдесятка еще не старых здоровенных бабищ — по-видимому, постоянных посетительниц,— и они начали свое обычное вечернее бдение за кружкой пива и нескончаемыми пересудами. Совершенно случайно Чарльз оказался в самом центре сдвинутых полукругом стульев, и х стульев, закрепленных за ними привычкой, и женщины перекрестным огнем многозначительных взглядов и недвусмысленных замечаний попытались выжить его. Но смесь виски и пива, выпитых на голодный желудок, уже начинала производить свое действие, и он сидел с полузакрытыми глазами, почти не сознавая ни их рассерженных взглядов, ни замечаний по своему адресу. Перед ним мелькали расплывчатые очертания хозяина, обтиравшего тряпкой стойку, и вдруг в тумане своего опьянения Чарльз увидел себя, протирающего не стойку, а окно.

Берет подряд на мытье окон. Каждые три месяца посылает счета.

Женщины бесцеремонно переговаривались через его голову; обрывки их болтовни перемешивались в его мозгу с назойливо всплывавшими фразами.

— Ну я и говорю: если хотите знать, почему он не в школе, подите на задворки...

«Может купить вас со всеми потрохами».

— ...и посмотрите, что он написал на стене сарая, говорю я...

«Двое парней работают у него. Двойная плата в субботние вечера».

— Ну где еще мог он услышать подобные слова, говорю я. Неприличные, грязные слова. Если такому их у вас обучают...

«Он недотепа. Когда он у меня работал, он ни черта не стоил».

— Надеюсь, вы не хотите сказать, говорю я ему, что он слышит подобные слова дома?

«Думаю, он порядком присчитывает... Каждый кирпич, каждую былинку...»

— А какое мне дело, что вы школьный инспектор, говорю я ему.

В верхнем кармане у Чарльза была пачка с последней сигаретой. Он осторожно вытащил ее — она согнулась, и гильза лопнула. Чарльз раскурил ее, прикрывая пальцем разорванное место, и глубоко затянулся. Горячая волна алкоголя, поднимаясь из желудка, столкнулась с никотином, застрявшим в легких, бремя вины и усталости соскользнуло с его плеч, и он с благодарностью воздал немую хвалу двум божествам мира сего.

Но лишь только прояснилось его сознание, как он почувствовал окружавший его холодок неприязни. Смущенный и даже испуганный, он вскочил со своего табурета и постарался смешаться с толпившимися возле стойки посетителями. Хозяин и две его дочери проворно наполняли кружки и получали деньги, но ему казалось, что его они никогда не обслужат. Несколько раз он пытался приблизиться к стойке, пережидая при этом всех стоявших перед ним, но лишь только он открывал рот, как его тут же оттесняли. Минут через двадцать все возбуждение от виски и сигареты испарилось, и он чувствовал только усталость — попробуй-ка постоять так долго, почти не евши с утра. Решительным жестом он протянул свой стакан и постучал им о прилавок.

— Пожалуйста, джину! — пронзительно крикнул он.

— Четыре горького, одну Гиннеса, три булочки, и еще Марта просит пачку сигарет, своих обычных,— рявкнул над самым его ухом какой-то плотный мужчина.

— Позвольте,— огрызнулся на него Чарльз,— я пришел сюда гораздо раньше вас.

Мужчина холодно посмотрел на него, но не успел ответить —заказ его полностью, вместе с пачкой сигарет, был ему подан на подносе, и, торопливо отсчитав следуемую сумму, он скрылся в толпе.

Чарльза словно кинуло на самое дно Атлантики, такое он почувствовал унижение. Даже для его рассудка, притупленного усталостью и огорчением, было ясно, почему ему ничего не удается. Заведение это, или по крайней мере этот зал, было облюбовано простым людом, и его посетители были грубы, угловаты — сама жизнь снабдила их одними острыми углами. А у него, наоборот, углы были стесаны, сглажены и семейной средой и университетом. С пеленок его приучали не повышать голоса, не выделяться, уступать другим. И вот результат! Его воспитывали в расчете на более благополучные времена, а обстоятельства ввергли его в джунгли пятидесятых годов нашего века. Улей был полон ос, все до единого — рабочие и все, как казалось ему, совершенно одинаковые, но он, ничем другим не отличаясь от них, лишен был их жала.

— Эй вы, освободите место, коли вас обслужили! — заорал ему хозяин пивной, перегибаясь через стойку со своим обычным задиристым видом.

— Никто меня не обслужил! — взвизгнул Чарльз, взрываясь от ярости.— Один джин и стакан портера!

Все вокруг замолчали и обернулись; взглянув на Чарльза, они затем с безразличным видом возвратились к прерванным разговорам. Этим они

еще раз показали ему то, что было для него жизненно важно: для них он чужак, пленник своего класса, и, отбившись от своих, он обречен на одиночное заключение. А в то же время он ненавидел людей своей среды: Роберта Тарклза, Джорджа Хатчинса, Локвуда. Чарльз проглотил джин и тотчас же принялся за портер. Долгое ожидание у стойки немного протрезвило его, и теперь, чтобы добиться облегчения, необходимо было поскорее смешать напитки.

И облегчение пришло. По мере того как за джином до желудка доходили медленные глотки портера, все до этого выпитое им пробудилось. Один за другим наступали знакомые признаки приближавшегося опьянения. Язык его одеревенел и, судорожно прижатый к нижним передним зубам, весь словно окутался ватой. Когда Чарльз поглядел вдоль светящейся огнями пивной, все начало слегка колыхаться. А три электрические лампы на потолке, мерцавшие в клубах дыма, закружились в медленном танце.

— Нет ли у тебя огоньку, приятель? — прохрипел кто-то сзади.

Прежде чем ответить, Чарльз поднял стакан и неторопливо вылил остаток портера прямо в глотку. Когда эта последняя волна, пенясь, сплеснулась с пляшущей крутовертью всех прежних стаканов, для него наконец наступило полное освобождение. Трезвым он сейчас же обернулся бы, спеша услужить, снискать расположение; он потянулся бы за спичками и, вероятно, расплескал бы при этом свой стакан. Но теперь он был спокоен, дерзок и способен был жить на том же уровне, что и большинство окружавших его парней.

— Огоньку, приятель,— раздался все тот же хрип, и без всякой укоризны: ну что стоило обождать тридцать секунд!

Чарльз осторожно обернулся, изо всех сил стараясь сосредоточить внимание на то раздувавшемся, то съеживавшемся лице. Не произнеся ни слова, он вытащил коробок и с величайшей тщательностью стал доставать спички. Он держал его вверх дном, и все спички высыпались на пол. Чарльз нагнулся, чтобы подобрать их, и сильно стукнулся о чьи-то ноги. Человек пошатнулся и крепко выругался, но Чарльз, и не думая извиняться, упорно собирал спички. То ли они действительно плавали в луже пролитого пива, то ли кружились, извиваясь в его расстроенном воображении, но только прошло немало минут, прежде чем он собрал их все до единой и аккуратно уложил в коробок головками в одну сторону.

Распрямившись, Чарльз повернулся к человеку, просившему огонька, и теперь лицо того больше не расплывалось и не съеживалось, но попеременно то приближалось, то отступало куда-то вдаль. Он снова вытянул коробок и, выбрав спичку, чиркнул ею и протянул тому. Но в это мгновение лицо, только что вплотную придвинутое, стремительно уплыло куда-то в пространство. Недовольно буркнув, Чарльз рывком сунул ему спичку сколько руки хватило. Тотчас же лицо перестало быть лицом и стало багровой маской ярости с двумя горящими глазами. Спичка, ткнувшись в вислые усы, зашипела, пламя лизнуло ноздри, и человек отшатнулся, грубо выругавшись от боли и злости. Чарльз тоже отступил, испуганный этим неожиданным криком. Но теперь теснота в пивной не допускала таких резких движений, и когда заработали локти, пиво расплескалось во все стороны и над гулом разговоров раздался дружный залп ругательств.

В нормальном состоянии Чарльз был бы вне себя от ужаса и стыда: он стал причиной скандала! Он нарушил священный закон самообуздания, безропотной уступчивости — он, как говорится, проявил себя. Обычно он тотчас же забормотал бы извинения; выкрики обожженного:

«Это все он! Вышвырните этого сопляка! Тоже пить берется!» — настигли бы его уже на полпути к двери. Но теперь спасительный дурман алкоголя, придававший ему то ли кроткую отрешенность, то ли неистовую дерзость, защитил его даже при появлении грозного хозяина. Вместо того чтобы сникнуть под градом брани, раздававшейся со всех концов бара, он благодушно поморгал на лицо хозяина — оно странным образом вращалось, то надвигаясь на него выпяченным носом, то уходя под насупленные брови,— а потом прехладнокровно повернулся на каблуках, спокойно отворил дверь и вышел туда, где его встретила теплая тишина летней ночи и сельская улица то раскрывалась, то закрывалась перед ним, словно створки огромной устрицы.

Опершись о забор, он пережидал, пока она успокоится, и действительно, вскоре улица улеглась и колыхалась только чуть-чуть, так что пройти было можно. Собственно, идти было некуда; нет ни денег, ни планов, но ночь была теплая, душная, луна ярко светила, отбрасывая густые тени, и он достаточно нагрузился, чтобы не испытывать тревоги. Нетвердо, но весело он принялся пробираться по какому-то проулку вдоль садовых изгородей. И на ходу мысли его разгонялись, набирая лихорадочную скорость,— этим у него всегда сопровождалось опьянение.

Чарльз часто потешался над тем, как обычно описывают это ощущение в романах. Нет, это вовсе не летаргическое состояние полупаралича; наоборот, при опьянении его мыслительные способности напоминали мотор на максимальных оборотах и с выключенными тормозами. Освобожденный от обычных оков — не только оков страха, вины и давящего гнета въевшихся в него условностей, но даже от элементарной необходимости соблюдать физическое равновесие и ориентировку,— он чувствовал, как мчались его мысли; он способен был тогда на быстрые и важные решения, которые ему редко приходилось пересматривать, когда возвращалась «нормальная» нерешительность. Теперь, когда он плюхнулся на заросшую травой насыпь, в которой усыпляюще стрекотали и копошились цикады, затруднения последних дней вплелись в уже полученные им жизненные уроки, и здесь, на лоне кружащейся и вздымающейся земли, для него началось врастание в новые условия.

Происходило это не по холодному расчету, потому что анализ положения мог оказаться обманчиво простым и, вероятно, привел бы к утомительному, полуциничному повторению пройденного, к решению повернуть вспять, приспособиться, связать порванные волокна и свить из них новый кокон. Нет. Новая ясность пришла к нему как ряд четких проблесков, как быстрый поток основных запомнившихся ему переживаний. Они возникали яркими вспышками и были несложны; вот он, склоненный над книгами, слушается указаний, вносит поправки, и его без конца вводят в рамки и поучают, вот он годами протискивается бочком меж сфер чужих переживаний и чувствований. Всего один лишний шаг в любом направлении — и кто-нибудь непременно будет задет, обижен, разочарован. Его школьные наставники покачивают головами, отец возмущен и разгневан, мать то склоняет его на откровенность, то обижена его замкнутостью,— и так все: вплоть до назойливых вопросов миссис Смайт и визгливых упреков Эдит. Как все они топтали его душу! Бег мыслей ускорился; Чарльз перекатился на спину так, что ему стал виден посеребренный луной шпиль деревенской церкви, качавшийся в спокойном небе, как тонкая камышинка, и образы замелькали еще быстрее. Шейла наклонилась над ним, глаза ее нежно искали его глаз, но вдруг линия волос на ее лбу спустилась почти к бровям и лицо было уже не ее, а хозяина пивной, грубое и властное. В его мозгу вдруг

зашуршала, как прибрежная галька, строка из недавно прочитанного им современного поэта:

Крутясь, люблю я скудно то, что ненавижу.

Возник Джордж Хатчинс, яростно забивающий гол, а в воротах стоял Локвуд в зеленой фуфайке и кепке; через мгновение Чарльз увидел, что забивают не простой мяч, а голову Хатчинса-отца, который своим простецким говором умоляюще шепчет: «Не сердитесь, мистер Ламли. Наш Джордж так трудился, чтобы добиться успеха». Снова зазвучала стихотворная строка, но как-то вывернутая наизнанку: это было у него обычным признаком опьянения.

И ненавидя скудно, я кручу любовь.

Чарльз вскочил и заставил себя шагать дальше. На ходу легче было думать. Думать о чем? Над вопросом, как лучше заложить первые двадцать два года жизни в основу следующих пятидесяти? Если только вообще будут эти пятьдесят: грибообразное облако, которое всегда жило в глубине его подсознания, на мгновение выдвинулось на первый план и оттеснило все остальное.

Я, ненавистник скудный, и любовь скручу.

Но как бы то ни было, а надо верить в то, что они будут. Иначе одна дорога: покончить с собой.

Вдруг выпрыгнула канава и ухватила его за ногу. Он свалился в ворох сухих листьев, который определенно стал колыхаться под ним взад и вперед. Чарльз понял, что скоро его вырвет, но мозг его оставался ясным и расторможенным. Ворох листьев навалился на него, но и в своей физической мерзости он испытывал какой-то новый порыв, какое-то освобождение. Его обременяло еще несколько выпитых пинт и, может быть, немного непереваренной пищи из его скудного завтрака. Через минуту-другую он освободится от них.

Любя, скручу я ненависть-паскуду.

Если бы ему с такой же легкостью освободиться от своего класса, своей среды, от невыносимого бремени предпосылок и усвоенных рефлексов! Он выбрался из канавы и с минуту стоял, закинув голову и уставившись в точку, вокруг которой вращалось звездное небо.

Любовь, скрути паскуду, что я ненавижу.

Почему бы здесь и не кончиться всему, чтобы, возрожденный, он вступил в мир под звуки стрекочущих цикад и собственной рвоты?

2

Протирочная замша, когда Чарльз окунал ее в ведро с водой, а потом выжимал, издавала приятный, не то чавкающий, не то хлюпающий звук. Как менялась она в руке на ощупь: скользкая, когда ее намочишь, неподатливая, почти жесткая, в сухом виде. Он еще раз прошелся по стеклам, на этот раз посуху. Потом опустил замшу в ведро, достал из нагрудного кармана комбинезона сухую чистую тряпку и протер стекло до блеска. Горячее солнце, светившее прямо в окно, испарило последние следы влаги, и стекла стали ясные и прозрачные. Окна были на самом деле чисты.

Ну, на сегодня хватит. Последнее окно в последнем доме. А так как сегодня суббота, это значит, что кончена и неделя. Он работает, он зарабатывает на жизнь уже целую неделю! Сердце его прыгало в груди от радости, когда он задом спускался со стремянки, держа ведро, как полагается, в левой руке. Казалось, что он занимался этим всю жизнь и, если не в буквальном смысле, то по существу это было так. Жизнь его, собственно, началась всего лишь на той неделе. До этого он был так

что-то: боковой отпрыск, придаток, постскриптум к жизни некоторых других. А эта, новая, жизнь была на самом деле его собственной.

Хотя, может быть, и не совсем собственной, мелькнула у него ехидная мысль, пока он не вернет пяти фунтов. Но скоро он в состоянии будет сделать это. Он взял их взаймы у своего дядюшки-адвоката; как это ни странно, но ему очень легко было получить эти деньги под предлогом мнимой оплаты каких-то карточных долгов, оставшихся со студенческих лет. Если бы он сказал старому хрычу, на что ему нужны эти деньги — на ведро, лестницу, тележку, на тряпки и комбинезон,— тот ни за что не раскошелился бы. Но «несколько фунтов, проигранных друзьям за карточным столом»,— это совсем другое дело. Дядюшка всегда говорил «за карточным столом», а не просто «в карты», давая этим понять, что он одобряет такое времяпрепровождение. Он даже изрек что-то о «долге чести». Чарльз, получая деньги, едва удерживался от смеха. Его новое занятие, хотя оно не принесло ему пока ни одного фартинга, уже намного возвышало его над миром мелких условностей и приличий, представителем которого был дядюшка. Но все же старый осел вел себя достойно — конечно, по своей мерке,— и долг ему надо было вернуть обязательно. Чарльз обошел дом и получил с черного хода деньги — семь шиллингов шесть пенсов. И всего-то ушло у него каких-нибудь полчаса. Назначай он плату сам, он никогда не запросил бы так много, но он заблаговременно узнал обычную цену.

Даже в этом сказалась новая для него прямолинейность. В давние дни — то есть, собственно, неделю назад — какие окольные пути, какие уловки потребовались бы для него, чтобы получить эту информацию! Как бы он кружил и намекал, задавая наводящие вопросы то тут, то там и все более и более погрязая во лжи, пока не довел бы себя до невыносимого состояния! А теперь он просто-напросто обратился к сторожу общежития Союза христианской молодежи, в котором снимал койку, и прямо спросил его, сколько тот обычно платит за мытье окон. И так же прямо старик ответил: «Обходится примерно шесть пенсов с окна». Вот и прекрасно! Значит, и он будет брать по шести пенсов.

Все как будто прояснилось, обрело перспективы, приняло новые и более разумные пропорции с той свежей летней зари, когда он выбрался из вороха листьев с сознанием, что со старой жизнью покончено. Одним скачком он выпрыгнул из колеи своего класса и сломал весь свой психологический склад, при котором он склонен был кротовью кочку считать горой, а горы — просто зловещей грядой облаков на горизонте; а теперь даже горы стали ближе и при этом обнаружились хорошо протоптанные тропы, ведущие к их вершинам, вплоть до сияющих снеговых пиков. Решение надо было принимать сразу, потому что у него не было денег и думать было некогда. И он решил быстро. Пяти минут размышлений хватило, чтобы остановить свой выбор на том из родственников, кто вероятнее всего ссудил бы ему денег, и притом возможно малую сумму. При своих ресурсах он решил, что хорошая стремянка ему не по карману, и пока обходился старой, с недостающими перекладинами. Он отсрочил ее отправление на свалку на неделю-другую, надеясь за это время заработать на новую. То же и с тележкой — хорошая никак не уложилась бы в пятифунтовую смету, и он отыскал у старьевщика остатки ветхой детской коляски — самой коляски, собственно, не было, были лишь остов и колеса — все за пять шиллингов. Только ведро и всякие протирки были наилучшего качества. Он мог легко отбросить все прочие мелкобуржуазные привычки, но идеал хорошо выполненной, «чистой» работы (идеал скорее буржуазный, чем рабочий) сопровождал его и в новом мире.

Выбор города тоже не представил затруднений. Надо, чтобы там не было никакой родни. Город не должен быть слишком мал, иначе не хватит работы. Но и не слишком велик: Чарльз не любил атмосферы больших городов. И потом надо, чтобы там было с чего начать или, во всяком случае, чтобы была надежда на это. Найти бы какое-нибудь большое учреждение, которое заключило бы с ним контракт. (Это было магическое слово, потому что весь свой профессиональный опыт он черпал из замечаний краснорожего парня в пивной.) Одно время он подумывал, не вернуться ли в свой университетский город и попытаться заключить там контракт со своим колледжем, но тут же решил, что навряд ли они поручат это дело ему, а кроме того, он вообще не помнил, чтобы окна в университете когда-нибудь протирал мойщик-профессионал. Вероятно, администрация с характерной для нее мелочностью предпочитала включать мытье окон в обязанности кого-нибудь из служителей. Значит?

Значит, оставался Стотуэлл; к тому же, как он вспомнил, неподалеку, всего в десяти милях, была школа, где он учился. Контракт!

Пришло время школе оправдать пошлые благоглупости о кровной связи однокашников. Он вспомнил, как сильно и непосредственно было ощущение, охватившее его в то последнее школьное утро, когда, стоя вместе с другими великовозрастными детинами из выпускного класса, он монотонно выводил в последний раз обращение к «тем, кто здесь больше не встретится»:

Пусть же им наш сев приносит
Год за годом урожай.

Урожай сводился к непрочным связям и верностям, которые извлекались из комода вместе с галстуком школьной расцветки только раз в год, на традиционную встречу одноклассников, где тебя потчевали пойлом, смешанным из тоски по прошлому и лицемерия. Но теперь у школы была возможность угостить его чем-то более существенным. Контракт! Это магическое слово звучало в его мозгу, когда он вылез из автобуса на рыночной площади и стал подниматься по склону холма к школе.

Как бы полон и радостен ни был для него отказ от прошлого, он все же не смог войти в это затянутое плющом красное кирпичное здание — дешевая имитация Итона, как и многие захолустные школы тех лет,— с хладнокровием постороннего, хотя восемь лет, проведенных здесь, были частью прежней жизни, жизни, которая годилась лишь на то, чтобы жгучим воспоминанием бередить новонайденное умиротворение. Тебя узнает швейцар, ведет в послеобеденной сонливости по коридору мимо грязноватых классов, где акт за актом разыгрывался плачевный фарс твоего детства и где драконы, боги и мудрецы, населявшие эти фантастические пределы, обитали и сейчас, не переставая возводить в сознании нового поколения свои шаткие пагоды и колокольни. Было неуютно, но это ощущение прошло, когда он остался один в приемной директора, потому что вместе с одиночеством вернулось и сознание, что он отрубил щупальца, удерживавшие его в той среде, которую воплощало это святилище. Так немного времени прошло с тех дней сева, и он уже здесь, чтобы просить о своей строго ограниченной доле урожая. Контракт!

Наконец его допустили в кабинет директора, обдуманно обставленный традиционными атрибутами: кожаное кресло, похожее на трон, бюсты в классическом духе, застекленные книжные полки. Здесь была арена величайших катастроф и триумфов его детства, хотя он был заурядным учеником и вступал сюда не более четырех-пяти раз за все

восемь лет. И на обычном месте было знакомое сардоническое лицо, выжидающе кривившееся за толстыми стеклами очков.

— Это вы, Ламли? Чем могу,— здесь он приостановился и до пародийности четко выговорил следующие три слова,— быть вам полезным?

«Для начала хоть тем, что перестанете смотреть мимо»,— чуть было не ответил Чарльз, потому что Скродд, по своему обыкновению, иронически присматривался, вяло оглядывая близорукими глазами весь тот участок, где мог находиться его собеседник, как человек, заметивший муху на обоях, потом потерявший ее из виду и нехотя отыскивающий ее опять.

Но как ни злило Чарльза это обычное преднамеренное пренебрежение, он сдерживал свою злость, потому что за годы, прошедшие со времени последней встречи со Скроддом, он хорошо понял то своеобразное психологическое бремя, которое давило на директора, и, только что вырвавшись от Хатчинсов и Локвудов, он читал в душе этого елейного кретина, как в развернутой газете: ранние честолюбивые замыслы, решение лишь половину своих сил отдавать повседневной рутине, а половину посвятить научным занятиям, которые приведут его к славе, и постепенное увядание всех его надежд, и теперешнее его двойственное положение, когда только половину внимания он уделял человеку, с которым говорил, или занятию, которое выполнял, а другая половина, еле мерцающая в парализованной части его мозга, с ужасающим упорством сосредоточивалась на одной точке, вперяясь в ничто.

— Я надеюсь, что вы будете добры помочь мне в подыскании работы,— быстро выпалил Чарльз.

Скродд слегка переменил позицию, так что блуждающий взгляд его проходил всего футах в трех от плеча Чарльза. Губы его скривились в усмешке.

— Если бы вы написали мне, Ламли, о причине вашего посещения, это избавило бы вас от лишних хлопот. Я ответил бы вам, что штат школы полностью укомплектован и что у меня нет никаких возможностей помочь вам рекомендацией.

Чарльз с жалостливым недоверием поглядел на него. Это чучело на самом деле думает, что он, свободное человеческое существо, желает записаться в ковыляющее воинство его педагогов.

— В мои намерения не входит стать учителем, мистер Скродд. Мои притязания,— тут он приостановился,— скромнее и выполнимее.

Вспомнив всю несообразность того, что ему предстояло, Чарльз на мгновение снова ощутил былое смятение, чувство вины и опустошенности. Язык у него не мог выговорить ни слова, и он снова стал тем до смешного растерянным юнцом, каким бывал во все предыдущие посещения этого кабинета. Но туман тут же рассеялся, и так дорого обошедшаяся ему ясность подхватила и понесла его вперед, пока он не ощутил под ногами твердую почву.

— А в каком смысле,— нагло осведомился Скродд, иронически поглядывая мимо него,— в каком смысле они выполнимее для меня?

Чарльз откинулся на спинку стула и поглядел прямо на толстые стекла очков.

— В этой школе есть окна. Кто-нибудь должен время от времени мыть их — поденщики или школьные служители, которым, право же, целесообразнее заниматься своими прямыми обязанностями. А наш век, как вы неоднократно указывали мне,— это век специализации.

Скродд, казалось, впал в транс, глаза его блуждали вокруг Чарльза, как бы отыскивая невидимого противника.

— Так почему бы вам не поручить эту работу одному из ваших прежних воспитанников? Я мог бы регулярно приезжать сюда без всякого напоминания — скажем, в конце или в начале каждой четверти — и за два-три дня выполнять эту работу. Конечно, мои условия будут...

Скродд встал. Случилось чудо — он глядел прямо в глаза Чарльзу.

— Я все еще надеюсь,— четко выговорил он,— что все это одна из ваших глупых шуток...

— ...для вас выгоднее, чем существующие...

— ...или, может быть, солнечный удар. Сейчас такая жара.

— В самом деле. Положим, вы не приглашаете никого со стороны. Но кто может как следует выполнять эту работу? Да некому. Смит слишком толст, и ревматизм не позволит ему взбираться на стремянку, а Берту, как вы знаете, хватает работы в котельной...

— Ламли! Избавьте меня от необходимости звонить швейцару и себя — от удовольствия быть удаленным силой!

— ...разве что летом, но тогда ему надо ухаживать за газоном. Я могу всецело избавить их от этой заботы, и окна будут достойны репутации школы.

Рука Скродда метнулась к звонку, нажала кнопку и словно прикипела к ней. Чарльз встал. У него в распоряжении оставалась минута, которая потребуется Смиту на то, чтобы проковылять по коридору. Невероятно было, чтобы они еще когда-нибудь встретились. И все-таки у него не было ни малейшей охоты сказать что-нибудь Скродду на прощание — ни язвительное, ни гневное, ни умиротворяющее. Время подведения итогов истекло. Стоило ли тратить порох на прощание с прежней жизнью и ее обломками? Как это ни странно, но потребность в уточнении испытал сам Скродд.

— Я могу заключить, Ламли, что вы затаили какую-то злобу против меня и это побудило вас явиться сюда и занимать у меня время своей глупейшей шуткой. Мытье окон! Полагаю, что за нею кроется намек на то, что ваше образование не пригодно ни на что иное, и вы хотите подчеркнуть это, явившись сюда с вашими нелепыми разговорами о поденщине. Вам не следовало прибегать к иносказаниям.

Смит уже был в дверях, и Чарльз повернул к выходу. У него не было ни малейшего желания оспаривать версию Скродда. Он только бросил через плечо:

— А почему бы и не иносказание? Восемь лет меня учили мыслить метафорически.

И так как Смит уже распахнул перед ним дверь, он вышел в сонное спокойствие коридора, распевая, насколько позволял ему слух, назойливые строки:

Пусть же им наш сев приносит
Год за годом урожай.

Озадаченный и возмущенный, Смит выпроводил его по черной лестнице на залитый солнцем двор.

Настоящий отдых — это благословение, ниспосланное только тем, кто отбывает определенные рабочие часы; и когда наступило воскресное утро, тихое и ясное, Чарльз, пожалуй в первый раз в жизни, проснулся с блаженным чувством покоя.

Всю неделю он трудился без передышки, потому что и субботнее посещение Скродда он рассматривал как работу, а субботний вечер он посвятил внеочередному ремонту своей тележки. За этим занятием он

думал, что, если бы только знал, где сейчас находится первый ребенок, пользовавшийся этой коляской, он непременно подарил бы ее внукам вышеупомянутого ребенка.

И вот в половине десятого он прогуливается среди зевак по единственной настоящей улице городка. И весь день в его распоряжении, только в шесть часов — обязательное пение псалмов и молитв в общежитии Союза христианской молодежи как вполне резонно взысканная моральная плата за пристанище. В другие времена перспектива стольких часов досуга побудила бы его искать общества, но теперь он расценивал это по справедливости лишь как уловку ума, неспособного вынести ничегонеделание. Праздные разговоры были бы просто средством успокоить мозг, страшившийся пустоты.

Опершись на перила моста и глядя на свинцово-бурую речушку, протекавшую у него под ногами, он предался размышлениям. Он думал обо всех тех расточительных юношах тридцатых годов, которые совершили, или хотели совершить, или говорили о совершении как раз того, что сделал он, и отвернулись от той среды, которая изнежила их; он думал и о том, как они с первых же шагов потерпели крах, потому что их отрицание было основано на попытке приобщиться и, более того, слиться с народом, жизнь и мысли которого они представляли себе весьма туманно и который, наверно, задал бы им жару, если бы затея их все-таки удалась. Чарльз внутренне поздравлял себя, что никогда не обманывался в них, презирая их за идиотские попытки глядеть сразу в два телескопа: один — с линзами немецкой психологии и обращенный на себя, а другой — телескоп русской экономической мысли, обращенный на английский рабочий класс. Коренившееся в нем ощущение реальной жизни по крайней мере спасало его от этой бессмыслицы самодовольных тупиц.

Перед Чарльзом вставала проблема, как избежать соприкосновения с новой средой. Он не должен пускать корней в этой среде, должен быть независимым от классов, имея дело только с явлениями, независимыми от личности,— как, например, местопребыванием или временами года; или, с другой стороны, с чисто личными привязанностями, свободными от всего, что не касается только двоих. Прежде всего следовало покончить с общежитием Союза христианской молодежи, потому что оно до известной степени включало его в общественную жизнь и грозило сделать из него местного обывателя, чего он больше всего боялся. Все вечера он проводил в поисках жилья, изучая объявления, вывешенные за проволочной сеткой витрин («Шесть пенсов в неделю»). Но большинство этих выведенных каракулями записок было ни к чему: одни обещали угол и призывали стать членом семьи, другие были уж чересчур замусолены и небрежны. А к небрежности Чарльз относился подобно многим — прощал ее себе и не терпел ее в других.

К одиннадцати часам ему уже три раза приходилось покидать занятую им позицию, спасаясь от бездельников, которые трижды пытались вступить с ним в беседу. Нелегко было столь упорно ограждать себя от их общительности, и Чарльз вспоминал о прочитанных когда-то рассказах военных беглецов из концлагерей. Ночи в пути, дни в укрытии, всегда в страхе, что к ним обратятся, потому что, как офицеры и джентльмены, беглецы, конечно, не владели ни одним из иностранных языков. Подходящее сравнение, думал он, потому что его университетский выговор сейчас же выдал бы его, даже попытайся он разыграть из себя настоящего мойщика окон. А ввяжись он в разговор — тут уж непременно арест и снова в лагерь. Так что единственная возможность избежать колючей проволоки — это держать язык за зубами.

Занятый такими мыслями, он бродил под каштанами городского парка, за которым только махина пивоваренного завода загораживала приволье полей и лугов. Солнце начинало припекать, и парк представлял обычную летнюю картину: горожане целыми семьями располагались прямо на траве; ребятишки носились с трещотками, превращая дорожки во взлетные площадки, и открывали при встрече оглушительную пулеметную пальбу; огромные вороха бумажных обрывков ждали только порыва ветра, чтобы отправиться в далекое путешествие; осколки битых бутылок сверкали на солнце, а на земле через каждые несколько ярдов лежали юные пары в том самозабвении, которое стыдливо отводимому взгляду казалось последней судорогой любовного наслаждения.

Чарльзу и в голову не приходило, что кто-нибудь может нарушить здесь его задумчивость. И он даже споткнулся от изумления, когда то, что он, приметив краешком глаза, счел кипой старого платья, привалившейся к дереву, вдруг вскочило на ноги и, оказавшись неряшливым, нечесаным мужчиной, заорало хриплым голосом:

— Ламли! А я как раз о вас вспоминал вчера вечером.

Повернувшись и встретив взгляд заплывших кровью глаз из-под длинных спутанных кос, Чарльз узнал знакомца по университету Эдвина Фроулиша.

Собственно, Чарльз не был близко знаком с Фроулишем в студенческие годы, но много слышал о нем, потому что Фроулиш с величайшим рвением и упорством проявлял свою склонность к саморекламе. С самых ранних лет он считал себя человеком, который хотя еще и недооценен, но в должное время обязательно обретет славу великого романиста. Всю свою жизнь он строил, ориентируясь на ту монументальную биографию, которую после его смерти напишет какой-нибудь подслеповатый седовласый профессор, и каждая страница его глубоко заурядного существования была уже переведена в его мозгу в строгие академические периоды профессорской прозы. Он уже видел заголовки ее разделов: «Детство в Гэмпшире», «Страсть к бабочкам», «Ранняя оригинальность», «Посрамленный деспот» (последний заголовок относился к его отказу в тринадцатилетнем возрасте выполнить взыскание, наложенное учителем физики; этот единственный на его счету мужественный поступок навлек на него порку и взыскание в двойном размере). Еще задолго до окончания школы он выискивал и внимательно читал книги о детстве великих писателей. Большинство авторов изощрялось в коллекционировании анекдотических происшествий. По́па изгнали из школы за сатиру на учителя. Шелли высказывался против телесных наказаний. Теннисон жил в тысячах сердец в образе пламенноокого юноши, тайком пробиравшегося в заброшенную каменоломню, где он долго, не веря глазам своим, вглядывался в камень с высеченной им надписью «Байрон умер». Кинофильм! Чистейший кинофильм. Как Фроулиш ни старался, ему никак не удавалось превзойти голливудские эффекты своих кумиров. Даже если бы он отважился на плагиат, все равно это бесполезно. Чье имя может он высечь на камне? Единственный знаменитый писатель, умерший за это время, был Редьярд Киплинг. А что хорошего, если бы его нашли в отчаянии глядящим на камень с надписью «Киплинг умер»? Друзья попросту высмеяли бы его — тем презрительным, уничтожающим смехом, которого уж, верно, не приходилось на своем веку слышать Альфреду Теннисону.

Итак, можно было думать, что подобных анекдотов не окажется на первых страницах его будущей биографии, хотя почему бы Фроулишу и не придумать несколько подходящих историй? Времени хватит. В уни-

верситете, например, все пошло гораздо удачнее. Тут легче было пускать в ход механику саморекламы: через три недели после его прибытия о нем уже говорили, а во втором семестре он закрепил за собой репутацию признанного чудака. И достигнуть этого было так легко: всего несколько шальных трюков — то с серым попугаем, которого он таскал повсюду в клетке, то с котелком, который он не снимал и в помещениях,— или же бесконечные выстаивания в самом центре холла. Однокурсники с типичной для студентов непоследовательностью и податливостью, поначалу высмеяв Фроулиша, потом привыкли к нему, стали принимать за чистую монету и выслушивали его доклады на темы вроде «Мнимая извращенность сюрреалистской психологии» с чем-то похожим на почтение. Короче говоря, он стал заметной фигурой. Глядя теперь на отечное, землистое лицо Фроулиша и его дрожащие руки, Чарльз впервые осознал, насколько сам обманывался на его счет. Не раздумывая, он годами принимал легенду о гениальности Фроулиша, и сейчас поздно было переоценивать ценности. Из разрубленного клубка его прежней жизни тянулись нити, и одной из них было привычное отношение к товарищу, на которого трудно было сейчас взглянуть как на человека, увиденного впервые.

И, обращаясь к нему, он невольно воскликнул тоном полунасмешливого восхищения, который сложился за годы его знакомства с Эдвином Фроулишем:

— Хэлло, дружище! Вот уж кого не ожидал здесь встретить! Очередные поиски местного колорита?

— Здесь не место для разговоров,— таинственно забормотал Фроулиш, не отвечая на его вопрос.— Давайте...— лицо у него исказилось судорогой, и он шепнул Чарльзу на ухо: — ...пойдем и выпьем. Там, где нам не будут мешать.

Очутившись в портерной, Фроулиш сейчас же забрался в самый темный угол и засел там, предоставив Чарльзу добывать пиво. Не выказывая изумления — да и не испытывая его,— Чарльз принес и поставил на стол две пинты жидкого эля. Теперь можно было приступить к разговору.

— Вы меня спрашивали, что я здесь делаю,— бормотал Фроулиш между глотками, которые он отхлебывал с характерной для него жадностью и одновременно отвращением.— Нет, я не ищу здесь местного колорита: я романист не этого рода, я не стремлюсь к реакционной фотографичности.

— Только, пожалуйста, без деклараций: сейчас вы объявите себя антинатуралистом или еще кем-нибудь в этом роде,— с усмешкой остановил его Чарльз. Он был мойщиком окон и стоял выше всей этой интеллигентской дребедени.— Вы скажите мне прямо, если это не секрет, что вы тут делаете?

— Ну как вам сказать,— ответил Фроулиш, ломая и судорожно крутя свои короткие пальцы.— Бетти отыскала здесь для нас пристанище, а что касается меня, мне все равно, где находиться, раз я пишу роман. Тут довольно тихое место.

— Бетти? — спросил Чарльз, роясь в обрывках воспоминаний, которые еще ютились на задворках его мозга в ожидании окончательной прочистки.

— Ну разве вы не помните Бетти? Она бывала на вечеринках у Аллана.

Чарльз только раз был на вечеринке у этого неприятного для него молодого человека и постарался ускользнуть еще до начала пьяных объятий, но где-то зашевелилась в ворохе памяти и смутно вспомни-

лась главная приманка того вечера — высокая, гибкая девушка в пижамных брюках и с распущенными по плечам волосами.

— Вот не знал, что вы...— тут он приостановился, отыскивая слово,— что вы ухаживали за ней.

Фроулиш захохотал, сотрясаясь всем своим пухлым телом.

— Ухаживал? Да я жил с ней весь третий курс.

— Вот как? Этим, должно быть, и объясняется, что вы так и не получили диплома.

Сказав это, Чарльз поразился, как прямолинейно, как грубо и откровенно может он теперь говорить. В прежнее время он ни за что не решился бы затрагивать личные темы, да еще так вызывающе, хотя бы и по отношению к заведомому эготисту[1] Фроулишу, которого он, конечно, ни капельки не смутил.

— О, диплом! — хрипло простонал тот, помаргивая за космами рассыпавшихся волос.— А на что мне, спрашивается, диплом? Я романист. Все, что мне нужно, это стол, стул, перо и бумага, женщина, еда и...— тут он поглядел на свой пустой стакан,— и питье.

Прежний Чарльз при таком прозрачном намеке тотчас вскочил бы и побежал к стойке; новый Чарльз преспокойно сидел на месте, раскуривая сигарету.

— Подождите, вот я сейчас кончу свой. А где же вы теперь живете вместе с вашей Бетти? Отдельный домик?

— Нет, нет,— признался Фроулиш.— Не все сразу. Собственно, это вроде строительного склада. Нижний этаж не разгорожен, там выдерживали лес. Верхний — туда попадаешь по приставной лестнице — был приспособлен под контору. Бетти удалось снять там помещение. Но, послушайте, если вы при деньгах, закажите же, черт подери, еще по стакану.

Чарльз притушил сигарету и отправился за пивом. Может быть, это как раз то, что ему надо,— будет где хранить оборудование, и обойдется, должно быть, недорого. И что важнее: никакой среды, никаких столкновений общественных противоречий. Он, отвергнувший и отвергнутый, равно чуждый как своему, так и чужому классу, может быть именно здесь найдет бесклассовое пристанище под одной крышей с этим невротическим псевдописателем и его обрюченной гетерой.

Когда Фроулиш был ублаготворен новой пинтой и сигаретой, он пригнулся к Чарльзу и продолжал поверять свои тайны.

— Помещение это, по-видимому, пустует уже много лет. Строительная фирма перебралась в город покрупнее, а тут оставалась только всякая складская заваль. Потом старый владелец умер, вдова продала основную контору, ну а это помещение у нее никто не брал, потому что его давно не ремонтировали. Ну и пришлось старой карге отдавать его под жилье.

— Да это же настоящий дворец! И сколько она с вас берет?

Тут Фроулиш застонал, и его лицо исказила страдальческая гримаса.

— По гинее в неделю. Подумать только: каждые семь дней двадцать один шиллинг, и за такую трущобу! Конечно, дешевле вдвоем, пожалуй, не устроишься, и старая ведьма содрала бы с нас больше, много больше, но только она делает это из-под полы, и надо нам всем держать ухо востро, иначе санитарная инспекция, пожалуй, засадит всех нас в тюрьму.

— А что, разве так плохо? Нет воды?

---

[1] Человек, преувеличивающий собственное значение.

— Нет, колодец рядом, и, насколько мне известно, никто не объявлял его непригодным для питья. Ну и, конечно, нужник во дворе, еще с тех пор, как здесь было полно рабочих.

Пивная постепенно наполнялась. Какой-то рабочий поставил на стол свою пинтовую кружку и сел рядом с Фроулишем. Вытащив пакет прессованного табака, он ножом стал крошить его и собирать себе в ладонь.

— Так-так,— возбужденно сказал Чарльз.— А кто платит эту гинею? То есть, конечно, вы...

Среди неслыханных преступлений, на которые только вскользь намекали в газетных отчетах или в его детстве перешептывались шокированные взрослые, было и такое — жить на средства женщины. Эта формула обнимала всю шкалу возможностей — от организованного сутенерства до ценных подарков от богатых старух. «К какому разряду относился Фроулиш?» — спрашивал себя Чарльз, глядя на корчившуюся белесую маску с глубоко сидящими красными глазками. Но куда бы его ни отнести, а то, что Фроулиш жил на средства женщины, было несомненно.

— Ну да, конечно, это шокирует ваши буржуазные чувства,— горестно усмехнулся Фроулиш.— Я знаю, о чем вы думаете. Да, Бетти платит эту гинею в неделю. И еще около двух фунтов, которые уходят на питание и топливо. И этого еще мало. Нам нужно больше уже теперь, и один бог знает, сколько понадобится зимой. И она за все платит. И полагаю, что вы со своими проклятыми условностями...

Тут его тирада была прервана приступом отчаянного кашля, потому что рабочий, кончив строгать табак, набил им глиняную трубку и принялся ее раскуривать. Вокруг Фроулиша образовалось густое сизое облако и стало щипать ему глаза, нос, гортань и легкие. Чарльз успел отстраниться от дымовой завесы. Быстро поднявшись, он подхватил стакан и удалился на почтительное расстояние от удушливого вулкана.

— Вы, конечно, думаете,— донесся до него сдавленный голос Фроулиша,— только беспринципный мерзавец может быть на содержании у женщины. Почему он не работает, чтобы прокормиться, как это делаю я? — Снова приступ неудержимого кашля. Рабочий мирно попыхивал трубкой.— Но вы и все вам подобные чистюли... ох, этот чертов дым... вам дела нет до того, выживет ли искусство. Мне надо только закончить свой роман, и тогда — слава! И я верну ей все с процентами. И вообще... боже мой, я задыхаюсь! Вы тут, Ламли?.. И вообще, что значит материальная сторона? Бетти рада помочь Искусству! Она по-настоящему заинтересована... воздуху мне, умираю!.. в судьбе моего романа, в том, быть или не быть Литературе... Да перестаньте вы дымить!.. Ламли! Где вы? Ничего не вижу!

Фроулиш поднялся наконец на ноги, очертания его смутно вырисовывались сквозь дым.

— Сюда! — крикнул Чарльз.

Они напоминали киногероев, спасающихся от пожара в джунглях, или каторжников, скрывающихся в дартмурском тумане. Судорожно простирая руки к просвету, весь зеленый, обливающийся потом, Фроулиш наконец вынырнул из дымовой завесы. Чарльз быстро подхватил его под руку и выволок на свежий воздух.

Хотя Фроулиш и не заикнулся об этом, но как-то естественно получилось, что Чарльз пошел проводить его. Оправившись от удушья, романист быстро заковылял по переулку, принимая как должное помощь Чарльза. Молча они кружили по лабиринту окраинных улочек, и однообразие скученных домов с их тесными дворами уже нарушалось кое-где признаками деревни: то травой, проросшей между булыжниками,

то зарослями крапивы, то живой изгородью или большим деревом. Наконец они очутились перед длинным деревянным сараем, отделенным от улицы большим пустым двором. Зайдя во двор, они услышали резкие женские голоса. Они кричали одновременно, так что трудно было понять слова, но затем стало ясно, что более пронзительный голос настойчиво повторял:

— Сию минуту! Сию же минуту!

— Ах она ведьма! — воскликнул Фроулиш и остановился как вкопанный.— Это она! Нам лучше не показываться.

Очевидно, бремя, которое Бетти взвалила на свои плечи в интересах Литературы, включало и обязанность единолично выдерживать натиск разъяренной хозяйки. Чарльз не сомневался в том, что это хозяйка, а ожесточение в ее голосе свидетельствовало, что спор идет о деньгах. Фроулиш повернул и собирался было ускользнуть на улицу, как вдруг над их головами распахнулось окно и высунулось злобное морщинистое лицо с пучком закрученных на темени седых редких волос.

— Мистер Фроулиш! — завизжала вдова, скорее напоминавшая колдунью.— Вы что, думаете улизнуть? Не надейтесь. Я вас видела, пожалуйте-ка сюда!

Судорожно дергаясь, романист остановился в нерешимости. Бегство казалось таким заманчивым, сдача — такой тягостной.

— Для вас это последняя возможность! — торжествующе возопила ведьма.— Или вы вернетесь и расплатитесь со мной, или вам вообще некуда будет возвращаться, вам и вашей супруге,— издевательски протянула она последнее слово, вложив в него всю скопившуюся ненависть, недоверие и зависть.

Тут над старухиным пучком в окне появилась еще одна голова. Продолговатое изможденное лицо с обтянутыми скулами, накрашенным ртом и всего одним глазом, выглядывавшим из-под рассыпавшихся волос. Существо это сказало голосом низким и хриплым:

— Ничего не поделаешь, придется подняться, Эд. На этот раз не вывернешься. А кого это ты там с собой привел?

Не говоря ни слова, Фроулиш шмыгнул в сарай и стал подниматься по приставной лестнице. В предвидении новых неожиданностей Чарльз последовал за ним. Еще не добравшись и до половины лестницы, он понял, как правильно поступил, пропустив Фроулиша вперед, потому что, как только тот просунул голову, на него обрушился такой поток брани, что, на мгновение ошалев, Фроулиш чуть было не выпустил лестницу и едва не скатился вниз. Но после короткой и рискованной заминки он все-таки преодолел оставшиеся ступеньки и благополучно взобрался наверх. Чарльз готовился последовать за ним, но то, что он увидел, просунув голову в люк, словно пригвоздило его к лестнице.

Перед ним была большая комната, занимавшая почти половину чердака. В одной стене было три окна, освещавших, а через разбитые стекла и освежавших комнату. В углу помещалась старомодная двуспальная кровать, по-видимому приобретенная у старьевщика, на ней скомканное белье и почему-то кипы газет. В другом углу — большая керосинка и рядом с ней грубо сколоченная полка, а на ней несколько кастрюль, тарелок, чашек и консервных банок. Между двумя окнами побольше, как видно в особо почетном месте, стояла единственная основательная вещь из всей обстановки — солидный дубовый письменный стол с выдвижными ящиками. На столе — пишущая машинка, еле видная из-под вороха бумаг. Рухлядь, загромождавшая углы комнаты, была почтительно отодвинута от этого жертвенника. Чарльз взирал на него почти с благоговением. Это было обиталище посвященного.

Но в это самое мгновение посвященный, прижатый к столу, еле отбивался от наскоков старой ведьмы, владелицы этих хоро́м. Она ухватила его за оба лацкана и, придвинув свое иссохшее лицо к его одутловатой потной физиономии, выкрикивала, как припев:

— Сию же минуту! Сию же минуту убирайтесь из моего...— она не решалась сказать «дома»,— отсюда, если сейчас же не уплатите за квартиру. Просрочено уже две недели! У вас голова полна всяких идей, так вы можете питаться воздухом и разглагольствованиями, но мы, простые смертные, мы должны за все платить — платить деньгами.

Она перевела дыхание, готовясь к следующему залпу, но тут почувствовала, что ее хлопнули по плечу. Возле нее стоял Чарльз, держа в руках раскрытый бумажник. Весь тот страх, который когда-то внушала бы ему эта беззубая ведьма, теперь окончательно покинул его. Он не принадлежал больше к классу, который афишировал свою почтительность к женщине; он был сильнее ее физически, и он был в состоянии уплатить, что ей следовало.

— Просрочено две недели,— коротко сказал он.— И следует по гинее в неделю, не так ли?

— А вам-то какое дело? Это они... — начала было вдова, но он сунул бумажник в карман и так грубо повернулся к ней спиной, что она поняла: нашла коса на камень, этот слов попусту не тратит. И она тоже без лишних слов ответила: — Да.

Чарльз, все еще стоя к ней спиной, снова раскрыл бумажник и достал три фунтовые купюры. Потом порылся в кармане, добавил монету в полкроны и шестипенсовик и, повернувшись, протянул ей.

— Вот за три. За одну вперед. И проваливайте!

Она вытаращилась на него и теперь, получив долг, казалось, готова была позволить себе роскошь отвести душу как следует. Но Чарльз угрожающе надвинулся на нее и, указывая на лестницу, рявкнул:

— Проваливайте туда, откуда пожаловали!

Вдова тихонько ретировалась. Водворился покой, он просачивался вместе с летним воздухом сквозь разбитые окна, излучался из молчавшей машинки на письменном столе Фроулиша.

Косые лучи августовского заката скользили по спутанным космам Фроулиша, стучавшего на машинке, а Бетти, словно нахохлившаяся птица, сторожила булькавшую на керосинке кастрюлю. Чарльз, удобно примостившись и прихлебывая пиво из стоявшей под рукой кружки, наблюдал за ними с чувством полного удовлетворения. Он испытывал то, что столько раз радовало его вот уже месяц и что складывалось в его мозгу все в те же слова: «Вот и наладилось! Наладилось лучше, чем я мог ожидать!»

Ничто так не оправдывало его решения принимать жизнь такою, какая она есть, чем эта чудесная находка, этот уже сложившийся уклад! Он в точности отвечал его несложным запросам: не было комфорта, чистоты, но было где хранить свой рабочий инвентарь, принимать пищу и спать по ночам. Кумир почитаемого домашнего очага, ради которого надо было идти на любые жертвы, не смущал его больше, он отбросил его, как и другие реликвии своего прошлого.

— Можно ужинать, если вы поможете мне собрать на стол, Чарльз,— низким голосом пророкотала Бетти.

Он послушно встал, расстелил газету на перевернутом ящике, поставил три тарелки и разномастные столовые приборы и при этом отметил, что это первые слова, прозвучавшие с тех пор, как он час назад вернулся с работы. Все трое с первых же дней словно лишились дара речи, и по

разным причинам ни один из них не чувствовал потребности разговаривать. Фроулиш был поглощен своими идеями и угрюмо молчал, пока не пробуждалась какая-нибудь из его давних обид, о которой он распространялся горячо и многословно. Бетти была слишком неумна, чтобы начать разговор, и слишком сжилась со своей ролью «роковой женщины», чтобы позволять себе обычную болтовню пустенькой кумушки. Чарльз, возвращаясь после рабочего дня, был слишком утомлен физически и удовлетворен морально, да и ни один из его компаньонов не мог понять волновавшие его мысли, а тем более разделить их.

Они придвинулись к ящику, а Фроулиш просто повернулся от письменного стола в своем вращающемся кресле, и Бетти подала кастрюлю. Стряпня ее была незатейлива: намешать в единственной большой кастрюле имеющиеся под рукой продукты и разогреть на керосинке. Обычно ее варево все же было съедобно, но если и случалась осечка, то Фроулиш этого не замечал, а Чарльз всегда бывал слишком голоден.

Теснясь вокруг ящика, они поразительно мало обращали внимания друг на друга. Чарльз впервые отдал себе отчет в том, как это странно. Напротив него, горбясь, сидела на низеньком ящике Бетти в своих мешковатых брюках и засаленном цветастом халате и рассеянно вглядывалась сквозь нависшие лохмы в газету, заменявшую скатерть; она старалась прочесть перевернутый текст. Фроулиш, грузно осев в единственном удобном кресле, хмуро уставился в тарелку, дергаясь и роняя куски то на колени, то на пол. Между ними, казалось, не было ничего общего; Бетти никогда не спрашивала его о работе, а он если и заговаривал, то лишь об этом. Но Чарльз знал, что они оба довольны. Ни один из них, видимо, не способен был полюбить в том смысле, как это понимает большая часть человечества. Они по своей натуре были неспособны на это: он слишком эгоистичен, она слишком тупа. Но для обоих была бы невероятна жизнь, не вращающаяся вокруг какой-нибудь любовной связи. Слишком сильны были богемные традиции артистического круга, так сказать Латинского квартала, одного из промышленных городов Англии. Ясно было, что ни он, ни она не потрудились выбирать себе партнера, а просто встретились случайно и сошлись.

В первое время Чарльз ожидал много осложнений от «жизни втроем». Свое ложе он устроил в дальнем углу чердака и установил вторую лестницу, прямо со двора, чтобы, возвращаясь поздно вечером, не проходить по той части, где спали Фроулиш и Бетти. И вообще в первые дни его беспокоило присутствие Бетти. Ему не приходилось иметь дело с такого рода девицами, и он боялся, что при малейшем попустительстве с его стороны она будет навязываться со своими милостями, чего он ни в коем случае не желал ни сейчас, ни в будущем.

Но опасения его были напрасны. Бетти, казалось, была всецело поглощена Фроулишем. Правда, она по нескольку дней подряд не проявляла по отношению к нему никаких признаков внешней заботы, но она в то же время была безучастна и ко всему остальному, так что Ламли в конце концов уверился в ее преданности Фроулишу. Она не знала никаких развлечений и, кроме утренней получасовой отлучки для покупки продуктов, почти не выходила из дому. Исключением была суббота, когда она отправлялась навещать каких-то родственников, живших по соседству с городом. Что же касается его усиленных стараний не нарушать их интимной жизни, то они были встречены насмешливым изумлением пополам с полным безразличием. Фроулиш дошел даже до того, что принялся разъяснять ему, что заботы его излишни и что, если даже случится ему попасть домой ночью, он найдет их мирно почивающими,

потому что «позабавиться» — так он это назвал — можно в дневное время, когда Чарльз отсутствует. Как бы то ни было, рубрика «пол», которая стояла первой в его студенческом списке вопросов, подлежащих обдумыванию и коренному решению, еще могла быть им хладнокровно рассмотрена. Он не собирался очертя голову принимать поспешное решение. А в данный момент, морально удовлетворенный и физически утомленный работой, он не чувствовал потребности быть активным в этом направлении.

Больше всего заботил его денежный вопрос. После его триумфального начала, когда выручка в несколько шиллингов казалась ему неслыханным чудом, он скоро обнаружил, что город и до него прекрасно обслуживали мойщики окон, которые были постоянными клиентами выгодных заказчиков — больших магазинов, гостиниц и т. п. Оставались жилые кварталы. Но оказалось, что и тут большинство домовладельцев предпочитало обходиться собственными силами. Сколько раз хрустел он гравием дорожек, направляясь к какому-нибудь респектабельному дому с двумя машинами в гараже лишь для того, чтобы на его звонок отзывалась сама хозяйка — прислуги, должно быть, не держали — и заявляла, что у них уже есть постоянный мойщик. А он знал, кто этот постоянный мойщик,— это был сам отец семейства в часы, свободные от банка, где он был одним из директоров.

Еще хуже, чем нехватка работы, было для него постоянно ощущать себя отщепенцем, которому надо остерегаться невидимой, но могущественной организации, стремившейся сокрушить его. Он ровно ничего не знал о своих сотоварищах—мойщиках окон, ему никогда не приходилось вплотную знакомиться с работниками физического труда, но ему всегда внушали, что они принадлежат к каким-то зловещим обществам, называемым «союзами», и что каждый, кто попытался бы жить своим трудом без благословения такого союза, оказался бы в весьма трудном положении. Всякий раз, заметив в отдалении тележку с лестницей и ведрами, он в панике сворачивал в ближайший переулок, считая самоочевидным, что каждый мойщик окон может питать к нему лишь ненависть и отвращение. Несмотря на это, ему никогда и в голову не приходило сделать попытку вступить в союз и вообще как-то оформить свое положение: это означало бы официально войти в состав рабочего класса, а его целью было держаться вне всякой классовой структуры.

Бывали у него и совсем неурожайные недели, когда он радовался деньгам Бетти. Ее пай равнялся двум фунтам десяти шиллингам в неделю и был неиссякаем. По ее словам, получала она это «пособие» от тетушки, старой девы, жившей километрах в двадцати от города. Старая леди была, по-видимому, весьма эксцентрическая особа, потому что, хотя рука ее никогда не оскудевала, она настаивала на еженедельном посещении Бетти и сама вручала ей деньги наличными. В этот день Чарльз и Фроулиш наскребали все остатки от недельного бюджета и тратили их на хорошую выпивку, так что Бетти возвращалась в полночь к пустой кассе. Ее ничтожный пай не позволял им откладывать на случай одного из тех кризисов, в котором застал их Чарльз, но позволял кое-как перебиваться в те трудные недели, когда заработок Чарльза падал и, случалось, не достигал и одного фунта. Странное дело, но не встреть он этих полунищих, он сам не в состоянии был бы продолжать свою новую жизнь.

А он желал продолжать ее, потому что всей душой оценил ее, искренне считая, что никакое унижение не страшно ему теперь, когда он честно зарабатывает себе на хлеб полезным ремеслом, которому научился без

всякой посторонней помощи, теперь, когда знает только свое дело и глядит миру прямо в глаза.

И откуда только могла прийти ему в голову эта идея?

3

Фроулиш редко покидал чердак, иногда неделями он только и ходил, что в импровизированную умывальную внизу, во дворе. Но иногда он предпринимал долгие одинокие прогулки, и в одну из суббот Чарльз, устроившись в самом теплом уголке, чтобы вздремнуть после обеда, не удивился, когда романист стал облачаться в свое потрепанное пальто.

— Что, отправляетесь на охоту за идеями? — сказал он.

— Какие там идеи,— ухмыльнулся Фроулиш.— Все вы помешались на идеях. И в голову вам не приходит, что при работе, протекающей в хроматической гамме — хроматической, соматической, динамической,— эпитет по вашему усмотрению,— для художника необходимы различные физические состояния.

— То есть, по-вашему, отдельные куски можно написать, только будучи утомленным, голодным или простуженным?

— Да, примерно так,— серьезно ответил Фроулиш.— Мне предстоит написать шесть страниц о состоянии крайнего утомления. Вот я и хочу испытать физическую усталость. Не умственную — там должно быть душевное равновесие,— мышечная усталость, вот что мне нужно. Проделаю километров пятнадцать, а вечером буду писать.

— А когда ты сляжешь, мне придется ходить за тобой, — сказала Бетти. Она угрюмо посмотрела на него.— Ну и дурачина же ты, Эд, глупый недотепина, — продолжала она голосом, которого Чарльз у нее еще не слыхал. Полный грубой ласки, он звучал, как любовный призыв. Вдруг Чарльз понял, что в груди и этой нескладной дурехи возможно какое-то искреннее чувство.

— А почему бы вам не попробовать помыть окна вместе со мной? Что устанете, за это я ручаюсь,— сказал он Фроулишу.

— Если это шутка, то довольно неуклюжая,— огрызнулся писатель, с трудом слезая вниз по лестнице. Пальто его свисало почти до пят. Должно быть, он позаимствовал его у большого пугала.

Когда он ушел, Чарльз растянулся, куря и подремывая. Бетти сидела напротив него молчаливая и вялая, всецело поглощенная какой-то непонятной работой Ковыряя иглой, она сшивала куски чего-то вроде мешковины. По-видимому, Фроулиш нуждался в шарфе. В четыре часа она поставила чайник на керосинку, и Чарльз встрепенулся, с удовольствием предвкушая чаепитие. Вот это комфорт, вот это благополучие!

На дворе послышались шаги, не шаркающие шаги Фроулиша, а резкий стук каблучков. Что-то пробормотал мужской голос. Женский зазвучал звонко, как колокольчик:

— Нет, а я думаю, что именно здесь. Наверно там, на чердаке. Давайте поднимемся.

Чарльз в панике уставился на Бетти. А с ней произошла какая-то перемена. Она выпрямилась, вся напряглась и дрожала, как собака на стойке. Но это было не радостное возбуждение, а знак тревоги и ненависти.

— Что с вами, детка?— спросил он, из сочувствия к ней позволяя себе неожиданную фамильярность.

— Шлюха,— медленно произнесла она.

В проеме показались голова и плечи молодой женщины. Шапка завитых подстриженных белокурых волос, квадратное решительное лицо с большими спокойными глазами.

— Здесь живет мистер Фроулиш?— четко выговорила голова.

Какое-то спокойное бесстыдство ее голоса задело и потрясло Чарльза.

Бетти не отвечала. Наконец за нее ответил Чарльз:

— Да, но его сейчас нет дома. Может быть, вы зайдете и скажете, что ему передать?

Молодая женщина одолела последние ступеньки и очутилась лицом к лицу с хозяевами.

— Да, конечно,— сказала она, рассматривая Бетти, как почечный камень на экране рентгена.— Мы, кажется, встречались?

— Однажды,— сухо отрезала Бетти. — И жалею, что это повторилось.

По лестнице вслед за девушкой вскарабкался молодой человек и стал возле нее с видом одновременно почтительным и вызывающим. Это был Джордж Хатчинс.

Чарльз поглядел на него сочувственно. Тот был явно растерян. Ни один из уроков его жизненного опыта не подходил к данной ситуации: менее всего его осторожная любовь к порядку и вкрадчивый карьеризм. Чарльз почувствовал себя в положении бывшего заключенного, посетившего тюрьму и при виде своих прежних сотоварищей презирающего себя за то удовольствие, которое он испытывает, сравнивая свою свободу с их заключением. Он смотрел на Хатчинса, как сквозь решетку: не выберешься, пожизненное заключение. А как там на воле, дома? Нечего об этом. Твой дом теперь здесь.

— Хэлло, Джордж,— сказал он.— А как насчет того, чтобы представить? Дамы, должно быть, не знают друг друга по имени.

— Прекрасно знаю,— сказала Бетти.— Просто я не хочу пачкаться непристойным словом.

Хатчинс слегка покачнулся, переступая с пятки на носок. Он был широкоплечий и плотный, так что пол дрогнул, как под упавшим кулем муки. Его красное лицо залоснилось.

— Это Чарльз Ламли, Джун,— сказал он своей спутнице.

Чарльз ожидал, что он закончит церемонию представления, назвав ее, но какой-то внутренний тормоз помешал сделать это Хатчинсу, который, казалось, не в состоянии был выговорить ее имя. Может быть, Джордж был в нее влюблен.

— Меня зовут Джун Вибер,— сказала девушка Чарльзу.

Она посмотрела на него серьезно и бесстыдно. Ему было так хорошо, а теперь колени вдруг ослабели, и он рад был, что сидит. Став мойщиком окон, он не считал себя обязанным вставать, когда его представляют женщине. Он был мало привлекателен для женщин, но все-таки иногда ему перепадали знойные взгляды и прочие призывные сигналы. Вероятно, это делалось просто для практики. Вероятно, по той же причине сделала это сейчас мисс Вибер, во всяком случае он предположил, что это автоматический и невольный рефлекс.

Влажными ладонями Чарльз цеплялся за протертые ручки кресла.

— Здравствуйте,— пробормотал он.

Она осмотрела его с ног до головы. Казалось, что позвоночник его обратился в цепочку из ватных колец, нанизанных на проволоку. Потом проволока раскалилась докрасна и расплавилась, а ватные позвонки рассыпались по полу.

— Так-таки и не знакомы,— сказала Бетти, словно сплюнула.

— Не знаком,— сказал он, запинаясь и переводя глаза на ее вспыхнувшее от гнева пористое лицо; оно стало кирпично-красным, и наконец-то поверхность ее кожи оказалась в полной гармонии с ее цветом.

— Никогда не поверю. А что же вы делали в свободное время у себя в университете?

— Занимался спортом,— с идиотским видом пробормотал Чарльз.

— Ну, значит, был один вид спорта, которым вы не занимались, иначе вы занимались бы с нею вместе. Как и все прочие.

Хатчинс беспокойно поежился. Джун Вибер сказала ледяным тоном:

— Я пришла сюда по делу.

— А куда вы ходили просто так?— сказала Бетти.— Сколько я вас помню, вы всегда занимались «делами».

— Я попросил бы вас быть повежливее,— обратился к ней Джордж Хатчинс.

Это должно было означать: как хорошо, что есть кому заступиться за Джун Вибер. Чарльз чуть было не расхохотался.

— А я попросила бы вас без предисловий,— сказала Бетти.— Если вы действительно пришли по делу, так и говорите, за каким, и проваливайте.

— Может быть, мне лучше оставить записку,— четко выговорила Джун Вибер.— Сомневаюсь, чтобы вам можно было доверить что-нибудь на словах.

— Конечно, если это будут ваши обычные слова. Мне не хватит моего запаса непристойных слов.

Тут Чарльз не выдержал и встал.

— Послушайте,— сказал он.— Мне это надоело. Я не могу предложить вам чашку чаю, мисс Вибер, потому что я не у себя дома. Я здесь только жилец. Но если вы поручите мне что-либо передать Эдвину Фроулишу, я позабочусь, чтобы это до него дошло.

«И перестаньте вы так на меня глядеть»,— чуть было не добавил он.

— Я пришла по поручению Стотуэллского литературного общества,— сказала она.

— Председателем которого являюсь я, — напыщенно заявил Хатчинс, снова почувствовав себя на твердой почве.

— Я была немного знакома с мистером Фроулишем по университету,— продолжала она.— Уже тогда было известно, что он работает над замечательным романом. Когда я узнала, что он живет здесь,— она поглядела на Бетти,— и в уединении заканчивает рукопись, я подумала, хорошо бы ему прочитать отрывки на нашем вечере. Следующее наше собрание через пять дней, в ближайший четверг. Подтверждения не надо, но, пожалуйста, передайте ему, что мы будем ждать его, если он не позвонит мне по телефону.— Она сказала ему свой номер.— Собираемся мы в женской школе в восемь часов.

Прежде чем Чарльз собрался ответить, зарокотала Бетти.

— Ладно. Слышали. Теперь убирайтесь, и вы и ваш дружок. Хорош гусь!— ехидно добавила она, испепеляя Хатчинса взглядом.

— Мне кажется, она предлагает вам уйти,— примирительно сказал Чарльз.

Хатчинс повернулся и стал спускаться по лестнице. Джун Вибер еще с минуту стояла, переводя глаза с Бетти на Чарльза. Потом сказала, обращаясь к Бетти:

— Можете не беспокоиться, милочка. Я вовсе на него не зарюсь.

— А почему бы и нет?— огрызнулась Бетти.— Он носит брюки, этого достаточно.

Они смотрели друг на друга в упор. Незабываемый контраст: одна в брюках, тощая, неряшливая, готовая по малейшему поводу царапаться и кусаться, и другая — стройная, женственная, насыщенная энергией, как динамо, грозящее смертельными разрядами. Чарльзу стало жаль Хатчинса, жаль Фроулиша и — как-то смутно — жаль самого себя. Сам-то он, в такой ли уж он безопасности? Устоит ли он там, где они пали?

Джун Вибер поставила ногу на верхнюю ступеньку и начала спускаться. Когда она скрылась до пояса, грудь ее вызывающе выгнулась почти на уровне пола. Бетти наклонилась так, что лица их сблизились.

— На этот раз не хотелось о вас руки марать,— сказала она.— Но не вздумайте прийти еще раз и мутить воду. Это вам даром не пройдет.

Не отвечая, посетительница скрылась из виду.

Стоял октябрь. Осенние ветры заполнили канавы желтыми листьями, и уже темнело, когда Чарльз возвращался домой со своей тележкой. Он был еще под впечатлением от недавней выходки Бетти и раздумывал, пронесло ли уже бурю или атмосфера на чердаке все еще насыщена. Он устал и решил подкрепиться чашкой чаю.

Закусочная Гарри Спэка была открыта. Он поставил тележку так, чтобы ее было видно из окна, и вошел. Получив у прилавка щербатую кружку темно-бурого пойла, он присел за ближайшим столом. Усталый, отяжелевший и обмякший, он не обращал внимания на окружающее. В закусочной было почти пусто.

— Это что, ваша тележка там, за дверью?

Чарльза резнул однотонный северный говор. Он оглянулся. Рядом с ним сидел коренастый, невысокий мужчина в кепке и намотанном вокруг шеи теплом шарфе. Запавшие щеки указывали на отсутствие зубов.

— Да, это моя тележка,— ответил он равнодушным тоном, выдерживая характер самостоятельного человека, не назойливого и не болтливого. Но уже то, что он ответил, вызвало новую фамильярность говорившего.

— От себя работаете, да?

— От себя.

— Что, так лучше?

— Гораздо.

— Доходнее, да?

Чарльз встал и направился к двери.

— Мне так нравится. Вот и все.

Но коренастый был уже на ногах и, понизив голос, настойчиво проговорил:

— Ну, ну, не ершитесь. Я спрашиваю неспроста. Садитесь-ка. Выпьем еще по чашке.

— А я больше не хочу.

— Ну, я ставлю,— сказал коренастый так, как будто этим все улаживалось: в самом деле, кто, находясь в здравом уме, откажется от даровой чашки чаю даже после обильного чаепития.

И вот Чарльз оказался снова за столом перед дымящейся кружкой. В той, старой своей жизни он чувствовал бы себя обязанным медленно отхлебывать, чтобы из вежливости отплатить за чай приятным разговором. Теперь он, не задумываясь, проглотил бы кружку и покинул бы непрошеного собеседника. Но чай был слишком горяч. А даже по новым своим воззрениям он не мог уйти, не притронувшись к кружке. Попался.

— Я без дальних слов,— начал коренастый, молчаливо принимая сигарету из протянутой Чарльзом жестяной коробочки.— Я видел, как вы тут расхаживаете с вашей повозкой и снаряжением. И пришло мне в голо-

ву: «Вот работает парень сам от себя. И хорошо работает. И все же,— говорю я себе,— никак ему не развернуться».

— А если я вовсе и не хочу разворачиваться?

Тот беззубо осклабился на эту шутку. Ну что на это отвечать? Конечно, шутит.

— И знаете, что я тут подумал?

— Понятия не имею.

— А тут я и сказал себе,— коренастый качал головой в такт словам,— парню нужен компаньон. Компаньон помог бы ему развернуться как следует.

Чарльз откинулся и недовольно посмотрел на говорившего. Он не отвечал по многим причинам. Во-первых, хотя в душе он страшился впустить постороннего в твердыню своей независимости, но нельзя было отрицать, что сама мысль об этом с некоторых пор не раз возникала в его сознании. Клиентура его была по-прежнему ограниченной, новой работы почти не подвертывалось, и вожделенные контракты оставались в мечтах. Компаньон, который подыскивал бы работу и помогал бы справиться с ней,— это, конечно, могло быть лучшим решением вопроса.

— Развернуться как следует,— повторил беззубый даже с некоторым самодовольством. Дым от затяжки валил у него изо рта и из носа.— Теперь взгляните на это с другой стороны,— сказал искуситель, пригибаясь вплотную к Чарльзу.— Вы молоды. Вам не хватает опыта. Пока дело ограничивается тем, что разъезжаешь с тележкой и моешь окно здесь, окно там,— тут вы можете управиться один. Но ведь нельзя же вам застревать на этом навсегда!

Навсегда! Сама идея делать что-то всегда, мыслить в терминах всегда — это все было принадлежностью той, прежней его жизни. Этот манчестерец говорил явно не то.

— А я, например, мог бы стать вам полезным. Я не здешний.— Этого можно было не говорить, но, как многие, он забывал о своем акценте.— Но в Стотуэлле я уже завязал много знакомств. Я живу здесь больше года.

— Короче говоря,— медленно сказал Чарльз,— вы хотите войти со мной в компанию, потому что считаете, что мое дело можно развернуть?

— Вот именно. В точку. И что вы об этом думаете?

— Ни черта не понимаю, вот что я думаю.

Неутихающий внутренний протест заставил Чарльза говорить вызывающе.

— А чего не понимаете? Чего?

— Да, мне непонятно. Оставшись по каким-то причинам без работы, вы решаете заняться мойкой окон, и вот, вместо того чтобы попытаться действовать самостоятельно, вы хотите войти со мной в компанию. Но почему? Мне ведь нечего вам предложить — ни денег, ни добавочного оборудования, ни клиентуры. На что вы рассчитываете?

— Ни на что я не рассчитываю. А вместе мы можем кое на что рассчитывать,— сказал коренастый и энергичным жестом смял сигарету.— В душе я делец. Мы все такие в Манчестере. А суть всякого дела,— он с глубоким убеждением повторил,— суть каждого дела — это комбинировать. Предположим, я начал бы все сначала, и один. Прибавился бы еще один конкурент, и мы вцепились бы друг другу в глотку, без всякой надежды помочь этим своему делу. А кроме того, вы меня неправильно поняли. Вовсе я не сидел и не решал заранее: «Буду мойщиком окон», а потом не искал вас по всему городу. Нет, кончилась у меня работа, и вот я стал прикидывать, к чему приложить свою инициативу и организаторские способности.

Последние слова были настолько явно навеяны чтением рекламных брошюр «Как добиться успеха», что недоверие Чарльза только усилилось. Странный, однако, тип! С такими ему еще не приходилось сталкиваться. Его ланкаширский говор вызывал в памяти мюзик-холльные пародии. Но их юмор был особого рода: за его обыденностью всегда чувствовалась неприязнь ко всему претенциозному и возвышенному. Это был юмор дельцов. И обывателей.

Ну и что же? Он действительно нуждался в помощи, и вот помощь ему предлагают. Молодому человеку, занятому в одиночку мытьем окон, не приходилось рассчитывать на большой выбор в поисках компаньона.

— Ну что ж,— сказал Чарльз серьезно.

По лицу коренастого побежали морщинки и собрались в довольно приятную улыбку, которую не могли испортить даже желтоватые прокуренные корешки. (Почему это клыки сохраняются лучше коренных и резцов? Уже и раньше вопрос этот часто занимал Чарльза.)

Коренастый протянул короткопалую руку. Ногти у него были черные, обкусанные.

— Эрн Оллершоу,— сказал он.

Чарльз пожал руку и торжественно произнес свое имя. Они стали компаньонами.

Решили пойти к Эрну и обо всем договориться. Эрн прошел за буфетную стойку — то ли в уборную, то ли попрощаться с хозяином или с кем-нибудь из его семьи; Чарльз, не желая дольше дышать чадным воздухом закусочной, вышел на улицу. Тележка стояла у обочины, и он направился к ней. Вдруг сильный толчок едва не свалил его с ног. Пошатнувшись, он отступил в темную подворотню рядом с входом в закусочную. Чья-то огромная лапища ухватила его за ворот. Тяжелое тело навалилось на него и мешало дышать. При свете фонаря блеснула чья-то лысина.

— Минутку, сынок. Как, цела шейка-то?

Ни слова!

— Так как же, цела?

Где же этот Эрн?

— Цела.

— Тогда молчок, слышишь? Твоя тележка?

Еще раз все тот же вопрос! Но теперь не приходилось раздумывать — отвечать или нет.

— Моя.

— Ах так! Значит, завел собственное дело, занялся мойкой окон? Ну, так слушай. Видишь это?

Свободная рука говорившего была сжата в кулак. И что-то тускло поблескивало на пальцах. Хотя Чарльз до этого никогда не видел кастета, он догадался. Лысый для большей убедительности повертел кулаком и так и эдак. Медные шипы отражали желтоватые лучи фонаря. «Пахнет убийством»,— подумал Чарльз.

— Не вздумай и дальше отнимать хлеб у здешних. Еще раз увижу тебя с тележкой — и получишь вот это. Сверну шею, и баста!

Шаги. Кто-то подходит по тротуару.

— Тише!

Кастет уперся Чарльзу в кадык. В подворотне темно. Прохожий ничего не заметил. А может, и заметил двух обнимавшихся пьянчужек.

Где же Эрн?

Чарльз не считал себя трусом. Выйдя из мальчишеского возраста, он ни разу не дрался, но полагал, что при случае может постоять за себя. Но тогда все представлялось ему совсем иначе. Непременно на просторе,

и чтобы было где сойтись и размахнуться, и, конечно, при свете дня. Но так вот, в темной подворотне, с притиснутыми руками, чувствуя чье-то зловонное дыхание и с глоткой, зажатой кастетом?

— И проваливай туда, откуда явился,— убедительно посоветовал лысый.— Недели не протянешь, если не смотаешь удочки.

Открылась дверь закусочной.

— Тише! — И кастет опять сдавил глотку.

Это был Эрн. Не глядя ни направо, ни налево, он с секунду постоял на пороге, потом ровным шагом направился мимо подворотни. От досады и страха у Чарльза замерло сердце. Потом, уже, казалось, миновав их, Эрн, так же не глядя, захватил согнутой рукой голову лысого и резко отдернул ее. Тому оставалось либо выпустить Чарльза, либо, в свою очередь, оказаться с переломленной шеей. Он выпустил воротник Чарльза. Эрн все еще не глядел на него.

Лысый внезапно извернулся и взмахнул рукой. Он старался ударить Эрна в затылок кастетом. Но Эрн быстро согнулся и двинул лысого плечом в живот. Встречное движение и объединенный вес придали такую силу этому удару, что лысый словно переломился, корчась от боли. Мускулы на его животе затвердели, как чугун, и не давали ему облегчиться рвотой. Тут кулак Эрна угодил ему прямо в лицо. Лысый упал.

Чарльз, весь дрожа, выскочил из подворотни. Ему хотелось поскорее уйти, где-то отсидеться, успокоиться. Эрн уже собрался следовать за ним, но счеты с лысым еще не были покончены. Шагнув туда, где в откинутой руке тускло поблескивал кастет, Эрн тяжело пришлепнул кулак своим грубым башмаком.

Уже отойдя немного, Эрн спокойно сказал:

— Теперь пусть поторопится снять свои кольца, не то будет красоваться в кастете недельку-другую. Рука-то у него теперь вздуется что надо!

Чарльз промолчал.

— Открывая наше первое собрание зимнего сезона,— сказала Джун Вибер, и ее звонкий голос чеканил слова, как колокольный призыв к какой-то оргии,— мы приветствуем мистера Фроулиша, который прочтет нам отрывки из подготовляемого им романа.

Она села. Джордж Хатчинс вплотную придвинул свой стул и украдкой взял ее за руку, прикрываясь газетой.

Фроулиш согнулся над столом, лицо его казалось бледной, перекошенной маской. Он дернул рукой и опрокинул стакан жестом настолько неестественным, что он казался нарочитым. Но именно поэтому Чарльз приписал этот жест естественной нервозности.

Все ждали, когда же Фроулиш начнет. Он глядел на собравшихся, постукивая пальцем по лежавшей перед ним рукописи, судорожно подергивая левой ногой. Кто-то откашлялся, гулко, словно выстрелил в железнодорожном туннеле. Это был известный нудà и придира мистер Ганнинг-Форбс, старший учитель средней школы. Однажды Чарльз мыл у него окна.

— Леди и джентльмены,— хрипло прошептал Фроулиш. В том месте ковра, куда он уронил зажженную сигарету, начал куриться дымок. Хатчинс услужливо приподнялся и затоптал тлеющий окурок.— Я без всякого вступления прочту вам первые абзацы романа.

— А как озаглавлена книга? — недоверчиво спросил Ганнинг-Форбс и устроил обе руки на залоснившихся коленях своих фланелевых брюк.

— Заглавия нет,— нетерпеливо ответил Фроулиш.— Темно-синий переплет. Никаких надписей, никаких титульных листов.

— А какой в этом смысл? — с возрастающей неприязнью проворчал учитель.— Мышление невозможно, если вещи не обозначены своими именами. Ведь мышление состоит...

— Я считал это самоочевидным! — страстно воскликнул Фроулиш.— Я считал это аксиоматичным. Нет заглавия, потому что невозможно несколькими словами выразить идею романа. Это идея, которую не сведешь к формуле. Это о человеческой жизни. Просто книга. Хотите знать, о чем она,— прочтите и узнаете. Не признаю самой мысли о том, что сколько-нибудь значительные явления могут быть снабжены ярлыками и разложены по полочкам.

Ганнинг-Форбс вскочил, но Джун Вибер наклонилась и положила руку на его рукав. Он обернулся и поглядел на нее, потом медленно сел; стекла его очков в стальной оправе мрачно поблескивали.

— Итак, несколько вступительных абзацев,— сказал Фроулиш, срывая с себя воротничок и галстук и кидая их в пламя камина — подготовленный трюк, который, однако, можно было тоже считать непроизвольным.— Никакой связи с основной частью книги. Просто мелодический и облический блик или семантическое введение.

— Как, как? — прокаркал Ганнинг-Форбс.

— Мелодический и облический блик или семантическое введение,— повторил Фроулиш.

Все недоуменно молчали.

— Ко-роль гнал голь,— начал Фроулиш.— В нем стыл без крыл его пыл. Враг кинь стяг! Кровь ран, клюнь вран сквозь мрак их зрак. Кол-дун в дым дунь! Стынь мымр злой пых, вей ввысь слов пух.

Хатчинс беспокойно заерзал на своем стуле.

— Вей вверх! Вей вниз! Свей в ком всех визг. Слов ком — ни о чем. А дым — черт с ним! Злой пёс врос в лёсс. Сух сук, сух сук, жарь жар, пыл сук — пыль брюк!

Очки Ганнинг-Форбса искрились яростью. Школьные учителя и банковские клерки сидели в оцепенении. Хатчинс поймал взгляд Джун Вибер и похотливо осклабился. Чарльз глубоко затянулся сигаретой. Фроулиш продолжал гудеть.

— Средь трав стремглав. Все в пляс, грянь бас. Пей эль, друг эльф! Бро-дяг взвей стяг!.. Здесь конец этой части,— заключил Фроулиш.

Слушатели очнулись. Поникшие было головы снова воззрились на него.

— Хорошо, но если это — введение, то каков же сюжет? Почему вы не расскажете нам вкратце сюжет? — вопрошал Ганнинг-Форбс.

— Нет у меня манжет, чтоб записывать сюжет,— ухмыльнулся Фроулиш. Ему, видимо, не терпелось сцепиться со стариком.

— Нет, как же без сюжета? Сюжет и несколько отрывков, чтобы видно было, как развиваются характеры.

— Не смешите. У меня на губе трещинка,— презрительно отозвался Фроулиш.

Он весь кипел протестом, это его взбадривало, делало энергичным, счастливым, даже веселым. Куда девались обычные неврастенические беспокойство и угрюмость! Он мог служить живым доказательством того, что в каждом человеке заложен от природы огромный резерв возможностей, которые обнаруживаются, когда ему приходится защищать то, во что он действительно верит. Чарльз, наблюдая из своего уголка за его чудесным превращением, со стыдом вспоминал, как воспринял он яростное выступление Бетти в защиту своего сожителя. Эд стоил этого, хотя кто бы мог догадаться.

— И все-таки, мистер Фроулиш,— прервал дальнейшее развитие ссоры ледяной голос Джун Вибер,— прочтите нам что-нибудь еще. Может быть,

какую-нибудь сцену, раскрывающую основную тему или тенденцию книги.

— Ну, это другое дело,— кротко отозвался Фроулиш, который сразу присмирел, не слыша больше слова «сюжет».— Я попросту расскажу центральную ситуацию. Между двумя этажами небоскреба застряли в кабине лифта шесть человек: музыкант, врач, уборщица, фокусник со своей помощницей и горбун с небольшим чемоданом.

— Надеюсь, он положил туда десяток сэндвичей,— хихикнул местный священник.— Бедняжки, они скоро проголодаются там взаперти.

— Детали каждый может представлять себе по-своему,— отрезал Фроулиш, даже не допуская мысли, что тот пытается шутить.— Так на чем, бишь, я? Да, шестеро в лифте. Часть книги состоит из ряда отступлений, каждое размером с обычный роман. Это предыстории всех шестерых. Не фактические биографии, а просто поток их сознания. Причем выражено это преимущественно нанизыванием образов.

— Господи помилуй! — громко сказал Ганнинг-Форбс.

— Время от времени,— продолжал Фроулиш,— они пытаются связаться с диспетчером, который помещается в подвальном этаже и мог бы исправить лифт. По крайней мере там есть дверь с надписью: «Главный электрик», но дверь заперта, и никто не видел, чтобы кто-нибудь входил туда или выходил оттуда. Самые вызовы должны быть написаны определенным образом и подсунуты под дверь.

Это, казалось, заинтересовало наконец Ганнинг-Форбса.

— Неплохо придумано,— заметил он.— Хороший пример того, как зазнались рабочие после войны.

К счастью, Фроулиш перестал обращать на него внимание.

— Так что им не удается вызвать его. Первое время они бодрятся. Фокусник достает бильярдные шары из уха музыканта, врач ставит диагнозы и определяет, какие кому нужны операции. Уборщица поет старые мюзик-холльные песни. Единственный, кто не принимает во всем этом участия,— это горбун. Он все время молчит.

— Не вижу смысла для его пребывания в лифте,— ввернул-таки Ганнинг-Форбс.

— Так проходит дня два, и постепенно они начинают сходить с ума от голода и жажды. Наконец, когда остальные уже на грани отчаяния, горбун предлагает им избавить их от мучений. Из своего чемоданчика он достает ручную гранату. Ее вполне достаточно, чтобы разнести всех в куски. Следует длительный спор, кому из них сдернуть кольцо и взорвать всех. Это ко всему прочему и теологическая проблема. Тот, кто на это решится, будет повинен и в самоубийстве и в убийстве.

Фроулиш сделал паузу. Слушатели взирали на него равнодушно. Бетти не спускала глаз с лица Джун Вибер.

— Наконец на помощь приходит фокусник. Он каким-то ему доступным способом заставляет соскочить кольцо, как будто бы и не прикасаясь к нему. И прежде чем обвинить его в самоубийстве, надо еще доказать, что он касался кольца, а это невозможно.

— Полно вам! — донесся из задних рядов голос священника.

Но Фроулиш уже так увлекся, что не обратил на него внимания.

— И вот все они мертвы. Взрыв подбросил кабину, и она упала вниз. Вытаскивают трупы и, конечно, для опознания просматривают все найденные при них документы. И при этом обнаруживается,— он сделал драматическую паузу,— что горбун и являлся главным электриком.

Снова последовало молчание.

— Ну что ж, продолжайте,— ободряюще заметил Ганнинг-Форбс.

— Все.— И при этом Фроулиш нахмурился.

Послышалось скрипение стульев.

— Так вот каков сюжет,— поразмыслив, произнес Ганнинг-Форбс.— Хотите выслушать мое мнение?

— Нет, но вы, очевидно, хотите высказать его.

— Я считаю, что в том, что вы рассказали, есть материал для занятной книги при условии, конечно, что вы уберете в начале словесную абракадабру и все как следует причешете. Но есть один прискорбный промах.

Он приостановился, давая Фроулишу возможность задать вопрос, но романист вертел сигарету и делал вид, что не слушает, так что Форбс продолжал:

— Не могло быть у этого человека гранаты в чемодане. Так не бывает. Это неправдоподобно.

— Может быть, он был агентом какой-нибудь фирмы ручных гранат.

— Невозможно! — Ганнинг-Форбс замотал головой. — Ведь он же монтер-электрик. Он не мог бы соединять обе эти профессии. Ни один хороший романист не допустил бы такой натяжки. Изучайте Теккерея — таков мой рецепт! И гарантирую вам устранение этих небольших дефектов. Вот тогда для вас откроется широкая дорога к успеху.

Высказавшись, он благодушно уселся. Фроулиш весь побагровел. Он стал раскачиваться взад и вперед в своем кресле, лихорадочно постукивая по столу короткими пальцами: у него это был обычный признак крайнего возбуждения. Чарльз, затаив дыхание, ждал взрыва. Но взрыв был предотвращен.

Хатчинс до сей поры милостиво отмалчивался, деля свое внимание между лицезрением пышнотелой сирены на председательском месте, которую он пожирал глазами новоявленного фавна, и высокомерным обозрением собравшихся. Но теперь он, очевидно, решил, что пришло его время вмешаться и потрясти аудиторию. Он вытащил трубку и набил ее. По светлым тонким волокнам табака Чарльз определил, что это самая легкая смесь, и это его не изумило, потому что Хатчинс, нуждаясь в трубке, как необходимом аксессуаре, в то же время должен был считаться со слабостью своего желудка. И теперь он не раскурил трубку, а просто сунул ее в рот, вынул, повертел в пальцах, наконец зажал между передними зубами и заговорил высоким, нарочито четким голосом.

— Мне кажется, Фроулиш, то, что вы пишете, может быть сформулировано простым смертным, каким являюсь я,— он задорно улыбнулся, как бы призывая не верить ему,— как возврат к аллегории. Признаете ли вы себя прямым последователем Кафки?

Он замолчал, ожидая ответа Фроулиша со снисходительно-спокойным видом человека, привыкшего не только разбираться в идеях и приводить их в систему, но и способного запастись терпением и выслушать тех, кто не может выпутаться из обычной неразберихи. Так сказать, молодой ученый, снисходящий до посещения богемных трущоб.

— Нет,— отрезал Фроулиш.— Мои учителя — это Данте, Спиноза, Рембо, Бёме и Григ.

Хатчинс возбужденно зажевал мундштук своей трубки. Лицо его несколько омрачилось: он не был уверен, нет ли тут розыгрыша, и для него, вступившего в турнир перед очами своей дамы, важно было не ударить лицом в грязь.

— Григ — это очень интересно,— сказал он, тыча трубкой в сторону Фроулиша.— Что побудило вас включить музыканта в число названных вами писателей? Вы можете счесть вопрос маловажным («Вовсе не важным»,— ввернул Ганнинг-Форбс) ...но для всех присутствующих интересно, как протекает творческий процесс у такого писателя, как вы. Наше ординарное сознание,— тут он снова улыбнулся, как бы указывая, что он вовсе не считает себя причисленным к этому разряду,— подчинено обыч-

ным законам, плывет, я бы сказал, по обычным каналам. Но люди, подобные вам, словно открывают новые... гм...— ему не хотелось сказать «пути», это звучало слишком банально, и он закончил — ...короткие замыкания.

«Черт, не то! Короткое замыкание — это не то».

Фроулиш говорил потом Чарльзу, что он собирался ответить: «Я имел в виду, разумеется, Алоизия Грига, бывшего в семнадцатом веке викарием Гельсингфорсским, автора «Tractatus Virorum et Angelorum» [1], и, в частности, апокрифическую третью книгу этой работы», но на самом деле он сухо произнес:

— Конечно, я не ожидал, что по этому пункту я буду всеми понят, хотя уверен, что в конце концов все меня поймут. Я разумею, конечно, цветовые тона Грига, особенно же то, как он использует духовые инструменты. Я рассматриваю гласные «и» и «ю» как духовые словесного оркестра, и вы, без сомнения, отметите, что они преобладают в том, что я назвал бы медленными темпами моей книги.

Хатчинс мобилизовал все свои слабеющие ресурсы. Джун Вибер смотрела на него взглядом, который не обещал ничего хорошего.

— Ну, признаюсь, что этого я не заметил,— сказал он с наигранной веселостью (так говорят обычно преподаватели, когда чего-нибудь не знают, выставляя дураком всякого, кто осмелился бы утверждать, что знает больше их). Вы, авторы, всегда считаете, что мы, читатели, должны заметить в ваших книгах больше, чем это нам доступно.— Он оглядел присутствующих, ожидая найти поддержку, но все смотрели на него рыбьими глазами: дискуссия слишком затянулась.— Скажем, например, тот отрывок, который вы нам только что прочитали, что это — тоже медленный темп?

— Нет,— спокойно ответил Фроулиш.— Это каденция.

Встретив растерянный взгляд Хатчинса, он торжествующе поглядел на него, достал расческу и провел ею по волосам. Хлопья перхоти замелькали в луче электрического света.

Тут встала Джун Вибер. Она явно хотела закончить прения, прежде чем они нанесут непоправимый ущерб Стотуэллскому литературному обществу. Помимо всего, ей не терпелось поскорее остаться наедине с Джорджем Хатчинсом и сообщить ему некоторые свои наблюдения по поводу того, что он выставляет себя на всеобщее посмеяние. Кавалеры Джун всегда должны быть на высоте.

— Сейчас подадут кофе. Мисс Уотерспун, не будете ли вы так любезны распорядиться. Сделайте одолжение.

Обычная роль мисс Уотерспун сводилась к тому, что она плелась вниз, в школьную кухню, варила там кофе и приносила его наверх.

— А тем временем, я думаю, нам надо принести огромную благодарность мистеру Фроулишу за т а к о й восхитительный вечер и уверить его, что все мы с нетерпением будем ждать опубликования его книги.

— Ну, в таком случае вы заглядываете далеко вперед,— резко буркнул Фроулиш.— Это только черновой набросок. Работа едва ли будет закончена и в пятнадцать лет. Я не пеку романов. Не проституирую. Я не Троллоп [2].

---

[1] «Трактат о людях и ангелах» *(лат.)*.

[2] Антони Троллоп (Antony Trollope), английский писатель XIX века, любимец мещанского читателя, был известен своей плодовитостью. Реакция Чарльза и Бетти вызвана тем, что фамилия писателя созвучна с английским словом «trollop» — проститутка.

Он произнес это имя с таким подчеркнутым презрением и так поглядел на Джун Вибер, что Чарльз понял: это рассчитанное оскорбление. И он был не одинок в своей догадке. Пораженный каким-то неожиданным низким ржанием, он оглянулся. Это смеялась Бетти.

4

Пришла зима, и с ней замедлилось течение жизни. Каждое утро, выезжая со своей тележкой, Чарльз чувствовал себя твердо, уверенно, независимо. Это в значительной степени объяснялось тем, что Эрн внес в их общее дело методичность и порядок. Все было обдумано. Часть времени они работали порознь, но для выполнения крупных заказов — от магазинов, гостиниц, высоких зданий, где сложнее было с лестницами,— они объединялись. И в конце каждого дня, все равно — работали они вместе или порознь,— оба встречались в закусочной, чтобы разделить дневную выручку, и при этом обсуждали, соответствует ли она их расчетам и ожиданиям.

— А стоит ли разыскивать друг друга каждый вечер? — попробовал было запротестовать Чарльз, отмерив как-то две мили от далеко отстоявшего места работы.

Но Эрн был непоколебим.

— А то как же. Это основной принцип ведения такого дела, как наше. Быстрый оборот, быстрая дележка. Хотя бы касалось это всего нескольких шиллингов.

— Но мы, кажется, можем доверять друг другу.

— А с какой стати? — возразил Эрн даже с легким раздражением.— С чего это вы вздумали доверять мне? Ведь я для вас все равно как первый встречный.

Возразить на это было трудно. Чарльз не только ничего не знал о своем компаньоне, но не становился ближе к нему, хотя и протекали месяцы. Эрн не был молчалив, он охотно поддерживал разговор, высказывая свое мнение о том, с чем им приходилось сталкиваться, обсуждая всякие новые способы ведения их дела (так, по его примеру, теперь думал о своем занятии и Чарльз), и, читая газетные сообщения во время их встреч за кружкой чаю с сэндвичами в закусочной Гарри, любил комментировать их.

— «Прядильщики снижают свою выработку»,— читал он и замечал:— Всю жизнь только и слышу об этом.— Или: — «Лорд оставил поместье актрисе» — «своему дорогому другу!» Небось ей пришлось изрядно поработать, чтобы ублажить своего дорогого друга. А вот это здорово! «Парковые лебеди на жаркое. Шеф ресторана покрывает браконьеров». Меню это не каждый прочтет — небось по-французски написано.

И так он перескакивал с одного на другое. Но о себе не говорил никогда. Это устраивало Чарльза. Он и против всякого сотрудничества возражал главным образом потому, что не надеялся найти сотоварищей, свободных от простодушного, но тягостного любопытства провинциальных рабочих. Он мысленно представлял, как из него будут выкачивать признания о его отмершем прошлом, и страшился оживить его, как боится расспросов разведчик в чужом стане. Весь остаток своей жизни ему предстояло пройти без паспорта, и нельзя было останавливаться, чтобы не допускать вопросов.

А Эрн в этом отношении был находкой. За все месяцы дружной работы он ни разу не спросил, что привело Чарльза к решению стать мойщиком окон. Но и сам он не говорил о том, почему остался без работы и почему в тот вечер в закусочной Гарри принял свое решение. Он, казалось, считал

вполне естественным, что оба они выбрали эту профессию и работают вместе. И со времени инцидента с лысым Чарльз ничем не хотел осложнять то, что так великолепно уладилось. С той поры все шло спокойно. Тщательными расспросами им удалось установить, что лысый и сам не занимался мойкой окон и непохоже было, что он действовал по чьему-либо наущению. Это был хорошо известный в городе бродяга — он давно слонялся без работы и не реже раза в год сидел в тюрьме. Его нападение на Чарльза вызвано было, вероятно, приступом злобной зависти или же было попыткой неуклюжего вымогательства. Он не угрожал непосредственной опасностью уже хотя бы потому, что целых четыре месяца его можно было видеть с грязной повязкой на правой руке на амбулаторном приеме в местной больнице.

Внутренне признавая Эрна неразрешенной загадкой, Чарльз высоко ценил то, что они никогда ни о чем друг друга не спрашивали. И его успокаивало, что если Эрн когда-нибудь начнет у него допытываться, то и он может задать ему не менее тягостные вопросы. Почему он, сноровистый, умелый и еще не старый мастеровой, застрял в такой дыре, как Стотуэлл, зарабатывая себе на скудное существование мытьем окон? И почему каждый день после работы он отправлялся прямиком к себе, в довольно грязную комнатушку, куда (после первого посещения) он больше ни разу не приглашал Чарльза и откуда появлялся только ко времени начала работы? Неужели только из любви к своей профессии поденщика-робота?

Пришло и ушло рождество. Дни прибывали микроскопически, становилось холодней и мокрей. А в остальном ничего не изменилось. Чарльз начал удивляться: что же, собственно, происходит с ним? Жизнь его входила в привычное русло.

— Что вам необходимо, так это встряска,— как-то вечером сказал ему Фроулиш, откинувшись в кресле и впервые за многие недели поглядев на него внимательно.— Ваша жизнь слишком ограниченна, и в этом ваша беда.

Сам Фроулиш со времени переселения на свой чердак покидал его не более чем на несколько часов, ни к кому не ходил, никого не принимал у себя. Но он был посвященный. Он не нуждался ни в какой встряске.

— Слишком ограниченна,— повторил он, запуская пятерню в свои спутанные космы.

Чарльз призадумался. Если уж этот эгоцентричный маньяк заметил в нем какое-то изменение и даже снизошел до диагноза и советов — значит дело действительно серьезно. Чарльз решил чем-нибудь разнообразить свою жизнь. Тоскливые зимние месяцы надо провести повеселее.

И вот на другой день сразу после работы он принялся приводить тощие ресурсы своего скудного гардероба в какое-то соответствие с требованиями элементарного приличия. Темный костюм, в котором он вступил в свою новую жизнь, к счастью, еще не был заношен: он скоро перестал надевать его на работу. Были в запасе еще почти свежая рубашка и галстук. Ботинки, правда, староваты и скрипучи, но они еще сойдут, да и смены у него не было, кроме высоких рабочих сапог, которые служили ему каждый день.

Надев еще раз форму класса, от которого он отрекся, Чарльз критически осмотрел себя в зеркале Бетти. Если не считать того, что он раздался в плечах, что придавало ему характерную осанку рабочих, с виду он был все тот же. Стрижка в дешевых парикмахерских наградила его уродливым, торчащим во все стороны бобриком, но это было единственным признаком его нового состояния, да и то не слишком приметным.

Снарядившись для рейда на вражескую территорию, он вторгся через вертящиеся двери в городской «Гранд-отель» как раз в обеденное время, с намерением провести несколько часов так, как если бы у него был годовой доход в тысячу фунтов. Хотя ему случалось мыть здесь окна, никто не узнал его, да он этого и не боялся — во всяком случае, не выведут же его из ресторана. Устроившись у электрического камина в Дубовой гостиной, он потягивал из стакана крепкий херес и раскупорил пачку дорогих сигарет. Ничего не скажешь — приятно!

Дверь Дубовой гостиной мягко подалась на слабой пружине, и появился холеный, плотный мужчина лет сорока пяти — пятидесяти. Он был упитан, но еще не обрюзг. Темный, хорошего покроя костюм, изысканный галстук, роговые очки — все обличало в нем преуспевающего дельца. Несколькими годами раньше он был, видимо, обладателем роскошной белокурой шевелюры и сохранил еще кое-какие остатки ее. Он придержал дверь небольшой мягкой рукой.

За ним вошла девушка. Маленького роста, смуглая, на редкость изящная, с тонкой фигуркой и овальным лицом. Платье на ней было дорогое, но простое того рода простотой, которая граничит с экстравагантностью. Огромные черные глаза девушки улыбались ее холеному кавалеру. Чарльз почувствовал, что он никогда не забудет этой улыбки.

Она заняла место по другую сторону камина, а холеный пошел в буфет за вином. Чарльз наконец спохватился, что надо отвести глаза. Продолжать пялиться на нее было бы откровенной наглостью. Он сделал усилие, чтобы перевести взгляд, но мышцы лица не слушались его. Он словно одеревенел, и глаза продолжали упорно смотреть на девушку.

Она, должно быть, почувствовала его взгляд, потому что медленно повернула свою темноволосую головку, мельком холодно осмотрела его и не спеша, но весьма решительно отвернулась. Чарльзу стало плохо. Он презирал себя за сантименты, но это было выше его сил. Он опустил глаза в стакан, в котором оставалось еще с половину того доброго хереса, который за минуту до того доставлял ему такое удовольствие. Он быстро допил вино. Вкусом оно напомнило ему мочу. Его дорогая сигарета еще дымилась, зажатая пальцами другой руки. Он зло швырнул сигарету в камин.

Холеный принес два бокала и поставил их на столик. Не в силах больше сдерживаться, Чарльз вскочил и направился к двери. Он чувствовал, что ему необходимо сейчас же покинуть ресторан, чтобы вдохнуть холодный ночной воздух и ощутить под ногой твердый камень мостовой. Но тот демон упрямства, который приковывал его взгляд к этому овальному лицу, заставил его свернуть в общий зал. Пока он находился в отеле, была какая-то возможность увидеть ее еще раз.

Он оправдывал это гордостью. Он пришел сюда пообедать, и он пообедает. Но ему хватило здравого смысла не убеждать себя в том, что все это ему очень приятно. Гордость его старалась затушевать еще более невыносимую правду, она нашептывала ему, что это надо рассматривать лишь как испытание и ради сохранения собственного престижа. Машинально он заказывал какие-то блюда по меню, официант принес ему карту вин, он заставил себя просмотреть ее и заказать крепкое бордо — традиционный ритуал, за который он цеплялся, стараясь сберечь остатки самоуважения. И все время он чувствовал, что отныне какой-то смысл будет иметь для него лишь то, что связано с той девушкой из Дубовой гостиной. Он с усмешкой вспоминал мальчишеское презрение, которое он изливал на всякие иррациональные и романтические увлечения: жажду смерти, мир грез, любовь с первого взгляда и прочее,— тогда, как незрелый юнец, он презирал романтику именно за ее «незрелость».

И сколько таких заблуждений еще предстоит ему искупить в будущем? Неужели так бывает у всех и прошлые ошибки непременно обрушиваются и всей своей тяжестью подминают их? Он вопрошающе поднял глаза кверху, словно ответ на его вопрос был запечатлен на стене, но встретил лишь безразличный взгляд официанта, который принес ему порцию мороженого со сливами, хотя заказывал он сыр и печенье.

Мороженое отдавало мылом. Сливы были зеленые. Чарльз жестом отчаяния отодвинул прибор, потому что, будь все даже первосортного качества, он все равно неспособен был бы проглотить ни куска. Мышцы его гортани напрягались и напрягались, так что он теперь не отпил бы даже глотка воды. Рот его пересох. Сердце колотилось. Достав еще одну из своих дорогих сигарет, он закурил ее и глубоко затянулся. Когда никотин притупил нервную судорогу, ему стало легче, он выдохнул дым и наблюдал, как он веером разостлался перед его лицом. Сквозь эту завесу он увидел, как легко приоткрылась дверь. Появился холеный, отражая затененный абажурами свет в благодушных отблесках своих очков. Он опять придержал рукой дверь. Опять появилась она. Опять поглядела на своего кавалера большими темными глазами и опять улыбнулась. Но на этот раз не молча.

— Спасибо, дядя,— ясно расслышал он.

Когда она проходила мимо его стола, Чарльз заметил, что на пальцах у нее не было кольца.

Он не помнил, как заплатил по счету и вышел, но, как бы то ни было, к ночи он очутился у себя на чердаке. Его сожители, казалось, не заметили в нем ничего необычного. Фроулиш спросил, не лучше ли он себя чувствует, нарушив привычное однообразие.

— «Священник отрицает свою вину»,— читал Эрн в измятой газете.— «Певчие подтверждают алиби». На то они и певчие, чтобы подпевать.— Он помолчал, потом поглядел на Чарльза.— Что это вы последнее время не в себе, Чарли? Какая-нибудь забота?

— Да нет, знаете, как говорится в рекламах: затор где-то в двадцати восьми футах пищеварительного тракта,— встрепенулся Чарльз, вяло пытаясь отшутиться.— Вот собираюсь купить на гинею пилюль от запора.

Он видел, что Эрн, хотя и не пытается продолжать расспросы, не верит ему, и на мгновение пожалел, что отверг призыв к откровенности со стороны старшего по опыту, в голосе и взгляде которого ему почудились необычная мягкость и забота. Но сожаление тотчас же рассеялось — ничто не должно поколебать священного правила, запрещавшего разговор на личные темы. Да и в самом деле, в чем мог он признаться, не выставляя себя на смех? «Десять дней назад я увидел в «Гранд-отеле» девушку, которая обедала там со своим дядей, и не могу забыть о ней». С не меньшим успехом он мог бы в то утро объяснять хозяйке меблированных комнат миссис Смайт, почему именно он не может достать работы.

Нельзя сказать, чтобы он сдался без боя. Наутро после роковой встречи он поспешил на морозный воздух, решив окунуться с головой в ту реальность, которая уже уберегла его от стольких безрассудств. К завтраку он, к изумлению своему, отметил, что за время работы он не мог и на пять минут вытеснить из головы образ темноволосой девушки, но приписал это временному расстройству чувств. Однако и вечером было не легче. И на следующее утро, и следующий вечер, и каждое утро, и каждый вечер было все то же, пока он в отчаянии не признал, что беззаботная жизнь его отравлена. Все его неприхотливые удовольствия не приносили больше радости. Идя на работу, или покуривая вечерком

у себя на чердаке, или возвращаясь нетвердой стопой с традиционной субботней выпивки с Фроулишем, он не мог заглушить внутреннего голоса, назойливо твердившего: «Да, но все это ни на шаг не приближает тебя к н е й». Остальное же не имело теперь ровно никакого значения.

А между тем как беспочвенны были всякие надежды хоть сколько-нибудь приблизиться к ней! Он даже не знал, кто она и где живет. И что толку узнавать? Кто бы она ни была, она вращалась в недосягаемом для него кругу, где непременным условием доступа были деньги — деньги, дорогое платье, общественное положение. У людей, которых он презирал, у Роберта Тарклза, у Хатчинса, было куда больше шансов проникнуть туда. Всякая пресмыкающаяся гадина с туго набитыми карманами обставила бы его в этой скачке. Все чаще он стал думать о деньгах. Яд делал свое дело.

Но Чарльз все же не сдавался, и бывали минуты, когда он чувствовал мимолетные признаки былой бодрости и душевного здоровья. Тогда он с головой уходил в практические дела, не давая себе отдыха работал и все время вносил всякие усовершенствования в отопление и освещение чердака, так что в конце концов там стало почти уютно. Когда душный чад керосинки и мягкий свет искусно затененных абажурами ламп встречал его в штормовой зимний вечер и он мог растянуться и ни о чем не думать, в то время как Бетти чинила какую-то одежду, а Фроулиш дремал в своем углу или возился с рукописью,— Чарльз чувствовал себя почти в безопасности.

Почти, но не совсем, даже в эти лучшие минуты. А худшие были неописуемы. Иногда ощущение одиночества было так остро, что все в нем взывало не о помощи, не о свершении надежд, но просто о какой-нибудь иной боли. Как бы охотно он сменил свои душевные муки на любые физические страдания!

Наконец, как раз в тот день, когда Эрн задал свой вопрос, Чарльз капитулировал. Он снова надел свой лучший костюм и отправился в «Гранд-отель» справиться о ней.

Оказалось, что это легче легкого. Бармен Дубовой гостиной охотно принял приглашение Чарльза распить с ним рюмочку и в разговоре рассказал все, что требовалось.

Да, это мистер Родрик и его племянница. Они часто бывают здесь. Мистер Родрик — директор одной из здешних фабрик; после многих лет, проведенных в постоянных разъездах по делам фирмы, он совсем недавно поселился в Стотуэлле. Бывал он и в Америке и на континенте. Племянница — сирота, которую мистер Родрик, как и подобает богатому холостому дядюшке, воспитал, а теперь, когда образование ее закончено, взял к себе в дом. Чарльз покинул Дубовую гостиную опечаленный, но и странным образом воодушевленный. Безнадежность его позиции обозначилась еще явственнее: он никогда не получит доступа в социальную среду мистера Родрика и уж тем менее в его дом. Кроме того, бармен рассказал, что Родрики проводили много времени в Лондоне, Париже, Швейцарии и на Капри. Откуда же эта беспочвенная надежда? Отчасти потому, что сама безнадежность порождала в тайниках его сознания какой-то ритмический импульс, невнятно, но настойчиво твердивший: «И невозможное сбывалось! И невозможное сбывалось!»

Снег шел, подмерзал, таял и снова шел. Удручающая тьма в нем самом была под стать окружавшему мраку, точно так же как семена пьянящей радости предвещали еще скрытые силы новой весны. Пере-

пробовав разные болеутоляющие — вино, кино, чтение детективов,— Чарльз убедился, что единственным средством хоть сколько-нибудь облегчить сжигающую его лихорадку было раствориться в одиноком созерцании природы. Значит, все-таки было что-то в старом сентиментальном хламе! И еще раз он находил угрюмое удовлетворение в тех иронических уроках, которые преподавала ему жизнь. Невыносимые прозаизмы Вордсворта, жиденькая розовая водица Шелли и других содержали правду, которая была важна и помогала жить теперь, когда он очутился в беде, тогда как всякие передовые произведения, когда-то приводившие его в восторг, поблекли и изгладились из его памяти.

Он по дешевке купил заржавевший велосипед и все с большей охотой уезжал на нем за город, находя утешение в монотонном поскрипывании стершихся педалей и в безмятежно горьком молчании полей и лесов. Не разбирая направления и цели, он наугад вертел рулем; с наступлением темноты он зажигал фонарик и угрюмо катил дальше. Это было действенное лекарство, и он прибегал к нему, как только позволяла работа.

Как-то субботним вечером он оказался километрах в пятнадцати от дома, на глухом сельском проселке. Образ темноволосой головки и овального лица так настойчиво и жестоко преследовал его последние дни, что он готов был решиться на любое действие, даже самое отчаянное. И пока его велосипед, скрипя и дребезжа, катил мимо набрякших от влаги придорожных кустов, он прикидывал, что же ему делать. Обратиться к мистеру Родрику с просьбой дать работу, работать за пятерых, стать каким-нибудь управляющим, получить доступ в его социальный круг и на законном основании ухаживать за его племянницей? По мере того как плелась эта чепуха, его насупленные брови разглаживались в мягкой усмешке. Уж не говоря о том, что он по всему складу своему не способен был не только подняться до высот индустриального предприятия, но даже быть нанятым в одно из них, ему ясна была невозможность и на пределе отчаяния и горя подавить последние остатки гордости и признать, что он примиряется для себя с жизнью Тарклза. Кроме того, чтобы стать видной фигурой в предприятии, потребуется не меньше десяти лет, а тем временем девушка, конечно, будет просватана, и ему останется на выбор либо покинуть фирму, либо стать свидетелем ненавистного успеха домогательств другого. Его прямо-таки скорчило от отвращения при одной мысли об этом, велосипед его свернул на самую середину дороги, и сейчас же за его спиной раздался задиристый автомобильный гудок. Какой-нибудь проклятый плутократ! Какой-нибудь жирный боров с туго набитыми карманами! Что ему стоит добраться до Родриков и, как знать, произвести впечатление на девушку! Свободный от власти денег и социальных уз, он в гневе обернулся, чтобы как следует выбранить обгонявшего его автомобилиста и излить на него ненависть обладателя дряхлого велосипеда к владельцу исправной автомашины.

Он обернулся, но не выругался, а в крайнем изумлении глядел на проезжавших. Они его не замечали: мужчина не отрывал глаз от дороги и шевелил губами, видимо что-то говоря, а женщина, сидевшая с ним рядом, внимательно смотрела ему в лицо.

Женщина была Бетти. Мужчина — Роберт Тарклз.

Чарльз даже перестал вертеть педали. Велосипед остановился. Он слез и аккуратно прислонил его к стволу дерева. Ему надо было немного постоять, подумать. Он и сам прислонился к каким-то воротам. Две коровы подозрительно глядели на него.

Это был Беттин день, тот самый день недели, в который она посещала свою престарелую эксцентричную родственницу и получала от нее «пособие». Конечно, теперь выдумка эта казалась ему смехотворной, неправдоподобной. Почему же он принимал ее раньше за чистую монету? Ответ возник без промедления. Потому что она всегда возвращалась с деньгами. Ему и в голову не могло прийти, что, задумай она обманывать Фроулиша, это могло принять форму торговли собой, притом за наличные. Но ведь это же ясно! У Бетти бесхитростный, прямолинейный ум, или, говоря точнее, вся совокупность рефлексов и элементарных представлений, заменяющих ей разум, бесхитростна и прямолинейна. Им с Фроулишем надо жить, питаться, иметь кров и очаг. Случайно натолкнувшись на Роберта Тарклза, она решила, как и многие молодые женщины решали каждый день на протяжении всей истории человечества, что тут источник материального благополучия. А ему, со своей стороны, должно быть, наскучила каждодневная постельная диета в обществе кислоглазой сварливой супруги. Единственная разница между этой интрижкой и миллионами ей подобных была в простоватости и прямолинейности Бетти. Обычная девушка ее типа не отважилась бы на такую торговлю собой за наличные, хотя не задумалась бы принимать плату в едва прикрытой форме: содержание, угощение, платье, дорогие подарки. Без сомнения, Тарклз с готовностью предложил бы ей нечто подобное и, конечно, был в высшей степени шокирован, когда она настояла на прямой оплате наличными, сказав — а она, конечно, и это сказала,— что нуждается именно в таком вознаграждении, чтобы кормить нескладного чудака, который ей по-настоящему дорог. Она одержала победу, а плодами этого пользовалось все чердачное трио.

Мысль об этом была подобна молниеносному сокрушительному удару. Чарльзу никогда и в голову не приходило стыдиться Бетти или осуждать ее; добросердечная шлюха никогда и не претендовала на большее, и жизнь ее проходила на моральном уровне тысяч и тысяч женщин, которые обозвали бы ее непристойным словом. Что потрясло Чарльза, что и в этой зимней стуже вызвало на его лбу капли холодного пота,— это сознание, что его собственная попытка вырваться из сети не удалась. Он решительно отвернулся от мира Робертов Тарклзов, он торжественно объявил, что обойдется без их похвалы и поддержки, он оборвал все попытки сблизиться с девушкой, воспоминание о которой озаряло его существование, сделал это, чтобы не войти вместе с нею в мир Тарклза,— а теперь начал с того, что включил свое имя в платежную ведомость того же Тарклза. Конечно, без ведома обеих сторон, но включил. Он стал паразитом того самого мира, который так ненавидел.

Но, может быть, все это неправда? Чарльз вскочил на велосипед и сломя голову покатил по дороге. Он должен догнать их и все выяснить. Конечно, все это не так. Роберт просто подвозил ее к обиталищу старухи тетки. Может быть, и у него тоже в том селении живет старая тетка.

И все время Чарльз знал, что это правда. Он видел на лице Тарклза самодовольную гордость собственника. И сознание этого доводило его до исступления, потому что чем, как не исступлением, может быть попытка на велосипеде догнать автомашину.

Но, как многие безумные затеи, удалась и эта. Километра через полтора дорога влилась в широкую и по-своему живописную сельскую улицу, которая, как и все такие улицы, изобиловала маленькими гостиницами разной степени вульгарности. Некоторые из них сохраняли вывески века дилижансов и почтовых карет: «Лисица и гончие» или

«Рожок почтаря». Но самая большая из них носила еще более архаично звучавшее название — «Под старым дубом».

У дверей с вывеской «Под старым дубом» стояла машина Роберта. В ней никого не было.

Низко пригнувшись и глядя прямо перед собой, Чарльз пронесся мимо. Он не хотел быть узнанным, если бы кто-нибудь из них случайно выглянул. Он остановился чуть дальше и прислонил велосипед к стене следующей гостиницы. Вышел человек в зеленом фартуке и указал на табличку, запрещавшую стоянку велосипедов. Чарльз проехал подальше, но, как только человек ушел, он вернулся и поставил велосипед в том самом месте. Потом в густеющих сумерках он свернул в узкий проулок и очутился у задних дверей гостиницы «Под старым дубом».

Он вошел. Оказалось, что это боковой вход в бар. Бар еще не был открыт, и главная дверь была на запоре. В коридорчике, где он очутился, было пусто. Через оконце для подачи блюд видно было еще одно такое же оконце в другом конце бара, а за ним помещение для «чистой» публики. Чарльз постоял, прислушиваясь.

— Ну, так пошли телеграмму,— услышал он голос Роберта Тарклза.

Сердце у него заколотилось. А может быть, все-таки... Может быть, Бетти попала сюда по каким-нибудь уважительным причинам и теперь хочет дать о себе знать Фроулишу? Он замер и напряг слух. Но ответ обескуражил его.

— Хорошо, но все-таки это мне не нравится. Я не говорила ему, что могу остаться на ночь. А вам это взбрело в голову просто потому, что ваша жена...

— Ш-ш-ш!— глухо зашипел голос Роберта.

Прерванная фраза, очевидно, должна была кончаться: «отлучилась на воскресенье» или чем-нибудь в этом роде. Очень типично было для Бетти, что даже на людях она не могла хоть в какой-то мере разыгрывать из себя жену Тарклза. Но тут, впрочем, она проявляла свойственный ей здравый смысл, потому что никто и не принял бы ее за жену Тарклза.

В коридорчике появилась неряшливая девушка в комбинезоне.

— А эта дверь не для гостей,— ворчливо сказала она Чарльзу. Потом присмотрелась и добавила: — И что вам, собственно, нужно? — По его виду она еще не разобралась, то ли это клиент и можно ждать заказа на ужин или на комнату, то ли рабочий, вызванный для какой-то починки.

— Я принес кетгут,— холодно и четко сказал Чарльз.

— Что принесли?

— Кетгут. Ваш хозяин заказывал по телефону.— Он зло посмотрел ей прямо в глаза.

— Пойду спрошу мистера Роджерса,— неуверенно сказала она и скрылась.

Чарльз вышел через ту же дверь, что и вошел.

На обратном пути его вдруг осенило. Надо посоветоваться с Эрном. Эрн единственный человек, к которому он может обратиться. Немедленно к нему — и сказать, сказать прямо, что он, Чарльз, внезапно открыл нечто ужасное в том образе жизни, которым он так гордился, а именно, что все основано на позорном «заработке» женщины. После подслушанного им отрывка разговора больше не могло быть сомнений. Очевидно, у них был уговор встречаться каждую субботу, а на этот раз Тарклз, вырвавшись из-под надзора Эдит, куда-то уехавшей на уик-энд, настоял, чтобы и они на этот раз провели уик-энд вместе.

Вся надежда на Эрна. На остальных надо поставить крест. Тех, на чердаке, надо покинуть без шума и сейчас же, погрузить свое немудрое

хозяйство на тележку и смыться. Фроулиш, оставшись дома один, будет слишком поглощен своей рукописью и ничего не заметит, тем более, что с наступлением холодов они прекратили субботние посещения бара. Уйти будет легко. А как быть дальше? Об этом он не мог сейчас думать, попробовал было, но оказалось, что это невыносимо тяжело. А что пережил бы Фроулиш, если бы узнал? Может быть, ровно ничего: ведь морально он опустошен не меньше своей девки. Пожал бы плечами и заявил бы, что всегда знал, что Искусство вырастает на почве, которую никак не назовешь чистой и благоуханной. А может быть — что еще отвратительнее — он знал обо всем с самого начала и оба они просто из деликатности и желания не отпугнуть Чарльза разыгрывали всю эту комедию со старой родственницей и «пособием». Нет, невозможно! Это было бы слишком ужасно, да к тому же, как сохранить это в секрете от того, с кем соприкасаешься ежедневно? Задача была бы явно не по силам этому дергунчику, этому шуту Фроулишу.

Вдруг как-то сразу стемнело и похолодало. Фара отбрасывала на мокрую дорогу тусклый желтый кружочек. Дрожа от холода, Чарльз думал о теплой и светлой комнате, где теперь проводили время Роберт Тарклз с Бетти. Вот она — плата за грех! Он представлял себе мягкие ковры, искусственный камин, имитирующий тепло, и надежное паровое отопление, дающее тепло. Вдруг необъяснимым прыжком он перенесся в Дубовую гостиную «Гранд-отеля». Увидел, как холеный принес и поставил две тоненькие рюмки. Напиться? Надо не меньше двух шиллингов. Деньги. Всюду эта паутина. Нет, тенета — липкие, ловко расставленные. И ты либо паук, с удобством устроившийся посередке или злорадно укрывшийся в засаде, либо муха, жужжащая в цепкой паутине. Он и Фроулиш, конечно, мухи, и Фроулиш, видимо, не возражает против этого. Его же ненависть к пауку органична, неизбывна, даже когда крылья оторваны, даже когда его пожирают. Нет, классификация не подходит. А кто же Бетти: паук, муха? И кто, да, кто та девушка в Дубовой гостиной? Неужели у паука может быть такой облик? Неужели он может заставить муху забыть обо всем на свете, кроме него?

Он вспомнил, что когда-то прочитал о пауках. Иногда в паутину по ошибке попадает оса. Тогда пауку приходится проститься с паутиной. Осу не удержишь, оса — она опасная.

А ведь осы умеют за себя постоять.

У Фроулиша был очередной приступ хандры. Вернувшись, Чарльз застал его на коленях перед керосинкой. Фроулиш медленно, обдуманно, с горечью рвал листы рукописи на длинные полосы. Набрав с полсотни таких полос, он предавал их огню, одну за другой, дожидаясь, пока пламя не лизнет его короткие пальцы. Весь чердак затянуло густым, едким дымом.

— Опять вы за свое?— не удержавшись, резко сказал Чарльз, проходя в свой угол.— Сколько раз нужно говорить вам, что так вы устроите пожар?

— А сколько раз,— угрюмо огрызнулся романист,— сколько раз надо объяснять вам, что, зайдя в тупик, я должен вернуться и выяснить, что тормозит вдохновение. А когда я нахожу это препятствие, дым погребального костра — единственно возможный стимул, который может заставить меня перешагнуть через труп.

Пламя лизнуло его пальцы, и, выругавшись, он швырнул пылающую бумагу прямо на пол. Чарльз поспешил затоптать огонь. Он чувствовал себя почти виноватым: как можно было оставить сейчас этого полоумно-

го? Кто приготовит ему ужин, кто заставит лечь в постель, некому будет даже оградить его от возможных последствий его опасной игры с огнем. Завертывая в газету свой скудный гардероб, Чарльз почувствовал, что к горлу его подступил комок. Ведь что ни говори, кто, кроме Фроулиша, остался у него из старых друзей? И покинуть его надо сейчас же, грубо, тайком. С новым для него теплым чувством взглянул он на унылую фигуру, скорчившуюся посреди синего облака дыма.

— Ну, я пошел,— сказал Чарльз, презирая себя за обман, и стал спускаться по лестнице со свертком под мышкой.— Надо зайти к Эрну.

Фроулиш угрюмо кивнул. Хорошо еще, что он сейчас такой несносный. Будь он, как это бывало, подружелюбней, Чарльз, возможно, не выдержал бы и попытался как-то объясниться. Нет, ни за что! Лучше незаметно исчезнуть.

Пожитки на тележку, и вот, прицепив тележку к велосипеду, он катит прочь от места, которое было испоганено и оказалось всего-навсего помойной ямой для того же Тарклза. Ну и с этим покончено.

Почему он направился к Эрну? Разве можно надеяться, что Эрн в силах чем-нибудь существенно помочь ему? Конечно, нет. Но уверенность Чарльза была настолько поколеблена, что он больше не мог сейчас оставаться один. Как бы неразумно это ни было, он все еще надеялся, что Эрн, вложив в удар всю тяжесть своего манчестерского здравого смысла, разом опрокинет все трудности, как опрокинул он ударом своего коренастого тела навалившуюся тяжесть лысого.

На улицах было темно и тихо. Чарльз быстро катил, и колесо тележки, задев при крутом повороте за обочину, протестующе забуксовало. Подъезжая к глухой грязной улице, на которой жил Эрн, он чувствовал себя так, словно остался один на всем свете. Холодный ветер загнал всех и все в надежные убежища. Начинало подмораживать, и редко расставленные фонари казались островками желтого молчания в океане тьмы.

Не так было у дома Эрна. Тут Чарльз сразу же заметил признаки бурной активности. Отполированная до блеска черная машина стояла у входа, и рядом с нею на мостовой стоял человек в черной форме. Окна по фасаду были освещены, и дверь распахнута. Чарльз затормозил велосипед как раз в тот момент, когда в освещенном проеме подъезда появились три силуэта. Двое были в той же черной форме, и между ними резко выделялся обычный рабочий костюм Эрна. Эрн выделялся бы и без того, потому что шел он принужденной раскачивающейся походкой человека в наручниках.

Выпущенный из рук велосипед упал на мостовую. Чарльз ступил в полосу света и едва выговорил идиотский вопрос:

— В чем дело, Эрн?

Беззубое лицо компаньона повернулось к нему. Оба полисмена на секунду задержались, пока третий открывал дверцу машины.

— Пройди в дом, Чарли,— сказал Эрн.— Возьми там у хозяина что следует.

— Но не могу ли я... Тут какая-то...

Один из полисменов повернулся к нему с уныло-угрожающим видом.

— Ну, ну, нечего! — сказал он с той же смесью угрозы и скуки.— Разве не знаете, что нельзя разговаривать с арестованным?

— У нас свобода...— неуверенно начал Чарльз.

— Вот и лишитесь вашей свободы по этому делу,— буркнул полисмен, усаживая Эрна в машину.— Мы бы и вас задержали, да знаем, что вы к этому не причастны.

— К чему? — отчаянно выкрикнул Чарльз, но сверкающая лаком машина мягко тронулась с места, и в заднем окне ее мелькнула кепка Эрна.

Не в силах двинуться, Чарльз стоял перед распахнутой дверью. В нескольких шагах от него лежал на боку его велосипед. Нет Фроулиша и Бетти. Теперь нет и Эрна. И эти полицейские. Как ему жить? Как ему собирать осколки жизни, когда он даже не знает, как они выглядят?

Потом он вспомнил, что Эрн оставил ему хоть одно точное указание: «Пройди в дом. Возьми у хозяина что следует». Он повернулся к двери, но на пороге его встретил неимоверно толстый мужчина без пиджака.

— Так значит, это вы компаньон? — спросил толстяк.

Чарльз кивнул и вошел, не говоря ни слова. По замызганному коридору хозяин провел его в комнату, которую занимал Эрн. Он пропустил в нее Чарльза и плотно прикрыл дверь.

— Вот что,— сказал он с обычной одышкой очень толстых людей.— Я ничего, ровно ничего не знаю о его делах. Достаточно меня выспрашивала полиция, так что никаких вопросов. Баста! Я хочу одного — поскорей забыть обо всем этом деле. Понятно?

— Понятно,— пробормотал Чарльз.

— А чтобы забыть, остается только передать вам, что он оставил, и пожелать вам спокойной ночи.

Он строго поглядел на Чарльза.

— Самой что ни на есть спокойной ночи,— добавил он и вложил в руку Чарльза грошовый коричневый конверт.

В нем была бумажка в десять шиллингов и еще четыре шиллинга двумя серебряными флоринами. На клочке бумаги было написано почерком Эрна: «Сегодня мы не производили расчета, так что возьми мою долю. Мне сейчас долго не понадобится».

— Почему долго? — спросил он у хозяина, совсем не соображая в своем смятении, что записку он прочитал про себя и тот не понимает, в чем дело.

— Долго? Вы вот здесь долго не задерживайтесь,— просипел толстяк.— Прошу. И пожелаю самой...

— Да! Да! — сказал Чарльз.

Он прошел по коридору и отворил дверь. Потом обернулся к неопрятному толстяку, который провожал его враждебным взглядом.

— Во всяком случае, спасибо, что передали конверт,— сказал он.

— Говорю я вам, что хочу позабыть обо всем этом,— ответил хозяин.

Ему противно было слушать похвалу честности. Осторожность — вот единственная добродетель, которую он сейчас признавал.

Чарльз поднял с земли велосипед и, не подумав даже сесть в седло, рассеянно покатил его прочь.

Дежурный в общежитии Союза христианской молодежи принял Чарльза без всяких вопросов или замечаний, и обычный распорядок потек день за днем, как будто никогда и не прерывался. Все это было угнетающе нудно, но Чарльз решил, что не покинет Стотуэлла, пока не узнает, что случилось с Эрном. Только отчасти это объяснялось личной привязанностью. Чарльз недостаточно знал Эрна, чтобы по-настоящему привязаться к нему, хотя после случая с лысым он принимал его на веру; главное же было яростное желание как-то прояснить для себя обстановку. Из-под него вышибли все точки опоры, и он считал, что, прежде чем принимать какие-то новые решения, нужно уяснить, что же, собственно, произошло.

Оставалось единственное средство — следить, когда местная газета объявит о суде над Эрном. Стотуэлл был окружным центром, и суд должен был состояться на месте. Никто не мог ему сказать точно, когда это будет. Чарльз надеялся, что в «Стотуэллских новостях» появится судебный отчет.

Но все превзошло его ожидания. Дней через десять после его переселения в общежитие—десять дней, проведенных в судорожном выполнении повседневных обязанностей, но только не в кварталах, примыкавших к обиталищу Фроулиша и Бетти,— газета напечатала повестку завтрашних судебных разбирательств. Чарльз вытащил на свет божий свое лучшее платье и на следующее утро целый час простоял в очереди перед дверьми суда, лишь бы обеспечить себе место в зале заседаний.

К счастью, дело Эрна разбиралось одним из первых. Закончилось оно с невероятной быстротой. Не было ни защиты, ни судоговорения, вся процедура свелась к установлению фактов, подтверждению того, что Эрн признает себя виновным, и к вынесению приговора. Кроме быстроты судопроизводства, поражала его обыденность. Все носило характер деловой сделки. На одну чашу весов Эрн положил такое-то количество незаконных поступков, а на другую закон — соответствующую меру наказания, и этим как бы восстановили равновесие.

Чарльз никогда раньше не видел судей за работой, но то, как быстро и равнодушно проворачивали они одно дело за другим, не принимая к сердцу того, что для других было вопросом жизни, напомнило ему священников, с профессиональной сноровкой наспех бормочущих обедню. Преступление Эрна, казалось, никого не удивило, никого не возмутило. Из дела явствовало, что служил он в транспортной конторе «Экспорт экспресс», которая поставляла автомобильным фирмам шоферов для перегонки машин с заводов в порты. Самое существование таких контор было ново для Чарльза, да, видимо, и для судьи. В обязанности Эрна входило принимать легковую машину или грузовик на одном из больших автомобильных предприятий в центре страны и доставлять автомобиль в один из портов погрузки — чаще всего в Ливерпуль или Саутгэмптон. Из опроса обвиняемого (это было, по-видимому, единственное, что заинтересовало судью из всего дела) выяснилось, что профессия Эрна не только существовала, но что она была источником спекуляции. Спрос на машины был так велик, что кража их была выгодна и широко практиковалась. Гангстеры перехватывали в пути шоферов транспортной конторы и договаривались с ними. От них требовалось немногое — просто ослабление внимания: достаточно было завернуть в придорожное кафе и задержаться на две-три минуты во дворе в уборной. Возвратясь, они уже не находили машины на месте. Ее угоняли, вкатывали в поджидавший автофургон и тут же по пути перекрашивали в другой цвет, прикрепляли другие номера. А через день-другой шоферы получали свою долю. Уговор выполнялся безукоснительно — гангстерам выгодно было поддерживать хорошие отношения с шоферами.

Однако случались провалы. Эрн согласился за сотню фунтов оставить без присмотра в условленном месте дорогую многоцилиндровую машину. Но еще до получения денег его предупредили, что являться за ними опасно: его выслеживает полиция. В тот же вечер он скрылся, и в Стотуэлле стало одним жителем больше. Все это произошло месяца за четыре до их знакомства, так что утверждение Эрна, что он прожил в Стотуэлле «больше года» было просто предосторожностью. И Чарльзу не хотелось расценивать это как ложь — не все ли ему равно в конце концов, сколько времени прожил тут Эрн.

Равнодушно, небрежно прошло это дело. Первая судимость; с другой стороны, преднамеренная попытка подсудимого избежать наказания. Восемнадцать месяцев тюрьмы.

Ну что ж! Чарльз вдруг ощутил, что чувство его к Эрну испарилось, оставив в нем лишь еще одну пустоту. Он смотрел, как уводили коренастого беззубого человека из зала суда и из его жизни, и это его не волновало. Их содружество было в конце концов только удобным для обоих; взаимное прибежище для двух беглецов. Общность беды — вот что мгновенно вызвало у них интуитивное притяжение, и теперь, когда беда одного стала явной, связи распались сразу и легко. Чарльз встал и, протиснувшись по ряду стульев, вышел из зала.

За спиной его по каменным ступеням лестницы застучали чьи-то шаги, еще кто-то покинул зал по его примеру. Выйдя на улицу, Чарльз остановился, охваченный прежней нерешительностью и чувствуя человека рядом с собой.

Остановился и тот. Чарльз оглянулся и увидел шедшего за ним рослого, развязного вида молодого человека, одетого в дорогой дорожный костюм. На нем была шерстяная куртка со складками на спине, диагоналевые бриджи и краги. На руке ослепительные часы, кричащий галстук из дорогого материала. Он производил впечатление человека, зарабатывающего денег больше, чем благоразумно было показывать податному инспектору, и поэтому спешившего истратить их. Он в упор смотрел на Чарльза и, как только тот обернулся, сейчас же заговорил с ним.

— Занятное это последнее дельце, не правда ли? — сказал он.

Голос у него был высокий, говорил он быстро и с тем провинциальным выговором, который соответствовал его безвкусному костюму.

Что-то заставило Чарльза ответить:

— Очень. Особенно для меня. Я знаю этого человека. Вернее, знал его.

— Как? — воскликнул молодой человек.— Вы знаете Эрни Оллершоу?

Характерно, что он назвал его Эрни — уменьшительное, на которое Эрн никогда бы не откликнулся. (И все-таки хорошо было, что Эрн не скрывался от него под выдуманным именем; им он, должно быть, пользовался, имея дело с ворами, приберегая настоящее для друзей.)

— Так, значит, вы тоже?..— как бы вскользь спросил молодой человек.

— Что тоже?

— Да нет. Я не о том, за что его судили. Я о его занятии. Ведь он был шофером по транспортировке на экспорт.

Чарльз отрицательно мотнул головой. Молодой человек, по-видимому, ожидал, что он в таком случае расскажет, как же он познакомился с Эрном, но он промолчал. Нечего этому парню совать нос, куда не следует.

Высокий словно понял намек.

— Ну, я пойду. Завернул сюда в суд потому, что знал Эрна по работе и нашим ребятам интересно будет услышать о нем. Мы его любили.

Он кивнул и собрался уходить. Чарльз вдруг понял, что перед ним сейчас закрывается дверь. Еще мгновение — и она захлопнется и приоткрывшаяся только что возможность пропадет навсегда. Кто бы ни был этот человек, ясно, что он хорошо зарабатывает. А вдруг он поможет ему добраться до уровня чуть пониже самих Родриков? Такой франт небось никогда и не снизошел бы до разговора с Чарльзом, повстречай он его в рабочем костюме и с тележкой.

— Послушайте! — Чарльз едва узнал свой собственный сдавленный голос.

Развязный остановился и повернул голову.

— Меня... знаете... очень заинтересовало то, что вы сказали,— мямлил Чарльз.— О работе... знаете... Я, знаете, часто удивлялся, почему это Эрн... как бы это сказать...

— А чему же тут удивляться, старина? — бойкой скороговоркой перебил тот. Чарльз поежился от сознания, что вынужден иметь дело с типами, которые прибегают к такой форме обращения к собеседникам.— Но если его занятие вас интересует, ну что ж, давайте поговорим и дернем по маленькой.

— Ладно,— ответил Чарльз.— Во всяком случае, мы можем пойти и...— Он уже собирался сказать «и выпить», но вовремя вспомнил про «дернем по маленькой» и докончил так, чтобы завоевать доверие, показав, что и этот жаргон ему не в диковинку.

— А куда мы пойдем, старина? — спросил тот.

— Да вот сюда, старина, это совсем рядом,— в тон ему ответил Чарльз.

5

На повороте тяжелую машину Чарльза занесло, и она очутилась на противоположной стороне дороги в неуютной близости к канаве; колеса сползали с покатого профиля полотна. Ничего! Первый рейс подходит к концу, и он не отбился от колонны. Правда, это далось ему нелегко, было трудным экзаменом для нового Чарльза, хотя прежний Чарльз прилично справлялся с десятисильной калошей, в которой возил мать за покупками. Не так-то просто было оседлать свою первую трехтонку, вести ее, не меняя скоростей, упорно держаться вровень с другими машинами колонны, чтобы доказать, что он шофер не хуже их. Поглядел бы на него теперь Скродд!

Скоро и Ливерпуль. По обеим сторонам дороги затеснились дома, и вдруг передние пять машин стали. Переход, а на нем цепочка школьников. Притормозив, Чарльз дожидался, выжимая сцепление, что было нелегко: педаль была новая и тугая. За эту минутную остановку он старался вспомнить головокружительный поток событий. Что это была за неделя! Как мало эти события зависели от его воли и понимания! Он был словно Алиса в Стране чудес. С того момента, как, сидя за столиком (по иронии судьбы все в той же Дубовой гостиной), развязный представился под именем Тэдди Бандера и объявил, что собирается «пристроить его», потому что «ты, старина, подходящий парень», Чарльз чувствовал себя искрой, которую подхватил из костра ток горячего воздуха. Поначалу Чарльз считал, что и сам Бандер гангстер и его дружки, с которыми он познакомил его в транспортной конторе, тоже принадлежат к воровской шайке. Все они, видимо, заинтересованы были в том, чтобы подбирать себе в товарищи «подходящих» парней; для них таким парнем был Эрн; но теперь Эрн на целых восемнадцать месяцев оказался «подходящим» для тюрьмы. Но, после того как Бандер добился своего, проведя Чарльза прямо к заведующему, отрекомендовав его как идеального кандидата на только что открывшуюся вакансию и тут же на месте придумав ему шоферский стаж,— его предоставили самому себе. Никто ни разу не попытался вовлечь его в сомнительные сделки. Бандер и другие, хотя и не сторонились, все же не принимали его в свою компанию. Этот свой первый рейс он совершал не самостоятельно, а с меньшей ответственностью, в составе колонны.

Голова колонны двинулась. Чарльз резко перевел рычаг на третью скорость, и мотор рванул с места. Мысленно он пожалел тех, кто рассчиты-

вал получить свои автомобили свеженькими,— пусть подождут, пока опыт не выработает у него чувство машины.

А в доках его ожидали новые мучения. И хорошо еще, что он не знал о них заранее. Грузовики надо было поставить к самой кромке мола, голова к голове, чтобы облегчить этим погрузку на корабль. Зажмурившись, он рванул машину на последних десяти шагах, уцепившись за баранку и изо всех сил выжимая тормоз.

— Хватит! Нечего тебе прыть показывать,— услышал он грубый окрик, открыл глаза и увидел, что стоит вровень с соседними машинами и всего на вершок от края.

Может быть, это счастливое начало было предзнаменованием удачи на новом поприще. Ведь при его обычном невезении он раньше непременно загнал бы машину за кромку и утонул.

Прежде чем отправиться в обратный путь, все зашли выпить пива в портовый кабачок. Чарльз сидел один и чувствовал себя неважно. Но через несколько минут к нему подсел солидный, средних лет шофер в серой кепке; его звали Саймонс. Он дружески хлопнул Чарльза по плечу, словно вызывая на разговор.

— Ну, как?

— Да, знаете, ничего. Как будто не так уж трудно,— ответил Чарльз.

— На этот раз, пожалуй,— не очень охотно согласился тот, как бы намекая, что бывает и много хуже.

Саймонс не был пессимистом, но, как всякий бывалый рабочий, с годами приобрел привычку не бояться ответственности и всегда быть готовым принять на свои плечи тяжелый груз. Потом он с любопытством посмотрел на Чарльза.

— Приятель Бандера?

Вот оно, что ему требовалось узнать: с нами ты или с ними? Компания Бандера и по виду и по замашкам резко выделялась из остального персонала транспортной конторы. Чарльз уже готов был ответить, что он только шапочно знаком с Бандером и его компанией, но тут его осенило, что он может кое-что узнать, если помедлит с ответом.

— Да никак я не разберу его,— медленно протянул он в расчете на то, что это будет понято как намек на попытку Бандера втянуть его в свою компанию и на его, Чарльза, колебания.

Саймонс, видимо, попался на эту удочку.

— Ну,— сказал он осмотрительно,— если и не сразу вы его раскусите, прежде чем...— Не окончив фразы, он осушил стакан и стукнул им по столу.— Раскусить его нетрудно,— добавил он,— если вы раньше встречали таких.

Чарльз промолчал. Его уловка оправдала себя. Так как Саймонс, видимо, дожидался его реплики, Чарльз избрал простейший выход и, указывая на пустой стакан, сказал:

— Может быть, выпьем?

— Идет, угощаю,— сказал Саймонс, еще чуточку приоткрывая свои карты. Это значило, что он готов идти на затраты, лишь бы иметь возможность предостеречь Чарльза хоть намеком.

Вернувшись с пивом, он сказал:

— Вот что. Бандер и его парни могут работать неплохо. И они могли бы стать хорошими шоферами, если бы ценили работу и занимались бы только ею. Но они не ценят. Работа, видите ли, не по ним.

Он раскурил трубку. Пламя зажигалки высоко полыхнуло и погасло.

— Так что ж они делают?..— продолжал Саймонс.

Чарльз не знал, что они делают. Ответ мог все испортить. Он уткнулся в стакан.

Но тут поднялись другие шоферы. Один из них окликнул Саймонса.

— Идем, Джек. Нам давно пора быть на станции.

Саймонс вытащил часы и поглядел на них.

— И верно,— сказал он.

Чарльз вышел с ним на улицу и шел рядом, надеясь, что тот доскажет самое важное. Но другие болтали, и Саймонс принял участие в общем разговоре. Казалось, он позабыл, что их прервали.

Всю дорогу в поезде они играли в карты, и Чарльзу не удалось снова заговорить с Саймонсом.

Прошло несколько недель. Жизнь, в общем, текла без всяких событий. Энергия Чарльза почти целиком уходила на овладение новой профессией, и на личные заботы ее оставалось не больше, чем в первые недели на поприще мытья окон. Он снял комнату неподалеку от транспортной конторы. И Бандер и Саймонс оба давали ему адреса и рекомендации, но он считал, что должен придерживаться строгого нейтралитета, пока не выяснит все как следует,— поэтому он сам нашел себе жилье. Оно было убого, но он только ночевал там, а кровать была приличная.

Он надеялся, что отъезд из Стотуэлла и полная смена обстановки и образа жизни избавят от наваждения, охватившего его в тот вечер в Дубовой гостиной, но надежда эта была прослоена отчаянием, а в тайниках души подавлена стремлением устоять в борьбе. Разве он не устроился уже на работе с хорошей оплатой? Не бог весть какое богатство, но во всяком случае гораздо больше, чем он зарабатывал прежде, когда, как случайный гуляка, забрел в дорогой ресторан! И разве не побудило его к этому лишь наполовину бессознательное, но все то же стремление показать себя в лучшем свете перед Родриками.

Он старался отогнать эти мысли, но они прорывались в любой мелочи. Когда их маршрут пролегал к южным портам, он делал крюк километров в тридцать, чтобы попасть в Стотуэлл, посещал при малейшей возможности «Гранд-отель» и на минутку заглядывал в Дубовую гостиную. Бесполезно было убеждать себя, как он всякий раз убеждал, что он проедет город без остановки; вдвойне бесполезно было принимать, как он всякий раз принимал, безразличную дурацкую позу: да-могу-я-наконец-позволить-себе-выпить! И в высшей степени бесполезно было твердить себе, как глупо воображать, что если он встретил ее однажды в Дубовой гостиной, то стоит ему наведаться туда, и он снова встретит ее. Может, они и заглядывают-то в эту гостиную раз в три года. Правда, бармен говорил тогда, что Родрики его постоянные клиенты, но, вероятно, бармен лгал, усердно стараясь отплатить приятной новостью за его угощение. Уныло соглашаясь со всеми этими доводами, он, тем не менее, при малейшей возможности оставлял машину под чьим-либо присмотром и брел по широкой лестнице отеля навстречу очередному разочарованию. Ее опять не было, да и окажись она там, он все равно не знал бы, что ему делать.

Так прошел февраль. Чарльз перегонял несчетное число машин, выжимал педали, крутил баранку, вглядывался сквозь ветровое стекло, сносил пару рукавиц. Сегодня, закутанный в мех, с защитными очками на носу, он торчал в кабине над гигантским многотонным шасси, завтра небрежно стряхивал в окно пепел сигареты, скользя в дорогом лимузине. Обычно автомагистрали быстро очищались от снега, погода, в общем, благоприятствовала его ученичеству. Единственное происшествие — когда его грузовик вдруг забуксовал и, трижды обернувшись, пошел назад прямо под откос — только укрепило его уверенность в себе тем, что он быстро справился с аварией и со своими нервами. Во всяком случае, он, слава богу, не сдрейфил, обстоятельства заставили его овладеть еще одной профес-

сией, и он, даже в саднящей пустоте, должен был признать целительное свойство сознания собственного мастерства.

Как-то непривычно было в семь часов вечера различать сквозь вагонное окно краски и дали. Наступил уже март, но длинные вечера все еще были в диковинку. Чарльз с нетерпением дожидался, когда тронется поезд. После долгого и скучного пути из Саутгэмптона они уже подъезжали к Стотуэллу, но, должно быть, семафор был закрыт, и они остановились, не доезжая станции. Винить можно было только самого себя, он мог сесть в скорый поезд прямого сообщения, но обнаружил, что если выберет почтовый, то возможна пересадка в Стотуэлле с остановкой, достаточно продолжительной для того, чтобы посетить Дубовую гостиную. Безжалостное, унизительное наваждение! Поезд все стоял и стоял. Не в силах подавить нетерпеливое беспокойство, Чарльз ухватился за оконный ремень, с треском опустил раму и высунулся по плечи. Он раздраженно вглядывался в сигналы и готов был распахнуть дверь и выскочить на пути, хотя это означало бы прогулку в три-четыре километра до центра города. Вдруг его окликнул раскатистый хрипловатый голос из глубины купе.

— Побойтесь бога, приятель! Я и так продрог до мозга костей!

Чарльз втянул голову обратно и огляделся. Всецело поглощенный своими гложущими переживаниями, он до этого не обращал внимания на своего единственного попутчика по купе, хотя того трудно было не заметить. Высоченный, плечистый, он уже успел отрастить солидное брюшко человека средних лет. Широкое лицо его широко ухмылялось. Задорный, вызывающий костюм он носил с не менее вызывающим задором.

— Извините,— сказал Чарльз, поднимая раму.— Вы правы, довольно прохладно.

— По меньшей мере, приятель! — последовал ответ.— Зажжем костры, что ли? — Он достал большой серебряный портсигар.

При тусклом вечернем свете Чарльзу сначала показалось, что в нем мелкие дешевые сигары, но когда он рассмотрел их поближе, то понял, что это настоящая «черута» [1]. Ну, конечно! Какой еще сорт так подошел бы к развязному благодушию толстяка?

— Конечно, не сравнить с жаровней ночного сторожа, но парочку сосулек растопить может,— извиняющимся тоном сказал тот, доставая спички.

Какой странный у него говор! Чем-то похож на американский, а вместе — на австралийский, и тут же — кокни пополам с «бирмингэмом». Некоторые слова толстяк произносил с легким шотландским акцентом. Должно быть, след полувековых скитаний по белу свету. Актер, быть может? Поезд тронулся, через пять минут Стотуэлл, и они расстанутся и никогда не встретятся больше. Почему бы не спросить его прямо? Уже несколько месяцев, как он вырвался из смирительной рубашки своего воспитания,— вот случай воспользоваться преимуществами этого, хотя бы в малом.

— Я понимаю, что неприлично, раскуривая вашу сигару, тут же еще выспрашивать у вас...— начал Чарльз.

Лицо толстяка расплылось в необъятную улыбку, и он прервал его взрывом хохота.

— Вижу, что вы не привыкли к свободному обхождению с незнакомыми людьми,— сипло грохотал он.— Вы не можете раскусить, что я за штука, и хотите знать, чем я, собственно, занимаюсь, не так ли?

---

[1] Сорт дорогих сигар с обрезанными концами.

Чарльз кивнул; нараставшее замешательство растаяло под напором благодушия.

— Ну что ж! Только при одном условии. Я люблю сделки, всегда любил. Сперва расскажите мне о себе.

— Я шофер транспортной конторы. Перегоняю машины с заводов в порты погрузки.

Толстяк разыграл крайнее изумление.

— Господи, господи, слишком быстро вертится наш шарик для бедняги Артура. Сидел я и старался прикинуть, кто вы такой, и не мог, потому что не подходили вы ни к одной известной мне категории людей. А теперь вот оказывается, что у вас профессия, о которой я и понятия не имел. И что это вообще за профессия? Одна из тех, смею сказать, когда и не скажешь, кто вы такой: рабочий, или конторская душа, или делец. Все в наши дни перепуталось.

— Ну, по крайней мере вы-то понимаете, что все перепуталось,— утешил его Чарльз.— Большинство людей вашего поколения... знаете... если, конечно, вы не возражаете, что я причисляю вас к старикам, я этого, понятно, вовсе не думаю... но, во всяком случае, большинство из них никак не привыкнет к этим переменам.

— Ну, моя профессия — это сплошные перемены,— сказал толстяк, гордо распрямляясь и положив на оба колена по сильной короткопалой руке.— В моей профессии, если вы не будете хоть на шаг опережать перемены, вас, как пустую бутылку, отправят вслед за пробкой.

Зажав в зубах сигару, он обеими пятернями стал шарить по всем карманам и наконец вытащил карточку, которую и преподнес Чарльзу. На ней значилось: «Артур Блирни. Развлечения».

— Я все-таки не совсем понимаю...— пробормотал Чарльз.— Вы, должно быть, держите антрепризу или какое-нибудь театральное агентство.

Мистер Блирни залился хохотом.

— Я держу антрепризу, верно. И про театральное агентство верно. А насчет того, что вы не все понимаете, так это вполне естественно. Еще один урок моего жизненного опыта: в тот самый день, когда кто-нибудь все поймет, ему, как цыпленку, свернут шею.

Поезд подошел к вокзалу и остановился. Они встали.

— Нет,— заявил мистер Блирни, сотрясаясь от хохота,— я вовсе не хотел, чтоб вам было все понятно, приятель, вовсе нет.

Чарльз глядел на него и раздумывал, сердиться ли ему или, в свою очередь, расхохотаться, разделив непосредственное веселье и добродушие толстяка. Он так и не пришел к решению, даже когда они вместе вышли из вагона и очутились на вокзальной площади.

— Вы заняты? — спросил мистер Блирни.— Если нет, то не зайдете ли ко мне в гостиницу? Там выпьем.

— А вы где останавливаетесь? — осведомился Чарльз; после стольких стараний он не мог отказаться от паломничества в Дубовую гостиную.

— «Гранд-отель». Где же еще останавливаться в этой дыре,— просипел мистер Блирни, и, когда Чарльз согласился, он умело остановил проезжавшее мимо такси.

Через несколько минут они были в вестибюле отеля, и мистер Блирни оказался в центре водоворота засуетившегося персонала. Подбежал регистратор с книгой; выскочил из кабинета администратор, кинулся к лифту рассыльный, даже носильщик проследовал с чемоданами мистера Блирни вдвое быстрее обычного. В этом человеке было что-то электризующее, он величественно высился над всеми, весело покрикивая и непрерывно извергая поток удручающе несмешных шуток. Чарльз отошел в сторонку, до-

вольствуясь ролью восхищенного наблюдателя. Мистер Блирни был первым на его веку человеком, умело сочетавшим добродушную непринужденность с непоколебимой самоуверенностью. Противореча распространенному мнению, что добродушие — признак неуверенности, он тем не менее подтверждал общее правило.

Наконец они удобно расположились в Дубовой гостиной. Мистер Блирни настоял на своем и заказал на свой счет четыре двойные порции виски.

— По две на брата, приятель, так полагается,— сказал он тоном, не допускающим возражений.— Первую — одним махом, а вторую — помаленьку, со вкусом.

Он осушил свою рюмку, и Чарльз последовал его примеру.

— Фу-у-у! — отдувался мистер Блирни, откинувшись в кресле.— Начинаю чуточку согреваться, а то совсем окоченел за последние три часа. Стар я уж, верно, для вечных скитаний, да еще при вагонных сквозняках. Придется, видно, разъезжать в машине, а это разорит меня в полгода.

Он закурил свою «черуту». Чарльз отказался от нее и достал сигареты.

— Собственно, и ехать-то было незачем,— продолжал мистер Блирни.— Просто надо присмотреть за одной нашей труппой, подвизающейся на здешних подмостках.

— Одна из ваших трупп? — осведомился Чарльз.

— До известной степени. Это не моя антреприза, но я представляю антрепренера. До нас дошли слухи, что им не хватает перцу. Комикам надо обновить репризы, хору подтянуться — знаете, как бывает?

Чарльз постарался сделать вид, что знает. Они отпили из второй порции.

— Мне придется... Господи, вот неожиданность! — вдруг прервал себя мистер Блирни.— Сюда, Бернард! — закричал он.— Сюда, Вероника! Идите сюда! Это дядя Артур!

Чарльз оглянулся, внезапная догадка пронзила его до самых печенок. С дружескими улыбками, адресованными мистеру Блирни, к ним подходили оба Родрика.

Людям случалось совершать самоубийства, идя навстречу мчащемуся паровозу. В таких случаях, вероятно, бывает мгновение — ну, скажем, от одной до трех секунд,— когда самоубийца стоит на рельсах, твердо упершись ногами в землю, и каждый мускул и нерв его напряжен в ожидании сокрушающей встречи с паровозом. Такая степень напряжения, должно быть, неповторима и невозможна в повседневной жизни. Но именно она наступила для Чарльза. Когда он вскочил на ноги, каждый мускул его напрягся в отчаянной попытке скрыть охватившую его дрожь и полуобморочное состояние.

— А, бродяги! — в упоении вопил мистер Блирни.— Я совсем забыл, что вы должны вернуться из Монте. Как старая лужа? Лазурная, как всегда, а? И казино на месте, э, Бернард?

— А мы не ходили в казино,— добродушно мурлыкал мистер Родрик.— Рулеткой я не балуюсь, пора бы вам знать, Артур.

— Пора бы знать! Мне? — с деланным возмущением проскрипел мистер Блирни, обращаясь к Чарльзу и всем своим видом стараясь изобразить оскорбленную невинность.— Почему бы мне знать о его похождениях? Мне, ведущему такую примерную жизнь! Да,— продолжал он, обычным для него громким голосом,— вы, вероятно, не знакомы, это вот Бернард и Вероника Родрик, старые мои друзья, а это, гм, вы, кажется, так и не назвали себя, молодой человек. Я только что встретил этого вот молодого человека в поезде и уже крепко с ним подружился.

— Зовут меня Чарльз Ламли.

Как глупо, как неуклюже! Именно сейчас, когда требовался блеск, непринужденный подхват веселой болтовни мистера Блирни, едкая эпиграмма, или, может быть (и уже), умело ввернутый комплимент,— когда всего этого повелительно требовала вся обстановка, он был способен только на то, чтобы стоять чурбаном, нелепо растопырив руки, и пробормотать свое имя.

Просто и непринужденно, но именно с той долей теплоты, которая диктовалась случайным представлением малозначительного незнакомца, Бернард Родрик протянул мягкую руку. Чарльз протянул свою. Прикоснувшись, он живо ощутил разницу. Его рука окрепла и огрубела, кожа, залубеневшая за время его работы мойщиком окон от постоянного воздействия воды и воздуха, с тех пор несколько отошла, но осталась твердой и толстой, с мозолями на ладони у основания пальцев. Ногти у него были коротко подстрижены; ногти Родрика слегка выступали на кончиках пальцев, так что Чарльз явственно почувствовал их прикосновение. Невольно по нему пробежала легкая дрожь отвращения. И не то чтобы ногти Родрика были слишком длинны, но во всем его облике неуловимо проступали излишние лоск и холеность,— все это, вместе взятое, и сверх того еще что-то более важное, но трудно определимое, отталкивало от него Чарльза.

Глаза их встретились. Чарльз очень старался понравиться мистеру Родрику. Мускулы его, на мгновение расслабевшие, снова напряглись в усилии подавить отвращение. Человек этот был близок к существу, которое могло придать смысл его бесцельному прозябанию. Но усилие его пропало даром.

— Моя племянница, Вероника,— сказал мистер Родрик. Его взгляд скользнул мимо Чарльза, он смотрел на мистера Блирни.

Она вложила свою тонкую холодную руку в его ладонь.

— Виски! — кричал мистер Блирни.

— Позвольте, я закажу,— не утерпел Чарльз, тоже почти срываясь на крик.

Ему так хотелось в свой черед бесшумно подойти по ковру с маленьким стаканчиком и поставить его перед ней. Мистер Блирни плюхнулся в кресло.

— Только не для нас, мы еще не обедали,— запротестовал было мистер Родрик.— А уж если вы так любезны, закажите мне сухой «мартини».

Какое кому дело до того, что он хочет! Джентльмен сначала спросил бы девушку, что она хочет. Обернись к ней, вопросительно посмотри. И не пытайся говорить, что-то неладно с твоей глоткой.

— Благодарю, а мне джина с сиропом, пожалуйста.

Это были ее первые слова, обращенные к нему, потому что при представлении она только слегка и непринужденно улыбнулась, но не сказала ни слова. Голос у нее был чистый, не резкий, но звонкий.

Направляясь к стойке, Чарльз вдруг поймал себя на мысли: никакого фамильного сходства! Сестра или брат, чьей дочерью она была, наверно, не обладали никаким сходством с самим мистером Родриком. А может быть, между ними и нет кровного родства? Может, она приемная?

Бармен участливо поглядывал на Чарльза. И тот понял, каким он представляется этому человеку: еще один полупомешанный от любви глупец.

— Один джин с сиропом, два двойных виски и один сухой «мартини», и не пяльте на меня свои буркалы,— сказал он резко.

Когда он возвратился с рюмками, мистер Блирни принялся рассказывать анекдот, который был не столько пространен, сколько изобиловал боковыми ответвлениями, порождая побочные анекдоты десятками и включая неимоверное количество того, что историки первобытного эпоса называют «эпизодическим материалом». Не то чтобы мистер Блирни рассказывал скучно, но даже будь он самым блестящим рассказчиком, Чарльз все равно не стал бы его слушать. Под прикрытием раскатистого хриплого рева он потягивал виски и не спускал глаз с девушки, хотя и более осторожно, чем при первой встрече, когда он глазел на нее совсем по-идиотски.

Она сидела напротив него, между двумя мужчинами, так что дышавший коньяком монолог Блирни клубился вокруг нее, как морской прибой вокруг прибрежной скалы. Ее глаза все время были опущены, она слушала со спокойным, но непритворным вниманием. Раз или два она подняла глаза и, по ходу разговора, поглядывала то на одного, то на другого из трех мужчин. Невозможно было определить, на кого она глядела чаще. Чарльз все же решил, что в целом пальму первенства можно отдать Родрику. Но когда она смотрела на Чарльза, это был спокойный, дружелюбный взгляд, совсем не похожий на тот ледяной, которым она ответила тогда на его обалделое глазение. Держалась она ровно, уверенно, без тени развязности, но не холодно.

Вдруг Чарльз почувствовал, что пьян. Было ли это результатом трех рюмок виски на пустой желудок или ее присутствия? Во всяком случае, как это часто бывало с ним и раньше, он знал, что опьянение делает его способным к действию. Только когда высшие центры с их сигналами торможения и осторожности бывали выведены из строя — только тогда он мог отважиться на какие-то смелые шаги. С быстротой молнии в его мозгу замелькали возможные варианты для начала разговора. «Часто ли вы здесь бываете?» Нет, слишком глупо. И она просто ответит «да» или «нет». А потом что? Нет, лучше начать с более общего: «Кажется, вы не много времени проводите в Стотуэлле?» — «Вот как? Вы заметили?» Значит, он интересуется ею, расспрашивает о ней. Так может что-нибудь получиться. (Он не отдавал себе отчета в том, что такой вариант тем самым заключал бы лестный и безыскусственный комплимент, на который он так и не отваживался.) А что, если без всяких «кажется», а просто спросить: «Вы много времени проводите в Стотуэлле?»

Он нагнулся через стол и спросил:

— Вы много времени проводите в Стотуэлле?

Вопрос этот пришелся как раз в паузу между очередными анекдотами Блирни. Получилось так, как бывает в метро, когда человек старается перекричать грохот и выкрикнутый им конец фразы при внезапной остановке поезда раздается на весь вагон. Не связанный со всем разговором вопрос этот прозвучал грубо, навязчиво, дерзко. Чарльза бросило в пот и затошнило. Блирни и Родрик обернулись и посмотрели на него.

Тем не менее она ответила.

— Это зависит от того, насколько часто дяде приходится ездить по делам за границу,— сказала она.— Если поездка отнимает больше двух-трех дней, я обычно езжу вместе с ним.

— Нуждаетесь, чтобы за вами кто-нибудь приглядывал, не так ли, Бернард? — в восторге закричал Блирни.

Родрик поглядел на него без всякого выражения.

— Да,— сказал он.

Наступила мертвая тишина.

Чарльз почувствовал, что через девяносто секунд его вырвет. Цифра 90 представилась ему со странной четкостью.

Родрик встал.

— Ну, мы пойдем пообедаем,— сказал он.— А вы здесь остановились, Артур?

Он не спросил, обедали уже Чарльз и мистер Блирни или нет.

— Здесь, но, вероятно, уж не увижу вас сегодня,— ответил мистер Блирни.— Надо же мне проверить мою труппу. И так уж я увижу только вторую половину программы. Знаете что,— возбужденно прокричал он,— приезжайте-ка ко мне в воскресенье вечером! Соберутся стоящие люди — да вы их знаете: Элси, Стэнли, Джимми, ну, и все прочие. Мы давно не видали вас в Лондоне.

— Но...— начал было Родрик.

— Да заставьте вы его приехать, Вероника,— нетерпеливо прервал его мистер Блирни.— Вам же обоим у меня всегда весело. Признайтесь,— повернулся он к девушке,— ведь вам хочется побывать у меня, милочка, не так ли?

— Да,— просто ответила девушка.

— Хорошо. Мы приедем,— сказал мистер Родрик.

Чарльз поднялся. Надо уходить. Мысль о встрече с ней на этой вечеринке с Элси, Стэнли и Джимми уже сверлила его мозг тупой болью. Вам у меня всегда весело! Вам обоим! Где же, черт возьми, где оно, связующее звено между этими двумя мирами? Кто это говорил о супружестве Неба и Ада? Пред каким алтарем мог быть заключен этот брачный союз?

— Ну, ну, не уходите, не дав слова тоже заявиться ко мне, как вас там, Чарли? — орал мистер Блирни.— Вы-то можете прикатить в Лондон на одной из ваших машин. 85-а, Санфлауэр Корт, около восьми часов, и не вздумайте отказываться.

На мгновение Чарльз онемел от неожиданности. Потом радость охватила все его существо. Какие чудесные вечеринки устраивает этот Блирни! Что за восхитительный народ все эти Элси, Фредди, Джимми и как их еще там, славные, умные Джесси, Бинки, Сэмми, Сократ, Ксенофонт, Лао Цзе, Сталин! К чертям все прочее!

— Непременно буду,— сказал он.

Следующий шаг был весьма прост. Было уже поздно, когда он вернулся в город, где помещалась контора «Экспорт экспресс», но он сейчас же отправился на квартиру к Тедди Бандеру. Он позвонил. Его часы показывали половину двенадцатого. Ждать Бандера пришлось долго. На нем не было не только галстука, но и рубашки, ее заменяла накинутая на плечи пижама.

— Помилуй бог, старина! — сказал он.

Это значило, что Чарльзу не следовало приходить в такой поздний час без предупреждения.

— Я должен поговорить с вами,— быстро сказал Чарльз.— Я пришел потому, что должен поговорить с вами.

Бандер посмотрел на него с минуту, потом повернулся и повел его за собой. Комната была неряшливая, в камине был разведен большой огонь. На кушетке сидела девушка.

— Это Дорис,— сказал Бандер.

— Можно мне говорить при ней? — прямо и резко спросил Чарльз.

— Она не вчера родилась,— коротко отрезал Бандер.

— Так вот, слушайте,— все так же быстро проговорил Чарльз. Он чувствовал, как важна сейчас каждая минута.— Я перейду прямо к делу. Мне сейчас не до околичностей.

— Мне тоже, старина. Это совсем не в моем духе. Выкладывайте и не тяните до утра. Дорис пришла сюда вовсе не за тем, чтобы рассматривать альбом для марок.

— Так вот,— сказал Чарльз.— Ни для кого не секрет, что вы и кое-кто из ваших приятелей занимаетесь какими-то делами, которые приносят вам большие деньги. Никто не говорит об этом прямо, никто, по-видимому, не знает точно, чем именно вы занимаетесь, но совершенно ясно, что вы нашли способ увеличить свой заработок, и я пришел, чтобы спросить, доверяете ли вы мне настолько, чтобы ввести в это дело и меня.

Бандер слегка прищурился и выпустил дым.

— Я так и знал, что рано или поздно вы непременно придете ко мне с этим вопросом,— сказал он.— Но скажите мне вот что. Вам нужны деньги? Не так ли?

— Так.

— Не стану спрашивать, зачем вам деньги.— Он покосился на Дорис, потом перевел глаза на Чарльза и улыбнулся.— Вечно одна и та же история.

— И не спрашивайте,— сказал Чарльз. Он стоял, весь напрягшись, ожидая решения Бандера.

Бандер смял сигарету. Потом тоже встал.

— Ладно, старина, примем. Вы, кажется, подходящий.

— Именно подходящий, старина! — сказал Чарльз.

Через три дня его нарядили перегонять машину в один из северо-западных портов вместе с Бандером и еще пятью шоферами. Указания он получил лично от Бандера, и с другими, видно, было так же, потому что открыто никто не говорил о предстоящей поездке. Не было в наряде и преднамеренной случайности. Все, казалось, понимали друг друга без слов.

Когда они прибыли в порт и поставили машины на указанном причале, остались еще две обычные формальности: прежде всего получить расписку о сдаче машины в полном порядке — «таможенную квитанцию», а затем отвинтить транзитный номер. Каждый шофер обязан был снять и передний и задний номера и сдать их в контору.

Выполняя указания Бандера, Чарльз, как только освободился, зашел в общественную уборную на том же причале. Там он застал остальных. Они все уже передали свои номерные знаки Бандеру, забрал он их и у Чарльза, а потом унес полный комплект в закрытую кабинку. Все слонялись по уборной, куря, болтая, оправляясь или только делая вид, что пользуются писсуарами. Через несколько минут появился Бандер, с шумом спустив воду на тот случай, если бы зашел кто-нибудь посторонний. Но таких не было. Быстро, но в открытую, Бандер вернул каждому его номерные знаки. По одному, по двое они вышли из уборной, миновали ворота доков и отправились на станцию.

Только очутившись один в пустом купе, Чарльз как следует разглядел оба свои знака. У каждого из них сзади была прилажена накладка из пластмассы под цвет металла. Ее придерживала тугая защелка, но, просунув монету в щель, оставшуюся с одной стороны, можно было довольно легко приподнять накладку. Он так и сделал. В просвете не более чем в пять миллиметров между настоящей и фальшивой стенкой были плотно уложены пять каких-то пакетиков.

Чарльз снова приладил накладку и положил знаки на багажную сетку. Ему не к чему было заглядывать в эти пакетики.

Если бы несколько недель назад его попросили составить список самых мерзких преступников, он одними из первых назвал бы торговцев нарко-

тиками, считая их не меньшими мерзавцами, чем, скажем, торговцев живым товаром. А вот сейчас он помогал провозить из порта героин, опиум или еще какое-нибудь зелье, помогал доставлять его наркоманам. Он стал членом, пусть самым ничтожным, организации, которая распространяла наркотики по всей стране; организации, которая следила за поступлением товара в порт, за тем, чтобы его прятали в заранее условленных местах — в уборных — в бачки или еще куда-нибудь, за тем, чтобы Бандер и его подручные через несколько часов извлекали его оттуда. Все это было словно одна большая паутина; каждому давали определенное поручение и говорили как можно меньше о том, что делают другие. Например, он, Чарльз, не знал, кто и как распорядится пакетиками, спрятанными в его номерных знаках. Это касалось кого-то другого; а он должен был только по прибытии в контору оставить знаки на обычном месте, а там их найдет Бандер, а может быть, еще кто-нибудь, кого Бандер даже и не считает членом шайки,— и этот человек вынет пакетики. Потом зелье попадет к продавцам, а затем и к несчастным созданиям, полубезумным, одиноким, больным, неуравновешенным или просто слишком юным. И он соучастник этого! Чарльз смотрел в окно пустым, тяжелым взглядом, презирая себя, презирая свое падение. И ради чего?

При этой мысли, словно на экране, с ослепительной четкостью возник образ Вероники Родрик, и тут же все его существо, до последней клеточки, все его побуждения и чувства охватила жажда обладания ею. Он знал, что в надежде на это он совершил бы любое преступление, украл бы, убил бы, искалечил бы жизнь ни в чем не повинных людей,— лишь бы тешить себя такой надеждой. Он знал, что ни разум его, ни сердце не могут признать что-либо добрым или злым вне зависимости от этой надежды. И это только усугубляло его беспомощность и растерянность.

Перевел с английского **Иван Кашкин**

(Продолжение следует)

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. АНФИНОГЕНОВ

★

НА ДВУХ ПОЛЮСАХ

1

1948 год...

Лед оставлен. Мы поднялись в кабину. Но прогретые моторы укутаны чехлами и еще молчат, так что торжествовать пока нечего. Утром казалось: какое счастье, черт возьми, один короткий бросок, всего лишь час полета до базового лагеря, где подготовляется к ответственному старту многоместный «ИЛ-12», и мы пойдем на полюс. После месяцев палаточного житья и кочевий по высоким широтам это было бы просто справедливым — пройти наконец над необыкновенной точкой планеты.

Теперь мы в «ИЛе», но претендентов на полет, кажется, слишком много, и неизвестно, все ли останутся на борту. На ледовой площадке, покинутой нами утром, Бабарыкина и радиста сняли с машины в последнюю минуту. На Бабарыкина тяжело было глядеть. Он был уверен, что его возьмут, собрался раньше всех, хлопотал и говорил больше обычного... И вот он стоял на снегу, без шапки, зажав под мышкой скатку спального мешка, и смотрел, как другие поднимаются по лесенке в самолет. Не дождавшись окончания погрузки, он заковылял прочь, к своей радиопалатке, пиная снежные комки.

Летчик Перов прошел в пилотскую рубку, никого не замечая, скорее сумрачный, чем взволнованный; смуглое лицо как бы помято коротким сном, отчего светлый рубец на лбу ярче обычного. Эта косая метка — след рижского рассвета 22 июня 1941 года. Я впервые заметил, какие у него руки, кисти рук: снимая куртку, он пошевелил пальцами на особый манер, как это все делали в нашей госпитальной палате, чувствуя прибавление сил, и я увидел тыльную сторону его ладоней... Но только тут не до расспросов.

Внутри самолет поделен полотнищами, в пассажирский отсек входишь, раздвигая полог брезента, как в шатер. Вместо кресел вдоль бортов откинуты металлические сиденья, вроде приставных мест партера. Каждый старается сесть бочком, чтобы уместилось больше народу. И все теснятся к окнам, заранее примеряясь, удобно ли будет наблюдать.

Хвост в полете — незавидное место, в «ИЛе» особенно: там нет окон. Гуще всего пассажирский отсек забит впереди, где раскинут стол, окруженный штурманами,— их много, человек шесть или семь,— на столе карты, линейки, ветрочеты, схемы. Штурману Швецову места возле стола не нашлось, он раскладывает карту на коленях.

Для Игоря и Андрея научная сторона полета не представляет интереса. Каждому известно, как далеки их специальности от полюса. Оба уселись прямо на пол. Но как! Спиной друг к другу, подогнув колени и упершись подшитыми унтами в покатый пол, как бы заняв круговую оборону. «Нас не троньте, все равно не выйдем» — вот как они сели. Мы тоже жмемся плечом к плечу. Моторы, слава богу, уже ревут, но лед за окном неподвижен, трап не убран — состав пассажиров может еще переменяться. Увы, нетрудно предвидеть, кого коснутся эти изменения, если они все-таки произойдут... Ведь я не могу указать, подобно профессору-магнитологу, на специальный компас, поясняя, как важно проследить поведение магнитной стрелки над точкой полюса; я не вооружен секстантом, как навигаторы; не могу сослаться на высокую ценность проб воздуха или уникальность фотоснимков...

Самолет сильно перегружен, а когда в летном деле решающую роль приобретают килограммы, то в первую очередь берется под сомнение полезный вес нашего брата журналиста.

Я стараюсь искать опору в тех, кто не преследует в полете к полюсу утилитарной цели: в Андрее, ответственном за укатку аэродрома, в Игоре, который изучает морские водоросли, в докторе... Они к тому же старожилы центральной базы, с большим авторитетом толкуют, например, о здешней погоде. Оказывается, последние дни солнце тут прямо жарило, зернистый снег, подтаивая, шевелился и проседал, спичечный коробок, нагретый солнцем, на глазах продавливал лед.

Все переменилось за час до нашего прилета. Над палатками нависли тучи, посыпал жесткий, сухой снежок. Если мы и взлетим, то возвратиться сюда при дальнейшем ухудшении погоды не сможем, а остров Котельный, как сообщает метеосводка, закрыт туманом. В резерве есть еще ледовая площадка, покинутая нами утром,— теперь понятно, почему там должен был остаться аэролог Бабарыкин с радистом... Да, в артельной нашей жизни обязанности между работниками не всегда раскладываются поровну. Если все пройдет благополучно, почувствует ли Бабарыкин, сидя в своей радиопалатке, насколько значительнее его доля в этом полете, чем Андрея, доктора, моя? Поймет ли нашу молчаливую признательность?

Перов выглядывает из командирской рубки, лицо его чисто выбрито. По-моему, от него даже пахнет «Шипром».

Механик втягивает лесенку, задраивает входную дверь.

Снежный смерч поднимается под крылом — выруливаем. Все замолкают, приготовляясь к взлету.

Ну!

В тысяче подобных случаев я бы оставил без внимания это несильное, как бы нервное подрагивание корпуса самолета, бег быстрых бликов по стенам и потолку кабины, защитный жест штурмана Швецова, надвинувшего по старой авиационной привычке меховую шапку поглубже на лоб. Звук моторов, приглушенный металлом и стеклами, достигает самой решительной силы, снег за оконцем помчался прочь. Пошли!..

Мы не знаем размеров здешней полосы, расчищенной среди торосов, ждем, вверив себя Перову. Рев моторов, превысив какую-то грань, стал до нестерпимости надсадным. Внутреннее чувство подсказывает, что машине уже пора быть в воздухе. Но она стучит о льдину, и в толчках ее — глухих, не пружинистых — тяжесть, которую крылья, кажется, одолеть не в силах. Люди на откидных сиденьях склонились вперед на один манер. Игорь и Андрей, крепко держась друг за друга, сдвигаются

толчками к хвосту, Швецов поднялся над столом, по которому скачут ветрочеты и линейки, оперся о край стола, пригнул шею. Все покорно, с надеждой ждут исхода трамплинного прыжка.

Именно в эти секунды каждый в пассажирском отсеке сознает всю ответственность и силу летчика Перова, чья судьба совпала с двадцатью пятью другими судьбами — Перов тоже в первый раз идет на полюс. Совпадение только в этом, ибо он выдвинут вперед, в обнесенную прозрачным стеклом командирскую рубку, и управляет событиями. Что ставит человека в такое положение?

Однажды в Москве, когда участие Перова в этой экспедиции было еще под сомнением, я увидел его в соседстве с шумной компанией военных летчиков, дожидавшихся трамвая. Они были незнакомы ему, эти молодые, белозубые парни с кирпичными скулами; им очень шла их сверкающая золотом форма, они весело и громко, так, что слышно было всем на остановке, обсуждали, в каком ресторане провести вечер. Перов, в своей короткой куртке, в ушанке с надавленным следом звездочки, подставлял холодному ветру спину, прикрывался воротником. В разрезе его куртки виднелся шарф такого же рисунка, как у них,— полосатый шарф фронтового летчика-истребителя. Судя по всему, громкий разговор молодых летчиков не был ему интересен. Углы его рта опустились, темные глаза, глядя поверх компании, холодно щурились. Наверно, он чувствовал себя перед этими военными, как человек, сполна и честно отвоевавший. Но он был еще и выше казенного благополучия лейтенантов. Больше перед самим собой, чем перед ними,— разве просто расстаться с погонами капитана, имея семью на руках, покинуть боевую авиацию, где всеми признан и чувствуешь себя как рыба в воде? Но авиация по нему, когда она в деле, действует. Не изменяя профессии, он связал свои надежды с Арктикой. И вот не знал теперь, доверят ли участие в высокоширотной экспедиции. После войны ученые шли на Север впервые, летный отряд формировался из зубров...

Доверили.

...Еще удар под ногами, и самолет, тяжело распластавшись над льдом, повис наконец на моторах. Как по волшебному знаку, снявшему суровые чары, все в кабине приходят в движение: переворачивают листки блокнотов, скребут ногтями иней, затуманивший плексиглас, шуршат по нему задубевшими куртками.

5 мая. 16 часов 22 минуты московского времени.

Если посмотреть со стороны, можно понять, куда мы идем. Конечно, смотря куда глядеть и что хочешь увидеть.

При всех условиях необычна эта толчея штурманов: они то поднимаются с мест и наваливаются на свои карты, то всей компанией устремляются в узкую дверь командирского отсека, но вглубь не проходят, а вращаются под сферическим стеклом астролюка. То снова бросаются к столу.

Единственный человек, за которым можно уследить,— это наголо остриженный Швецов. Он держит себя так, как будто вовсе не связан со штурманским цехом, даже не покидает своего раскладного стульчика. Сбросил куртку. Он как бы отрешился от суеты, охватившей его товарищей. Твердым почерком выписывает цифры, набрасывает вспомогательный график. Когда поднимает голову, в его рассеянном взгляде мерцает свет, словно после долгого наблюдения он отвлекся от окуляра, за которым ему открылось нечто давно желанное.

И я, кажется, догадываюсь, что происходит сейчас со штурманом. Швецов мой сверстник. Только он не уралец, а житель средней полосы. Но это не имеет значения. Перов лет на семь старше нас, а Игорь

моложе, но это тоже не имеет значения: мы люди одних годов. И все арктические книги, в том числе о Пири и Седове, и все полярные путешествия, включая совсем еще недавние предприятия Нобиле, Бэрда, Амундсена, не значили для нас и сотой доли того, что сделали одиннадцать лет назад прогремевшие слова: «Наши на полюсе!» Это был подвиг страны, достигшей двадцатилетия. Не осмеливаясь признавать людей, причастных к подвигу, за обыкновенных смертных, мы — еще дети, подростки, юноши — угадывали в них частицу собственной силы. Главное же крылось, быть может, в том, что этот беспримерный десант на макушку земного шара вполне соответствовал нашему взгляду на человека, который есть хозяин планеты. Митинг под алым флагом, воткнутым в лед, и деловитая телеграмма, отправленная с полюса в Кремль, как бы засекали на земном шаре очередной предел доступного — к тому времени самый высокий.

И вот теперь Швецов, недавно демобилизованный и еще по-солдатски остриженный, вышел на фантастический маршрут своего детства.

Он уже не овеян легендами, этот маршрут, и штурманский труд не требует героических усилий: практическая сторона сводится сейчас, в частности, к умению «схватить» светило, солнце, в строгие нитяные метки за окуляром секстанта. Набрасывая график, Швецов заранее вычислил, под каким углом будет находиться солнце в тот ответственный момент, когда мы приблизимся к самой точке полюса; штурман полон решимости и в мыслях уже, наверно, предвкушает наслаждение от точной своей работы.

Но, Швецов, дружище, ведь солнца-то нет!

Да, солнца нет. Вниз еще можно смотреть — в разрывах облаков проглядывает пейзаж, знакомый до последней подробности; он не меняется на протяжении тысяч километров. Там видны бесконечные льды, прорезанные темными змеистыми трещинами. А вверху, над нами, и по сторонам просто ничего не видно: облака спрятали солнце. Штурманы, как говорится, слепы, по светилу определиться не могут. Остается радио. Швецов сидит в наушниках, вертит рычажок настройки.

— Мыс Барроу вылезает,— говорит он.

Мыс Барроу...

Мы летим туда, где магнитная стрелка перестает показывать на север, где звезды не всходят и не заходят вместе с суточным вращением земли, где шесть месяцев — день и шесть месяцев — ночь. Но слова «мыс Барроу» портят нам настроение. Зато международное положение экипажа, место, которое мы занимаем сейчас в мире, вырисовывается точно, во всей реальности.

Мыс Барроу — это американский радиомаяк на Аляске. Он то и дело дотягивается до наших самолетов, затрудняя своим вмешательством работу штурманов и радистов. Чкалов и Громов подходили к полюсу примерно с той же стороны, что и мы. Тогда мыс Барроу не ощеривался. На крыльях своей машины Чкалов, как он и сказал, «донес американскому народу тепло привета советских людей». Я думаю: если бы американцы могли видеть Швецова, разве они не поняли бы русского? Может быть, они бы даже ему позавидовали. Но американская печать может сообщить завтра жителям своей страны и всему миру о красном бомбардировщике, который шел через полюс, угрожая границам Америки...

— Есть! — говорит Швецов.— Есть пеленги... Теперь ясно, где мы...— Он склоняется над картой. Через какие-то промежутки времени он наносит на ее широкий лист аккуратные значки, обозначающие местоположение самолета. Крохотные точки вытягиваются в направлении

полюса, но меридианы здесь собрались в такой тесный пучок, что эти отметки чуть вправо и влево перескакивают через меридианы.

— Все дороги ведут в Рим, все меридианы — к полюсу.

Сидящие по соседству внемлют словам штурмана с почтением — он приближен к таинству появления полюса, ему открыт астрономический смысл этой картины. А наше дилетантское воображение дальше медной шишечки глобуса не идет. Сдается, каждый для того только и выгадывает место вблизи окошка, чтобы еще раз удивленно и с улыбкой отметить, что в самом деле никакой покатости в очертаниях планеты за бортом не видно и самолет, держась одной высоты, не взбирается, как об этом легко сейчас думать, к желтой шляпочке глобуса, с риском зацепиться брюхом о лед.

— Хорошо бы за несколько минут до цели получить предупредительный сигнал,— говорит Андрей.— Чтобы приготовиться,— поясняет он.

В чем будет состоять эта подготовка — не совсем понятно, но предложение Андрея встречает среди пассажиров широкую поддержку. Швецов находит время просветить нас:

— Над полюсом пеленг будет равен нулю. А высота солнца — 16 градусов 41 минута...— Штурман сосредоточенно прорисовывает карандашом две эти цифры.— Как будет, так крикну.

— Что крикнешь? — хочет знать Андрей.

— «Полюс!»

— А на подходе?

— Я не смогу. Следи по часам.

— Дима, можно вас на минуточку? — Фотометрист юлит возле Швецова, что-то шепчет ему на ухо. Наверно, молит об удобном для наблюдений месте.

Я протискиваюсь в пилотскую рубку. Здесь битком. Кто по делу, кто от нетерпения и любопытства — не разобрать. Летчиков за спинами не видно. Внятный голос произносит:

— Есть 358... Есть довернуть влево... Только на два? А хоть на все пять градусов, к вашему удовольствию!

Неужели Перов?

Не похоже: голос повторяет все штурманские команды с шутливым усердием, а Перов ведь держится того мнения, что попусту болтать в кабине нечего, все должно пониматься с полуслова, чутьем. Штурманы из-за этого привыкают к нему не сразу, порой возникают трения.

Я поднимаюсь на носки, вижу потертую баранку штурвала, руки летчика, его кисти, обращенные ко мне тыльной стороной, смотрю на сморщенную, рубцами наросшую на ладонях кожу и слышу запах жареного мяса, который расходился из нашей палаты по всему авиагоспиталю; передо мной выстраиваются в ряд тугие пологи из плотной марли над каждой койкой, и вопли оттуда: «Нянечка, муха!» — летчик, с мужеством принявший неравный бой, становился бессильным перед мухой, прокравшейся под кисейное укрытие...

Глядя на эти руки, мне очень хочется знать, как их укрепили.

— Открытым методом,— отвечает летчик, прибегая к точному медицинскому термину, и сам демонстрирует их неограниченную подвижность: сжимает кисти в кулак, так что белеют костяшки, потом выбрасывает всю пятерню, любуется ею. Это — коронное упражнение всех обгоревших.— Открытым,— повторяет он, а пальцы легко и весело играют по баранке.

— ...В хвост,— подает Перов команду, выслушав сообщение механика.— Быстро!

Из командирской рубки в пассажирский отсек проворно выскакивает рослый детина в грубых брезентовых брюках, вправленных в унты. Горло его охвачено ярким шарфом. Это бортовой радист. Он взмахивает рукой, сдувая Игоря и Андрея с их комфортабельного возвышения — ну-ка! Лицо радиста мокро от пота. Он разбрасывает спальные мешки, сдергивает полотнище, разостланное на дюралевом полу вместо ковра, под полотнищем — лючок. Что-то неладно со связью.

И, как в секунды взлета, повисает один напряженный вопрос: дойдем ли? Это какое-то наваждение: едва человек подходит к полюсу, как радиосвязь с далеким миром прерывается. Так было с дирижаблем Нобиле, с самолетом Водопьянова, потом Мазурука... с Леваневским.

— Что? — Швецов покинул свой раскладной стульчик. Его голос звучит, как будто мы в самом деле наткнулись на какое-то тайное препятствие, по его давнему предчувствию — неизбежное. Солнца по-прежнему нет. Если радиосредства нам изменят, полет к полюсу потеряет, видимо, всякий смысл.

— Пусть включат умформер,— говорит радист в сторону командирской рубки.

— Умформер! — зычно подхватывает Швецов, энергично повелевая стриженой головой.

Он опускается на пол рядом с радистом; в кабине, оказывается, не так уж жарко: изо ртов над люком валит пар... А скатка, которую Швецов сунул себе под грудь,— это не спальный мешок, а конверт-палатка: над нею экспериментировал Мазурук, таская ее с одной ледовой базы на другую и оберегая от всяческих повреждений; он то сам залезал в конверт на отдых, то загонял в него доктора с градусником. Палатка по идее близка спальному мешку, но вместительней, в ней можно разогревать пищу, а в случае нужды — использовать как надувную лодку. Последнее особенно привлекает летчиков. Эксперименты с этой конструкцией начались, кажется, еще во время первого полета на Северный полюс, потому что Мазурук говорил на днях о палатке Перову: «Я после экспедиции сразу в отпуск, так ты доведи ее все же. Чтобы дальше не откладывать... Это дело еще Паша Головин начинал...» Паша, Павел Алексеевич Головин, первый из советских летчиков, появившихся над Северным полюсом. Он выполнял воздушную разведку перед смелым штурмом полюса экспедицией Шмидта—Водопьянова, это было одиннадцать лет назад, день в день — 5 мая 1937 года.

— Пятнадцать минут!.. До полюса — пятнадцать минут!

Команда, о которой просил Андрей. Представит ли кто-нибудь, что происходило в кабинах четырех советских самолетов, когда папанинцы приближались к Северному полюсу, чтобы там опуститься? Вообразить это мне решительно не под силу.

Возле тяжелого локтя Швецова появляется трепетное пятнышко; оно упало сверху, оно нечеткой формы и не очень ярко; пятнышко медленно ползет по ворсистой спине штурмана, зажигает алый шарф радиста. Швецов оторвался от работы, приподнял голову, с недоверием на него косится...

Солнце!

Сколько может вместить пилотская рубка? «Хоть бы ты отсюда убрался, елки-палки!» — довольно зло говорит Швецов, но, стиснутый штурманами, я не могу этого сделать. И не хочу: мне здесь прекрасно. Отсюда, верно, я могу смотреть через плечо Перова только вниз, на лед. Штурманы же расположились живой лесенкой, так, чтобы нацелить свои секстанты вверх, на солнце. Но мне ведь нечего на него глазеть. Мне только важно знать, что оно открылось, светит. «Хороши весной в саду цве-

точки!..» — это Андрей орет, он мне тоже виден. Глаза его, тесно поставленные, звероватые на загорелом лице, полны острого блеска. Доктор оборвал шторку на окне, тычет в него свой «ФЭД». Фотометрист машинально, без всякого прицела, водит ручной кинокамерой по всем углам кабины — правильно: сейчас каждый кадр интересен.

— Пять минут... Братцы!

Какое счастье, что появилось солнце!

— Может быть, ось земли?

— Если последний лагерь не унесло — торчит. В виде флага.

— Канистра готова?

— Канистры нет, бросим банку.

— Пиши текст.

— Да ведь потонет...

— Неважно — традиция!

Чей-то разочарованный голос:

— Такие же льды...

Ну нет, почему,— не такие. Как же... совсем особая картина: под нами все вздыблено, взломано. Будто кто-то прыгал и плясал тут с пешней размерами до неба. Пассажиры смотрят вниз, штурманы задрали подбородки, а Перов безучастно и неторопливо поглядывает по сторонам. Словно бы ничего вокруг не происходит. Словно бы заурядный трассовый полет. Единственная его забота — придержать напор прогретого воздуха, который сильно пышет, обтекая зеркально-чистые стекла кабины.

Солнце висит над правым бортом, «ловить» его секстантом удобнее всего, стоя на коленях. Единственное место, позволяющее это сделать, занимает Швецов. На его спину опирается пирамида, образованная штурманами. «Полюс!» — кричит один из них, стиснутый в середине. Измененный волнением голос с самого верха протестует: «Не спеши!..»

— Шестнадцать сорок одна,— перекрывает всех Швецов.— Полюс!

Он коротко взмахивает рукой.

— Пеленг — ноль градусов,— деловито вторит ему борт-радист, сдвигая эластичные наушники вперед, на виски.— Бабарыкин шлет поздравления, спрашивает, почему молчали. Сообщить, командир?

Перов не отвечает. И в пилотской рубке, и позади, где находятся пассажиры, тоже становится тихо. Может быть, все смущены обыденностью момента — ждали чего-то большего. Может быть, тишина возникла потому, что каждый слушает свои мысли и свое сердце. Смуглое лицо Перова преобразилось.

— Перелетаю немножечко, чтобы с гарантией,— негромко и внятно произносит он, слегка подвигаясь на кресле вперед и как бы приготовляясь к серьезному делу.— И-и-и... на-ча-ли!..

Под эти командные слова солнце, висевшее сбоку, двинулось по горизонту в сторону, а самолет плавно, хочется сказать — с чувством, ложится в традиционный вираж, позволяя каждому из нас с высоты четырехсот метров и почти отвесно глянуть на некую точку, в самый, что называется, торец воображаемой земной оси.

Вместо торца я схватываю под крылом довольно строгий орнамент, подобие ромба. Он сложился из темных разводьев среди расколотых льдин.

— Десятиминутное путешествие вокруг земного шара,— объявляет Перов.— Мир капиталистический...

Я не сразу понимаю, о чем он, не вдруг оцениваю точность этой фразы. Но, действительно, если посмотреть отсюда «вниз», на материк,

то где-то очень далеко, у самой кромки Ледовитого океана, проплывают сейчас безлюдные берега Северной Америки, Атлантика, туманы Британских островов, холодные фиорды Норвегии...

— И мир социалистический...

Вираж выполняется Перовым неторопливо и мастерски. Он перестает быть в наших глазах обыкновенной пилотажной эволюцией. Он приобретает значение торжественного приветствия, которым выражается твердая воля экипажа и воздается должное всем, кто причастен к покорению вершины мира.

Потом каждый принимает по наперстку коньяку. Игорь и Андрей придвинулись к окошку. Сидят спиной ко мне, как мальчики на картине Дейнеки «Будущие летчики», солнце падает на них сверху. Только мысли их, наверно, не в будущем, а в детстве, которое не обмануло. Профессор-магнитолог держит в руке не компас, а шоколадину. Он задумчиво кусает ее, избегая говорить о магнитной стрелке,— похоже, он стесняется ее поведения. Показания штурманов не сходятся в каких-то частностях, между ними поднимается жаркий спор. Швецов кричит, размахивая коркой лимона:

— Я здесь первый устроился! Стал на колени и ждал. Я наперед знаю, высчитал: шестнадцать сорок одна... Как совпадет — значит все. И ждал. «Вот я на полюсе. Сижу выше всех»,— так я подумал...

Все аппетитно жуют, и, ах, какой бойкий разговорчик идет по всему самолету, от пилотской рубки до хвоста!

— Я как бы фронтом командовал и выиграл сражение — вот как у меня на душе, Виктор Михайлович,— выкладывает Швецов летчику, хотя они мало знакомы между собой, первый раз летят в одном экипаже.

— Я около восьмидесятой параллели часто бываю,— мягко, в тон штурману, говорит Перов,— так что к полюсу вроде бы пристрелялся. Но приятно, конечно.

— Что вы! — воодушевляется Швецов.— Нет, дойти до полюса, определиться по светилу и дать обратный курс... Это мечта моя, Виктор Михайлович. Я, знаете, так: сел заранее на коленки и жду. Высота светила шестнадцать сорок одна... Жду. Шестнадцать тридцать три... Тридцать пять... Тридцать девять... Нарастает, нарастает, потом стоп — замерло! Раз — одна высота, два — одна высота, даже чудно́: не движется. Три — одна... Так только на полюсе бывает. Он, голубчик! Теперь болтают — дескать, полюс раньше был. Как раз ошибаются...

— И давно мечтал о полюсе?

— Давно... Да разве сюда попадешь? Я в госпитале лежал, осколки из меня таскали. Как узнал, что есть возможность в Арктику слетать,— вмиг поправился. Отлично, говорю, доктор, превосходно себя чувствую...

— Родом-то откуда? — присматривается к нему Перов.

Штурман отвечает с удовольствием:

— Я в Москве лечился. А родом из Орши.

— Знаю Оршу, служил. Как раз после училища. Во время испанских событий.

— Я туда бегал,— улыбается Швецов.— В Испанию. Бегал! Из Конотопа вернули. А только из оршанцев добровольцы в Мадриде тоже сражались.

— Были,— подтверждает Перов.— Я тоже рвался.

— Полюс-то,— отвлекается штурман с мальчишеским удивлением,— за одиннадцать лет никак не изменился... Представляешь, Виктор Михайлович, совсем немного — у меня бы этот полет с днем рождения совпал. Все равно, я теперь его правильно отмечу.

— Когда празднуешь?

— Одиннадцатого. Приглашаю.

— Спасибо. У меня тоже не совпало.

— Когда же?

— Десятого... Только ноября десятого.

— Тю, я подумал — тоже подгадал. Сложились бы.

— В самое время, между прочим, подгадал: десятого ноября семнадцатого года родился. Тоже не забудешь. Старого мира ни одного дня не видел. А новому всю жизнь ровесник.

— Могу сказать,— вклинивается между ними командир отряда,— что теперь я покрыл расстояние в полземли. От экватора до полюса.

— От экватора? — живо оборачивается летчик.

— Да. Однажды мы летали к экватору, чтобы перехватить корабли мятежников. Я ведь в Испании воевал...

В лице Перова снова перемена, как перед виражом, с которого он оглядывал планету. Швецов убирает секстант, освобождая командиру место. Испанским делам тоже одиннадцать лет. А след, оставленный ими, глубок, серьезен. Как тесно сплелись тогда между собой события! Сердца, которые бились в защиту республиканского Мадрида, с восторгом встречали появление первой дрейфующей станции — она тоже утверждала свободного человека, законного хозяина земли...

Сегодня мы достигли полюса, не затратив и малой доли тех усилий, которые прилагали наши соотечественники всего лишь одиннадцать лет назад.

Перов говорит об этом просто: «Приятно, конечно».

— Теперь бы в Антарктику,— вдруг произносит он, глядя на нас и лукаво и с вызовом.— На Южный полюс.

Он косится за борт. Битый лед кончился, неоглядно раскинулись снежные поля. Черный излом одинокого разводья похож с высоты на арбузную трещину.

2

...И год 1958-й

Все, что в последние годы происходит на далеком антарктическом материке, особенно быстро и гулко отзывается у нас, за Полярным кругом, в Арктике.

Из Мирного сообщают о создании в глубинах континента новой научной станции. Это известие, проходя по зимовкам Арктики вместе с фамилией радиста («Передал Целищев»), возбуждает за собой красочный шлейф воспоминаний, рассказов и полулегенд о самом Петре Целищеве, снайпере эфира, а следом, конечно, выговариваются довольно близкие к сути суждения о том, какими трудами ставилась та антарктическая станция...

«Аэролог В. Бабарыкин отметил внутри Антарктиды температуру воздуха — 87°». Телеграмма эта молнией пронесется по побережью, островам и дрейфующим станциям — всюду, где зимовал Виталий Кузьмич Бабарыкин. Она исторгнет в Арктике почтительное изумление и пробудит всеобщую охоту в мельчайших подробностях знать, что представляет собой одежда аэролога и его товарищей, каким способом выполнялись наблюдения: ведь уже при семидесяти градусах мороза, как принято считать, веко не может защитить роговицу... Надо ли говорить, что имя человека скромнейшей души — Бабарыкина — будет произноситься при этом не так, как оно прочтется за стаканом утреннего чая на Большой земле!

Вообще, каждое новое известие о полярнике, отбывшем в Антарктику, обсуждается на громадном пространстве от Амдермы до бухты Провидения, перетолковывается, дает повод для различных догадок, расчетов и надежд, как это бывает только в кругу самых близких, проводивших своих представителей в трудный поход.

В прошлом году я летал на остров Хейса, спрятанный высокими куполами льда среди застывших проливов Земли Франца-Иосифа. Там за короткий срок построена самая северная наша обсерватория, где выполняются многие исследования по программе Международного геофизического года.

Полет проходил полярной ночью. По аспидному небу вверх и вниз прохаживалась широкая кисть, малюя известью, как по забору. Поднимались, трепетали и гасли орудийные зарницы. Пробегая по кабине, фантастический свет северного сияния выхватывал из тьмы лица летчиков. Они напоминали ночной дозор. Вдруг впереди возникли огни. Вначале они пробивались тускло, потом обозначились, разбежались цепью. Под каждой лимонной точкой возникло ответное мерцание снега и льда. От этого огни казались вмерзшими в белое. Они словно бы показывали, что и люди там, впереди, обосновались надолго, прочно.

— Как Мирный! — сказал летчик Алексей Каш, впервые рассматривая остров Хейса ночью: он прозимовал год в Антарктике, а тамошние мерки и понятия созвучны Арктике, обиходны в ней.

— Виктору Михайловичу сейчас не очень-то светит,— не в тон, сумрачно, отозвался командир корабля Ступишин.

— Что так? — живо спросил механик.

— Антарктика,— сказал Каш.— По сравнению с нею это место,— он показал вперед,— средняя полоса. Подмосковье.

Но я уже знавал Перова в таких переплетах!..

Лет пять назад, как бы продолжив тот, первый, полет на полюс, я вновь перевалил через вершину мира, спустился в сторону Канадского арктического архипелага и встретился с Перовым в районе, который превзошел самые смелые ожидания наших ученых. Да и летчиков, признаться, он озадачил немало. Ученые получали там важные сведения о протяженности и структуре подводного хребта имени Ломоносова, изучали синоптические процессы, отзывающиеся на состоянии погоды и льдов по всей трассе Северного морского пути. Поэтому каждая лишняя «научная точка» имела особое значение. Но как раз все то, что, собственно, и привлекало внимание ученых,— мощные торошения, неожиданные выходы теплых течений, господствующее направление штормовых ветров — все это оборачивалось против летчиков, ибо подвижки льда, всегда опасные для сохранности взлетных полос, начинались тут бесшумно, при ясном небе и спокойном барометре, а погоды, и без того неустойчивые в Арктике, менялись круто каждые три-четыре часа. Главное же, что путало карты, ставило командиров кораблей в тупик и грозило самыми тяжелыми последствиями, был лед. Надо сказать, что полярные летчики, часами всматриваясь в бесконечно разнообразные цветовые оттенки ледяных полей, научаются по тончайшим нюансам их расцветки, по самой легкой игре теней и полутонов очень точно определять возраст льдины, ее толщину. Это — высокое искусство. Оно позволяет уверенно производить посадки в глубинах Полярного бассейна.

Но в заполюсном районе поля словно бы подверглись тончайшей светомаскировке: их внешний вид обманывал летчиков всюду, где ученые предполагали создать «точку». Льдина, присмотренная Перовым с высоты, спокойно отливала такими же знакомыми цветами, что и

старая, испытанная посадочная площадка в хорошо изученных местах, нарастившая за годы дрейфа три-четыре метра толщины. Но едва машина касалась ее поверхности, бег самолета тормозился, его начинало липко «хватать», и механик, стоя в раскрытой дверце фюзеляжа, видел, как быстро темнеет, увлажняясь, свежий пористый след под лыжами самолета, готового остановиться на льду, хрупком, как яичная скорлупа. Обычно из таких ловушек вырывались, с ходу поднимаясь в воздух...

Опасная загадочность нового района увлекла Перова. Иной раз, когда машина опускалась на неизведанный лед и летчик, не замечая холостого посвистывания винтов, весь обращался слухом к добела накатанным лыжам самолета и, уловив звук опасности, уже готов был дать газ, чтобы покинуть зыбкую площадку,— случалось, что в это время за его спиной неожиданно раздавалось: «Ах, черт возьми!» По одному этому вскрику почтенного мужа науки Перов понимал, что, подними он самолет, уйди от опасности, наука, наверно, понесет потерю. И в те же короткие секунды решение его менялось. На предельной скорости пускал он машину вперед, дальше по льду, потом, не замедляя хода, круто брал в сторону, в случайный просвет между торосами, чутьем угадывая прочность скрытого за ним поля. Самолет останавливался. Ученые спрыгивали на лед и начинали свое дело. А сам Перов молча отходил в сторонку, курил, вскинув капюшон зеленой куртки спецпошива, переступал затекшими ногами — он летает не в унтах, а в обыкновенных валенках, предпочитая их знаменитой авиационной обуви давно и, кажется, принципиально.

И вот я снова слышу о Перове. На его отряд возложены ледовые разведки в Индийском океане, воздушное сопровождение санно-тракторных походов, полеты на антарктический купол. Как трудно ему будет! А Южный полюс? С того дня, как Перов высадился в Мирном, я жадно ловил оттуда каждую весточку, верил и ждал: Южного полюса он не минует. Как же теперь?..

Хотя жизнь шестого континента и отдается так звучно в Арктике, следует все же заметить, что лучшее место, откуда можно одновременно наблюдать за всем происходящим на холодных окраинах земли, находится в Москве. Именно здесь, на улице Разина, в Главсевморпути, а не на экваторе, как принято думать, располагается срединная точка между Арктикой и Антарктикой. Здесь главный перевалочный пункт на пути от полюса к полюсу. Здесь сталкиваются судьбы людей, научных планов и экспедиций. Идеи, гипотезы, факты, промываясь спорами на разных инстанциях, оседают в машинописных документах дорогими крупицами. Из крупиц слагаются строки, в которых заключена могущественная сила. Заряженные ею, люди устремляются к полюсам.

Очень удобен для наблюдений, например, отдел науки Главсевморпути.

Едва переступив его порог, вы увидите верх и низ земного шара; срезанные долями, они висят на стенах, как огромные гипсовые блюда. Продвигаясь по комнате, вы машинально склоняетесь влево и видите «Бортовую карту Антарктиды». Такую карту, хотя она и бортовая, не соберешь гармошкой и не вставишь под целлулоид штурманского планшета: склеенная и расправленная, она занимает пространство от потолка до пола. Она рассечена яркими линиями и покрыта флажками. По ней гуляет резинка (линии наращиваются, меняют начальное направление), простым карандашом прямо на ледники, шельфы и горные цепи наносятся даты и фамилии.

Ее почти зеркально отражает карта Арктики. Но уже не бортовая, а учебная. Она полна спокойствия, академической представительности,

оторочена гладкими рейками, увенчана шнурком. Для нее в стену вбит специальный крюк. Голубая впадина Полярного океана, подобно выступающему с противоположной стороны материку, также покрыта многими цветными линиями. Но рисунок их тверд, закончен и выполнен типографским способом. Это хрестоматийные маршруты. Школьники уже изучают по ним историю. Но до заключительной главы, как можно видеть из поступивших ночью сообщений, еще не близко.

— Сейсмические станции, работая по программе МГГ, обнаружили новый очаг землетрясений...

— Гидрографическая экспедиция Михаленко открыла новый островок...

Вы снова оборачиваетесь к рабочей карте Антарктиды. Всматриваетесь в нее. В направление разноцветных линий. В морскую расцветку флажков, поднявшихся по окружности материка, как флаги над чашей московского стадиона в дни фестиваля. Вы наконец понимаете, чем вас особенно привлекли именно эти маршруты, со всех сторон нацелившиеся в глубь материка: их прокладывают люди разных миров и наций. Загадочный континент стал для них общим плацдармом, и тут ярко выступило нечто от будущего устройства нашей жизни на планете — ведь, стоя у карты, каждый невольно задается вопросом: мыслимо ли в короткий срок извлечь все тайны из-под такой громады льда, работая не сообща?

Материк полон движения. С противоположных берегов его отправились на вездеходах к Южному полюсу англичанин Фукс и покоритель Джомолунги новозеландец Хиллари. Их предприятие, правда, прямо не связано с программой Международного геофизического года. Трудная гонка двух партий полна спортивного напряжения.

— Хиллари прошел за сутки сорок миль, Фукс продвинулся только на семь. Хиллари заявляет, что он достигнет полюса, если позволит бог и расселины во льду.

Флажки на карте соответственно переставляются.

— Гастон де Жерлаш закончил разгрузку. Как работают, черти! Рассчитывали по меньшей мере на месяц, а управились за неделю.

Это о бельгийской экспедиции, создавшей прибрежную станцию Бодуэн. Ледяной панцирь Антарктиды, защищенный от пыли соседних материков свежими просторами океанских вод, создает прекрасные условия для исследования метеорных и космических песчинок; но общей участи он не избег, расстилая вот уже на протяжении четырнадцати лет свой ослепительный покров под радиоактивные осадки, медленно опадающие после атомных взрывов. Бельгийские исследователи отправились к антарктической Земле Принцессы Рогнхильды, чтобы, помимо научных работ, связанных с Международным геофизическим годом, представить еще одно свидетельство против атомной гонки.

— Где Бабарыкин? — спрашивает Александр Гаврилович Дралкин, приглядываясь к линии, которая наращивается в сторону от станции Комсомольской. Дралкин занят подготовкой нашей очередной, четвертой, антарктической экспедиции. В ее основу положена смелая идея: опираясь на рубежи, завоеванные внутри материка, совершить трансконтинентальный научно-исследовательский поход. Средствами передвижения будут служить сверхмощные вездеходы «Харьковчанка», они пойдут через Южный геомагнитный полюс, Южный географический, через полюс относительной недоступности. Дралкина интересует сейчас санно-тракторный поезд, восемь гусеничных тягачей под водительством Николаева, взявших в Комсомольской сто двадцать тонн экспедиционных грузов,— тягачи вышли на маршрут, никем и никогда еще не хоженный. Цель

похода — создать в районе полюса относительной недоступности научную станцию. Имя у станции есть — Советская, возглавить ее поручено Виталию Кузьмичу Бабарыкину. Исследовательские работы на ней помогут уточнить общую картину циркуляции воздушных масс на земном шаре. Станция явится также опорной базой и для будущего трансконтинентального похода «Харьковчанок». Вот чем вызван повышенный интерес Дралкина ко всему, что связано с продвижением санно-тракторного поезда.

— За последние два дня пройдено двести километров,— отвечает Айзик Вульфович Нудельман.— Прекрасный ход. Вчера двигались медленнее. Радируют: «Рыхлый снег, глубина колеи пятьсот миллиметров». Это по колено. «На поворотах сани оседают, трактора буксуют». Я думаю, Александр Гаврилович, для «Харьковчанки» пятьсот миллиметров — не цифра. Мне так кажется. «Самолеты Перова поддерживают без перебоев, сбросы меткие, тара прочная».

Сбросы меткие!

Предшественник Перова по Мирному, Петр Павлович Москаленко, рассказывал, возвратившись из Антарктики, что это значит — сделать удачный сброс. Высотомер показывает три тысячи метров, а снег стелется и сверкает под самым крылом: санно-тракторный поезд, взбираясь по антарктическому щиту, сам поднялся на высоту трех километров. Здесь воздух холоден, разрежен, устойчивость самолета поэтому не так хороша, а загружен он сильно: весь фюзеляж в два ряда заставлен бочками соляра. Их надо сбросить так, чтобы груз ткнулся в снег где-то возле тракторов, рядом с людьми. На такой высоте и при таких морозах тащить бочку волоком двести—триста метров невозможно. Поэтому весь экипаж, исключая летчика и штурмана, превращается в артель грузчиков. Артель работает быстро, дружно, расчетливо, согласуя свои действия с командирским отсеком, стараясь не нарушить центровку и без того не совсем послушной машины. В раскрытых дверях, на посту выбрасывающего, становится наиболее сильный и ловкий из экипажа. Он одет тепло, свободно, привязан веревкой и повинуется сигналу штурмана.

«Бросай!» — и двухсотлитровая бочка получает толчок и валится вниз. Тотчас надо подхватить другую бочку и так же прицельно швырнуть ее. За один заход удается сделать два сброса. Летчик появляется над колонной второй, третий, четвертый раз. На нем лежит еще забота и о целости дорогого груза: бочки, ударяясь о лед не под тем углом и не с такой высоты, лопаются, образуя на снегу рыжие пятна...

«Без перебоев... сбросы... тара...»

Значит, заторов в работе отряда нет.

...И вот уже сколько месяцев гудят самолеты антарктической экспедиции, покрывая не исследованные прежде участки материка, выполняя ледовые разведки, корректируя и поддерживая движение партий по трассам в сторону Южного геомагнитного полюса и в сторону полюса относительной недоступности. Географический полюс маячит в развилке между ними как будущая проходная точка. Район, прилегающий к нему, становится для наших ученых все более интересным. Сейсмологи-разведчики и гравиметристы хотят яснее представить себе рельеф приполюсного района. Это же необходимо уяснить метеорологам, создающим схему циркуляции атмосферы. А что представляют собой подступы к полюсу с восточной стороны? Нога человека там не ступала. Встретятся ли на пути «Харьковчанок» горы или они пройдут по равнине? Возможно, ледяной щит в том месте изъеден трещинами. А где именно располагается вершинная часть антарктического купола?..

Так Южный полюс входит рабочей строкой в планы наших научных исследований.

...Если отдел науки создает общую картину полярных событий, то двумя этажами ниже, за столиком начальника радиоаппаратной Алексея Алексеевича Голубева, можно следить за их почасовым развитием. Когда в Мирном готовились к старту на Южный полюс, я находился в аппаратной.

Радист только что принял вахту. В нем чувствовалась выправка бывшего военного. Пальцы радиста были чутко подняты над клавиатурой пишущей машинки, как перед начальным аккордом.

Он готов был принимать сведения о далеких событиях из Мирного от Петра Дмитриевича Целищева, но первоисточником этих сведений являлись начальник третьей антарктической экспедиции Евгений Иванович Толстиков и командир экипажа Перов, связанные с материком бортовой рацией Николая Зорина. Пока Зорин молчит. Конечно, сам он и в мыслях не имеет сообщить какие-то подробности подготовки к взлету. Это трудно сделать, если бы даже у него была к тому какая-то возможность. Я представляю себе, как протискивается по фюзеляжу Перов, оглядывая бочки с горючим, пробуя канаты, которыми они прихвачены, как поднимается по трапу неразлучный со своим тугим портфелем штурман Бродкин, как размещаются в машине остальные участники полета...

Но мыслимо ли выразить скупым телеграфным словом хотя бы малую долю того, что предшествовало старту? На чем остановить внимание? Охватить ли предысторию полета, когда Евгений Иванович Толстиков, возглавляющий третью антарктическую экспедицию, Виктор Антонович Бугаев — руководитель метеорологического отряда — и другие ученые засиживались вместе с летчиками в кают-компании, выбирая вариант, который позволил бы каким-то дивным образом удлинить радиус транспортного «ИЛ-12», позволил пройти непосильное для него расстояние до Южного полюса и обратно? Или перечислить события только последних часов, когда, в довершение всех внутриантарктических сложностей, ионосферное предупреждение из Москвы поставило под сомнение возможность устойчивой радиосвязи, а штормовой циклон, зародившийся у берегов Новой Зеландии, угрожал приблизиться к материку как раз на последнем отрезке маршрута, к моменту посадки?

Пальцы радиста пришли в движение... Наверно, Зорин передал: «Фиксируйте время взлета, прием»,— обычно он прибегает к этой формуле,— а Целищев поступил как редактор, и наша аппаратная приняла: «Взлет одиннадцать ноль-ноль Москвы. Перов». А в Москве, когда мы читаем это сообщение, часы аппаратной показывают одиннадцать ноль семь. Машина, сделав круг над Мирным, пожалуй, еще не скрылась из виду...

Десять лет назад точно такой же «ИЛ-12» был поднят Перовым в сторону Северного полюса. Наверно, так же свободно, не сутулясь, слегка прижимая локти к животу, сидит он сейчас. Но грузнее стала фигура, поредели, пробрызнули серебром жесткие волосы. Зато манера держаться в кресле прежняя — летчики не любят менять своих привычек; он ведь и в Антарктике летает в русских валенках. Не так давно, радируя жене, пустил между прочим строчку о том, как художественно, белым, подшил ему один товарищ эти валенки. Сейчас в них, должно быть.

Но нет нетерпения и гомона в пассажирском отсеке, как тогда, десять лет назад. И не состязаются между собой в точности штурманы — за всех за них сейчас ведет работу Борис Семенович Бродкин. Он там в единственном числе, но ему едва ли просторно за столиком, среди карт:

рядом Бугаев, Макушок, биолог, в активном запасе которого знание трех языков, что делает его незаменимым переводчиком. Там же Евгений Иванович Толстиков. Вооружен, понятно, секундомером. Каждые пять минут заносит в свой журнал температуру воздуха, давление. Каждые пять минут. Температура, давление, больше ничего. Бугаев сосредоточен на промере высот. Других инструментальных наблюдений он не производит. Только высоты — по альтиметру, по радиовысотомеру. Но когда Бродкин — позже, дома — увяжет их наблюдения со своим штурманским хронометражем, разнесет все по времени, люди впервые смогут увидеть разрез рельефа восточной Антарктиды, сделанный в этом полете,— от берега до полюса. Лик загадочного материка прояснится.

Бродкин — из немногочисленной породы тех, кто познакомился с авиацией не в юные лета, а с приходом зрелой мысли: полжизни, проведенной не в небе,— ошибка, заблуждение,— и с каким увлечением отдается он сейчас своему призванию, открывшемуся так поздно. Когда Перов ходил на Северный полюс, седоголовый Бродкин числился в молодых штурманах. Полярники знали его как метеоролога, а его тянуло в полет — и он стал осваивать штурманское дело. Полной мерой вкусил тогда Бродкин, что значит быть в экипаже «доморощенным» штурманом, без диплома,— недоверие, готовность поставить в строгую вину малейшую ошибку... У него выработалась защитная привычка: стоя за пилотским сиденьем, терпеливо, до конца прослеживать, как выполняются его команды. Но это не обижает Перова. Оба они, летчик и штурман, давно уже летают в глубоком внутреннем согласии. Мало ли что бывает между людьми на земле — все на земле и останется. Должно остаться. Небо, близко подступая к человеку в кабине, обостряет не только глаз, делает чутким не только ухо. Поэтому все, что не служит заданию, должно остаться за бортом.

«Тринадцать ноль-ноль. Высота 3 700. Координаты... Борту все порядке. Перов».

Ни одного названия, ни единого наземного знака, самого маленького пятнышка не могут они указать, чтобы обозначить свое местоположение. Только градусная сетка карты позволяет увидеть, где они сейчас,— на полпути между Мирным и Советской. Если бы появились вдруг какие-то скалы, выросла горная цепь, они не помогли бы Бродкину в ориентировке, напротив, только отвлекли: эти характерные приметы надо было бы нанести на карту как открытие... Надел штурман кислородную маску или нет? Высота полета приближается к серьезной цифре, без кислорода там тяжело: виски гудят, клонит в сон, все тело слабеет, в глазах плывут цветные круги... У Бродкина, однако, такое положение, что и кислородом ему пользоваться несподручно: прибор непереносный, короткий шланг пригвождает штурмана к столу, а сидеть на одном месте он никак не может. До астрокомпаса, например, шагов пять, никакого шланга не хватит, но оставить астрокомпас без своего бдительного контроля, без непрерывной проверки Борис Семенович, конечно, не может. До командирского кресла, до пилотажных приборов — еще дальше. Да, вряд ли дышит Бродкин кислородом из прибора, разве что по временам прикладывается к маске.

Я знаю, Бродкин тем дорог Перову, что в душе готов на самое тяжелое. На гораздо худшее, чем, скажем, даже встреча с белой мглой. А белая мгла опасна. Ее повадки чем-то родственны безмолвию, знакомому по Арктике. Только внешне все проявляется иначе. Вдруг от самой снежной поверхности, будто испарение, начинает дымиться странная завеса. Не то туман, не то облако, не то снежный холм. Быстро поднимаясь между смотровым стеклом и низким светилом, она рассеивает солнеч-

ный свет мириадами взвешенных кристаллов, растворяя горизонт, скрывая небо. Остается одно слепящее сияние. В него врезается самолет. Глазам делается больно, как в скрещении прожекторных мечей. Но ускользнуть в сторону невозможно: странная туманность почти так же бесплотна и неоглядна, как белое безмолвие,— в этом между ними сходство. Главное поэтому — выдержать.

Некогда американец Бэрд на пути к полюсу относительной недоступности встретился с белой мглой и отступил: она способна скрыть неведомые горы, в ней вдруг может подняться одинокая скала... Главное — выдержать.

«Прошли Советскую все порядке. Перов».

Следом из Советской: «15 часов 35 минут самолет высоте двухсот метров приветствовал нас глубоким покачиванием крыльев удаляясь сторону Южного полюса тчк Это было зрелище тчк Бабарыкин».

Зная характер Виталия Кузьмича, следует считать, что его служебная радиограмма проникнута на этот раз прямо-таки бездонным лиризмом, так, видимо, там у них было, в Советской. С восточной стороны никто и никогда не углублялся в Антарктиду столь далеко, как зимовщики этой станции. Два с половиной месяца находился в пути их саннотракторный поезд. Случалось, тягачи увязали в сыпучем снегу и пробуксовывали так, что штурманы, желая вычислить по спидометру пройденное расстояние, должны были сбрасывать со счетов десятки километров. Ход поезда стопорился... Тогда, чтобы продолжать движение, пускались в ход лебедки. За один прием груз подтягивался вперед на пятьдесят— сто метров,— так, поочередно, перетаскивались каждые из двенадцати саней. Адова работа. Учесть при этом, что альтиметр показывал три тысячи пятьсот над уровнем моря, термометр — минус сорок, минус пятьдесят. Работоспособность водителей и механиков резко снизилась, многие мучились одышкой, страдали от головных болей, у иных шла носом кровь.

Так они и прошли — ни мало ни много тысячу четыреста двадцать километров, чтобы открыть для синоптиков мира только одну точку, восполнить на метеорологической карте планеты только один пробел. Красный флаг был водружен начальником Советской на высоте трех тысяч семисот метров. Здесь же поставлен жилой домик.

В самый теплый день на этой станции было минус двадцать четыре. Обычно же все хозяйственные дела, все научные наблюдения, производятся при семидесяти — восьмидесяти градусах мороза. Ремни, маски, другие кожаные детали обмундирования так прокаляются морозом, что пальцы, случайно их коснувшись, получают сильное обморожение. Чтобы сделать записи, наблюдатель вооружается бруском пенопласта и не выводит, а выдавливает карандашом на его восковато-податливой на морозе поверхности цифры и слова. Нос, щеки, лоб на первых порах укрывали масками. Однако же в любой работе не столько дорого тепло, сколько возможность свободных, нестесненных движений,— и Бабарыкин первым вышел за порог, на метеоплощадку, без маски, защищенный своей пышной бородой-лопатой и плотным шарфом верблюжьей шерсти. К этому добавлялся особый навык в дыхательных движениях: воздух втягивался через шарф, а при выдохе пар изо рта направлялся на нос и глаза, обогревая их...

Так они работают там и живут. Шесть человек, горстка. Мужественные, богатырского духа люди. Первые в районе полюса относительной недоступности; это самый крайний — куда еще! — форпост отечественной науки. Нет ничего живого вокруг, даже какой-нибудь мелкой твари—

все убито льдом и морозом; не появится ни единого нового блика на снегу, свежей краски, на которой мог бы задержаться глаз,— пустыня, белая пустыня в самом полном и страшном значении слова... И вдруг над ними гудит самолет. Он несет наших еще дальше, на Южный полюс. Зимовщики бросаются из домика наружу. Машут, кричат, подбрасывая рукавицы, салютуют ракетами... Я думаю: то же самое, по сути, происходило двадцать один год назад, когда над папанинской льдиной промелькнул чкаловский «АНТ-25», прокладывая кратчайший путь от Москвы до Америки.

Перов тоже летит к американцам: его самолет опустится в Мак Мурдо, антарктической штаб-квартире США на берегу Тихого океана. Все предварительные переговоры велись на этот раз не сложным дипломатическим путем, а по открытому каналу радиотелефонной связи, который соединяет многие антарктические станции и позволяет ученым разных стран общаться между собой непосредственно, без вмешательства официальных лиц государственного ранга. Дело от этого ничуть не страдает, напротив. Приглашение, полученное из Мак Мурдо, было выдержано в самых гостеприимных тонах. Разве может летчик не оценить предусмотрительности, если в радиограмме со всей возможной детализацией описывались приметы и особенности незнакомой посадочной полосы, вплоть до расстояний между бочками, которыми обозначаются ее границы? Разве не проникнется добрым чувством к зимующему в Мирном американскому синоптику Мортону Джозефу Рубину, принявшему такое энергичное участие в проведении всех переговоров!

Лучших отношений между Мак Мурдо и Мирным и желать не приходилось. Подготовка экипажа шла полным ходом, и вдруг появились неприятные симптомы... А 23 октября из Мак Мурдо известили, что прилет русских желателен не позже 25-го числа текущего месяца. Другие возможные сроки оказались отнесенными к тому времени, когда посадочная площадка в Мак Мурдо, между прочим, раскиснет.

Сообщение поступило, когда Перов находился в воздухе, заканчивая облет двух новеньких моторов, только что поставленных специально для перелета.

Радиограмма из Мак Мурдо не означала, разумеется, отказа, не была запретом, нет — просто на окончание всей подготовки и выполнение самого полета экипажу предоставлялись одни-единственные сутки. Но тем очевиднее для Толстикова и Перова, что шаг, который им предстоит,— шаг подлинно доброй воли.

И они сделали его.

...Посадка в Мак Мурдо, в четырех милях от домика Скотта, еще предстоит; теперь же, когда мелькнула под крылом и скрылась Советская, нос перовской машины обращен в сторону американской станции, внутрь континента. На бортовой карте Бродкина она обведена кружком.

Эта станция носит название «Амундсен-Скотт». Вся ее жизнь проходит под снегом: строения соединены подземными ходами, освещенными дневным светом. На плоской крыше гаража воздвигнут красно-белый столб. Он удерживается сильными растяжками и увенчан шаром, как булава. Столб и шар обозначают самую точку Южного полюса. Американцы прокладывали к нему путь по воздуху. От исходной точки Мак Мурдо до полюса ближе, чем от Мирного до Советской, маршрут пролегает по ярко выраженной, богатой прекрасными ориентирами местности, но американские экипажи, доставлявшие на полюс людей, покрывали это расстояние все же в два приема, отдыхая и пополняя запасы горючего на

промежуточной базе Бирдмор. Затем производилась разведка собственно полюсного района, во время которой на лед сбрасывались автоматические радиостанции, баки с горючим и грузы. Баки были металлические. Они предназначались для заправки и одновременно отражали импульсы на экраны самолетных локаторов. Так авиации гарантировалась точность выхода на цель.

Но в настоящий момент станция Амундсен-Скотт, к сожалению, не может оказать радионавигационную помощь экипажу Перова, облегчить ему выход на трехметровый красно-белый столб. Радиоантенна, установленная на станции, не рассчитана на какую-либо связь с востоком, она — направленного действия; развернута и жестко обращена своей плоскостью в одну сторону — на Мак Мурдо, резиденцию адмирала Джорджа Дюфека.

Я вспоминаю мыс Барроу на Аляске. Каким, в сущности, незначащим могло быть в том полете его внезапное вторжение в диапазон наших волн, его угроза создать помеху. Ведь нас отделяло тогда от полюса каких-то двести пятьдесят — триста километров. Действительно, кажется мне теперь, трудно было тогда уклониться на таком отрезке... Да если бы даже и не вышли на цель, забрали в сторону? Ну и что? Штурманы немедленно запросили бы своих безотказных, стократ проверенных помощников — радиомаяки. И, спираясь на них, как на плечи друзей, вновь вывели бы самолет на точку Северного полюса...

Я понимаю, радиопривод американской станции Амундсен-Скотт молчит сейчас не преднамеренно. Но для Перова и всего экипажа его молчание много беспокойнее, чем непрошеное вмешательство мыса Барроу. Какое может быть тут сравнение! Почти три тысячи километров должны они одолеть, не имея после Советской под крылом ни одного знака, который облегчил бы счисление пути, ободрил своим появлением: верно идете, так держать! И на десятом часу такого полета долг и обязанность штурмана Бродкина заявить: «Вижу!» — и, может быть, вскинуть руку быстрым, счастливым жестом, указывая на едва приметные в снегу строения станции Амундсен-Скотт.

Восемнадцать американцев, находящихся там, извещены о появлении советского самолета, ждут. Они впервые увидят, как выходит на Южный полюс с востока советский самолет. Сколько будет потом разговоров: кто первым его заметил, да какой у него был вид, да как он развернулся и что сделал... В иностранце обычно ценят корректность, но ждут чего-то еще. Проявления своего, национального должно быть. В данном случае — русского. Точность русских, надо думать, не вызывает у них сомнений. Представляют, конечно, трудности, могут, переговариваясь между собой, воздать экипажу должное. Но мастерство русских расценивается ими как высокое, отточенное — опыт Антарктиды неоднократно подтверждал это. Надо думать, в профессиональной выучке русского экипажа им тоже видится сейчас нечто гораздо более значительное, чем летное мастерство.

К тому же американцы сами трудятся там. Так же переносят пурги и штормы, обжигаются на морозе, так же дожидаются вестей с материка. И, конечно, каждый из них бывает чрезвычайно доволен малейшим фактом, который говорит, что Антарктида поддается, уступает — открывается. Появление первого советского самолета над Южным полюсом вполне выразит решимость русских продолжать совместный натиск на Антарктиду. Собственно, вот это «свое», национальное, что имеет сказать командир экипажа Перов.

«Плато без трещин заструги гор не видно наземный транспорт может идти. Толстиков. Перов».

Радиограмма немедленно передается в отдел науки Дралкину, назначенному руководителем четвертой антарктической экспедиции. Пробегая эти строки, он может смело вообразить, как с лязгом и грохотом тронутся «Харьковчанки», начиная трансконтинентальный марш.

В это время Целищев сообщает нашему радиоцентру метеосводки, собранные им со всех антарктических станций, работающих по программе МГГ. Дежурный синоптик Главсевморпути настороженно присматривается к разбредшемуся по карте муравейнику черных значков. Они позволяют ему представить общую картину погоды, тенденции ее развития.

— Мак Мурдо может не принять,— тревожно говорит он.— Давление понижается, облачность, снегопад. Аэродром закрыт туманом. Мак Мурдо может выйти из игры.

Такая же сводка сейчас перед глазами Перова. Только текст не машинописный, а сделан Зориным от руки. Рядом с летчиком — метеоролог Бугаев. В настоящий момент он нужнее других. Ведь если новозеландский циклон не разрушится, посадка в Мак Мурдо исключена. Но, возможно, циклон не достигнет материка. Возможно, самолет придет раньше, чем ураган.

— Полчаса на размышления,— решает Перов.

Да, большего времени в их распоряжении нет. И за это время следует принять все меры, чтобы можно было вынести твердое, обоснованное решение: продолжать полет или возвращаться. И командир и весь экипаж также должны подумать эти тридцать... двадцать восемь минут, которые пока еще имеются в их распоряжении. Посадка в Мак Мурдо открыла бы наилучший вариант для достижения Южного полюса, превосходным образом разрешив острую проблему горючего; но вот половина пути пройдена, и встает вопрос: сумеют ли они достигнуть цели?

Сколько мыслей пронесется, какие мелькнут в уме планы, поднимутся и отпадут сомнения, прежде чем летчик произнесет свое «да» или «нет», решит твердо — идти вперед или возвращаться. Кабина самолета не место споров, экипаж узнает лишь последнее слово летчика, а все, что ему предшествует, огласки обычно не получает. Но, я думаю, тем, кто находится сейчас рядом с Перовым, понять его нетрудно.

В январе в Мирном гостили американцы. Их все занимало, все им было интересно. Осмотрели жилые домики, пересчитали их, ощупали со всех сторон. Нашли, что они прочны и удобны, что вообще Мирный благоустроен хорошо. Поднялись на крышу какого-то строения, сфотографировались. Спустились в гляциологическую лабораторию, устроенную в ледяной трещине. Все, кто ходил с гостями по лабораториям, слышали в их отзывах признательность за радушие и массу искреннего удивления. Узнали глубину буровой скважины: «О! Мы так еще не сумели!»; высоту запуска шара-пилота: «Это перекрывает наш рекорд!» За обедом пили водку, восхищались русской кухней («О!»), и за общим столом кают-компании временами бывало почти так же, как бывает, когда Мирный встречает своих, возвратившихся на санно-тракторных поездах из глубин материка,— только лица не знакомы, только речь чужая, только незримо витает над столами, вклиниваясь между собеседниками, вопрос: «Так-так, научный интерес, прекрасно,— а на душе у тебя что?..»

Сейчас главнейшая задача экипажа и его командира — коммуниста Перова — донести до американцев, передать им, что́ у них, советских людей, на душе. Не словами, разумеется, донести — всем этим полетом. А Перов, насколько я его знаю, не привык принимать решения, опираясь

на одни догадки, хотя бы и не пустые. Летчик во всем любит ясность. Этого пока нет.

Что в силах сделать Бугаев, чтобы обрисовать Перову метеообстановку полно, достоверно, точно? Чтобы раскусить норов новозеландского циклона, коснувшегося своими крыльями Мак Мурдо? Бугаев может заново исследовать знаки, рассыпанные по карте. Он уже сделал это — ясной картины нет. Что же еще можно предпринять? Вот что: запросить Астапенко. Да, вот кто важен для них сейчас — синоптик Павел Дмитриевич Астапенко. Он зимует на американской станции Литтл-Америка, работает там, как в Мирном — его коллега Мортон Джозеф Рубин. Сейчас Астапенко перебрался в Мак Мурдо. Ждет своих, полон беспокойства. Его Бугаев и запросит. Судьба посадки, судьба всего полета сразу прояснится. Есть другие доводы в пользу обмена научными сотрудниками? Возможно. Даже безусловно. Для тех, однако, кто следит за полетом Перова, одного такого довода больше чем достаточно.

Значит, они ждут, что ответит им Астапенко.

Вот, наконец-то: «Дальнейшего ухудшения опасаться не следует. Астапенко».

При таких известиях Перов имеет обыкновение отвалиться на спинку кресла и уставиться за борт. Медленно, тяжело потрет виски. Потом коротко, сухо зевнет:

— Едем?

Эта манера изъясняться о полете насмешливо, иронически, на сухопутный лад — «едем» — прикрывает целую пропасть, которую всегда видит или подразумевает летчик, сравнивая свою профессию с работой представителей прочих средств передвижения. Современный пассажир имеет много оснований об этой пропасти не помнить, летчик — хотя бы на минуту забыть.

Место строгого радиста у диспетчерского окна давно уже занял молодой паренек в яркой рубашке и брюках дудочкой. А Перов все «едет», мчится, все нацеливаясь, нацеливаясь на незримый красно-белый столб впереди, похожий на булаву...

«Явления ложных солнц, сильная дымка, болтает, видимость ухудшилась...»

Бродкин, Бродкин!.. Естественно бы ждать, что он уже оставил свой штурманский столик за дверью пилотской рубки, потеснил борт-механика Ефимова, который тоже держит наблюдательный пост возле Перова, рядом со вторым пилотом Афониным. Или все-таки пока еще стоит над картой? Все уточняет с линейкой и карандашом, повторно пересчитывает, проверяет себя, не допустил ли где ошибку? Да, трудно ему оставить это место, оторваться от него и пройти вперед, к Перову, бесповоротно стать лицом к лицу со своей судьбой... Но нет! Судя по времени — нет: завершающий отрезок расчетного пути — этот итоговый отрезок — уже выверен, начертан Бродкиным. Проложен твердо. Он дал командиру курс, назвал точное время их появления над станцией Амундсен-Скотт. Все это слышали, и все следят за бегом минутной стрелки.

— Время истекает... Не промахнулись? — может раздаться в кабине вопрос, полный нетерпения и тревоги.

Перов его не задаст.

Вот он, долгожданный ответ:

«Находимся над Южным географическим полюсом все порядке просим принять сердечный привет посылаемый Южного полюса идем Мак Мурдо. Толстиков. Перов».

...Сколько лет радисту в модной рубашке, принимающему этот текст? Лет двадцать, я думаю. Оказывается, двадцать один. Ну вот, следовательно, он едва народился, когда аппаратная, в которой он несет сейчас вахту, принимала радиограмму с борта первого советского самолета, достигшего Северного полюса. А еще двадцать один год спустя с полюса какой планеты будет принимать сообщения в этой аппаратной малыш, появившийся на свет сегодня?

Вероятно, первопроходчики далеких миров с улыбкой будут рассматривать свидетельства нашего современника о событиях и поступках, сопровождавших борьбу человека за освоение планеты Земля. Но им окажется понятным — тут нет сомнений! — даже очень близким труд, которым в этой настойчивой борьбе из поколения в поколение вырабатывалась, должно быть, необыкновенно важная для потомков ценность — характер нового человека. С его благородством, силой, мужеством, с его верностью большой мечте.

ПУБЛИЦИСТИКА

А. ТАЛАНОВ

★

ПУТИ-ДОРОГИ

То было на заре Советской власти в селе Широкове, укрытом дремучими костромскими лесами. Собрались широковцы на митинг в честь первой годовщины Великого Октября. Бедны, ох, как бедны тогда они были! Даже для праздничного стяга не имелось красной материи. Пришлось сделать его из кумачовой рубахи комиссара отряда, убиравшего урожай на полях.

Митинг прошел с подъемом. Горячо, от всего сердца, говорили сельчане о своих насущных нуждах и надеждах, которые возлагают на Советскую власть. В единогласно принятой резолюции было сказано:

«Просить тов. Ленина и весь Совет Народных Комиссаров о проведении шоссейной дороги от Ветлуги до с. Широково, в чем и мы, крестьяне Широковской волости, предлагаем все свои силы к устройству вышесказанной дороги. Просим Совет Народных Комиссаров субсидировать нам на устройство шоссейной дороги в память Октябрьской революции. Это с нашей стороны, крестьян, будет вечная память о революции. Какой бы крестьянин ни поехал, будет помнить Октябрьскую революцию, потому что мы, крестьяне, много сот лет купаемся в этой проклятой романовской грязи и в память Октябрьской революции шлем вечное проклятие дому Романовых, вместе со всеми царями и плутократами, и всемирной буржуазии и так далее».

Непосредственные, простые слова. И сколько в них правды! Царизм и бездорожье, издавна неразлучные, сковывали свободу и сливались в единое понятие — «романовская грязь». Раскрепощенные люди мечтали освободиться от нее полностью.

С первых дней своего существования Советское государство повело решительную борьбу с бездорожьем. В. И. Ленин придавал этому делу огромное значение, непосредственно участвуя в его организации. Уже в начале 1918 года при ВСНХ было создано Управление по сооружению шоссейных и грунтовых дорог, а при местных Советах — дорожные отделы.

Все приходилось налаживать почти с нуля. В стране не было хороших дорог. Даже лучшие из них — булыжные и грунтовые, доставшиеся «в наследство» от царского правительства,— за время империалистической и гражданской войн пришли в полный упадок. Да и протяженность их была весьма небольшой.

Молодое, еще не окрепшее государство, разумеется, не могло полностью разрешить дорожную проблему. Для этого не хватало ни денежных, ни технических средств. Но когда советские пятилетки укрепили народное хозяйство, дорожное строительство повелось с большим размахом. Накануне Великой Отечественной войны только в Российской Федерации было построено и реконструировано почти триста пятьдесят тысяч километров дорог, в том числе сорок три тысячи километров — с твердым покрытием.

К тому времени были сооружены такие магистрали, как Амуро-Якутская, протяжением около девятисот километров. Чуйский тракт в горном Алтае, протянувшийся на шестьсот километров, Усинский тракт, проложенный на сотни километров в труднейших условиях Тувинской республики, семисоткилометровая автострада Москва—Минск и многие другие важнейшие магистрали.

Война нанесла дорожному хозяйству страны тяжкий урон. Пострадала не только значительная часть самих дорог, была разрушена и производственная база дорожно-строительных организаций. По существу, ее пришлось создавать заново.

Благодаря заботам партии и правительства дорожное хозяйство стало возрождаться на более совершенной технической основе. Дорожники получили много грейдеров, экскаваторов, автомобили и необходимые материалы.

Все это позволило не только ускорить восстановление старых, но и развернуть строительство новых дорог. В послевоенные годы были сооружены и реконструированы автомобильные магистрали: Москва—Симферополь, Киев—Харьков, Ростов—Грозный, Новороссийск—Сочи, Ленинград—Киев. Немало сделано за последние годы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. На целинных землях только в Российской Федерации построено тысяча семьсот километров дорог.

Достижения, бесспорно, великие! И все же дорожная сеть заметно отстает от бурно растущих потребностей народного хозяйства. Отставание и количественное и качественное. Нельзя забывать, что больше трех четвертей наших дорог — грунтовые, то есть малопригодные для автомобильного транспорта. В весеннюю распутицу и в период осенних дождей по этим дорогам «ни конному, ни пешему — ни проходу, ни проезду». А пролегают такие дороги по большей части в сельскохозяйственных районах, где во время посевной и уборочной кампаний автотранспорт особенно необходим.

Даже в центральной части страны, где дорожная сеть относительно гуще, многие области до сей поры не имеют дорог, обеспечивающих постоянное автомобильное сообщение с Москвой и с соседними экономическими районами. Назовем, к примеру, такие крупные промышленные города, как Тамбов, Саратов, Липецк или Воронеж. Большинство дорог, связывающих областные центры с районами, находится в плохом состоянии. За редким исключением, это старые грунтовые пути, непроезжие для автотранспорта.

Бездорожье наносит нашей стране колоссальный ущерб. По подсчетам специалистов, ежегодные потери народного хозяйства от бездорожья достигают десяти миллиардов рублей. Цифра эта неуклонно растет в связи с быстрым увеличением автоперевозок; уже сейчас автомобилями перевозится в два с половиной раза больше тонн грузов, чем всеми остальными видами транспорта, взятыми вместе. Потери огромны! Они тем более досадны, если учесть, что капитальные вложения в дорожное строительство оправдываются быстро: в три-четыре года.

Современная автомобильная дорога — это трудоемкое инженерное сооружение, требующее значительных денежных и материальных средств. Достаточно сказать, что один километр обычной автомобильной дороги второй или третьей категории обходится в среднем в восемьсот — девятьсот тысяч рублей, а то и больше. На каждый километр нужны примерно пятьсот тонн цемента или сто тонн битума, много арматурной стали, камня, дефицитных материалов.

Можно ли снизить эти расходы? Да, бесспорно! Есть возможности добиться весьма ощутимой экономии средств и таким образом получить дополнительные фонды для наращивания темпов строительства.

Но, прежде чем касаться этой важнейшей темы, познакомим читателя с перспективами дорожного строительства в предстоящей семилетке. Вот несколько выразительных цифр.

В нашей стране будет построено сорок четыре тысячи семьсот километров автомобильных дорог; из них более половины на территории РСФСР. Кроме того, силами и средствами местных организаций и предприятий в сельских районах Российской Федерации будет построено еще не менее пятнадцати тысяч километров дорог с твердым покрытием. Это не считая работ по реконструкции. Таким образом, в предстоящую семилетку в дорожном хозяйстве страны будет сделано в полтора раза больше, чем за все годы Советской власти.

Уже в ближайшие годы на наших картах обозначатся новые автомагистрали. Из Москвы протянутся дорожные артерии к Сталинграду, Риге, через Куйбышев и Уфу —

к Челябинску, на автомашине можно будет удобно проехать из Ленинграда в Мурманск, из Новосибирска — в Барнаул... Много других городов и селений нашей необъятной страны свяжутся друг с другом нитями автомагистралей. Развитие сети автомобильных дорог позволит своевременно и дешево вывозить сельскохозяйственные грузы из глубинных районов, в особенности с целинных земель, к станциям железной дороги и непосредственно к местам потребления.

Резко возрастет за семилетие число междугородных и межрайонных автобусных маршрутов. Будет, например, организовано автобусное сообщение на тысячекилометровом маршруте Москва — Сталинград; из Куйбышева автобусы пойдут за семьсот шестьдесят километров в Челябинск. К концу семилетки автобусы будут перевозить в 3,4 раза больше пассажиров, чем теперь, причем почти в пять раз возрастут междугородные пассажирские перевозки.

Для выполнения огромного плана, намеченного на семилетие, дорожники должны будут освоить огромные денежные и материальные средства. Только дорожным предприятиям РСФСР предстоит уложить около ста восьмидесяти миллионов кубометров камня, более семи миллионов тонн битума, эффективно использовать огромный парк строительных механизмов.

Можно не сомневаться, что этот грандиозный план будет осуществлен. Порукой тому — убедительные итоги прошлых лет: множество машин уже и сегодня мчится по асфальту и бетону шоссейных магистралей. А ведь совсем недавно (тут к памяти всеведущих «старожилов» и прибегать не надо!) автомобильные магистрали имелись только вблизи больших городов, да и то не всех.

Кстати, заветное желание жителей села Широкова о том, чтобы можно было добираться по булыжной дороге до ближайшего города Ветлуги, сбылось в таких масштабах, о каких тамошние крестьяне не смели и мечтать. Ныне усовершенствованное шоссе соединяет Широково не только с Ветлугой, но, протянувшись на две с половиной сотни километров, достигает города Горького.

Перед нами — семилетка, таящая в себе могучие, даже для нашей страны удивительные возможности. Возможности эти чрезвычайно велики и в дорожном деле.

И все же, если мысленным взором представить будущую дорожную карту, то вместе с радостью от грядущих успехов возникает сложное чувство, которое, пожалуй, следует назвать бескорыстной жадностью. Жадностью советского человека, жаждущего для своей страны все бо́льших и бо́льших достижений.

Могут ли наши дорожники перевыполнить свой семилетний план?

Вопрос этот не так нескромен, как может показаться на первый взгляд. Ведь новые линии и кольца на дорожной карте страны означают великую прибыль для всего народного хозяйства. Следовательно, надо искать дополнительные, скрытые резервы, чтобы таких линий и колец стало на карте предельно больше.

Известно, что стоимость каменных материалов составляет примерно половину затрат на строительство полотна дороги. А камня требуется уйма! Потребность в нем не поспевает удовлетворяться, и во многие области его привозят в вагонах издалека.

Но для замены камня существуют подходящие материалы, имеющиеся в изобилии почти всюду: гравийные смеси, известняки, ракушечники, шлаки. Опыт показал, что эти распространенные материалы, если их укреплять битумом, дегтями, известью или другими вяжущими добавками, являются превосходным заменителем камня.

К сожалению, подобный вид дорожной одежды еще не стал «модным». Там, где он должен был бы найти широкое применение, им пользуются еще мало. Почему? Прежде всего из-за недостатка нужной техники. В этом отношении мы еще отстаем от некоторых зарубежных стран, где давно и широко используются гравийные и грунтовые смеси для устройства дорожных оснований и покрытий. Для такой цели там имеются высокопроизводительные машины, благодаря которым стоимость работ сильно снижается.

Сам собой напрашивается вывод: пора прекратить дорогостоящие дальние перевозки камня по железной дороге! Надо наладить выпуск современных дорожных машин на наших заводах, а также путем кооперации с заводами Чехословакии, Венгрии и ГДР, где эти машины производятся отлично и в большом количестве. Механизация эта принесет огромный эффект, позволив дополнительно построить сотни и тысячи километров новых автомобильных дорог. Госплан СССР и Государственный Комитет по внешним экономическим связям должны рассмотреть и разрешить этот остро назревший вопрос.

Неисчерпаемые возможности для удешевления и ускорения дорожного строительства дает метод «народных строек». Метод этот вполне себя оправдал. Так, например, рязанцы в прошлом году за несколько месяцев соорудили свыше двухсот километров, а в этом году собираются проложить еще четыреста километров усовершенствованного пути на «Большом кольце», охватывающем важнейшие районы области.

Опыт рязанцев примечателен. О нем стоит рассказать подробнее. Как зародилось здесь дело, ставшее общим, народным? Зачинателей его надо искать и в обкоме партии и в отдаленных районах области. Действуя рука об руку, люди порешили ликвидировать бездорожье в области «всем миром». Колхозники, работники совхозов, рабочие фабрик и заводов горячо откликнулись на призыв участвовать в строительстве. Многие промышленные предприятия дружно взялись помогать общему делу. Так родился лозунг: «Дорогой пользуются все, и строить ее должны все!»

Не следует думать, что рязанское «Большое кольцо» охватывает лишь глухие, «медвежьи» уголки. На Рязанщине есть бурно развивающиеся районы, все еще остающиеся изолированными от своего областного центра. Что греха таить, имеются и такие места, куда во время весенней и осенней распутицы добраться возможно разве только на вертолете.

Касимов... Еще недавно его насмешливо называли «столицей» дремучего Мещерского края. Ныне это город с растущей промышленностью и многими культурными учреждениями. Здесь находятся крупнейшая в стране сетевязальная фабрика, судоремонтные мастерские, четыре техникума.

Но касимовцы только в период навигации располагают удобной транспортной связью с областным центром, ибо железная дорога находится далеко от города, выросшего на берегу реки. Немудрено, что касимовцы еще недавно мечтали: «Если б наш город был связан со своими соседями хорошей автострадой...» И вот наконец мечта их осуществляется!

«Большое кольцо» проникло и в дебри Мещеры. Здесь непроходимые леса, топкие болота. Однако дебри таят в себе несметные богатства. Сеть осушительных каналов уже начала покрывать болота и мшары. И не далеко то время, когда почва, став плодородной, будет давать здесь щедрые урожаи картофеля, кукурузы и овощей. Как нужна дорога в такой местности!

Южное полукружие «Большого кольца» захватывает места, с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Это Скопин — «подмосковная кочегарка», снабжающая углем столицу, индустриальный Михайлов, зажиточные колхозные районы: Захарово, Ряжск, Сасово... Автодорога повлияет не только на дальнейший расцвет местной экономики, но и на культурную жизнь.

Вот какой разговор вели со мной жители одного из дальних колхозов.

— Когда наладится автобусное сообщение, мы сможем посещать театры, музеи, бывать на концертах в Рязани и даже в Москве! — говорила учительница.

— А я думаю о большем! — возразил присутствовавший при беседе агроном.— Чтобы рязанские и московские лекторы, писатели, артисты сами приезжали к нам. Ждать этого теперь недолго...

Действительно, фронт дорожных работ уже приближался к той местности. В лесной чащобе светлела недавно сделанная просека. Посередине ее высилось полотно, подготовленное для дорожной одежды из щегольского асфальта. Впереди бульдозеры, скреперы, грейдеры вели дальнейшее яростное наступление. Машины засыпали овраги,

срезали холмы, укладывали трубы для стока грунтовых вод. Все указывало на то, что дорога тут будет на славу!

Осенью прошлого года часть «Большого кольца» уже была открыта для движения. День этот превратился в настоящий праздник для жителей Михайловского, Захаровского и других соседних районов, которые испокон веков были отрезаны бездорожьем от окружающего мира. До постройки этой части кольца невозможно было из Михайлова попасть в Рязань иначе, как кружным путем через Москву по железной дороге. Поездка занимала до трех суток и стоила полтораста—двести рублей. Ныне автобус довозит отсюда до Рязани за полтора часа, и билет стоит в десять раз дешевле.

Было бы неверным считать, что рязанцы первыми в стране взялись за сооружение дороги методом народной стройки. Смело опираясь на местную инициативу, горьковчане еще ранее построили удобный автомобильный путь протяжением в четыреста пятьдесят километров. Таким же методом проложены пути в горах Дагестана, в лесистой Коми АССР, в Мордовии и Свердловской области.

К сожалению, этими примерами перечень народных строек почти ограничивается. Невольно задаешься вопросом: почему успешный, вполне оправдавший себя почин горьковчан, рязанцев и дагестанцев не подхвачен широко в других наших областях и республиках? Как благотворно отразилось бы это на жизни многих городов и селений, разобщенных бездорожьем.

Самодеятельное строительство дорог открывает широчайшие перспективы. Дело это общегосударственного значения, особенно важное в сельских местностях. Вспомним слова Н. С. Хрущева, произнесенные на совещании передовиков сельского хозяйства в Белоруссии: «Надо строить дороги за счет колхозов. Нельзя надеяться только на государство. Колхозы должны и имеют возможность строить дороги, ибо они много теряют от плохих дорог».

Убедительные слова! Справедливость их доказывает успешное участие колхозников в создании рязанского «Большого кольца». И разве не показателен такой факт. Когда в 1956 году в стране началось самодеятельное сооружение местных дорог, их было построено всего сто тридцать пять километров. Но уже спустя короткое время тринадцать областей, краев, автономных республик соорудили тем же методом свыше тысячи километров отличных путей.

Это патриотическое движение надо повсеместно и всячески развивать. В Российской Федерации десятки областей, краев, округов. Сколь много можно сделать здесь своими силами и средствами для победы над бездорожьем! Лозунг «Дорогой пользуются все, и строить ее должны все!» следует сделать всеобщим. Пусть рязанское «Большое кольцо» станет звеном единой цепи советских автомагистралей, самодеятельно сооруженных населением. Бездорожье — «проклятую романовскую грязь» — надо ликвидировать быстро «всем миром». Тогда сбудется старинная российская поговорка: «Дорога как скатерть — садись да катись!»

Местное население, а особенно молодежь, может оказать неоценимую помощь и в озеленении дорог. Поэтому всячески следует приветствовать инициативу Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР и Министерства просвещения РСФСР, объявивших конкурс среди молодежи на лучшее озеленение дорог.

В конкурс активно включились комсомольцы и пионеры Ростовской области. Радует их призыв: «Пусть зашумит листва над всеми дорогами нашей области!» С ними перекликаются белгородцы, взявшие обязательство озеленить в текущем году триста километров автомобильных дорог. Честь и хвала местной молодежи! В прошлые годы они уже успели посадить и выходить вдоль дорог рощи акаций и кленов, аллеи яблонь и груш.

Увы, примеры эти пока не часты. Еще очень немногие школы, станции юных натуралистов, дома пионеров подхватили замечательное начинание, имеющее большое воспитательное значение. К стыду москвичей, надо сказать, что в этом деле, которое им следовало бы возглавлять, они плетутся в хвосте. Молодежные организации столичной области почти не принимают никакого участия в конкурсе по озеленению дорог.

Очень обидно, что к лесопосадкам зачастую относятся небрежно, отчего они не приживаются, гибнут. В Брянской области по этой причине погибла половина лесонасаждений, примерно такая же картина в Липецкой, Калужской и других областях.

По контрасту вспоминаются отличные дороги Эстонии и Латвии, особенно привлекательные тем, что по обеим сторонам их высятся стройные вечнозеленые стражи — ели, сосны — или веселые березки. Заботливые руки посадили эти деревья, и они же бережно следят за их сохранностью. Вот с кого следует брать пример юным и взрослым друзьям озеленения!

Существует старая русская поговорка: «Тело довезу, а за душу не ручаюсь!» Не за горами то время, когда поговорка эта попадет в число забытых и требующих пояснения. Ведь уже к концу семилетки почти половина всех пассажирских перевозок в нашей стране — а в городах много больше половины — будет производиться автотранспортом. Ездить будет удобно и быстро.

Но удобств в пути, как и милостей от природы, нельзя ждать, так как они не приходят сами собой, а их надо создавать. Готовы ли наши дорожники к тому, чтобы не только облегчить тяготы продолжительного путешествия, но сделать его приятным, комфортабельным?

Посмотрим, каково сейчас положение на основных магистралях.

Москва — Петербург... Исторический тракт. Радищев, Пушкин, Гоголь не раз ездили тут на перекладных в почтовом возке. Невольно вспоминаются их мысли, чувства, рожденные в дальнем пути. «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! — взволнованно писал Гоголь.—...Как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!»

Старая грунтовая дорога, по которой часто ездил, а вернее сказать, добирался Гоголь, ныне превращена в отличную автостраду. Но и в своей новой щегольской одежде она по-прежнему хранит волшебное свойство: манить в свои убегающие дали.

Недавно я отправился по этой трассе в автомобиле. Вот вкратце как протекало это путешествие.

...Взметающиеся ввысь мачты Химкинского речного вокзала остались позади, затем мелькнул мост, перекинутый высоко над каналом, и машина помчалась по пути, устремленному прямо на север.

Километровые столбы один за другим убегали назад. Вскоре впереди задымились заводские трубы Клина. Еще совсем недавно путешественник прежде всего замечал усадьбу-музей П. И. Чайковского, находившуюся на окраине тихого города. Но за последние годы Клин стал расти со сказочной быстротой. Скромная усадьба великого композитора сжалась кольцом вновь выстроенных жилых домов и предприятий.

За Клином дорога вбегает в живописную местность Завидово. Здесь, в лесных дебрях, на берегах Волги,— обильные охотничьи и рыболовные угодья. Даже торопливый автотурист останавливает тут машину. Хочется оглядеться, полюбоваться царством величавой природы. Да и вообще пора остановиться: каждому водителю известно, как важно дать отдых глазам после длительной езды по шоссе.

Однако внезапно налетевший дождь заставил вернуться к машине и снова взяться за руль.

— Как жаль, что тут нет гостиницы, где можно было бы отдохнуть вдосталь! — подосадовал мой спутник.

Действительно, в гостинице нуждаются не только любители природы и туристы. Шоферы грузовых машин, направляющиеся из Ленинграда, подолгу без перерыва сидят за рулем. Здесь, на последнем этапе перед столицей, они должны отдохнуть. Зимой это особенно важно, когда отогреться негде, умыться негде, а питаться приходится всухомятку в кабине машины.

— Был у меня разговор об этом в Гушосдоре,— заметил я.— Увы, разговор скверный. Мне там горячо доказывали, что дорожные гостиницы, буфеты и станции техни-

ческого обслуживания — дело районных организаций. «Пусть они хозяйничают на дороге!» — отмахиваются от лишних забот работники Гушосдора.

— Нетрудно представить себе, что произошло бы на железных дорогах, если бы там стали на подобную точку зрения,— усмехнулся мой собеседник.— Железнодорожные станции остались бы без почты, буфетов, медпунктов, газетных киосков...

— В Калинине резиденция начальника дороги Москва — Ленинград. Зайдем к нему! Быть может, он чем-либо утешит,— предложил я.

— Ну что же, зайдем,— скептически откликнулся спутник.

Признаться, я тоже слабо верил в обнадеживающие слова, которые ожидал услышать, переступив порог кабинета начальника дороги. Но сильно ошибся: товарищ Самцов оказался человеком, рассуждающим иначе, чем его министерские коллеги.

— Проблему обслуживания на дороге надо решить во что бы то ни стало! — подтвердил он.— Для такой цели нам не отпускают средств; все же, без ведома начальства, мы кое-что предпринимаем. Например, в Едрове приспособили под гостиницу дорожное помещение. Возле Городни сооружаем заправочную колонку и небольшую гостиничку в пять комнат. Масштабы, конечно, скромные. Что поделаешь, все делаем за счет внутренних ресурсов и, повторяю, тайно от начальства.

Да простит начальник дороги, что я раскрываю этот «секрет». Но, право, в его действиях нет греха. Местная хозяйственная инициатива заслуживает не осуждения, а всяческого поощрения!

Мы продолжали свой путь. Ровная, широкая, почти лишенная поворотов автострада позволяла развивать скорость. Стрелка спидометра, послушная водительской воле, ползла вверх, склонялась вправо к трехзначным цифрам. Вскоре показалась окраина Вышнего Волочка — города своеобразного, живописного, о котором Радищев писал с восхищением: «Никогда не проезжал я сего нового города, чтобы не посмотреть здешних шлюзов. Первый, которому на мысль пришло уподобиться природе в ее благодеяниях и сделать реку рукодельную, дабы все концы единыя области в вящее привести сообщение, достоин памятника для дальнейшего потомства».

До нашего времени вышневолоцкие каналы и шлюзы не потеряли своего значения. Прав Радищев, строитель их достоин памятника, и можно лишь пожалеть, что имя его осталось потомкам безвестным.

Но слава бывает разной.

Мне не удалось установить имени, отчества и фамилии нашего современника, велевшего при въезде в город выписать зазывные для автомобилистов всего мира слова: «Продажа бензина и масла». Но проезжим гражданам, не следует верить местному рекламисту: бензина им не отпустят. Почему? Потому, что у проезжих не окажется соответствующего талона, который выдается лишь для местных казенных надобностей.

Не следует думать, что здешние хозяева дороги вовсе не заботятся о едущих в автомобилях. Именно для их услаждения по пути установлены многочисленные украшения. Вот на фоне густых деревьев неожиданно возникает огромный плакат — некое юное существо в ярком развевающемся платье, подобное ангелу, уносящемуся в поднебесье. «Путь к звездам» — гласит загадочная надпись над главой ангельской девицы. Или вдруг среди лесных дебрей появляется скульптурный пионер, с видом старого ученого углубившийся в книгу. Эти стандартные пионеры во множестве расставлены на всем пути. Правда, у путейцев есть и другая любимая ими скульптура — «теннисистка». Ох, уж эта примелькавшаяся девушка! Она грозно заносит ракетку гипсовой рукой, нисколько не задумываясь о нелепости своего пребывания за обочиной на болоте, или в зарослях кустарника, или... Впрочем, где только не приходится встречать эту неприхотливую спортсменку, которую дорожники устанавливают всюду без разбора.

Увлечение плакатно-скульптурными украшениями обходится весьма дорого. Когда не находят средств для действительно необходимого, это особенно прискорбно.

Скромная гостиница в Едрове не заслуживала бы упоминания, если бы не была пока единственной от Москвы до Ленинграда. В ее нескольких комнатах умещается десятка два коек, закусочная, туалет. Но даже в таком виде едровская гостиница — благословенный приют для шоферов.

Можно ли без больших затрат открыть еще несколько таких дорожных приютов? Да, и довольно легко.

Вот что рассказал мне товарищ Юлин, мастер дорожно-ремонтного пункта в Крестцах на Валдае.

— Посмотрите, какие замечательные помещения выстроены для нашего ремонтного пункта! Двухэтажный жилой дом, рядом другой большой дом. Просторные гаражи и обширный склад для горючего... Однако фактически мы используем только один жилой дом. Все остальные помещения пустуют и ветшают. Почему? Потому, что строили по типовому проекту без учета действительной надобности. Одна баня чего стóит! Огромное сооружение, которое даже мы, живя среди леса, не в состоянии протопить, столько она пожирает топлива. Кстати, такие бани, по тому же типовому проекту, строят в степях Украины, где, как известно, с дровами туговато... Мы, ремонтники, предлагаем наши пустующие помещения приспособить для гостиниц, станций обслуживания, заправочных и прочего необходимого на автостраде. Расходы для этого потребуются минимальные. Ведь все основное уже имеется, надо только доставить оборудование...

Разумное предложение! Нельзя строить по единственному типовому проекту одинаковые дома для теплого юга и сурового севера. И необходимо прекратить расточительное сооружение помещений, в которых далеко не везде есть нужда. А пока что и впрямь следует использовать их для обслуживания проезжего люда.

На заставе у въезда в Ленинград я остановил машину. Забрызганная грязью, запыленная, она была очень непривлекательной. В таком виде появляться в большом нарядном городе было недопустимо.

— Где можно помыть машину? — обратился я к шоферу такси, стоявшего у обочины.

— В районе заставы мойки нет. Ближайшая — на Лиговке, на станции обслуживания, отсюда несколько километров. Верно, далековато... Могу посоветовать воспользоваться вот тем ручьем,— указал шофер на воду, бурлившую в придорожной канаве.

Я поблагодарил за совет, однако не рискнул наводить чистоту мутной водой из канавы и отправился на далекую Лиговку.

К счастью, как транзитного гостя, приняли меня там вне очереди. А очередь была изрядно длинной: чтобы попасть к заветным воротам мойки, с которой начинаются профилактические процедуры, требовалось затратить часа четыре-пять на ожидание.

— Такое скопление клиентов — постоянно?

На мой вопрос работник станции ответил:

— Каждодневно. В разгар летнего сезона очередь станет еще больше. Удивляться тому не приходится. В городе всего лишь три станции обслуживания. Пропускная способность их невелика, а число машин заметно растет. Впрочем, в недавнем прошлом существовала еще одна отлично оборудованная станция на Тележной улице. Но ее...— он негодующе махнул рукой,— взяли да прикрыли.

Умытая машина выехала с площадки лиговской станции к вечеру. Точнее — в восемь часов вечера. Время не позднее, как говорится, «детское», однако для меня, иногороднего автомобилиста, оказалось оно роковым. И по очень простой причине: бензоуказатель на приборной доске приблизился к нулю, а хозяйственные магазины, где следовало приобрести талоны для получения бензина в колонках, уже закрыли свои двери.

Простейшее дело — наполнить бак горючим — оказалось невыполнимым.

— Если талонов не имеете, не пущу! — прозвучал неумолимый голос из окошечка колонки.

— Сейчас купить их негде. Что делать?

— И завтра не купите, и послезавтра тоже.

— Почему?

— Как вы не понимаете, гражданин, ведь завтра — начало нового квартала. Два дня в начале каждого квартала магазины еще не получают новых талонов. А бывает, что и три дня ждут не дождутся их получения...

Положение усложнялось все более, становилось безвыходным. В этот критический момент за моей спиной послышался шепот:

— Выручу! Отъезжайте в сторонку.

Спасительный шепот! Через минуту за углом я совершил преступление: из грузовой машины перелил в бак своей машины пятьдесят литров бензина.

Директор Автотехснаба В. И. Пирогов вершит всеми делами по обслуживанию ленинградских автомобилистов. К нему я обратился с назойливыми корреспондентскими вопросами.

— Почему не отмените нелепую талонную систему для покупки бензина?

— Помилуйте, как можно! — воскликнул Пирогов.— Иначе возникнут злоупотребления!

— Наоборот, ваша система вызывает злоупотребления. Вот я, например, вчера купил бензин «слева».

— Нехорошо поступили.

— В Москве давным-давно отменили талонную систему. Деньги уплачиваются непосредственно колонщику. Просто и удобно!

— То в Москве...

— А почему у вас так мало профилактических станций?

— Маловато, действительно. Три года назад Ленгорисполком постановил открыть на въездах в город еще пять станций обслуживания. Мы уже подготовили всю нужную техническую документацию.

— Однако станции-то не строятся?

— Нет, и прежде всего потому, что не ясно, кто должен этим заняться. Что касается нас, то мы не располагаем средствами.

— Заколдованный круг?

— Пожалуй...

— А каково положение с гостиницами для автотуристов?

— На Приморском шоссе в Зеленогорске имеется такая гостиница местного торга, нако попасть туда автотуристу трудно.

— Почему?

— Гостиницу заполнили дачные постояльцы. Да и жить там дороговато: к примеру, «люкс» стоит пятьдесят четыре рубля в сутки — цена отнюдь не туристская. у нас с этим делом! — заключил директор конторы Автотехснаба.

адостное впечатление оставила эта беседа. И только тешила надежда, что полком вмешается в создавшееся положение и выполнит свое благое наме-

гоит утомлять внимание читателя подробностями дальнейшего путешествия ое-чем, хотя бы бегло, хочется поделиться. Вот некоторые записи из путевого

дорогах в Эстонии нет ненужных украшений, зато встречаются деловитые л, вроде непривычного нам: «Сбор учеников» — это для детей, которых в авто-озят в колхозную школу... Уютные чайные и столовые, где можно сытно и де-кусить, часто попадаются в селениях по пути. Естественно, задаешься вопросом: в других местностях сельская потребкооперация не открывает вот такие заку-.е? Что препятствует перенять у эстонцев простой образец?

На площадях наших больших «беспокойных» городов следует, по примеру Тал-выделить охраняемые стоянки для автомашин. Для приезжих туристических ин, не имеющих своих баз для ночевок, это очень важно.

..Водительская культура в Прибалтике отражается в «походке» машин. Обычно вижутся они солидно, без превышения скорости, легковой транспорт охотно уступает дорогу встречным грузовым труженикам. Тщательное соблюдение правил уличного движения прививается и пешеходам. Делается это иногда с юмором. В Пярну в магазине тканей поставлен указатель, точно такой, как на дорожной развилке: «Шелк — налево! Штапель — направо!»

...Навстречу непрерывным потоком мчатся грузовые машины. Досадно видеть, что многие из них едут порожняком, причем, судя по номерам, некоторые направляются из дальних мест. Не случайно их называют «автобродягами»: иногда они совершают холостые пробеги, исчисляемые сотнями и даже тысячами километров. Так напрасно тратится труд квалифицированных людей, расходуется горючее, изнашивается транспорт.

А ведь для рационализации перевозок имеется множество еще не использованных возможностей. Например, ощутимую пользу могли бы принести автомобильные грузовые станции, подобные тем, что существуют на железной дороге. На таких станциях можно было бы собирать мелкие грузы для дальнейшей отправки их в любом направлении, как это обычно делается на железнодорожном транспорте.

Нужно ввести в практику и автопоезда со сменными тягачами, которые будут работать, подобно локомотивам, на определенных перегонах. Организовать это отнюдь не сложно. Следует лишь устроить «оборотные депо» для автопоездов.

Внедрение этого метода сулит крупные выгоды для народного хозяйства, ликвидируется и бесконтрольное, дорогостоящее «автобродяжничество».

...Машина берет курс на восток — впереди прямая, как стрела, Минская автострада. Путешествие приходит к концу на самой благоустроенной дороге нашей страны. Трасса ее находится в превосходном состоянии, и через каждую сотню километров имеется необходимый «сервис»: заправочные, мойки и под нелепой вывеской «Трассовый дорресторан» — неплохие закусочные. Видно, товарищи из Гушосдора пошли на уступки и... проявляют здесь заботу о проезжих».

Нет нужды приводить записи, сделанные в других путешествиях. За исключением Симферопольской автострады, также известной своим благоустройством, положение всюду примерно одинаковое: новые автомобильные дороги радуют своим качеством, но обслуживание на них вызывает досаду.

Сооружение автодорог в предстоящем семилетии приобретет размах, доселе невиданный. «Далекая, далекая дорога» должна стать не подчас, а всегда и во всем хороша И дело это — всенародное!

МЕСТНЫЕ УСЛОВИЯ— РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР

Читатели о статье Л. Иванова «Когда сеять?»

Статья Леонида Иванова «Когда сеять?», напечатанная в третьей книжке «Нового мира» за этот год, вызвала много откликов. Редакция журнала получила письма, заметки, небольшие статьи из Сибири, Казахстана, с Урала, из Башкирии, Белоруссии, Ярославской области и других мест. И авторы этих писем разные: агрономы, директор РТС, научный сотрудник сельскохозяйственной опытной станции, секретари райкомов КПСС, инженер, журналист и так далее.

Это говорит о большом внимании нашей общественности к земледелию в Сибири. Ведь этому краю, ставшему в последние годы важнейшей житницей страны, принадлежит одна из ведущих ролей в успешном осуществлении поставленной XXI съездом КПСС задачи — к концу семилетки довести сбор зерна в стране до десяти-одиннадцати миллиардов пудов в год.

Вместе с тем довольно узкая, казалось бы, тема статьи — необходимость пересмотреть ставшие привычными в Сибири сроки сева и привести их в соответствие с практикой колхозов и совхозов, получающих наиболее высокие урожаи,— в читательских откликах вышла за рамки только этого вопроса. В них говорится о вреде шаблона в агротехнике и о том, что при решении задачи повышения урожайности надо всегда исходить из конкретной обстановки.

Напомним вкратце, в чем суть дела. Автор статьи «Когда сеять?», подчеркивая, что «выбор правильных сроков ярового сева — это один из важнейших резервов повышения урожаев зерновых, да и не только зерновых культур» в условиях Сибири, считает, что этот вопрос остается еще не решенным до конца. Л. Иванов приводит данные по «Цветочный», «Целинный», «Розовский», «Боевой» Омской области, из которых следует вывод, что увлечение слишком ранними сроками сева наносит вред урожаю. Напротив, посев яровой пшеницы со второй декады мая, по мнению автора, дает лучшие результаты.

Однако среди колхозников, рабочих совхозов, специалистов сельского хозяйства на этот счет единого мнения нет. Между тем с каждым годом вопрос о правильных сроках сева приобретает все большую остроту. Если раньше, указывает автор, из-за недостатка машин весенний сев продолжался 40 и даже 50 дней и какой-нибудь год «попадал в точку», то теперь положение изменилось. Мощная техника, которой вооружены колхозы и совхозы, позволяет высевать основную культуру — яровую пшеницу — за 7—10 дней и даже меньше. Поэтому ошибка в определении оптимальных сроков сева может значительно снизить урожай. Почему бы, спрашивает Л. Иванов, Министерству сельского хозяйства вместе с Академией сельскохозяйственных наук не собрать вместе ученых, специалистов, практиков, руководящих работников Сибири и Северного Казахстана и не поговорить, что называется, по душам, найти наиболее правильное решение о сроках сева применительно к отдельным зонам, районам?»

Читатели в своих откликах на статью Л. Иванова отмечают, что условия земледельческого труда в Сибири весьма своеобразны. Сибирская весна чаще всего растянута, почва прогревается медленно, отчего при раннем севе всходы зерновых задерживаются

и нередко появляются позднее всходов сорняков. Посевы оказываются очень засоренными, и урожаю от этого всегда большой ущерб. Но оттянуть сроки сева тоже опасно, так как сибирская весна чаще всего засушливая и приходится дорожить влагой в почве. Вот и гадай: что лучше?

В июле в Сибири почти всегда дожди. К этому времени ранние посевы пшеницы уже достигают такой фазы развития, когда дожди им бесполезны. Июльские осадки благоприятны для пшеницы, высеянной позднее, но она обычно долго нежится, медленно созревает и может попасть под осенние заморозки, которые в этих местах бывают уже в двадцатых числах августа — начале сентября. Морозобойный хлеб — тоже пропащий урожай.

Действительно, проблема лучших сроков сева сложна, решить ее не так-то просто. Вот почему мнения сибирских хлеборобов о том, когда сеять, сильно расходятся и каждая сторона имеет возможность привести веские доводы в пользу той или другой, иной раз прямо противоположной, точки зрения.

По основному вопросу, поставленному в статье «Когда сеять?», читатели-сибиряки, приславшие свои отклики, отвечают далеко не одинаково. Полностью поддерживает автора заведующий Купинским опорным пунктом Новосибирской сельскохозяйственной опытной станции старший научный сотрудник И. Шелухин. Он говорит, что у них главное в борьбе за высокий урожай — это влага. Причем основная надежда не на запасы в почве зимне-весенней влаги, а на июльские дожди. Отсюда и вывод о сроках сева яровых. И. Шелухин пишет: «Пятьдесят лет проводятся у нас наблюдения за погодой. И вот что дали эти наблюдения. Зимний период с осадками в виде снега длится здесь пять месяцев (иногда и все шесть): ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. За эти пять месяцев осадков в виде снега выпадает всего-навсего 32 миллиметра. Один июль дает более 63 миллиметров, а три летних месяца — июнь, июль, август — дают в сумме 152 миллиметра, или около 60 процентов годовых осадков. Если строить систему земледелия, ориентируясь на осадки зимы и весны, то в большинстве лет нормальных урожаев не будет». Яровая пшеница, посеянная во второй половине мая, колосится в первой половине июля, как раз тогда, когда в большинстве случаев про ходят полезные дожди. Если же посеять раньше, то пшеница выколосится до летн дождей и урожай, как правило, резко снизится. «Попозже в мае посеешь, побол получишь урожай. Рано посеешь — чаще всего проиграешь»,— заключает И. лухин.

Большое значение он придает доброкачественной предпосевной обработке поч лучшего очищения полей от сорняков. «Иной год на полях можно работать и р апреля, а сорняки не всходят до 15-го, а то и до 20 мая. Если пшеницу посеять чем взошли сорняки, то посевы обязательно забиваются сорными растениями и резко снижается. Конечно, бывают случаи, когда почва на парах быстро прогре остается чистой от сорняков, так как они уничтожены в год парования. В это вполне возможно приступать к севу и раньше. Что касается зяби и других не предшественников, то почти всегда лучшие результаты получаются при посеве после уничтожения всходов сорняков».

Купинский опорный пункт ставил опыты со сроками сева пшеницы и других тур. «Опыты показали, что в благоприятные по осадкам годы урожай во все сроки был хороший. В засушливые годы, каким явился 1955-й, урожай пшеницы был в три раза выше при посеве в третьей декаде мая против посевов, проведенных в пе и второй декадах мая». Вывод автора письма таков: правильный, дифференцирова подход ко всем агроприемам и особенно к срокам сева позволяет получать устойчив урожаи и в засушливой степи.

Тех же взглядов придерживается и директор Ольховской РТС Курганской области А. Погадаев. Он сообщает, что Ольховский район является соседом Шадринского района, где в колхозе «Заветы Ленина» работает полеводом Т. С. Мальцев, и приводит такой факт. В 1958 году на поле колхоза «Заветы Ленина», засеянном яровой пшеницей 21 мая, был собран урожай по 13 центнеров зерна. А рядом, в Ольховском районе, на

полях колхоза «Заветы Ильича» пшеницу посеяли к 10 мая, урожай был в три раза меньше — 4,2 центнера зерна с гектара. «Причина ясна, самое главное — сроки сева». Почему же, пишет А. Погадаев, мы неправильно избираем сроки сева? Раньше колхоз имел мало техники и в короткие сроки невозможно было сеять. Вот так ранний посев и вошел в привычку, хотя машин сейчас стало намного больше. «Надо смелее маневрировать в выборе сроков сева. Ведь все мы убедились, что самые высокие урожаи получаем с посевов, произведенных в третьей декаде мая. Правильнее будет пораньше закрыть влагу в почве, прогреть землю, подождать всходов сорняков, уничтожить их и только тогда сеять».

Совсем иного мнения придерживается А. Мандрик, первый секретарь Русско-Полянского райкома КПСС Омской области. Он придает раннему севу первостепенное значение, исходя из необходимости лучше использовать накопленную за зиму влагу. «Всходы зерновых культур при высеве их во влажную землю до наступления обычных для наших степных мест сильных ветров и высоких температур закрывают поверхность почвы, и влага лучше и дольше сохраняется». В 1955 году, продолжает он, хлеба, посеянные во второй половине мая, «взошли только частично и, по мере выпадения в июне периодических незначительных осадков, продолжались все новые и новые всходы. Хлеба выросли многоярусные, не поддавались уборке, и урожай получился низкий. В том году поздние посевы явно себя не оправдали».

Не согласен А. Мандрик с автором статьи и по части толкования причин различия урожайности в совхозах «Целинный», «Цветочный» и «Розовский», находящихся в Русско-Полянском районе. Он объясняет более низкие урожаи в «Розовском» не тем, что тот сеял раньше, нежели его собратья, а более худшими здесь землями: около восьми тысяч гектаров запущенных старопахотных земель были прирезаны этому совхозу от других хозяйств. Кроме того, сообщает А. Мандрик, совхозы «Целинный» и «Цветочный» в 1958 году как семеноводческие хозяйства сеяли только сортовыми семенами высоких категорий, а в совхозе «Розовский» качество семян было хуже. По его убеждению, ранний сев позволяет раньше провести уборку урожая, а следовательно, более успешно справиться с подъемом зяби и другими осенними полевыми работами.

Агроном из совхоза Еткульский, Челябинской области, Н. Артюков замечает, что большей части поздние сроки сева оправдывают себя в тех хозяйствах, где почва анает структурность, способна удерживать воду и не высыхает до конца мая. ко, продолжает автор письма, не везде мы имеем дело со структурными почвами. у же в Сибири много солонцеватых почв, к концу мая они высыхают так, что всходят лишь в июле; поздно сеять на таких почвах — значит рисковать м.

Артюков считает, что неразбериха при определении сроков сева получается в тех когда «берется фактический материал без учета структуры почвы, сорта пшепасов влаги в почве, почвенного покрова, качества урожая, в частности его к и мукомольных качеств. Когда все это будет учитываться, мы сможем полуучно обоснованный ответ — где и когда сеять».

ранний сев выступает группа агрономов из Челябинска: Б. Хорошавин, ковников, Халтурин, Ф. Соколов, В. Кожин, Е. Снежков, Г. Стенин, А. Кузнецова. новании изучения и обобщения конкретных местных условий, пишут они, «было ано, что выходом из порочного замкнутого круга низкой культуры земледелия оби являются ранние сроки сева зерновых — с наступлением физической спелости ы на фоне более высокого уровня агротехники». За последнее девятилетие средние жаи зерновых составили 9 центнеров с гектара, или повысились на 3 центнера с гекра по сравнению с послевоенной пятилеткой. Преимущество ранних сроков сева апрель — начало мая) авторы письма объясняют прежде всего необходимостью добиваться возможно раннего созревания хлебов и уборки урожая. В горно-лесной зоне области, указывают они, средняя продолжительность безморозного периода бывает 83—112 дней, а в отдельные годы только 55—78 дней. Первые осенние заморозки и осеннее ненастье в горах, как правило, наступают в середине августа. Только скороспелые сорта яровой пшеницы, ячмень и не везде овес, посеянные в ранние сроки, могут созреть в

этих районах. Запаздывание с посевом — верная гибель урожая. Примерно такая же картина и в лесостепной и степной зонах области.

В связи с ранним окончанием ярового сева, утверждают челябинские агрономы, «подъем паров, как правило, стал проводиться в основном в мае и заканчиваться в начале июня. Следовательно, период для послойной и поверхностной обработки паровых полей удлинился, создались условия для своевременной, успешной борьбы с сорняками в пару, а также накопления и сбережения влаги в почве. В связи с этим заготовка сена и силоса за счет дикорастущих трав стала начинаться раньше, что положительно сказалось даже в засушливые годы на улучшении кормовой базы». Многое значит, подчеркивается в письме, что при раннем севе, а следовательно, и ранней уборке урожая, повышается качество зерна и семян.

С такого же рода соображениями группа челябинских агрономов: Т. Абраменко, Я. Климов, А. Кузнецова, Ю. Кушнаренко, А. Морковников, Н. Соколов, Ф. Соколов, Б. Хорошавин, В. Чалых (четверо из этих товарищей — авторы отклика на статью «Когда сеять?», поступившего в редакцию «Нового мира») — выступила 13 мая на страницах газеты «Советская Россия». В этой корреспонденции, напечатанной в газете под заголовком «Ошибочные обобщения», говорится почему-то, что на фоне «высокой творческой активности народа странно выглядит статья Леонида Иванова», который якобы «настоятельно требует от Министерства сельского хозяйства установить сверху единые позднемайские сроки сева для колхозов и совхозов многих восточных областей, в том числе и для Челябинской». Авторы оговариваются, что они не берутся «судить о сроках сева для других областей Сибири», однако все же считают, что Л. Иванов «на весьма сомнительном материале» делает «ошибочное обобщение о преимуществе позднемайских сроков сева зерновых культур для областей Сибири и Северного Казахстана».

В своем обстоятельном ответе авторам этой корреспонденции (письмо адресовано редколлегии газеты «Советская Россия», копия — «Новому миру») инженер из Новосибирска А. Карташов пишет, что выступление группы челябинских агрономов можно рассматривать как попытку «не допустить во что бы то ни стало обсуждения важнейшего агротехнического и организационного вопроса для Сибири и Северного Казахстана».

Но ведь и среди челябинских специалистов сельского хозяйства нет единого взгл по вопросу о сроках сева. Сошлемся хотя бы на статью А. Добрякова «Об одном учительном уроке», опубликованную в газете «Сельское хозяйство» от 19 де 1956 года, в которой читаем:

«...В конце прошлой зимы в Челябинске состоялось областное агрономическ вещание. На нем были вскрыты серьезные ошибки, препятствующие повышению у ности зерновых культур. С 1950 года в области стала широко практиковаться а ника, основанная на огульном применении ранних сроков сева... Во многих райо ние сроки сева были признаны главным мерилом оценки качества сева, основн вием, повсеместно обеспечивающим хорошие урожаи. Участники совещания ливо подвергли в своих выступлениях резкой критике эту вредную точку зрени

Как известно, средняя урожайность зерновых культур по Челябинской обл ставляет всего лишь 9 центнеров с гектара. Но разве это предел того, что м должна давать челябинская земля? И вправе ли товарищи из Челябинска брать н большую ответственность, столь категорически заявляя на страницах центральной ты: «Когда сеять?» Отвечаем: «В ранние, сжатые сроки»?

Большой знаток земледелия в Зауралье, Терентий Семенович Мальцев выдв предложение об использовании там сортов яровой пшеницы, отличающихся по прод жительности вегетационного периода. Смысл этого заключается в том, чтобы на земля хорошо очищенных от сорняков и, следовательно, не требующих особой для этой цел весенней обработки, высевать позднеспелые сорта яровой пшеницы. Такая пшеница сравнительно медленно развивается, «ждет» дождей в конце июня — июля и хорошо их использует. На засоренных же полях Мальцев рано никогда не сеет, отводит первый период весны для уничтожения сорняков с соответствующей обработкой почвы и уже затем высевает раннеспелые сорта. Для них июньско-июльские дожди тоже в самый раз.

Так колхозный ученый практически решает одно из противоречий сибирского земледелия: позднеспелые сорта пшеницы не попадают под осенние заморозки потому, что они рано посеяны, а пшеница, высеянная позднее, по природе своей раннеспелая, успевает созреть, и ее тоже можно убрать до заморозков.

Т. С. Мальцев постоянно подчеркивает, что такой подход к срокам сева — лишь общий принцип, который без шаблона должен применяться с учетом конкретно складывающейся обстановки: наличие в почве зимне-весенней влаги, нарастание температур весной и прочее. Он говорит: «И в нашем колхозе, как и в других, есть разные участки земли: одни теплые, другие холодные, с одними обращаться нужно одним способом, с другими — другим; на одних можно сеять раньше, на других позднее. А разве не следует учитывать конкретной особенности той или иной весны? В умении оперативно применяться к конкретно сложившимся обстоятельствам и заключается искусство брать у природы урожай, несмотря на всю сложность этой задачи».

Та же мысль — не допускать шаблона в агротехнике — пронизывает почти все отклики читателей на статью Л. Иванова. Главный агроном Красноярского краевого управления сельского хозяйства А. Хрипач пишет, что любой агротехнический прием, а сроки сева в особенности,— это не есть нечто застывшее, годное на все годы, для всех хозяйств и полей. Шаблонные ранние сроки сева, продолжает он, «во многих областях Сибири превращены в какой-то фетиш, довлеющий над всей агротехникой», а между тем «в каждом хозяйстве в зависимости от сочетания природно-климатических, организационных и прочих условий может и должен применяться не один срок сева, а в ряде случаев и ранний, и средний, и даже поздний».

В Мишкинском районе Башкирской АССР, как сообщает секретарь райкома КПСС П. Трапезников, преобладает холмистый рельеф, поэтому весной приходится даже на одном и том же массиве в разные сроки обрабатывать почву и проводить сев, сообразуясь с различными экспозициями склонов по странам света. Товарищ Трапезников говорит: «Нетерпим в агротехнике, особенно в таком ее разделе, как сроки сева, шаблон... Пора выводить на чистую воду шаблонщиков, которые, где не надо, заставляют сеять ано, а где надо сеять рано — заставляют сеять поздно».

Читатель П. Оскома из Ярославля отмечает, что при проведении ранних и сверхран- посевов, как правило, происходит нарушение правил агротехники. И. Романычев астополь) считает недопустимым, когда в некоторых районах в качестве передо- колхозов и совхозов называют такие, которые быстрее всех сообщают об окон- сева или уборки. При этом зачастую не учитывается, какой получен ими факти- урожай.

участники обсуждения статьи «Когда сеять?», включая и группу челябинских ов, признают обоснованным утверждение Леонида Иванова о том, что «пра- ыбранный срок сева в условиях Сибири и Северного Казахстана имеет часто е влияние на урожай». Но это, конечно, не должно умалять значения и всех х факторов, от которых зависит получение высокого урожая. Совершенно прав И. Смирнов, который в апрельской книжке «Нового мира», в статье «Не до- шаблона» убедительно показал, что, кроме правильно выбранного срока сева, ых и открытых лесостепных засушливых районах Сибири особое внимание надо ь накоплению и сбережению влаги в почве, борьбе с засоренностью полей и м элементам высокой агротехники. Речь идет и о паровой обработке полей, и о ей зяблевой пахоте, о подборе хорошо приспособленных к местным условиям сор- яровой пшеницы и других культур, о посеве здоровыми, высококондиционными по ожести и чистоте семенами, о своевременной, без потерь, уборке урожая.

Только в совокупности, как об этом свидетельствует опыт передовых хозяйств, все ти факторы могут создать высокий урожай. Более того, они всегда взаимосвязаны и обусловливают друг друга. И. Смирнов справедливо обращает внимание на то, что, например, на паровых полях, хорошо очищенных от сорняков и обычно весной быстрее прогреваемых, появляется возможность сеять раньше, чем на других массивах. Больший простор для маневрирования сроками сева дает и ранняя зябь, обрабатываемая осенью дисковыми лущильниками или культиваторами с целью уничтожения сорняков.

В свою очередь ранняя уборка хлебов позволяет лучше уберечь зерно от осенней непогоды, подготовить больше ранней зяби. Так одно цепляется за другое, и при определении наиболее целесообразных сроков сева нельзя не учитывать всего этого. К тому же каждая весна имеет свои особенности, и хлеборобам приходится делать из этого практические выводы.

Главное — высокий урожай, а пути к нему не ведут по дороге, раз навсегда проторенной. Хлеборобы, которые творчески относятся к своему труду, это знают, и им должна быть предоставлена полная возможность по-настоящему проявлять свою инициативу, что неизбежно поднимет их ответственность за достижение высоких урожаев. Такая линия в руководстве сельским хозяйством необходима, и она стала возможной благодаря огромной работе партии по укреплению колхозов и совхозов высококвалифицированными кадрами.

Развитие местной инициативы в решении конкретных агротехнических вопросов вовсе не освобождает сельскохозяйственные органы и другие руководящие организации от заботы о постоянном прогрессе нашего земледелия, о распространении в производстве достижений научных учреждений и передового опыта. Однако не мелкая опека нужна колхозам и совхозам, а настоящая, советская агротехническая политика, основанная на выводах передовой науки и практики.

В своих письмах в редакцию «Нового мира» читатели подчеркивают, что для правильного решения проблемы определения наиболее целесообразных сроков сева требуется всестороннее изучение массового производственного опыта и обобщение, с целью рекомендаций для практики, исследований научных учреждений, нужно умелое сочетание руководящего, организующего и направляющего начала и народной творческой инициативы.

Различия климата, различия почвенных и других условий поистине огромны в нашей стране. Внимательно изучать особенности, присущие каждому данному району, делать из такого познания правильные выводы для успешной борьбы за высокие урожаи — вот что признается необходимым почти во всех полученных нами письмах по поводу статьи Л. Иванова. Именно вдумчивость и конкретность в работе поднимаю организующую роль сельскохозяйственных органов и научно-опытных учрежден Ведь ничто так не противостоит шаблону, как изучение и обобщение передового от и глубокий сравнительный анализ накопленных материалов. Не следовало л Академии сельскохозяйственных наук и всей ее обширной сети заняться ши обобщением опыта, с тем чтобы научить агрономов на местах ясно и глубоко зировать конкретную обстановку, складывающуюся ко времени сева на земл предстоит им выращивать урожай?

Разумеется, любая инициатива, любое совершенствование методов работы прежде всего давать высокий экономический эффект, обеспечивать выполнен мических планов нашего государства, приносить пользу колхозам и совхоза кто трудится на советской земле. Разумная инициатива, дельный почин н пойдут вразрез с плановостью нашего социалистического государства, но, должны быть направлены на выполнение государственных заданий, на укреплен дой государственной дисциплины. Это в полной мере относится и к вопросу о сева в Сибири и ко всем другим мерам дальнейшего крутого подъема нашего се хозяйства.

Статья Л. Иванова, а также обсуждение вопросов о лучших сроках сева в Си на страницах «Нового мира», мы надеемся, окажут посильную помощь хлеборобам бири в их борьбе за успешное выполнение семилетнего плана по подъему производ зерна и других продуктов сельского хозяйства.

ОТКЛИКИ и КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

В НОГУ С ЖИЗНЬЮ

ГДР

«Юнге кунст» («Молодое искусство»), ежемесячный журнал современного искусства. №№ 1, 2. 1959. Год издания 3-й. Берлин. Издатель Союз свободной немецкой молодежи. Главный редактор Ганс Наке.

★

Этот журнал молод не только по названию и возрасту, но прежде всего по своему духу и содержанию. Все свежее, новое в кипучей жизни Германской Демократической Республики находит в первую очередь отражение на его страницах. Короче говоря, это журнал для молодых и о молодых.

Главный редактор «Юнге кунст» Ганс Наке недавно приезжал в Москву с группой немецких туристов.

— Путь нашего журнала,— рассказывал Ганс Наке,— не был усыпан розами. Литературная критика долгое время делала вид, что мы вообще не существуем. Кое-кто недоволен нашей решительной поддержкой принципа партийности в искусстве и литературе. Не перевелись ведь еще у нас тайные и явные поклонники «свободного» искусства, слепо повторяющие зады буржуазного модернизма. Их мнение отчетливо выразила одна западногерманская газета, заявившая, что ей очень хотелось бы на месте нашего журнала видеть что-нибудь «более независимое». Что ж, охотно верим ей, только напрасно она ждет, что наш журнал поступится своими принципами и станет рупором чуждых идей и взглядов. Этого не позволили бы прежде всего наши читатели, на-
ıа славная молодежь, которая по призыву партии самоотверженно трудится ныне на
мых ответственных участках социалистического строительства. С каждым годом
тет популярность «Юнге кунст». Нет такого уголка в нашей республике, где не бы-
бы читателей нашего журнала. Об этом свидетельствуют многие сотни писем, полу-
ых редакцией. Видные немецкие писатели охотно сотрудничают в «Юнге кунст» и
да не отказывают нам в помощи и добром совете. Но основной наш авторский
— это молодые писатели и художники. Многие из них впервые опубликовали в
журнале свои произведения. Молодые поэты Вернер Линдеман, Хорст Заломон,
иланд, дебютировавшие в «Юнге кунст», получили ныне уже широкую извест-
читательских кругах.

вное место в «Юнге кунст» занимают наиболее «мобильные» жанры литерату-
ıерк и художественный репортаж. Это, безусловно, помогает журналу идти в
с жизнью. В писательских кругах ГДР долгое время велись, да еще и сейчас
ся, споры о месте и значении очерка. Нередко еще можно услышать мнение, что
называемая литература «малых форм» — очерк и репортаж — для писателя дело
ростепенное, что это всего лишь творческая «заготовка». Явно недостаточное вни-
чие очерку уделяла и литературная критика ГДР, о чем с вполне справедливым
реком говорил, в частности, известный немецкий писатель Макс Циммеринг в своем
окладе на теоретической конференции летом прошлого года.

Разумеется, никто не склонен сколько-нибудь преуменьшать значение романа или повести, однако было бы столь же неправильным и вредным рассматривать очерк как какой-то второстепенный жанр литературы, видеть в нем только «заготовку» для будущих многотомных эпопей. Не обладая теми поистине огромными возможностями, какими располагает роман в изображении глубины и богатства жизни, очерк и художественный репортаж имеют преимущество в том, что могут быстро откликаться на самые актуальные явления действительности. А это преимущество приобретает особенно важ-

ное значение в наше время, когда так стремительны темпы жизни и когда читатель настойчиво требует от литературы отражения нынешнего дня страны — бурного строительства нового общества, становления новых человеческих отношений.

У немецкой литературы — давние и богатые традиции очерка и репортажа. Достаточно вспомнить такого замечательного мастера этого жанра, как Эгон Эрвин Киш, чьи книги давно уже получили признание миллионов читателей в разных странах мира. По достоинству оценены читателем очерки и репортажи Вилли Бределя, Стефана Гейма, Петера Неля, Дитера Ноля о трудовых подвигах на заводах и стройках ГДР. Они в немалой степени способствовали росту политического сознания читателей. А очерковые книги Максимилиана Шеера, Эдуарда Клаудиуса, Вольфганга Йохо о Западной Германии помогали понять антинародную сущность милитаристского боннского режима, разоблачали агрессивные планы западногерманской военщины.

За последнее время появились новые произведения этого жанра, свидетельствующие о расширении круга тем и художественных приемов изображения. С большим интересом были встречены немецкими читателями документальные повести Иоганнеса Р. Бехера о Вальтере Ульбрихте и Гельмута Гауптмана о Георгии Димитрове. Не прибегая к художественному вымыслу, строго следуя фактам жизни и деятельности реальных исторических личностей, авторы этих книг благодаря умелому отбору фактов и правильному их осмыслению создали волнующие произведения большой обобщающей силы и глубины.

Другая очерковая книга Г. Гауптмана — «Карьера Ганса-Дитриха Борсдорфа, или Иакова» — удачно сочетает элементы очерка и новеллы. Используя подлинные факты судебного дела Борсдорфа, батрацкого сына, поддавшегося растлевающему влиянию гитлеровской пропаганды, писатель иногда изменяет эти факты, добавляет вымышленные детали и штрихи, позволяющие острее вскрыть социальную сущность предательства Борсдорфом своих классовых интересов и, как логический конец такого предательства, показать превращение его в фашистского головореза и преступника.

Как подтверждает творческая практика писателей ГДР, очерк — это не нечто застывшее, а, пожалуй, один из наиболее гибких жанров литературы, легко вбирающий в себя элементы и особенности других жанров и в свою очередь оказывающий на ни существенное влияние. Поэтому особенно отрадно, что молодые писатели ГДР, сме. приняв эстафету из рук своих старших товарищей по перу, продолжают развивать е далеко не полностью использованные возможности очерка.

«Художник должен быть там, где люди смело вторгаются в новь. Ему нужно в гуще жизни. Там перед его искусством встают самые благородные и прекрасн дачи» — эти слова из недавнего выступления товарища Отто Гротеволя могут поставлены в качестве эпиграфа ко многим произведениям, опубликованным в ж «Юнге кунст». Познакомим с некоторыми из них.

Вот очерк молодого писателя Ганса Юргена Штейнмана «Лойна» — путь ч мерки». Напомнив читателям о славных страницах революционной борьбы гер рабочего класса, связанных с историей этого крупнейшего в Германии химическ бината, автор показывает преемственность мужественной борьбы рабочих «Лойн затухавшей даже в самые тяжелые годы гитлеровской тирании. Этот историч экскурс помогает читателям яснее понять сущность и значение тех коренных из ний, которые произошли здесь за годы народной власти. Писатель убедительно пок вает рождение нового отношения к труду, к коллективу, к заводу, подлинными хоз вами которого стали сами рабочие. Героем своего очерка Г. Ю. Штейнман сделал мо дого рабочего Михаэля Дрекслера, рядового, казалось бы ничем не приметного, труж ника. Замкнутый и нелюдимый Михаэль слыл на заводе человеком, далеким от инт есов коллектива. Однако в трудную минуту, когда из-за аварии в химическом цехе мог произойти опасный взрыв, Михаэль проявляет незаурядную смелость и отвагу. Вслед за мастером он бросился в залитый серной кислотой цех и помог предотвратить серьезное бедствие. «Он решил сделать то, что могло стоить ему здоровья или жизни, и никто не понуждал его к этому»,— как бы вскользь замечает автор. Сдержанная манера повествования, резко контрастирующая с драматическими событиями, изображае-

мыми в очерке, лишь усиливает его эмоциональное воздействие на читателей. Они верят, что Михаэль не мог поступить иначе. Школа жизненного опыта, пройденная им в рабочем коллективе, воспитала в молодом человеке чувство ответственности за судьбу родного завода, дала ему силы побороть свой эгоизм и привела его к подвигу. И самое главное, как показывает автор, заключается в том, что Михаэль вовсе не считает свой поступок необыкновенным или героическим и искренне удивляется восторженным похвалам своих товарищей.

Очерк Клауса Штейнхауссена «Где растет человек» посвящен трудовым будням строительства угольного комбината «Шварце пумпе». Писатель рисует коллективный портрет приехавших на стройку молодых немцев. Всякие люди встречаются на этой стройке. Одних привело сюда высокое сознание своего долга перед родиной, других — жажда романтических приключений, третьих — просто соблазн получать высокие заработки. Мы видим, как в сложном переплетении человеческих характеров, в упорной борьбе с трудностями строительства и еще не налаженного быта рождается новый трудовой коллектив. Писатель знакомит нас с инженером Иохеном Кругом. Перед молодым человеком, только что закончившим институт, открывалась заманчивая перспектива остаться при кафедре и спокойно готовиться к защите диссертации. У него была в городе уютная квартира, была любимая девушка, которая осталась там, испугавшись тягот суровой жизни строителей. Нелегко далось Кругу его решение поехать на стройку, но убежденность в том, что он может принести наибольшую пользу родине, работая на одном из самых трудных участков социалистического строительства, помогла ему преодолеть свои сомнения. Автор не приукрашивает условий жизни и работы на стройке. Молодому специалисту Иохену Кругу приходится на первых порах столкнуться с недоверием и неприязнью отдельных пожилых рабочих, в которых крепко засело с горьких лет прошлого предубежденное отношение к интеллигенции. Серьезную борьбу приходится ему выдержать и с мастером, упорным противником всякого рода технических новшеств. И тут коллектив, от зоркого и внимательного глаза которого трудно укрыться эгоистам, лодырям, носителям косности и рутины, помогает ему. Свежий ветер стройки, как показывает автор, помогает отделить зерно от половы.

Живо, незамедлительно откликается журнал на важнейшие события, происходящие в Германской Демократической Республике. Так, создание в январе этого года ...их в республике бригад социалистического труда получило отражение в интересном содержательном очерке «Выступление в поход», опубликованном в февральской ... журнала. Такой оперативности в работе стоило бы поучиться многим нашим ...урным журналам.

...алое место занимают в «Юнге кунст» и произведения изобразительного искусства. ...льзя остаться равнодушным к опубликованной в журнале серии рисунков жи... ГДР швейцарского художника Генриха Штруба. Его великолепные иллюстрации к ...нику новелл французского Возрождения отличаются яркой выразительностью, проникновением в характеры изображаемых персонажей. Сочным, грубоватым ...ом искрятся созданные Штрубом карнавальные маски для народных гуляний. ... было бы отметить произведения и других талантливых художников, выступ... х на страницах «Юнге кунст», однако нам хотелось бы остановиться на жанре ...зительного искусства, родственном очерку своей оперативностью,— на жанре по...ческого плаката.

В конце прошлого года в Дрездене состоялось открытие выставки плаката и аги...онной графики на тему борьбы за мир. Эта выставка была откликом на обращение ... за немецких художников ко всем деятелям изобразительного искусства ГДР ока...ь широкую поддержку движению сторонников мира во всем мире. Более семидеся... и художников откликнулось на этот призыв, представив на суд общественности свои новые работы в области политического плаката и агитационной графики. Некоторые из этих работ «Юнге кунст» опубликовал на своих страницах.

Запоминаются выразительные плакаты молодых немецких художников, посвященные борьбе с угрозой новой войны. В броской и лаконичной форме показывает пути применения атомной энергии плакат Фрица Шпрингера.

На плакате художника Гюнтера Шмитца «Это не должно повториться» изображен силуэт матери, оплакивающей убитого ребенка, а на фоне силуэта задумчивое и серьезное лицо маленькой девочки, как бы напоминающей взрослым об их великом долге перед детьми всего мира.

Лучшие из плакатов, как сообщает журнал, будут экспонироваться на станциях Берлинского метрополитена как напоминание о священном долге неустанной борьбы с военной угрозой.

Хороший, полезный, интересный журнал издает для своих читателей Союз свободной немецкой молодежи. Хочется от души пожелать «Юнге кунст» новых больших успехов.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.

ДОКТОР БАУШ ЗЛОРАДСТВУЕТ РАНО

ФРГ

«Шпигель» («Зеркало»), еженедельный журнал. № 19. 1959. Год издания тринадцатый. Гамбург. Издатель Рудольф Аугштейн. Главный редактор Ганс Беккер.

★

Не так давно в Штутгарте в отделе «эссе» (литературной редакции) южногерманского радиовещания разыгралась весьма любопытная история. В центре ее оказался широко известный в Германии и за ее пределами писатель Генрих Бёлль.

По договоренности с интендантом (руководителем) южногерманского вещания доктором Фрицем Эберхардом и начальником отдела «эссе» журналистом и писателем Альфредом Андершем по радио должно было передаваться «Письмо молодому кат лику» — памфлет, взятый из новой книги Генриха Бёлля «Христианин и граждан сегодня и завтра». (Книга Бёлля не так давно была выпущена в свет западногерм ским издательством «Ринг-ферлаг», близко стоящим к профсоюзам.) Однако за сколько дней до назначенного срока радиопередача была отменена. По сообщени чати, этому событию предшествовало другое — смена руководства южногерма радио. Его руководителем стал католик — доктор Бауш.

Нетрудно догадаться, что сам Бауш не собирался предавать гласност акцию — запрет радиопередачи «Письмо молодому католику». Он, конечно, п бы уладить дело келейно. С этой целью Бауш даже отправился в Кельн, где ж рих Бёлль, и в течение трех часов беседовал с ним. Однако писатель оказался чивым. После беседы Бауш официально объявил, что он откладывает передач циально разослал всем членам совета южногерманского радио послание, заявил, что он не может допустить транслирование высказываний Бёлля.

Инцидент с памфлетом Бёлля проник все же на страницы западногер прессы. Журнал «Шпигель» посвятил ему большую статью под названием «Р учителя гимнастики».

«Шпигель» пользуется в ФРГ репутацией хорошо информированного журн «Шпигель» рассчитан в основном на интеллигенцию. Он не прочь щегольнуть объективностью, и не только в политике, но и во всех остальных областях, в част в искусстве. Время от времени на страницах журнала появляются довольно любо ные материалы, рисующие, так сказать, «изнутри» события жизни боннской республик Официально «Шпигель» находится в оппозиции к правящей партии Германии — Христи анско-демократическому союзу (ХДС). Его издатель Рудольф Аугштейн принадлежит к Свободной демократической партии, критикующей внутренний и внешний курс Аденауэра.

Однако о каких бы событиях ни сообщал журнал — даже о самых скандальных,— он сохраняет олимпийское спокойствие и «беспристрастность», не делает из своих сооб-

щений никаких выводов. Да это и понятно! По существу «Шпигель» вполне доволен и собой и порядками в Федеративной Республике Германии.

Статья по поводу Бёлля, разумеется, выдержана в том же бесстрастно-эпическом тоне. Но факты, изложенные в ней, говорят сами за себя.

Памфлет Бёлля посвящен самой жгучей, самой острой проблеме современности, волнующей все человечество,— проблеме мира и войны. Написан он в форме письма. Автор обращается к некоему вымышленному персонажу, «юноше М.», с которым он будто бы только что познакомился у «священника У.».

Совершенно очевидно, что уже первые строки письма к «юноше М.» заставили насторожиться западногерманских католиков-милитаристов. Дело в том, что «юноша М.» — новобранец. Его только что «забрили» в западногерманский вермахт, и он только что выслушал напутствие католического священника в связи с этим событием.

Проповедь священника, благословлявшего новобранцев западногерманского вермахта, напомнила Бёллю проповедь фашистского священника, слышанную им двадцать один год назад, когда его взяли в гитлеровскую армию.

В той проповеди двадцатилетнему Бёллю преподнесли «теологическое оправдание всеобщей воинской повинности», равно как и оправдание ходовых, «продаваемых всюду распивочно и на вынос», как говорит Бёлль, лозунгов гитлеровской пропаганды — «народ без пространства, большевистская угроза, справедливая самооборона». В заключение Бёлль и его товарищи получили совет от фашистского священника быть нравственными, то есть «...стараться не напиваться на ротных праздниках и товарищеских вечеринках, ибо подобные праздники кончаются часто коллективными посещениями дурных домов». С возмущением говорит писатель о попытке церкви — попытке, продолжающейся целое столетие,— свести все проблемы морали, нравственности, порядочности к хорошему поведению на полковых вечеринках. «Нас и не думали предостерегать от других опасностей»,— пишет Бёлль. «А в то же время «Гитлер-югенд» (гитлеровская молодежь.— *Л. Ч.*) ...шла по улице, распевая: «Когда еврейская кровь брызжет с ножа...» Не знаю, говорит писатель, какая нравственная опасность была страшнее — петь вместе с сотней десятилетних ребят эту песню убийц или же совершить какой-нибудь промах на сексуальной почве, против чего предостерегали новобранцев священники.

С большой силой вскрывает Бёлль лицемерную, ханжескую сущность гитлеровских чиновников в сутанах, которые, болтая о нравственности, не поднимали голоса протеста против настоящих преступлений — против развязанной нацистами войны, против расовой ненависти и философии бесчеловечности, нашедшей свое наиболее полное воплощение в фашизме.

Более того, христианская проповедь, как ее пересказывает Бёлль, скорее похожа на военное напутствие, на речь пропагандиста из министерства Геббельса. «Потом,— пишет Бёлль,— мы прослушали еще одно поучение, составленное согласно излюбленной концепции: католики всегда впереди, ведь мы не какие-нибудь шляпы!»

Бёлль отнюдь не делает секрета из того, что он вспоминает о ненавистном прошлом именно потому, что видит, как сейчас под видом «самообороны» вновь создается агрессивный вермахт и как западногерманские священники помогают этому. Обращаясь к своему «юному другу М.», в образе которого воплощено молодое поколение Западной Германии, писатель заклинает его не верить лживым проповедям. «Всегда берегитесь, когда теологи говорят о «справедливой самообороне,— пишет Бёлль,— это слово так велико и так дешево, что его, собственно говоря, следовало запретить».

Не следует верить и хвастливым речам не в меру воинственных политиканов, советует Бёлль новобранцу, в частности бодрым речам военного министра Штрауса, его «будущего высшего начальника». И далее: «Не ходите на церковные богослужения для солдат». Это всего-навсего «небольшой спектакль, без которого можно вполне обойтись... Пафос, заложенный в нем, был бы смешным или, в лучшем случае, трогательным в спортивном ферейне, однако армия — не спортивное объединение, она является стражем самого страшного из всех обиталищ, она приносит смерть миллионам людей».

Сравнение двух религиозных проповедей, прочитанных новобранцам сейчас и двадцать лет назад, приводит писателя к более широкому сравнению: он сопоставляет пози-

ции церкви в годы фашистской тирании и в «демократическом» боннском государстве.

«Мне было пятнадцать лет,— с горечью вспоминает Бёлль,— когда Ватикан первый установил дипломатические отношения с Гитлером». И далее: «Вскоре после заключения этого соглашения считалось шикарным прийти на мессу... в мундире штурмовика. Однако это было не только шикарным и модным, но и логичным, и когда потом, после святой мессы, шли на службу, можно было спокойно петь: «Когда польская кровь, русская кровь, еврейская кровь...»

Образ штурмовика на святой мессе — несколько коротеньких фраз Бёлля звучат как страшный обвинительный акт. Бёлль не комментирует этих фраз. Да они и не нуждаются в комментариях. В памяти читателя, кто бы он ни был, встают и пепелище Лидице, и концлагеря, и миллионы солдатских могил — все, что натворили люди в мундирах штурмовиков, продолжая оставаться «в лоне святой церкви».

Адресату Бёлля — «юноше М.» — нетрудно сделать вывод: в годы фашизма церковь стала по существу помощницей самых черных сил реакции, варварства и разрушения.

А что она делает сейчас в ФРГ? Как борется с угрозой войны? Пытается ли развеять мрачные тучи недоверия и подозрения, нависшие над всей Западной Европой? Или, быть может, стремясь искупить свою вину, она вовсе отошла от мирских дел?

Нет, ныне, по словам Бёлля, церковники снова служат политикам, больше, чем когда бы то ни было, помогают власть имущим.

«Почти полное тождество ХДС и церкви,— пишет Бёлль,— роковое тождество, ибо следствием его может стать гибель религии». Позицию западногерманских церковников в отношении политических вопросов Бёлль расценивает как «ужасную, не иначе, чем ужасную». «Все делается в угоду Бонну, и за каждой их (церковников.— *Л. Ч.*) фразой чувствуется усердие, ожидающее снисходительного одобрения свыше».

Бёлль заверяет «молодого М.», что «...у священника У. он может спокойно высказывать некоторые сомнения в букве писания о вознесении Марии», но если он посмеет усомниться в непогрешимости ХДС, то «священник так разнервничается, что станет злиться и говорить колкости». М. не впадет в большой грех, если не будет верить в то, что прежнему римскому папе являлся Христос, но, «если он выскажет сомнение насчет какой-нибудь фразы святого отца, которая может оправдать ремилитаризацию Западной Германии, разговор также станет в высшей степени неприятным».

С убийственным сарказмом рассказывает Бёлль о том, как в специальном меморандуме католического союза молодежи, влиятельнейшей организации, насчитывающей два миллиона членов, было предложено создать солдатский молитвенник. Меморандум вышел в дни, когда проводилась дискуссия о ремилитаризации Германии. Таким образом, католики внесли свой вклад в эту дискуссию. Особенно пеклись составители меморандума о том, чтобы листки и переплет молитвенника были прочными. В этих словах Бёлль видит «дьявольское кощунство». Как можно, готовясь к войне, говорить о прочности солдатских молитвенников, когда на войне так непрочна солдатская жизнь?

Итак, круг замкнулся. Двадцать лет назад, накануне второй мировой войны, церковь благословляла агрессоров и дурачила молодежь, которая была принесена на алтарь кровавому Молоху войны. Теперь церковники продолжают то же черное дело... Таков конечный вывод из памфлета Бёлля «Письмо молодому католику».

Бёлль выступает в нем как гуманист, ненавидящий войну и несправедливость, защищающий угнетенных и обездоленных. В этом памфлете мы хорошо узнаем Бёлля, для которого социальная несправедливость — это синоним наглости сытых буржуа и которому ненавистны самовлюбленные мещане, считающие себя «сильными личностями» и на этом основании топчущие и презирающие всех тех, кто слабее их.

Обращаясь к «слабым», Бёлль заклинает их стать сильными, помешать войне, не поддаться на обман, на который поддалось поколение самого писателя. В своем «Письме» Бёлль несколько раз вспоминает священников, которые боролись с развязанной гитлеровцами бойней. Он вспоминает борцов сопротивления — католических прелатов

и протестантских пасторов и всех тех «мужчин и женщин, которые томились в концлагерях и тюрьмах и были казнены...», «они действовали не по приказу церкви, ими руководила другая инстанция, название которой стало теперь уже звучать подозрительно — совесть». Бёлль рекомендует М. учиться не у ...дивизионного священника и не у Иозефа Штрауса (военного министра), а у казненных борцов-антифашистов.

Генрих Бёлль по своим убеждениям католик. Тем не менее этот большой и честный писатель не может мириться с той гибельной политикой, которую проводят католики, стоящие у кормила власти в Западной Германии.

В своей статье о безвременно погибшем молодом антифашистском литераторе Борхарте Генрих Бёлль говорил, что писатель «не может быть равнодушным», не имеет права оставаться спокойным, когда в мире вызревают семена новой войны. Этому завету Бёлль следует всегда. Его «Письмо молодому католику» — взволнованный, полный страсти и горечи призыв к миру. Не мудрено, что этот призыв не на шутку встревожил милитаристов и они приняли экстренные меры, чтобы запретить памфлет Бёлля.

Характерно, что журнал «Шпигель» никак не прокомментировал самый факт запрета передачи известного писателя по радио. Этот факт, видимо, не очень обеспокоил редакцию западногерманского журнала. Хотя известно, что пропаганда в ФРГ ничем так не кичится, как свободой слова и печати. На этом основании в Западной Германии выходят книги бывших эсэсовцев и гестаповцев. Как же, мол, помешать их опубликованию, если в ФРГ свобода печати. На этом основании в Западной Германии публикуются откровенно милитаристские, полные ненависти к людям произведения. Как же, мол, не выпускать их, если в ФРГ — свобода слова. Однако проповедь антимилитаризма, мира, автор которой — крупнейший писатель, запрещена!

Повторяем, в пространной статье журнала «Шпигель» самый запрет памфлета Бёлля никак не комментируется. Зато в короткой заметке, посвященной тому же факту, в газете «Берлинер цейтунг» (ГДР) дается чрезвычайно меткая и правильная характеристика происшествию в Штутгарте как очередному акту беззакония в ФРГ.

История с Бёллем еще раз наглядно показала, что боннские власти проводят курс на подавление решительно всех прогрессивных элементов в стране, курс, особенно усилившийся после запрета Коммунистической партии Германии.

Помешав передаче антимилитаристского памфлета Бёлля, католические руководители южногерманского радио еще раз разоблачили себя как пособники милитаризма.

«В западногерманских политических кругах отмечается,— пишет газета «Берлинер цейтунг»,— что запрет выступления с откровенным словом католического писателя снова демонстрирует тесную связь между клерикалами и милитаристами. Характерно, что католические моралисты-теологи, такие, как профессор доктор Монцель и иезуит Гундлах, которые поддержали атомное вооружение боннской армии, выступают в добром согласии с евангелическим епископом Дибеллиусом, этим генералом НАТО без мундира, проповедуя уничтожение народа в атомной войне в качестве «угодного богу» жертвоприношения».

Журнал «Шпигель» поместил на своих страницах портреты всех участников штутгартской истории... Вот перед нами Генрих Бёлль. У него задумчивое, грустное и вместе с тем насмешливое лицо. Он в простом свитере, таком, какие носят и рабочие и люди интеллигентного труда... На другой фотографии Бауш — интендант южногерманского радио. Этот «при полной парадной форме» — в темном костюме и светлом галстуке. На сытом, самодовольном лице Бауша торжествующая улыбка. Он запретил передачу памфлета Бёлля. Он угодил своим хозяевам и заткнул рот честному человеку. Но Бауш слишком рано злорадствует — можно запретить десятки передач по радио, можно подвергнуть гонениям сотни прогрессивно настроенных людей в ФРГ, но нельзя запретить народу ненавидеть войну, нельзя помешать немцам извлечь уроки из своего прошлого, нельзя подавить тягу к миру, охватившую миллионы людей на всем земном шаре.

Л. ЧЕРНАЯ.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

★

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РЕАЛИЗМЕ У НАС И НА ЗАПАДЕ

О КЛАССИКАХ СОВЕТСКОГО КИНО

I

Когда фотографируешь, надо выбрать диафрагму и выдержку, установить расстояние.

Нельзя, ничего не изменяя, с одинаковой точностью снимать и близкое и далекое.

Так как киносъемка организовывает определенный кусок натуры или декорации, а не все то, что можно снять, то возможность расчленять обстановку и действие на отдельные части позволила уменьшить размеры декорации и их сложность, а в действии показывать основные куски, то есть смысловые отрезки. Это получило название монтажа.

Такой технический прием можно использовать художественно. Тогда возникает выбор кусков действительности, создается программа исследования действительности через показ некоторых ее частей, выбранных так, как выбираются слова, как из ряда событий в судьбах героев главы романа фиксируют главное.

Мы можем сопоставлять общее с частным, прибегая к метонимии — выделяя художественную деталь. Выбранная деталь будет значить не только то, что мы показываем, но и то, что обычно ей присуще, так сказать, по смежности,— то, что ею вызывается в памяти и воображении.

Мы можем показывать действительность и метафорически — сравнивая.

В кино метафора обычно скрыта, для того чтобы не стать навязчивой. Метафорой является тот разговор, который в фильме братьев Васильевых «Чапаев» сам Чапаев ведет с комбригом.

Картофелина причудливой формы оказывается заместителем командира в бурке, едущим на коне.

Дымящая папироса заменяет орудие.

Здесь метафора удается потому, что она сопровождается словом. Мы видим не только сходство сведенных предметов, но и то, как это сходство оценивается в словах Чапаева, который объясняет, где должен быть командир в момент опасности и потом, когда противник отброшен.

В каждом моменте боя у командира есть свое место, которое объясняется не храбростью (командир должен быть храбр всегда), а военной целесообразностью.

Метафорически обоснованный разговор потом служит разгадкой разных моментов в поведении Чапаева. Мы, видя рисунок кадра, вспоминаем контуры сцены с картошкой и по-иному понимаем военное решение командира, важность этого этапа боя и оценку данного боевого момента Чапаевым.

Метафора здесь имеет движущийся характер, включая предмет в движение познавания. В данном случае познается сущность войны и военного поведения Чапаева.

Метафора-разговор начинает объяснять ряд ситуаций, являясь по отношению к ним как бы метафорическим эхом.

Примеры метафорической метонимии труднее для анализа. Можно привести пример из ленты В. Пудовкина «Мать» (сценарий фильма по книге Горького был написан Н. Зархи).

Женщина сидит рядом с убитым мужем. Капают в таз капли из рукомойника.

Это выражает время и отчаяние. Не забудем, что звука в кино тогда еще не было. Видимый образ вызывал представление о медленном течении времени и о тишине рядом с покойником.

Вообще крупный план, в котором передавали часть того, что происходит в общем, подвигая в то же время все действие, был метонимией. Переживание героя как часть общего явления заменяет и выражает это общее.

Пример развитой многоступенчатой кинематографической метафоры — ледоход в «Матери» В. Пудовкина, сопоставленный с рабочей демонстрацией. Или улыбка детей, показанная рядом с таянием снегов, с блистанием солнца на лужах. Развитая метафора — это наполнение водохранилища в «Поэме о море» А. Довженко, сопоставленное с жизнью древнего селения, уходящего под воду.

Живут люди у старого Днепра, где жили скифы пахари, а до скифов кругами у берегов реки стояли плетеные хаты, где до сих пор обнаруживаются остатки керамики, принадлежащие культуре, которую мы называем трипольской. Сколько времени живут славяне и праславяне у Днепра, мы не знаем. Время это, вероятно, исчисляется тысячелетиями.

Живут люди, создают песни, любуются степью, растят детей, сажают деревья, собирают плоды. Вот стоит груша, которой несколько сот лет. На груше висит люлька, в ней качались люди многих поколений. Но нужно создать новое водохранилище: стране нужна энергетика, стране нужна вода для посева. И груша вместе со старыми домами, вместе с курганами должна уйти под воду моря.

Люди помнят свой корень, люди любят свою историю, и люди уходят со своих мест, потому что они еще более любят свое будущее, которое мы сами выбрали и сами создаем. Море метонимически изображает новую культуру человечества, а старая культура в преодолении дается ступенями в истории семей, уходящих на новые места.

Метонимический и метафорические ряды в истории рождения нового моря создают смысловое сцепление. Все это сделано не внезапно. А. Довженко в ленте «Земля» умел показать смерть первого тракториста повторами, метафорами и метонимиями старой песни. Он сопоставил смерть с бахчой, с цветущими деревьями, с дождем.

В гробу несут убитого юношу; ветка, полная плодов, касается лица юноши и гладит его подбородок.

Жизнь драгоценна, ее мы любим, но приходится умирать. Родные места драгоценны, а надо уходить. Люди уходят сами, уходят строить будущее.

Прошлое и будущее — величайшее из противопоставлений: оно помогает нам понять время, в котором мы живем; это основа социалистического реализма.

Обрядовое действие превратилось в античную трагедию в течение нескольких десятилетий. Художественные осмысления старого иногда подготовляются долго, но совершаются обычно быстро.

Переломы в искусстве осуществляются сосредоточенным, сгущенным усилием, рождаемым переосмыслением жизни.

Художественное осмысление технического монтажа произошло в Советском Союзе; у нас монтаж стал одним из средств выявления сущности предмета — сюжета вещи.

В советской кинематографии развитие событийной последовательности не всегда шло за отдельным героем, и часто не одна эта последовательность оказывалась основой смысловой композиции. Носителем действия оказался народ.

Новая идеология потребовала новых форм, которые появились и как переосмысливание, обобщение, превращение технических приемов в художественное средство.

В «Броненосце «Потемкин» один герой — сам броненосец и его восставший экипаж. Второй герой — сочувствующий матросам город.

Анализ героев идет путем новых художественных сцеплений и сопоставлений. «Человек» не исчез, но он не заслоняет собой «толпы». Лес начинает появляться, не скрытый общим зрелищем чащи, а состоящий из различных деревьев. Мир не только переосмыслен — он увиден целиком в своем развитии.

В фильме «Броненосец «Потемкин» все было снято как будто без внесения личности художника; нет почти никакого сопровождающего текста, надписи коротки. Они читались зрителями вслух и как будто были их собственным голосом.

Но художник творчески увидел себя и выразил себя, без остатка включив свое

личное в действительность революции, которая показана с предельной документальностью и в то же время с художественным пафосом и неожиданной изобретательностью.

Таковы и картины Довженко «Арсенал», «Земля». В них природа и вся обстановка осмыслены людским к ним отношением, как бы отражают борьбу и симпатию людей — людей революции.

2

В Советской России не появилось искусства «потерянного поколения». Книги «потерянного поколения» на Западе по времени появления синхронны с последними книгами Горького, с творчеством Маяковского, Эйзенштейна, Пудовкина, Довженко, Шолохова.

Возникновение течения обычно связывают с именем Ремарка — превосходного писателя, который в своем романе «На Западном фронте без перемен» показал гибель людей и надежд поколения.

Ремарк — немец, он принадлежит к побежденному народу, но писателями «потерянного поколения» стали и многие другие художники — французы, англичане, американцы.

Это было поколение людей обезнадеженных, потому что тот путь, по которому они шли, оказался закрытым; осмотревшись, поколение пришло в долгое отчаяние.

Потерянное поколение у нас не появилось, потому что и в той войне единственным моральным победителем оказалась Россия, которая стала Страной Советов.

Не надо думать, что представители метода, развившегося и укрепившегося в нашей литературе,— социалистического реализма — люди, растворившиеся в коллективе; нет, они нашли себя в коллективе.

Это можно ясно понять на примере творчества Маяковского: этого человека мы видим в его поэмах с его походкой, возрастом, ростом, складом губ,— но видим не в одиночку, а вместе с вырастившим его народом.

Мы не говорим, что писатели, принадлежащие к «потерянному поколению», не представляют интереса для нашей страны.

У нас любят Хемингуэя, Ремарка.

«Три товарища» Ремарка — одна из любимых книг сегодняшней Москвы. Ее читают в старых деревянных домах города и берут с собой, переезжая в новые дома, читают на стройках. Это книга о товариществе, книга о воле оставаться вместе, помогая друг другу, в ней «потерянное поколение» пытается защищаться.

Вообще в искусстве мало что проходит бесследно, так же как мало исчезает до конца и в технике. Новое не вытесняет старого, а изменяет сферу его применения и функцию.

Дымили пароходы, но продолжали плыть и корабли под парусами, для молодежи паруса даже стали более красивыми.

Летят над страной «ТУ» нарастающих номеров; я и сейчас, сидя над рукописью, слышу шум самолета, но и голос тепловоза и электрички не умолкает.

То, что пишут китайские, американские, немецкие, арабские писатели, то, что пишут писатели Индии, писатели Африки,— все это нужно для всего человечества. Можно даже сказать, что только сейчас вместо понятия раздельных культур Европы, Азии, Африки заново и навсегда появилось представление об общечеловеческой культуре.

Мы не наследники отдельных демократически настроенных писателей, а наследники античной культуры, культуры Индии, культуры Египта, наследники Рабле и Бальзака, Шекспира и Диккенса, Гёте и Уитмена.

Это не означает, что мы всеядны, но дело в том, что выводы, которые делает человечество, основаны на общем труде человечества.

У истории много попыток, много решений, но есть общие выводы; то, что было сделано прежде,— это не собрание ошибок, а множество усилий в решении различных задач. Они создают переход к новым методам знания, новое приближение к познанию действительности.

Мы хотим видеть путь жизни своей включенным в карту мира и миг своей жизни — включенным в историю.

Есть сказка о том, как молодую мать и ее ребенка враги посадили в бочку и бочку бросили в море. Море шумело, носило молодого богатыря.

Пушкин богатыря этого назвал Гвидоном. В бочке слышен был гул волн, ощущалось их движение; в бочке была духота человеческого дыхания.

Человек несся стихией, но несся слепо.

Гвидон рос не по дням, а по часам. В неволе он научился только разговаривать и верить в себя; потом — уперся в дно бочки и понатужился...

Он увидел берег нового мира, у берега трауром белел прибой побежденного богатырем моря.

Гвидон вышел на берег.

Теперь его уже интересует не теснота бочки, а простор будущего: царица-лебедь, месть или прощение вины.

Он перешагнул через стадию слепоты и замкнутости.

Греки создали свое искусство на основе мифологии, которая для них была системой знаний, собранием программ для исследования человеческих отношений. Они понимали новое, применяя его к образам и решениям, выработанным мифологией, и двигались в будущее спиной, оглядываясь на старое.

Из разнообразных решений, заключенных в сказаниях отдельных племен и городов, из разных версий жизни богов и героев, отразивших разные стадии человеческого сознания, творцы выбирали, переосмысливая, то, что для них было нужно, создавая эпосы и трагедии.

Так двигалось человечество, создавая ступени, которые нас подняли.

Это прошло в истории, но не в искусстве; счастливое детство человечества нам нужно, но оно для нас недостаточно.

Так, как греки относились к мифологии, мы относимся к сегодняшнему дню и к истории.

3

У нас иное отношение к действительности, чем у писателей времени критического реализма.

Это легче будет показать на примере.

Искусство вообще конкретно, а кроме того, я, к сожалению, не философ, а скорее рассказчик, применяющий разные истории к сегодняшним случаям.

Чарльз Диккенс прожил нелегкую жизнь: у него был отец-неудачник и мать-фантазерка. Мальчику пришлось оклеивать этикетками банки с ваксой, что было однообразнее, чем путешествие по морю в наглухо забитой бочке.

Образы детства пошли за Диккенсом. Писатель создал в одном из лучших своих романов фигуру Микобера — неунывающего неудачника, господина в слишком коротких брюках, но с претензией на элегантность.

В романе Диккенс как будто простил своего отца — во всяком случае, он ему улыбнулся.

Путаные рассказы о призрачном прошлом благосостоянии семьи, перепрыгивание в разговоре с темы на тему, оптимистический вздор дамской болтовни — все это Диккенс, конечно, слышал не только от своей матери. Он рассказал об этом, описывая старую даму в «Николасе Никльби» и мать Беллы в романе «Наш общий друг».

Диккенс исходил из собственной биографии, но он как бы стирает ее, строя роман.

Честертон даже утверждал, что Диккенс с негодованием относился к людям, которые напоминали ему о его горьком детстве. Между тем горечь этого детства была обыкновенная.

Революционер гордится своим детством, потому что от него он отсчитывает свой рост.

К. Федин пишет о «Воспоминаниях о Льве Николаевиче Толстом» М. Горького:

«Одна заметка воспоминаний меня очень развеселила. В ней Горький рассказывал, что Толстой любил задавать трудные и коварные вопросы, а лгать перед ним было нельзя.

«Однажды он спросил:

— Вы любите меня, А. М.?

Это — озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует» он, все пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако — не очень по душе мне. Он — черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня».

Я подпрыгнул от восхищения, прочитав это «е щ е»: «а я еще младенец». Какая гордыня,— смеялся я, бегая по комнате в распахнутой шинели,— и где прорвалось! Е щ е младенец!..»

Горький считал себя младенцем и в начале девятисотых годов. Это был младенец Гвидон.

Дорос он в книгах «Мать», «Детство», «В людях», «Мои университеты», вырос в «Климе Самгине»; он перерос себя в эпоху социалистического реализма, хотя и не писал тогда про сегодняшний день.

Биографические повести Горького документальны.

На необычайность биографии Горького обратил внимание еще Чехов. Сам Горький не только записывает необычайную автобиографию, но настаивает, что все происходило именно так, как рассказано.

Он документирует свои рассказы.

Когда Иван Бунин в эмигрантской газете написал, что биография Горького вымышлена и что она «никому в точности неведома», Горький в ту же пору случайно получил письмо от А. В. Сластушенского, с которым служил когда-то вместе на железнодорожной станции Добринка. Алексей Максимович переслал это письмо своему биографу И. Груздеву и написал ему шутливо: «Вчера послал Вам письмо телеграфиста ст. Добринка. Письмо это свидетельствует, что я — лицо действительно существующее, а не выдуманное М. Горьким, как утверждает И. А. Бунин».

Горький-писатель имел право додумать детали своей биографии, поскольку она стала художественным произведением, но он отказывается от этого права, считая свою биографию как бы документом, который служит доказательством того, что человек может напрячься и вырасти.

Алексей Максимович дома часто рассказывал одну и ту же вещь много раз. Он не прибавлял выдумку к выдумке, а старался добиться четкости мотивировки действий людей.

Автобиография Горького — это правдивое его жизнеописание, необыкновенно точно проверенное самим автором.

Документальность воспоминаний о Льве Толстом вызывает даже отрывистость записи, так как для соединения пришлось бы додумывать.

Документальность как одну из черт социалистического реализма в этот период своего творчества Горький особенно выдвигал.

ХЕМИНГУЭЙ В ЕГО ПОИСКАХ ОТ ЮНОСТИ ДО СТАРОСТИ

У И. Бабеля в пьесе «Закат» раввин, умный человек из старой Одессы, говорит, что «...бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме».

Дети могучего биндюжника ограничивают его свободу и жажду жизни.

Бог этого раввина — не крупный, но хитрый и беспощадный обыватель города.

В любом маленьком рассказе Хемингуэя эти городовые бога сковывают человека сейчас.

В рассказе «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» жена сперва презирает мужа-охотника и изменяет ему. как трусу. После охоты, на которой муж не струсил, презрение жены становится неспокойным. Потом она его убивает из автомобиля ружейным выстрелом, потому что Фрэнсис перестал быть трусом и тем оказался опасным для обыкновенной стареющей женщины, которая хочет вернуться из Африки в свою обыкновенную жизнь.

Люди у Хемингуэя ограниченны и очень несчастливы.

У него есть рассказ «Кошка под дождем». Американская чета приехала в отель в Италию. Идет дождь. Американка стоит у окна, смотрит в сад: под окнами комнаты, скорчившись под зеленым садовым столом, укрылась от дождя кошка.

Кошка старается сжаться в комок, чтобы ее не вымочило.

Женщина, героиня рассказа, тоже кошка под дождем — время и мода отняли у нее все: веселость, женственное платье, длинные волосы; отняли любовь.

Женщина просит, чтобы ей дали хотя бы кошку как заменитель счастья и уюта.

«Американка смотрела в окно. Было уже совсем темно,— и в пальмах шумел дождь.

— А все-таки — я хочу кошку,— сказала она.— Хочу кошку сейчас же. Если уж нельзя длинные волосы и чтобы было весело, так хоть кошку-то можно?»

Кошку достать можно. Она даже будет мурлыкать.

Но человеческое сердце не утешится ни кошкой, ни морем, ни охотой на львов.

Человеку нужен связный и ощущаемый мир.

Кошку американке принес хозяин отеля.

Все вытеснено заменителями, даже поцелуи в романах и рассказах Хемингуэя не поцелуи, а следы от губной помады, которые остаются около уха и на воротничках мужчин.

Жизнь показана не в причинной связи явлений и не в сходстве явлений, а только по их смежности. Как кровь, вылившаяся из сосудов, инфильтратами остается в организме, пока не придет смерть или выздоров-

ление, так и рассказы Хемингуэя перебиваются иногда несвязными записями о прошлом, отрывками воспоминаний об огорчениях, опасностях и дальних дорогах.

Человек настолько одинок, что даже раздроблен; он потерял себя.

Ощущение изоляции героя, человека непонятого и ограбленного,— основная ситуация в романах и повестях Хемингуэя.

Человек говорит коротко, потому что его все равно не поймут, человек вспоминает отрывисто, потому что нет всеподчиняющей связи явлений. Герой не понят женщиной, детьми, он умирает одиноко, даже не успевая заметить смерть.

Утешение — вино и сознание ничтожества недостигнутого.

Человек остался один, и в романе «По ком звонит колокол» герой говорит сам с собой самому себе пересказывает свою жизнь и сам себя утешает тщетой жизни.

Хемингуэй героически одинок и все время хочет преодолеть одиночество. С детства он охотится, занимается боксом, путешествует Он много бывал на войнах и вместе с другими людьми защищал человеческую справедливость.

Но после войн он искал отрады только в горах и в море.

Ущелья и море почти гарантируют одиночество.

Гарри Морган в повести «Иметь и не иметь» борется за возможность существования для своей семьи, рыщет по морю на одиноком катере, он теряет своего единственного полудруга и узнает, что одиночество не свойственно человеку. Оно только сперва возвращает ему спокойствие, но потом убивает.

Гарри бился за свою жизнь долго, изобретательно, ожесточенно — так, как не может биться волк с волками.

Вот он лежит на палубе лодки, стараясь как можно дольше не умереть.

На нижней палубе лежат двое мертвых, третий человек там еще не добит, но и он умрет.

Умирает и Гарри Морган — победитель.

Когда катер береговой охраны нашел лодку, раненый заговорил.

«Человек,— сказал Гарри Морган очень медленно,— не имеет не может никак нельзя некуда.— Он остановился».

Собравшись с силами, он говорит яснее:

«— Человек один не может. Нельзя теперь чтобы человек один. — Он остановился.— Что бы ни было, человек один не может ни черта».

В сознании, как камни фундамента, лежат слова: не имеет — не может — никак нельзя — некуда.

Слово «человек» зыбко выстраивается потом, окруженное отрицаниями.

Старый реализм прошел с миром, который он отражает многими «не».

Отрицание — судьба не только Гарри Моргана. Одиночество, смерть, забвение — общий путь героев книг замечательного писателя.

Жена Гарри Моргана говорит в конце повести: «В этой проклятой жизни все узнаешь. Кажется, я уже начинаю узнавать. Просто внутри все умирает, и тогда все очень легко. Становишься мертвая, как другие, такая, какой другие бывают почти всю жизнь. Наверно, так и нужно. Наверно, такой и нужно быть. Что ж, у меня хорошее начало если это нужно. Я думаю, так оно и есть. Я думаю, этим кончится. Ну что ж. У меня хорошее начало. Я ушла дальше всех»

Повесть кончается описанием идущего вдали танкера, который огибает «риф с запада, чтобы не расходовать лишнего топлива в ходе против течения».

Это последние слова произведения. Если бы повесть кончалась пейзажем, то можно было бы сказать, что писатель отпустил читателя в мир, в природу, но он кончает повесть тем, что деловое беспокойство чужих, не включенных в это им показанное человеческое страдание людей бессмысленно продолжается.

Великан с головой пророка, воин Хемингуэй ходит по миру, как зверь по клетке с сетчатыми, прозрачными, очень упругими и непреодолимыми стенами.

Можно бросаться на стену, но она мягко отбрасывает.

Человек отделен от мира непреодолимой, прозрачной и призрачной сеткой.

Не призрачны только невзгоды, дождь, под которым можно сжаться. Остаются только редкие вспышки храбрости и сознание, разрезанное на ломти.

В 1952 году Хемингуэй издал повесть «Старик и море». Писатель вернулся к морю, которое он так любил, к рыбам, которых он умеет ловить.

В океане есть даже рыба, которая носит имя Хемингуэя: он написал свое имя таким образом не только в литературе, но и в зоологии. Рыба названа «Neomarinthae Hemingwayi».

Герой Хемингуэя постарел, он старше самого Хемингуэя.

Старик не раздавлен жизнью: во сне он видит львов, и тогда, когда после многих страданий, описанных в повести, старик утратил свою добычу, все кончается словами: «Наверху, в своей хижине, старик опять спал. Он снова спал лицом вниз, и его сторожил мальчик. Старику снились львы».

Войны, охоты, неудачи Хемингуэя — все это существовало, но книги его — это сон о львах.

Старик один плывет в море. Одиночество достигло абсолюта: мальчик остался на берегу, старик один на широкой груди моря. Одинокий, обожженный солнцем, голодный, он борется с громадной рыбой.

Борьба человека с природой дана в кристаллически чистом виде; человек показан совершенно одиноким, хотя с природой борется не человек, а человечество.

Человек не может быть совсем один.

Старик Хемингуэя разговаривает с собственными своими руками и со своей головой.

«Старик осторожно взял бечеву, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки.

— Для такого ничтожества, как ты, ты вела себя неплохо,— сказал он левой руке.— Но была минута, когда ты меня подвела».

Идет долгая борьба с рыбой и короткие разговоры старика со своими последними союзниками.

«— Тяните! — приказывал он своим рукам.— Держите меня, ноги! Послужи мне еще, голова! Послужи мне. Ты ведь никогда меня не подводила».

Хемингуэй передает могучему старику свое ощущение мира, свой опыт человека, который видит, как люди, овладевая, убивают.

Звезды и солнце тоже становятся объектами охоты и убийств.

Старик говорит в пустом море, борясь с исполинской рыбой,— она длиннее лодки на два фута.

Он не против чудовища. «— Рыба — она тоже мне друг,— сказал он.— Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды!

«Представь себе: человек что ни день пытается убить луну! А луна от него убегает. Ну, а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет, что ни говори, нам еще повезло»,— подумал он».

В раздробленном, не забывающем о своих границах, мятущемся и бесперспективном мире живут многие писатели за рубежом.

Иногда они вырываются из этого мира, но ехать надо далеко — в Африку, в море или на войну, остающуюся чужой, но в ней шум смерти заглушает шум внутренних неполадок.

Иногда же они начинают записывать только самые эти внутренние помехи.

Вот на улице сидит воробей. Ему холодно. Он присел на лапы, чтобы согреть свои тонкие пальцы. Он ерошится. Все это — попытки маленького теплокровного организма сохранить свой строй среди изменяющегося мира. Это борьба за свою жизнь. Но если описать воробья без мороза, без погоды, без весны, без коротких полетов с дерева на землю и обратно, то получится замкнутый мир, мир более тесный, чем мир воробья. Получится мир мокрицы.

Мир в романах Фолкнера, Стейнбека, в рассказах Хемингуэя дается скрипом раздавленной души. Регистрирующий аппарат — сознание — познает не окружающее, а шум внутренних неполадок.

Вот почему так настойчиво советские писатели говорят о социалистическом реализме, о познании окружающего, но не в изоляции, а включенного в карту всего мира, о литературе, устремленной к будущему, учитывающей дорогу человеческих усилий, знающей нетщетность труда.

Тот путь, который привел Хемингуэя к славе и одиночеству, путь не единственный. Есть другие дороги и выходы — главные и труднодоступные, хотя и проходимые.

Писатель — через многие промежуточные звенья или прямо — связан с человеческой культурой, с борьбой человечества за познание и ощущение мира.

Хемингуэй говорил про каторгу Достоевского: «Писатель закаляется в несправедливости, как закаляется меч» («Зеленые холмы Африки»).

Хемингуэй видел много несправедливости, боролся против нее сам и, вероятно, понял потом, что не сама несправедливость, но именно борьба против нее закаляет художника.

Знает Хемингуэй и Льва Толстого.

В той же книге он пишет: «Было жарко карабкаться по песчаному склону ущелья, и я был счастлив, когда лег на спину в тени деревьев и принялся за «Севастопольские рассказы» Толстого».

Что получает писатель от писателя?

Не образцы: так называемая теория заимствования создана людьми, для которых горы книг заслонили дороги мира.

Хемингуэй горы и море видал; он учится у других писателей методам исследования.

Толстой его научил многому.

Учился он и у Тургенева, Манна, Стендаля.

«У меня все еще была севастопольская книжка Толстого, и в том же томе я читал повесть, которая называется «Казаки» и которая была превосходна. В ней была летняя жара, комары, чувство леса в различные времена года, и эта река, через которую верхами переправлялись татары, и я жил в этой России опять.

Я думал, насколько реальна была эта Россия времен нашей Гражданской войны, так же реальна, как любое другое место, как Мичиган, или прерии к северу от города, или лес вокруг фермы Ивэнса,— я знал, что я жил в ней благодаря Тургеневу, так же как я бывал в семье Будденброков, как лазал в окно в «Красном и черном».

Чему же научился Хемингуэй у Толстого и у всей русской литературы?

Он не научился забывать себя.

Тяжело ходить, если к ноге твоей приковано ядро. Если даже разобьешь цепь, то в походке останется манера подтягивать ногу, чертя ею длинные полосы по дорожной пыли.

Хемингуэй — пленник жизни и пленник самого себя. Для того чтобы получить иллюзию свободы и уйти от пепла ощущений, от пожарища жизни, он уходит в море, в горы, в зеленые холмы Африки.

Эти места кажутся живыми, потому что они очень удалены.

Но ведь можно жить иначе даже в путешествии.

Толстой в одном наброске (не опубликованном при его жизни), описывая переход через Альпы, объясняет, для чего он взял с собой мальчика в дорогу.

Он взял с собой слабого для того, чтобы не думать о себе. Объясняет он это так: «Я убежден, что в человека вложена бесконечная не только моральная, но даже физическая бесконечная сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз — любовь к себе, или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество. Хотелось бы мне сказать, что лучшее средство вырваться есть любовь к другим, но, к несчастью, это было бы несправедливо. Всемогущество есть бессознательность, бессилие — память о себе. Спасаться от этой памяти о себе можно посредством любви к другим, посредством сна, пьянства, труда и т. д.; но вся жизнь людей проходит в искании этого забвения. Отчего происходит сила ясновидящих, лунатиков, горячечных или людей, находящихся под влиянием страсти? Матерей, людей и животных, защищающих своих детей? Отчего вы не в состоянии произнести правильно слово, ежели вы только будете думать о том, как бы его произнести правильно? Отчего самое ужасное наказание, которое выдумали люди, есть — вечное заточение?»

Забыть себя, в любви жить не с собою, а с любимой, на войне жить не страхом за себя, а мыслью о сражении и сказать в поэзии, как Маяковский:

Умри, мой стих,
умри, как рядовой,
как безымянные
на штурмах мерли наши —

это означает стать свободным.

Свободен Эйзенштейн в «Броненосце «Потемкин», потому что он рассказывал не про себя и не для себя и поэтому был тогда виртуозен, изобретателен, свободен, понятен и мог изменять жизнь, обнажая ее противоречия и показывая ее сущность.

Борьба за будущность человечества освобождает.

Титан Прометей остался свободным, когда гнев богов приковал его к кавказской скале; трагедия Эсхила написана про свободу. Не думай о себе — и станешь свободным. У тебя появится новое качество, которое многих удивит,— оптимизм.

Кошка под дождем и американка в отеле не свободны: они сидят в прозрачной клетке, отъединяющей их от мира.

Хаджи-Мурат погибает свободным; его смерть не похожа на гибель Гарри Моргана. Он бежит не для того, чтобы спасти своего сына и свою семью.

Истинная причина подвига часто непонятна для самого героя произведения, но в сцеплении частей, в композиции произведения она понятна читателю.

Хаджи-Мурат вернулся в горы, чтобы оказаться со своими, потому что понял жизнь, узнал, что судьба народа важнее для него, чем ненависть к Шамилю.

Хаджи-Мурат сражается, вспоминая о песне и смутно представляя, что он делает что-то достойное.

Он сопротивляется до конца, забыв себя.

Герои Хемингуэя не могут забыть себя, и солнце им враждебно.

Путь социалистического реализма не выдуман и не сейчас возник, он путь для человечества; он неизбежен; человечество движется вперед, только осознавая себя и свою общность.

О КАЗАЧЕСТВЕ И О КРЕСТЬЯНСТВЕ

Толстой видел в России крестьян и дворян, почти не замечая рабочих и разночинцев. Основной причиной неустройства жизни крестьянства он считал безземелье.

Если бы было много земли, принадлежащей крестьянским патриархальным семействам, крестьянство могло бы существовать счастливо. Мы не скажем — развиваться: крестьянство еще рассматривалось Толстым как нечто нерасчлененное и неизменяющееся.

В «Войне и мире» Толстой писал, что Наполеон потому проиграл войну, что Влас и Карп не подвезли сена французским обозам. Влас и Карп, таким образом, могли сами по себе победить Наполеона. Деятельность Кутузова, Дениса Давыдова, Тимохина — деятельность кажущаяся, крестьянство само достигает успехов.

Идеальным крестьянством для Толстого было казачество, ибо это крестьянство без помещика.

Дворянин Оленин с завистью смотрит на жизнь гребенских казаков, как на недостижимый идеал.

Понимая, что историю делают люди труда, Толстой в то же время считал, что крестьянство, возделывающее землю,— это все трудящиеся, иных нет и не должно быть.

Поэтому 2 апреля 1870 года Толстой пометил в записной книжке:

«Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть. Голицын при Софии ходил в Крым, осрамился, а от Палея просили пардона крымцы, и Азов взяли четыре тысячи казаков и удержали,— тот Азов, который с таким трудом взял Петр и потерял».

Можно даже прибавить, пользуясь материалами, не известными еще Л. Толстому, что петровские галеоты, галерный флот и брандеры, построенные с большими усилиями под Воронежем, не сыграли роли во взятии Азова или, точнее, только помогли заблокировать город.

Эскадра, разделенная на отряды, шла под парусами, помогая ходу веслами, по Дону, мимо городков, монастырей.

Вышла в степь, прошла мимо казачьих городков — Решетова, Вешек.

Петр взял девять галер и сорок казачьих лодок, присоединившихся к нему в пути, и остановился в рукаве Малая Кутюрьма «для осмотрения мелей» и для разведки противника.

Петр ждал, что у турок на рейде ниже Азова стоят только два корабля.

После осмотра турецкий флот показался Петру грозным.

Утром 21 мая 1696 года Петр приехал к Гордону и объяснил ему свое несколько изумительное возвращение тем, что на взморье стоят не два турецких корабля, а двадцать и множество галер.

Но пока Петр отсутствовал, казаки, оставшиеся после ухода галер в устьях тихого Дона на своих ладьях, напали под предводительством атамана Флора Миняева на турецкий флот, сожгли двадцать четыре судна, а остальные рассеялись по морю, шесть судов протоками прорвались к Азову.

Самый Азов также был взят казаками. Взяли они крепость самовольно. Было донесено Петру, что «черкасы (казаки.—*В. Ш.*) с себя пеню (вину), что пошли на вал своевольно, без указу, не согласясь с московскими войски, сваливают: не могли де мы от шатра (то есть из шатра главнокомандующего) указу (ждать.—*В. Ш.*), когда нам итти к приступу, а гуляем де слишком две недели даром, и многие де из них гладом тают, истинно де многие милостыни просили, для того, не дождався указу и пошли на приступ собою».

Турки выбили казаков из Азова, но те закрепились на валу, и город сдался, хотя казакам и пришлось извиняться за своевольность победы.

Казачьи войска, часто подкрепляемые крестьянским ополчением, были храбры. Казачество в малой войне было опытно и умело пользоваться в войне не только кавалерией. Но Степан Разин победить Москву не мог, и войска Пугачева из-под Казани разошлись на полевые работы.

В казачьих войсках всегда шли раздоры богатых казаков с бедными; из-за этой глубокой розни раскалывались казачьи походы.

Так зажиточные казаки предали Пугачева.

Недаром в повести Гоголя «Тарас Бульба» Тарас говорит с горем о том, что иные из казаков торгуют своими братьями, как скотиной.

Весь народ казаками стать не мог, и крестьянство, какие бы подвиги оно ни совершало, создать свое особое государство не было в состоянии.

Книга «Тихий Дон» Михаила Шолохова рассказывает о Доне, о казачестве, но в то же время это книга и о крестьянстве.

Казачество Шолоховым показано в его противоречивости. Оно сменяет свои решения именно потому, что эти решения обусловливаются противоречиями интересов внутри самого казачества.

Шолохов в начале шестой части пишет:

«В апреле 1918 года на Дону завершился великий раздел: казаки-фронтовики северных округов — Хоперского, Усть-Медведицкого и частично Верхне-Донского — пошли с отступавшими частями красноармейцев; казаки низовских округов гнали их и теснили к границам области.

Хоперцы ушли с красными почти поголовно, усть-медведицкие — наполовину, верхнедонцы — лишь в незначительном числе.

Только в 1918 году история окончательно разделила верховцев с низовцами. Но начало раздела намечалось еще сотни лет назад, когда менее зажиточные казаки северных округов, не имевшие ни тучных земель Приазовья, ни виноградников, ни богатых охотничьих и рыбных промыслов, временами откалывались от Черкасска, чинили самовольные набеги на великоросские земли и служили надежнейшим оплотом всем бунтарям, начиная с Разина и кончая Секачом.

Даже в позднейшие времена, когда все Войско глухо волновалось, придавленное державной десницей, верховские казаки поднимались открыто и, руководимые своими атаманами, трясли царевы устои: бились с коронными войсками, грабили на Дону караваны, переметывались на Волгу и подбивали на бунт сломленное Запорожье».

Шолохов не идеализирует казачества, как это делал сперва Толстой; он видит в казачестве его противоречия и потому может описать и казачество и русскую революцию.

Книга Шолохова построена на многих кругах анализа: общим планом дана русская революция, ее перипетии. Стиль этих частей, говорящих о борьбе с белыми, похож на военные сводки.

Ближе и более детально дано само Войско Донское в его противоречии.

Еще ближе дается станица; в ней развернуты истории семейств Мелеховых и Астаховых и еще немногих. Из этого всего выделяется крупным планом история Григория и Аксиньи.

Рассказ идет все время на укрупняющихся метонимиях.

Часть, взятая вместо целого, углубляет познание целого. Мы через Мелехова и его колебания видим трудность решений для крестьянина.

У крестьянина-казака нет малоземелья, он несравненно меньше угнетен помещиком, обижен им; но и он противопоставляет себя помещику и офицеру, и у него нет другого пути, чем с русским народом.

ИСТОРИЯ, ДОКУМЕНТ И БИОГРАФИЯ

Искусственно воспитанный царским правительством консерватизм казачества создает слепоту Мелехова; казак хуже дру-

гих понимает свое положение в мире, он слепее мужика из Центральной России; Шолохов даже сравнивает Григория Мелехова с зафлаженным волком. Есть такой способ охоты: волка окружают веревкой, к которой крепятся тряпочки; ограда широка и как будто слаба, но она создана человеком, она страшна, и волк ходит вдоль веревки, смотрит на страшные тряпочки и поворачивает обратно к балкам-оврагам, перелескам, в уже простреливаемую глушь.

Но это только часть анализа.

История Григория Мелехова исследована писателем во многих кругах искания выхода. Мы видим, как изменяется человек, как пересоздается его мироощущение.

Сперва мы узнаем его боевую повадку, мельчайшие подробности его способа управлять конем и рубить шашкой. Мы видим бесполезность его храбрости и безуспешность любви.

Но в то же время мы видим очищение его любви, и в этом мы знаем его, может быть, больше, чем самих себя.

Путь Мелехова, став предметом художественного познания, уже не бесполезен.

В отличие от старых романов, в романе Шолохова часто и точно используется документ.

Мы видим живых людей, семейные отношения, рассматриваем человеческую судьбу с такой подробностью, при которой она обычно выпадает из истории, но в этом романе судьба человека как бы проходит сквозь ворота истории,— как пробегают нити в сложном ткацком станке, укладываясь в узор.

Мы видим, как после многих стычек и столкновений приходит в станицы гражданская война в форме расправы своих со своими.

Приводятся документы убийства, оформленные постановлением от 27 апреля (10 мая) 1918 года; документ подписан выборными от хуторов Каргиновской, Боковской и Краснокутской станиц. Мы читаем подписи убийц и список приговоренных, состоящий из семидесяти пяти имен. Судьбы знакомых нам людей проходят теперь через документы, которые обращаются в медленно показываемую картину озлобления, унижения и страха убийц, в историю твердости и отчаяния казнимых.

Мы видим в третьей книге гибель двадцати пяти коммунистов, выданных повстанцам Сердобским полком.

Убийцы оказываются и в семье Мелеховых. Дарья, которая цвела у дороги, как белена, нехитро удовлетворяя свои желания, добиваясь не счастья, а наслаждения,— Дарья оказывается убийцей, не то мстя за мужа, не то оступаясь в позволенную, поощряемую жестокость.

Судьбы людей пробегают через ущелья фактов, и нить судьбы прошивает на наших глазах узор, указанный исторически точно.

Благодаря такому строению время в романе «Тихий Дон» течет по-разному: организовано оно сложно.

В первой части действие романа развивается медленно, здесь описывается происхождение семьи Мелеховых. Мелеховых в станице называют «турками», зная, что в них есть турецкая кровь.

Само время станичное определено временами года: дождями, снегами и сезонностью работ.

Масштаб описания изменяет, расширяет война. Но и война сперва дается только через восприятие ее рядовым, из окопа.

Ясные контуры времени вступают в роман с революцией; сперва они похожи на четкие линии нераскрашенной карты.

Описываемые явления отодвинуты, зато время их дается с чрезвычайной точностью.

Приведу несколько примеров: время обычно указывается точно в начале главы, причем тут же называются действующие лица; например, во второй книге четвертой части сказано:

«Шестого августа начальник штаба верховного главнокомандующего генерал Лукомский, через первого генерал-квартирмейстера ставки генерала Романовского, получил распоряжение о сосредоточении в районе Невель—Н.-Сокольники — Великие Луки 3-го конного корпуса с Туземной дивизией».

Точность приказания прикрывает тайну заговора Корнилова и отмечает дату начала наступления контрреволюции.

Если в середине главы приводится документ, то датировка документа заменяет начальную датировку главы.

«После того как калединцы потрепали революционные казачьи части, Донской рев-

ком, вынужденный перебраться в Миллерово, отправил на имя руководителя боевыми операциями против Каледина и контрреволюционной Украинской рады декларацию следующего содержания:

«Харьков. 19 января 1918 года. Из Луганска, № 449, 18 ч. 20 м. — Донской казачий военно-революционный комитет просит вас передать в Петроград Совету Народных Комиссаров следующую резолюцию Донской области»

Иногда длинное перечисление действующих лиц и точная датировка необходимы для того, чтобы подготовить появление неожиданного документа, все переосмысливающего.

«15 мая атаман Всевеликого Войска Донского Краснов, сопутствуемый председателем совета управляющих, управляющим отделом иностранных дел генерал-майором Африканом Богаевским, генерал-квартирмейстером Донской армии полковником Кисловым и кубанским атаманом Филимоновым, прибыл на пароходе в станицу Манычскую».

Атаман Всевеликого Войска Донского Краснов, имя которого упомянуто в начале главы, характеризуется дальше документом, которым опровергается все казачье отношение к войне и родине: это документ измены. Атаман донского казачества, русский генерал, титул которого дан с такой иронической обстоятельностью, пишет германскому императору заискивающее письмо с ложной прямотой предложений и просьб.

Все закреплено документом, который освещен пламенем жизни людей, сжигаемых изменой Краснова.

Краснов лжет, отрицая историю и отделяя себя от России.

«Тесный договор сулит взаимные выгоды, и дружба, спаянная кровью, пролитой на общих полях сражений воинственными народами германцев и казаков, станет могучей силой для борьбы со всеми нашими врагами».

Такая документация художественна только потому, что рядом с ней мы видим тщательнейший и поэтический анализ отдельного человека, противопоставленного датам жестокого времени.

Трагизм человека, который проходит перед нами, увеличивается тем, что мы видим, как все изменяется вокруг человека активного, сильного и виноватого. Григорий сильный человек, но он, как волк, офлажен заговорами, сделками и интервенциями государств с пестрыми флагами.

В судьбе Григория нет примышленного. Она выделена из истории без внесения чего-нибудь чужого, не здесь и не тогда случившегося.

ГРИГОРИЙ МЕЛЕХОВ И АКСИНЬЯ. О СТУПЕНЯХ ЛЮБВИ

В частном мире Григория Мелехова сказывается поворот пути человечества. Мелехов — несчастливый человек: он не может забыть себя и свое хозяйство, не может прийти окончательно к революции трудящихся и постепенно становится одиноким.

Донское войско превращается в армию повстанцев, армия повстанцев тает и превращается в банду, банда распадается.

Один Григорий не может ничего.

Но он идет по долгим дорогам. Его относит от настоящего пути ветром прошлого. Но будущее, которое изменяет всю страну, весь мир, изменяет и его.

Это не спасение Мелехова, но разрешение трагедии.

Роман между Аксиньей и Григорием Мелеховым начат просто и прямо; зашел Григорий к соседям. «В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова».

Аксинья просыпается: «Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок заревой бабий сон».

Все начато с самого простого. Аксинья показана без всякой поэтизации. При второй встрече: «...ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи...»

После такого введения героини в роман рассказывается ее тяжелая предыстория: в шестнадцать лет она была изнасилована родным отцом.

Муж Аксинью бьет. Женщина прихвачена мужской рукой под мышку. Она вся во власти хозяина-мужа. Отношения между Мелеховым и Аксиньей тоже описаны очень су-

рово: «Он упорно, с бугаиной настойчивостью, ее обхаживал. И это-то упорство и было страшно Аксинье».

Григорий наезжает на Аксинью конем:

«— Что ж ты меня конем топчешь?

— Это кобыла, а не конь».

Сближение дано по-звериному: «Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу...»

В искусстве доходит до читателя не одно какое-нибудь высказывание, не одна картина, а сцепление высказываний.

Писатель ведет читателя по лабиринту сцепления, открывая в обычном и грубом необычное и правдивое.

Аксинья чувственно любит Григория. Он легко от нее отказывается, оскорбляя ее привычной похабной пословицей: «Сучка не захочет — кобель не вскочит».

Но не само оскорбление важно — важно равнодушие Григория в тот момент, когда Аксинья ждет его решения, чтобы уйти к нему от мужа, и готова даже на убийство мужа. Григорий начинает: «...Надумал я, давай с тобой прикончим...»

Аксинья додумывает про себя страшные слова «...прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы...» — и произнес обычное и тоже страшное: «—...прикончим эту историю. А?»

История не приканчивается, хотя Григорий и сосватан и связан с не нравящейся, но привлекательной и хорошей женщиной. Он уходит от жены и от своего хозяйства с Аксиньей на службу к чужим господам Листницким.

Он любит Аксинью. Она для него пахнет не только знакомым запахом пота, а и цветком дурнопьяном. Но любящие еще не увидали своей любви.

Все начато с самого простого, но не может кончиться, становясь все более человечным.

Степан встречается в бою с Григорием. Григорий выручает соперника, как это бывает в песне, в предании,— уступает ему своего коня.

Он уже песенно-хороший человек, но он еще не новый человек.

После долгих войн, напрасных подвигов, случайной крови, окопной грязи меняется отношение Григория к Аксинье. Изменяется даже память о ее запахе. Он вспоминает о женщине во время войны, когда глядит на дымный костер дотлевающих в небе Стожаров: «...Большая Медведица лежит сбоку от Млечного Пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом...»

Здесь обновлено народное название созвездия Большой Медведицы — Воз. Человек увидел созвездие и как будто бы еще раз удивился тому, что название и на самом деле передает фигуру расположения звезд.

Над Григорием великое, как будто впервые им увиденное и в то же время свое — казачье небо. Он и здесь вспоминает «дурнопьянный, тончайший аромат Аксиньиных волос».

Это — то и не то, что было прежде.

Но впереди разочарования и долгий поиск выхода из зафлаженной ловушки кулацкого восстания.

Григорий видит жестокость и глушь войны.

Я воевал в ту войну, я ее видел. Нет ничего более глухого, чем кусок окопного фронта. Мир здесь как будто кончался. Окоп сырой. Невысокий бруствер, над которым нельзя поднять головы, потому что свистнет пуля Винтовки снайперов и пулемет отрезывают край окопа, и, как из-под воды, смотрят люди на врага через перископ.

Но нам в перископ ничего не показывали: мы были солдатами. Глухо и сыро, как у самого глухого забора. Вот в этой глуши жил Григорий Мелехов. Потом пришли слухи, началась революция, которая сняла этот забор.

Мир стал большим, широким, и казалось, что дороги через иные страны пойдут прямо, что ничем не будут они заставлены. Что можно будет идти через Германию во Францию, все время встречая друзей, и что дальше откроется Гренада, которую надо освободить казаку или красноармейцу какой-то глухой волости.

Все это была правда и правдой осталось.

Я не знаю, расскажу ли факт или легенду, но вот что я слышал на Днепре тогда, когда последний раз на нас наступал Врангель, слыхал ночью, на глухом фронте, где я красноармейцем около Тегинки стерег Днепр. Было нас, красноармейцев, по-моему, не больше двух человек на километр. Вот тут, сменяясь, я услыхал правду или легенду про Козьму Крючкова.

Козьма Крючков перерубил четырнадцать или около того немцев — взаправду или прихвастнул. Сделали его газетным героем,

напечатали портрет — усатый и, вероятно, непохожий — на папиросных коробках и сотворили из него ложный образ героизма. Слово потом даже пошло: «козьмакрючковщина».

Вот что рассказали мне в воинской части.

Тогда еще не было новых песен. Пели на мотив «Спаси, господи, люди твоя» песню о «Варяге», и понятно, почему пели: мелодию церковного песнопения — а мелодий помнили мало—использовали, переосмысливая, чтобы не выбросить. Завели на одну мелодию два разных текста.

У безмолвного, пустого Днепра рассказали мне про Крючкова. Говорили, что Козьма Крючков пошел в Красную Армию и стал красным казаком и что его сильно дразнили тем, что он Козьма Крючков. Казак, уже немолодой, хороший конник, хороший рубака, а живет, как человек с пришитым бумажным хвостом. Все люди как люди, а он хотя и красный конник, но все же Козьма Крючков с папиросной коробки.

Раз гнали красные белых до реки — имени той реки не вспомню. Белые казаки успели погрузиться на плот, довольно большой: на плоту было семь конников; Козьма Крючков гнался вместе с отрядом за белыми, первым вылетел на берег, прыгнул с конем на плот. Плот отчалил. Прибило плот к берегу километров за десять — двенадцать ниже: лежали на плоту восемь трупов людей и лошади порубленные. Среди семи зарубленных мертвым лежал и Козьма Крючков.

Мне хотелось об этом здесь вспомнить, потому что в том давнем рассказе есть уважение солдата к хорошему коннику и есть представление, что настоящий боец должен попасть, хоть под конец своей жизни, в Красную Армию. Так что и Козьма Крючков по солдатской прикидке должен был перемениться.

Может быть, и было так, и Козьма Крючков в самом деле в последний раз бился с белыми на крутящемся, никем не управляемом плоту, несомом неведомой рекой, бился за свою правду.

Григорий Мелехов иначе переменился: он переменился не только в бою, но и дома.

Чем дальше, тем больше изменяется он, и станица вокруг него снимает с себя изношенные навыки.

Время бежало, перемывая людей, обнажая не столько старую жестокость, сколько человечность нового.

Григорий ушел на войну. Аксинья изменила ему не легко, но бездумно с господским сыном — офицером Евгением Листницким. После того как Григорий избил разлучника, Аксинья все же возвращается к Евгению. Такова еще не преодоленная тогдашняя правда жизни. Но Евгений женится. Аксинья принуждена покинуть барский дом. Она вернулась к мужу Степану.

Идет гражданская война. Возвращается Григорий.

Изменилась жизнь. Снова встречаются любящие в изменившемся мире. Глаза людей начали видеть то, что они раньше не видели. Появился пейзаж, увиденный человеком.

«Григорий перевел взгляд с лица Аксиньи на Дон. Затопленные водой бледноствольные тополя качали нагими ветвями, а вербы, опушенные цветом — девичьими сережками, пышно вздымались над водой, как легчайшие диковинные зеленые облака. С легкой досадой и огорчением в голосе Григорий спросил:

— Что же?.. Неужели нам с тобой и погутарить не об чем? Что же ты молчишь?..»

Аксинья отвечает:

«— Деревцо-то — оно один раз в году цветет...»

Но в искусстве единая весна любви многократна.

Люди встречаются вновь иными, обогащенными Есть выражение «простой человек». Но ведь простой человек — большой человек, потому что простой человек своими руками строит жизнь Рассказать про простого человека, сделать его не орнаментом, внимательно пересмотреть его любовь, да не давая ее второй, подсобной, полушутливой линией,— это очень трудно.

Сходили леса и вырастали заново, падали и вырастали города, покамест простой человек был описан в истинной своей сложности.

Описан не оправданным в своих винах, потому что простой человек — великий человек; он за все отвечает

Ведь он умеет видеть догорающий в небе дымный пламень созвездий и узнавать в небе звезды, приблизив их, сделав их как бы обстановкой великого человеческого жилья.

Аксинья стареет. Но дело не только в молодости человека, но и в том, с какой силой и чистотой он воспринимает мир.

Революция растит не только тех, кто с нею. Она как воздух, как ветер, которым дышат все.

Мелехов не мог уехать с белыми из России, потому что он изменен революцией. Любовь его все вырастает, становится все выше, человечнее.

Уже и Аксинья иначе видит свою соперницу Наталью; уже может сказать, что, когда Григорий вернется, он сам выберет из двух женщин одну: которую любит.

Женщины в детях, рожденных от другой, видят лицо любимого. Сперва это увидела Наталья тогда, когда Аксинья была у Листницких, потом Аксинья увидела в Натальиных детях детей Григория, узнала его в них.

Они начали забывать себя в своей новой любви.

Нужно достичь не незнания себя, а забвения себя, то есть надо иметь что забыть.

Бесполезно отсутствие самосознания, которым, по словам Толстого, обладал Каратаев.

Важно то состояние, тот восторг восприятия мира, которого достиг Левин, узнав, что Кити его любит, то состояние, с которым Катюша Маслова отказалась от Нехлюдова, то боевое вдохновение, с которым сражался в последний раз Хаджи-Мурат.

Долгий путь был у Аксиньи и у Григория Мелехова. Они трижды или четырежды встречались в своей любви. Первая любовь была как бы случайна. Ее сам Мелехов называл «историей», а это слово для казака— ирония.

Вторая любовь была драмой, уходом из станицы: надо было бросать хозяйство, но та любовь была опровергнута изменой Аксиньи.

Но третья любовь, которая пришла после долгих лет жертв и долгих поисков, дала людям новое нахождение мира. Вот это и была та любовь, которую не нашли герои Хемингуэя.

Эта любовь не отрывиста; в ее словах не перехватывает дыхание.

Когда это совершилось, люди стали как будто даже обыкновеннее: Аксинья Астахова начала пахать с семьей Мелеховых.

Но жизнь изменилась в ее восприятии.

Григорий Мелехов болел, а потом выздоровел. Болезнь иногда обновляет человека, и выпуклыми, вымытыми, обостренными, свежими возвращаются ощущения. Потом болела Аксинья и тоже выздоровела. Григорий болел малярией, Аксинья — сыпным тифом. Болезни у них разные.

Шолохову надо было показать — с различной событийной мотивировкой — такое положение, в котором оба любящих перед концом романа ощущают мир обновленным.

Выздоравливает как бы самый мир. Человек народа стал героем. Раскрыта сложная красота жизни в романе, который не скрывает ни жестокости, ни грязи, ни запаха пота.

Выздоровевшая Аксинья как будто переселяется в иную вселенную: это дается долгим расчлененным описанием.

«Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитая туманом даль, затопленные талой водою яблони в саду, мокрая огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями — все казалось ей невиданно красивым, все цвело густыми и нежными красками, будто осиянное солнцем».

Самый мир, то, что называют прозаически «действительностью», стал предметом эстетического наслаждения. Вещи хочется ласково потрогать.

«Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом, хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи, бездорожно, туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле...»

Завершение реального восхождения по ступеням любви состоит в том, что Григорий Мелехов своим путем, с мотивировкой его собственного выздоровления попадает в новый мир, в котором он как бы может встретиться с Аксиньей.

«Григорий долго смотрел в окно, задумчиво улыбаясь, поглаживая костлявыми пальцами усы. Такой славной зимы он как будто еще никогда не видел. Все казалось ему необычным, исполненным новизны и значения. У него после болезни словно обо-

стрилось зрение, и он стал обнаруживать новые предметы в окружающей его обстановке и находить перемены в тех, что были знакомы ему издавна.

Неожиданно в характере Григория проявились ранее несвойственные ему любопытство и интерес ко всему происходившему в хуторе и в хозяйстве. Все в жизни обретало для него какой-то новый, сокровенный смысл, все привлекало внимание. На вновь явившийся ему мир он смотрел чуточку удивленными глазами, и с губ его подолгу не сходила простодушная, детская улыбка, странно изменявшая суровый облик лица, выражение звероватых глаз, смягчавшая жесткие складки в углах рта. Иногда он рассматривал какой-нибудь с детства известный ему предмет хозяйственного обихода, напряженно шевеля бровями и с таким видом, словно был человеком, недавно прибывшим из чужой, далекой страны, видевшим все это впервые. Ильинична была несказанно удивлена однажды, застав его разглядывавшим со всех сторон прялку. Как только она вошла в комнату, Григорий отошел от прялки, слегка смутившись».

В этом новом мире и люди, не перенесшие болезнь,— сестра Мелехова, мать Мелехова, его дети — по-новому относятся друг к другу.

Мир остается трагичным, потому что Мелехов изолирован.

Григорий нашел новое качество любви и и мира, но любимая его гибнет.

Герой осматривается. Шолохов так описывает мир, который увидел, оглянувшись, Мелехов:

«В дымной мгле суховея зставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца».

В кино пытались и правильно отказались от попытки передать эту картину Черное солнце в кино как будто показать легко: черное солнце — это негатив. При техническом умении мы можем дать черное солнце и реальных людей. Но нужно понять, что такое поэтический образ.

Черное солнце показано на черном небе. Черное сияет на черном, хотя этого и не может быть. Поэтический образ словесен: он построен столкновением мыслей. Черное здесь не только цвет — это все то, что связано со смертью. Черное сверкание, черный свет в то же время противопоставлены смерти, хотя в ней существуют.

Художественный образ — не однажды к случаю сделанное сравнение или сближение понятий; в эстетическом переживании импульс, данный новым ви́дением, разнообразно повторяется в новой, созданной художником замкнутости, создавая внутри себя новые неравенства и в то же время подготовляя новые сцепления.

Художественный образ (троп) — не фиксация сходства или смежности понятий, а способ овладения сущностью представления при помощи сопоставления понятий — по их неполному, несимметричному сходству или по неожиданности, смежности — с новыми понятиями.

Этим объясняется кажущаяся противоречивость шолоховского образа, которая в то же время так сильно впечатляет.

Этот образ не противоречив; он трагически постигаем именно в силу своей противоречивости.

В кино, если бы стала такая задача, его аналогом была бы система нескольких несовпадающих моментов ви́дения.

Вообще нечто подобное явлению одного искусства в другом искусстве можно отразить только и н ы м способом, но способом тоже создающим систему замкнутых противоречий, ведущих к художественному познанию.

Возвращаясь к роману Шолохова, можно сказать, что образная система четвертой книги романа, продолжая стиль писателя, становится сложнее, динамичнее, не переставая быть характеристичной.

Роман кончается не катастрофой героя, не смертью героини, не гибелью почти всей семьи Мелеховых, а нашим познанием того мира, в который нас привел писатель.

Мир познается нами в его движении — в снятии старых отношений.

В. ЛАКШИН

★

ГЛАЗАМИ ПИСАТЕЛЕЙ

1. «АЛГЕБРА» ИСКУССТВА

Преемственность опыта — закон литературы, как и всякого иного вида человеческой деятельности. Для старшего поколения советских писателей наставниками были Горький, Серафимович, протянувшие из прошлого века нить классической традиции. Но Горький завещал не только то, что унаследовано им от русской классики, а и то, что было понято и достигнуто им самим — родоначальником социалистического искусства. Советские писатели двадцатых—тридцатых годов, непосредственные ученики и сподвижники Горького, сами стали теперь авторитетами для молодого отряда наших прозаиков, драматургов и поэтов. Продолжая горьковскую традицию, они передают молодежи то, что накоплено и осознано пооктябрьским литературным поколением.

Как-то незаметно за последние годы из книг советских писателей о литературе, о своем труде, о мастерстве выросла целая библиотека. Фадеев и Гладков, Сейфуллина и Саянов, Антокольский и Федин, Павленко и Исаковский, Шагинян и Инбер делятся своим опытом, мыслями об искусстве, наблюдениями над творчеством других писателей.

Можно взглянуть на эти книги с разных сторон. Не говоря уж о простом читательском интересе к мыслям писателей о своем искусстве,— без тех литературных боев, исканий и споров, следы которых остались на страницах этих книг, невозможно представить живую историю советской литературы. Они неоценимы и как материал для теоретических суждений о социалистическом реализме и как комментарий к творчеству того или иного писателя. Во всех этих и других отношениях они могут стать еще предметом изучения и толкования. Пока же хочется поделиться лишь некоторыми впечатлениями и мыслями, навеянными чтением недавно вышедших книг К. Федина — «Писатель, искусство, время» («Советский писатель». М. 1957), М. Шагинян — «Об искусстве и литературе» («Советский писатель». М. 1958), В. Саянова — «Статьи и воспоминания» («Советский писатель». Л. 1958), П. Антокольского — «Поэты и время» («Советский писатель». М. 1957), В. Инбер — «Вдохновение и мастерство» («Советский писатель». М. 1957).

Почти все эти книги написаны не специально, а составлены из статей и выступлений по разным поводам и в разные годы. В этих случаях не приходится ждать внешнего единства — правда, оно не так уж и важно, если выручает единство внутреннее, определяемое личностью автора и цельностью его отношения к искусству.

Мы будем лучше ориентироваться в пестром материале сборников, выделив два основных жанра, которые в них преобладают. Это — прямое поучение молодым, обращение к своему опыту, раскрытие профессиональных «тайн» и собственно «критика» — рецензии, обзоры, «литературные портреты».

Пафос коммунистической идейности, желание глубже осознать и отразить в творчестве современную действительность характерны для всех наших авторов.

Эти общие устремления в каждой книге находят свое, личное преломление. И в том случае, когда писатель прямо говорит о себе, о своем творчестве, и тогда, когда он оценивает произведения своих товарищей или литературных предшественников, мы всегда расслышим его излюбленные мысли об искусстве — то, к чему он страстно стремится,

что считает важнейшим в своем деле, за что болеет душой. Так, В. Саянов в книге «Статьи и воспоминания» с наибольшей убедительностью и жаром пишет об общей культуре поэта, о широте и современности взгляда, необходимых художнику. Иной «сюжет», скажем, у книги В. Инбер «Вдохновение и мастерство», где выразительнее и лучше всего говорится о празднике творчества и о его буднях, об условиях успешной поэтической работы. У К. Федина в книге «Писатель, искусство, время» на первом плане — мысли о мастерстве, о творческом призвании и профессиональном умении, о культуре слова и т. п.

Талантливая литературно-критическая книга, может быть, не в меньшей мере, чем художественная, позволяет нам увидеть живое лицо писателя, как бы лично познакомиться с ним. Литература имеет такое удивительное свойство: хочет ли открыть или спрятать себя автор — он всегда как на ладони. Вольно и невольно автор книги своими литературными признаниями дает нам свой портрет, и это ощущение личности человека особенно подкупает при чтении лучших сборников статей. Хорошо видится за страницами книги спокойный, наблюдательный Федин, не бесстрастный, но и не увлекающийся до потери головы, художник высокой культуры, взыскательный в своем искусстве, сознающий свое право учить молодых мастерству и находящий в этом удовлетворение. Другой, не схожий с этим облик рисуется при чтении книги Мариэтты Шагинян «Об искусстве и литературе». Это темпераментная путешественница, неутомимая в поисках любопытного, наклонная к «философистике». Каждую мелочь, не говоря уж о предметах солидных, стремится она уразуметь, дополняя острую приметливость глаза работой воображения. С завидной непринужденностью пишет она о самых разнородных вещах. Очерки Овечкина и архитектура Москвы, «Калевала» и «Скандал в Клошмерле», музыка Шостаковича и педагогика Яна Коменского — все эти темы, как видно, близки автору, и от книги остается впечатление ума на редкость подвижного, пристрастного к разнообразию и оригинальности. Свое настроение, свой тон и характер можно обнаружить и в других книгах о литературном труде.

Для чего, однако, писатели пишут о литературе? Только ли для того, чтобы одарить советом и наставлением новичков в искусстве? Нет, конечно. Писатель, осознавший себя зрелым мастером, хочет оглянуться на свой творческий опыт, уяснить и определить свои требования к искусству.

Такая «поверка алгеброй», как оказывается, совсем не вредит чудесам «гармонии», не отнимает вдохновения и не обездоливает фантазии.

Лев Толстой, сосредоточенно работавший, как известно, над теорией искусства, записал как-то в своем дневнике: «Моя работа над «Искусством» многое уяснила мне. Если бог велит мне писать художественные вещи — они будут совсем другие. И писать их будет и легче и труднее». Характерное признание. Знакомство с эстетическими теориями не может, разумеется, сделать из бездарного человека писателя, но для настоящего художника, как бы он ни был природно одарен, ясность понимания сути и метода искусства — один из путей дальнейшего совершенствования.

В наши дни эта мысль кажется особенно своевременной. «У каждого писателя,— говорит в своей книге В. Саянов,— возникает время от времени желание побеседовать с читателем и критиком на страницах печати. Без серьезных попыток осмыслить содержание своей творческой работы, определить свои эстетические позиции, без попыток утвердить свои взгляды на важнейшие вопросы литературной современности не может обойтись ни один мало-мальски серьезный литератор». Справедливость этого соображения подтверждает само обилие книг и статей советских поэтов, прозаиков, драматургов о литературе, очевидное стремление обобщить и публицистически (иногда теоретически) закрепить свое понимание творчества и задач искусства.

Даже «таинство искусства», творческий процесс с его восторгом и вдохновением, в котором искони видели столько загадочного, непостижимого, диковинного, становится как бы более познаваемым. Писатель наших дней не согласен удовлетвориться тем, что у него сейчас, в этот момент, хорошо получилось, он хочет понять — к а к, почему удалось одно и не удалось другое и можно ли потом сознательно использовать свое художественное открытие.

В эпоху сложнейших общественных процессов, в век марксистской диалектики, рас-

цвета точных наук, в век ядерной энергии и космических полетов желание писателя глубже и полнее понять творческие «тайны», может быть, особенно оправданно. Об этом напоминает нам В. Инбер: «Наука, техника — те меняют, совершенствуют свои «орудия производства». Армия вооружается новейшими видами оружия. А наше «орудие» и «оружие» — все то же: слово. Только оно одно. Научимся же владеть им в совершенстве». То, что здесь отнесено к языку, может быть понято и в более широком смысле. Своими, часто несхожими путями писатели идут к осознанию «творчества по законам красоты».

Здесь следует прервать ход рассуждения одним скептическим замечанием. Досадно, что, используя счастливую привилегию — быть составителями своих же сборников,— авторы не всегда требовательны к себе. Под одним переплетом порой соседствуют действительно важные, кровные рассуждения об искусстве и статьи «на случай», обязанные своим появлением на свет исключительно упорству газетчика или настойчивости организаторов какого-нибудь юбилейного торжества. Впрочем, и статьи «по поводу» бывают хороши и значительны, когда обращают художника к важной и интересной для него теме, на которую просто не выпадало до тех пор случая поговорить.

При публичном обсуждении некоторых книг о литературе ныне здравствующих авторов ораторы обращались к этим авторам с советом — переиздать сборники, расширив их объем, включив еще не собранные статьи и заметки. Переиздать многие из этих книг, бесспорно, полезно, стоит включить и несобранные статьи, если среди них есть действительно ценные. Хотелось бы, однако, чтобы авторы оказались «критичнее» своих критиков и еще раз просеяли бы материал сборников, выбросив слишком частное, отжившее — к выгоде общего впечатления.

И еще об одном трудно промолчать.

Чехов когда-то искренне считал, что не умеет «критиковать», и сознавался, что не может ответить, почему ему нравится Шекспир и не нравится Златовратский. А в его письмах обнаружился впоследствии целый клад суждений о литературе, поразительно тонких и содержательных. Очевидно, фрагментарность, «этюдность» этих суждений не случайна и находится в каком-то отношении ко всему строю его мышления, в том числе и творчески-художественного,— но это тема особая. Важно отметить, что и такие беглые характеристики и отрывочные высказывания могут иметь большую цену.

В наши дни писатели иногда, словно не надеясь на потомство, сами отдают в печать отрывки из своих писем, выдержки из дневников, имеющие отношение к литературной работе.

В этом есть своя хорошая сторона — уже современники могут знакомиться с суждениями писателей об искусстве,— но есть и некий убыток для читателя: включив в свой сборник такие заметки и письма, автор считает, что он выразил свое литературное кредо и тем как бы освободил себя от последовательного и целостного размышления об искусстве. Пусть не подумают, что мы хотим видеть всех художников пишущими теоретические трактаты и поэтики. Но тем, кто имеет желание высказаться об искусстве, всегда надо памятовать о том, что частные наблюдения, афоризмы, мнения или ссылки не могут заменить глубоко продуманную и последовательную мысль.

Неудовлетворенность тем, что крупные мастера редко берутся за писание самостоятельных книг об искусстве, не мешает, впрочем, видеть значение изданных сборников, в каждом из которых найдется много полезного и поучительного.

2. ВДОХНОВЕНИЕ И ТРУД

Как бы споря с очень стойким когда-то романтическим пониманием вдохновения как чуда, а искусства — как таинства, писатели-реалисты издавна любили разочаровывать своих поклонников и ценителей грубыми откровениями о творчестве как о целенаправленном труде, работе, даже ремесле.

Вопрос о вдохновении и его связи с писательским трудом и до сих пор занимает писателей не умозрительно, а как часть практики творчества. Этому посвящены основные главы книги В. Инбер «Вдохновение и мастерство».

«Подсмотреть», откуда является вдохновение,— вот задача, которую надлежит решить»,— пишет В. Инбер. В самом деле: в каком обличье приходит вдохновение, с какой стороны его ждать, как угадать его знаки и можно ли его «готовить», «органи-

зовать»? Это вопросы практического свойства. Может быть, вдохновение является нежданно-негаданно, налетает, как шквал, и так же внезапно скрывается, оставляя поэта в терпеливом бездействии ждать его возвращения? Следует ли, в таком случае, брать в руки перо, не чувствуя прилива вдохновения?

Было бы ошибкой считать, что все в этом отношении бесспорно и ясно.

О романе даровитого прозаика А. Калинина «Суровое поле» — романе, в котором автор попутно с основной общественно-психологической проблемой поставил перед собой редко удававшуюся задачу: в живой художественной картине показать труд писателя, самый творческий процесс,— уже писали. Хочется добавить к сказанному лишь несколько слов.

Изображением своего героя, писателя Михайлова, автор все время словно возражает тем, кто недооценивает специфику писательского труда, не хочет считаться с особым творческим напряжением и даже самоотвержением, которого требует это призвание. Мысль правильная, но в настойчивом утверждении ее А. Калинин несколько перегибает палку. Читателю все время внушается, что Михайлов — человек незаурядный. Это начинается с мелочей: герой неожиданно смеется, неожиданно задумывается — словом, выглядит, вероятно, в глазах окружающих страшнейшим чудаком. А. Калинин не разрешает Михайлову ни на минуту обернуться просто человеком, он, кажется, и ходит, и ест, и говорит, как писатель — существо таинственное, загадочное, вдохновенное.

В соответствии с этим и творчество для Михайлова — это прежде всего наитие, откровение, непрерывный восторг. Переживая воображаемую гибель своего героя, он, случается, падает ничком на пол, и не как-нибудь фигурально, а прямо так, «вниз лицом».

Автор, несомненно, хотел, чтобы его герой-писатель понравился нам, чтобы мы больше стали уважать труд художника, который, по Маяковскому, «любому труду родствен», но вместо этого как-то разочаровал нас своим выспренним изображением. Более того, он толкнул нас невольно к еретическому сомнению: не выдумка ли поэтов, охраняющих от непосвященных свои творческие чертоги, это ускользающее от определения вдохновение? Ведь мог же Гейне сказать (его изречение припоминает Инбер): «Вот люди толкуют о наитии, о вдохновении и тому подобном, а я тружусь, как ювелир над золотой цепью, пригоняя колечко к колечку».

Но нет, это не всегда так. Мы знаем твердо, что есть такие минуты, минуты высшей творческой радости, находки, постижения, когда, по слову поэта, «быстрый холод вдохновенья власы подъемлет на челе». Мы не будем вслед за идеалистами-романтиками обольщаться, что вдохновение — это таинство, «приближение бога». Для нас вдохновение нераздельно с изучением действительности, размышлениями о жизни и искусстве. Условием вдохновения мы признаем свободу владения материалом и средствами искусства, чуждую всякой натяжке, принужденности, позволяющую отдаться «движению минутного, вольного чувства» (Пушкин). Легкая, воздушная тень вдохновения идет, однако, об руку с каждодневным, тяжелым писательским трудом. Не сказать о мысли, постигающей действительность, и о «муках слова», представить творчество как беспрерывное священнодействие, буйство фантазии, кудесничество — значит обманываться, судить о деле односторонне и неверно.

«Без вдохновения не может быть настоящей работы, плодом которой является мастерство,— справедливо пишет В. Инбер.— Но само вдохновение, в свою очередь, есть результат работы». В. Инбер исходит из того, что поэту не следует пассивно ждать появления вдохновения — надо уметь заставить его появиться. Средство для этого одно — непрерывный и сознательный писательский труд. Можно согласиться с тем определением вдохновения, которое Инбер заимствует у одного старого французского писателя: «Вдохновение есть умение приводить себя в состояние, наиболее пригодное для работы». И В. Инбер делится своими «производственными секретами», советует тщательно готовиться к рабочему дню, вплоть до чисто «технических» деталей — держать в порядке свой стол, бумагу и перья (впрочем, «перья» в наш век надо понимать иносказательно — Инбер больше говорит о своей пишущей машинке). «А главное,— советует писательница,— чтобы не было пыльных пустяковых мыслей, мешающих работе».

Еще одно суждение В. Инбер хочется отметить Она призывает отличать истинное вдохновение от ложной экзальтации, случайного восторга, основанного на предвзятом самовнушении. Мнимое вдохновение так успешно маскируется в формы подлинного, что распознать его можно только по результатам. «На ясной утренней заре,— пишет В. Инбер,— надо трезво взглянуть на то, что при вечерних огнях казалось столь прекрасным. И как (увы!) часто происходит то, о чем повествуют сказки: самоцветы поэзии, отысканные в недрах волшебной горы, оказываются прозаическим булыжником».

Подчеркивая связь вдохновения с неусыпной писательской работой, не надо, впрочем, впадать в односторонность. «Писать, писать каждый день,— заклинает В. Инбер своих собратьев,— в этом все». Да, можно согласиться, что писать надо много, неутомимо, не давая притупиться писательскому перу. А только не все еще в этом.

В одной из своих статей П. Павленко оставил нам интересное рассуждение о вдохновении. Он тоже считает вдохновение не таинственным наитием, а скорее «рабочим состоянием». «Это состояние особенной бодрости, то есть особенного напряжения нервов, практически сказывается в необыкновенно чуткой наблюдательности».

Стремление писать лишь ради того, чтобы не утерять профессиональность, не сбить слог, само по себе никогда не одарит вдохновением. Павленко отмечает другой его источник, самый необманный и живой, всегда сопутствующий настоящему искусству. Вдохновение является, считает Павленко, «когда вам есть о чем рассказать, и представляет собой удивительную энергию, способную двинуть вас на самое тяжелое предприятие. Когда есть что сказать и когда хочется сказать,— силы упятеряются, голова становится свежей, память цепкой, как в детстве, застарелые болезни тихо смываются в уголки и не мешают двигаться, работать, думать и радоваться тому, что вы пишете, хотя бы вы спали час в сутки и ели раз в два дня». Писатель должен быть убежден, что то, что он говорит, будет важно и интересно людям, чему-то научит, что-то отвергнет, заставит сочувствовать и переживать, по-новому осветит вещи. Иначе ему не зажечься искусством, не ждать ему вдохновения и надо удовольствоваться формальным усовершенствованием стилевой манеры.

Вопрос о вдохновении и труде входит частью в другой, более общий вопрос о «бессознательном» и «сознательном» в искусстве. В свое время вокруг этой проблемы кипели жестокие споры, кажущиеся сейчас во многом наивными. Теперь уже редко встретишься с мнением, что писатель должен творить интуитивно, по необъяснимому внушению Аполлона, а всякого рода заботы о технике мастерства и осмыслении творчества — это, дескать, плод сухого рационализма, разрушающего обаяние непосредственности и заставляющего отлететь нежный дух поэзии. Интересно переосмысляет старый вопрос о «бессознательном» и «сознательном» М. Шагинян в своих «Беседах с начинающими авторами». Она рассматривает «право на бессознательное» (самый термин очень нехорош, и его не спасают даже кавычки) как результат большого личного опыта художника и общественной практики. «Чтобы крупный мастер мог позволить себе «творить бессознательно»,— пишет М. Шагинян,— отдаться формующему инстинкту своего вкуса, как бы на ощупь и стихийно подбирающему для него нужные образ и краску,— для этого необходимы были не только предварительная практика, но и предварительные усилия миллионов людских единиц, дающие возможность создать при помощи работы сознания, то есть отбора, проверки, промера, выброски, то сложное целое, которое называется «общественным вкусом своего времени». Таким образом, «бессознательное» — здесь высшая легкость и свобода во владении средствами искусства, которая сродни вдохновению. Но М. Шагинян понимает «право на бессознательное» и шире: как непосредственное слияние художника с жизнью народа, его судьбой, его строем чувств, дающее голосу поэта значение народного голоса (как это было некогда в героическом эпосе). Не знаем, надо ли называть это «бессознательным», и сомневаемся, возможна ли в XX веке в нашей стране бессознательность, подобная стихийному ощущению древних аэдов, но утверждение, что поэт должен чувствовать себя частью народа, а свой опыт — частью общенародного опыта,— это, несомненно, верная и всегда насущная мысль.

Вдохновение рождается в труде, но рождается оно по страсти, а страсть нельзя смешать с забавой или профессиональной выучкой. Это всегда помнит художник, рассчитывающий на признание и уважение людей.

3. МАСТЕРСТВО — ЭТО СИЛА УБЕЖДЕНИЯ

У всякого писателя в книге его статей — свой голос и своя тема. Но с понятным единодушием сходятся они в одном. необходимо больше думать о мастерстве, о литературной технике. В. Саянов пишет, например: «Вопросам формы у нас уделяется ничтожно малое внимание. Почитайте критические разборы произведений современных писателей, поэтов, драматургов, и вас поразит удивительное равнодушие критики к исследованию формы романов, поэм, пьес, странное отсутствие интереса к вопросам техники, отписки по поводу языка наших книг». В этом согласны с Саяновым и Федин, и Шагинян, и Инбер. Их собственные книги о литературе в большой мере восполняют этот пробел, сообщают много интересного о работе над словом, вводят в так называемую «творческую лабораторию». Кстати сказать, какое заштампованное и кислое определение! Когда говорят о лаборатории, представляются почему-то колбы, пробирки, реторты и хозяин этой лаборатории, обязательно в белом халате, помешивающий и составляющий различные смеси. Не лучше ли — мастерская? Здесь как-то больше воздуха, простора, размаха и не регламентированной формулами художественной инициативы. Так вот в эту «лабораторию» или мастерскую и приглашают нас писатели.

Искусство языка, портрета, характеров, пейзажа, диалога, композиции, речевой характеристики, выразительной детали — все это стороны мастерства, без владения которыми не может быть художника. Лучшие страницы посвящены мастерству в книге К. Федина «Писатель, искусство, время». Душой стиля писателя К. Федин считает язык. Чуткостью и любовью к слову, высоким литературным вкусом продиктованы его рассуждения о языке. «Молодые писатели,— досадует К. Федин,— словно побаиваются заниматься как следует языком, стилем своих произведений. А вдруг, если они начнут уделять много внимания слову, их назовут пуристами? Или — снобами. Или — еще пострашнее. Детская боязнь!»

В книге К. Федина много говорится о культуре поэтической речи, о необходимости «недремлющего внимания к недугам слова». К. Федин предостерегает от засорения языка излишними областными словами, техническими терминами, архаизмами. Его огорчают бытовые «неологизмы», вроде «киоскер», «сеансер». Это не значит, что писатель защищает обескрашенный, «зализанный» язык, принадлежащий всем и никому. К. Федин стоит за индивидуальность слога, но, может быть, еще более — за точность и лаконизм. «Точность слова,— справедливо отмечает К. Федин,— является не только требованием стиля, требованием здорового вкуса, но прежде всего — требованием смысла. Где слишком много слов, где они вялы, там дрябла мысль. Путаница не поддается изъяснению простым, точным словом. Когда у прозаика исчерпано содержание, возникают длинноты». С мыслями К. Федина на этот счет совпадают суждения В. Инбер. Язык, краткость и точность поэтесса называет тремя «китами», «на которых зиждется «материк» мастерства».

Казалось бы, нет ничего легче, чем писать «просто» — пиши, не задумываясь. Но первая же попытка взяться за перо приносит обычно разочарование. Слова не идут, шаблонно строятся фразы, получается надуманно, темно, неискренне, как будто кто под руку тебя толкает, совсем не то и не так, как ты хотел сказать. Недаром В. Саянов считает полезным для поэтов знакомство с наукой «сопротивления материалов», по видимости далекой от искусства. Язык стоит в ряду самых неподатливых и трудных для обработки строительных материалов.

В работе над словом писателю приходится сталкиваться с опасностью, метко окрещенной М. Шагинян «боковым креном» в искусстве. Известно, сколько хлопот доставляет велосипедисту или мотоциклисту сила инерции, которую нужно постоянно не упускать из виду, чтобы сохранить основное направление движения. «Боковой крен,— пишет М. Шагинян,— могучая инерция — подстерегает в искусстве не только начинающего, но и крупного мастера; этот боковой крен есть опасность штампа, легкость пользования уже готовыми построениями, обилие

выбора заготовленных прошлым и прежними мастерами полуфабрикатов, шаблонов...» Это наблюдение верно не только в применении к стилю писателя, но и в отношении сюжета, характеров, композиции.

Проблема мастерства не исчерпывается вопросами языка. Надо говорить и о наблюдательности писателя, о психологической достоверности, о строении сюжета. «Богатство ассоциаций, блеск композиции, сила контрастов,— считает К. Федин,— могучедейственные приемы изобразительности». Стоит особо выделить замечания К. Федина о взаимосвязи сюжета и характеров. «Наша общая беда,— говорит писатель, обращаясь к литовским прозаикам,— состоит в том, что мы часто строим сюжет предвзято, заранее фиксируем себе расстановку действия, которую хотим дать в произведении. Вот почему получается схематичность. Изготовленную впрок схему мы заполняем материалом, обращиваем каркас сюжета фабульными подробностями. Это, конечно, самый ложный и чреватый неудачами путь». Федин советует идти от характера героя, следовать его художественной логике и не стеснять естественность, органичность развития сюжета. Можно было бы отметить и другие тонкие и умные соображения, касающиеся мастерства, в книгах писателей о литературе. Мы не будем останавливаться на них подробнее, во-первых, потому, что разумнее отослать интересующихся к самим книгам, во-вторых же, потому, что почти все эти наблюдения и рекомендации теряют долю убедительности, будучи вычлененными из хода рассуждений именно того, а не иного художника и из области конкретного применения.

К. Федин напоминает об индивидуальности мастерства. «Было бы недоразумением полагать,— пишет он,— будто существует некое единое мастерство, нечто вроде установленной, непреложной категории. Между прочим, если бы это было так, то не было бы ничего легче составить учебник мастерства... Мастерство всегда различно у различных мастеров». Это замечание своевременно. В последнее время так часто и охотно говорят о мастерстве, которого «не хватает» многим писателям, что возникает иллюзия, будто остается только по разумным статьям и книгам навостриться в этом деле, и нечего будет желать, все пойдет хорошо, у нас запляшут лес и горы. Сами того не замечая, мы злоупотребляем удобным словом «мастерство», на практике разумея под ним нередко лишь некоторые приемы обработки литературного материала. Мы часто говорим о недостаточном мастерстве, где просто надо сказать об отсутствии искусства. Порой безжизненный, нехудожественный роман мы оправдываем за «нужность» темы, благодушно советуя автору «лишь» прирастить мастерство. В этом случае «идейность» (под которой понимают внешнюю злободневность темы) плюс «мастерство» (под которым разумеется знакомство с литературным ремеслом) оказывается спасительной формулой. О том, что идейность нельзя сводить к тематической злободневности, говорилось уже не раз. Но мастерство тоже не следует понимать узко. Прекрасно определил это П. Павленко в одной из своих статей: «Я понимаю мастерство не только как сумму знаний слова, метафор, острых драматических конъюнктур и, может быть, меньше всего как сумму именно этих знаний, а прежде всего как огромное умение все описываемое представить живою жизнью, таким безусловно происходящим, чтобы у читателя даже не возникло сомнений в том, что такого не могло быть или если оно и могло быть, то не так. Мастерство есть такая сила убеждения, которая действует помимо словесных новшеств и метафор, при которой форма произведения не ощущается как прием». Нельзя не согласиться с Павленко. Надо думать, самым высоким искусством будет то, когда мастерства мы не заметим, а восхитимся верностью жизни, нарисованной художником, и будем захвачены его мыслями, волнением, страстью.

Всегда полезно проверять истинность требований к искусству нашей бессмертной классикой. «Иногда,— пишет В. Саянов,— желая похвалить писателя, о нем говорят:

— Это — настоящий мастер!

Но разве не покажется жалким это определение, когда заговоришь о Пушкине, Толстом и Чехове?

«Чехов — мастер художественной прозы»... Думаю, что Антон Павлович несомненно указал бы на дверь литератору, обращающемуся к нему с подобными словами...»

Он убедителен, этот чисто эмоциональный и бездоказательный довод, не так ли?

Часто, впрочем, «проверка классикой» литературной современности вызывает не-

доверие и скептические улыбки: «У нас нет пока своего Пушкина и Толстого, так зачем же сравнивать уровень наших, по-своему хороших, поэтов и романистов с этими титанами?» Но дело в том, что могут быть более и менее талантливые авторы, удачные и неудачные книги, а требования к искусству, самые его критерии всегда должны стоять на высоте крупнейших художественных достижений. Иначе легко потерять истинную меру вещей. Это относится и к пониманию мастерства.

Мастерство высшего порядка, мастерство как «сила убеждения» сопутствует обычно жадному стремлению писателя рассказать людям то новое, что он увидел, открыл и узнал, рассказать не так просто, из тщеславия или профессиональной привычки, а по внутренней потребности души и со всей страстью, которая дается только убеждением, что слово твое нужно, важно и интересно.

Перспективы строительства коммунистического общества и задачи воспитания человека этого общества небывало остро ставят перед писателями тему или, вернее, бесчисленные темы современности.

Свойство современности издавна считалось в литературе достоинством. Недаром и передовой журнал прошлого века, журнал Пушкина и Некрасова, назывался «Современник». Но в наши дни в обществе, идущем нехожеными путями к коммунизму, творческое изучение и правдивое отражение современной жизни приобретают особое значение. И художественное новаторство, о котором мы так хлопочем, наверное придет не как результат самоуглубления и затворничества в «творческой лаборатории», а как сопутствие отражению новых тем современности, подъему новых пластов жизни.

Совесть писателя должен неустанно волновать и тревожить тот вопрос, который советует никогда не забывать К. Федин: «Зачем я пишу вообще? Зачем я пишу сегодня, в данный час, в данную минуту? Без ответа на этот вопрос нельзя писать». Чувство ответственности за свое слово перед читателями-современниками — это необходимое свойство художника, который понимает мастерство лишь как средство заражения людей настоящим искусством.

4. ЛИЦО ПОЭТА

Есть один критический жанр, который особенно любим писателями,— это так называемый «литературный портрет», находящийся где-то на стыке между художественным творчеством и критическим исследованием.

Умение передать целостное впечатление от искусства того или иного художника, схватить его личные, ему только присущие черты, уловить слитность его человеческого и литературного облика — здесь, как нигде, важно художественное чутье и дар изображения.

У писателя, как у любого читателя, есть свои неистребимые пристрастия, свои близкие, родственные душе поэты и писатели, и по тому, как о них говорится, что подчеркивает и утверждает в них автор, мы безошибочно чувствуем индивидуальность самого пишущего. Саянов, Федин, Антокольский — все вспоминают Ал. Блока, но пишут о нем по-разному. Федин ощущает Блока как поэта трагического, Антокольский очаровывается романтикой, лирикой Блока, Саянов делает акцент на поэтической культуре Блока, его завоеваниях в технике стиха. Но ни у кого из них поэзия Блока не подвергается холодному препарированию; она продолжает жить в своем непосредственном обаянии.

Умелым мастером «литературного портрета» выступает К. Федин. В благородной, вольной манере рисует он портрет Горького. Не следует удивляться, что на этих страницах мы уловим горьковскую интонацию и даже приемы изложения, памятные по знаменитым очеркам о Чехове и Толстом. Федин выступает в жанре литературного портрета как достойный последователь Горького. Он не только зримо передает знакомый нам по десяткам списаний внешний облик писателя, но — что много труднее — умеет проследить за ходом его мысли, сменой чувств, духовной диалектикой. Мысли Горького часто вызывают у Федина встречный поток представлений и ассоциаций, которые поворачивают читателей к сегодняшнему времени, и вот уже автор не мемуарист только, а критик и публицист. «За каждой сменой его чувств, тончайше отраженных лицом,— вспоминает Федин,— я вижу одно — очень спокойное, неотступ-

ное. Это — жажда отыскать что-нибудь хорошее у другого писателя, особенно у молодого, выделить это хорошее и одобрить. Как редко встречается такое чувство в литературе! Любить работу ближнего становится утраченным искусством».

Федин отдает дань этому благородному «искусству», вспоминая интересного, но забытого ныне поэта Михаила Фромана, или недостаточно оцененную, по мнению Федина, эпопею М. Козакова «Крушение империи». Заметим только, что действенность доброго отзыва, вероятно, зависит и от степени личной взволнованности автора: если о Фромане Федин пишет, что называется, душевно и, прочтя его статью, хочется достать с полки и вспомнить стихи поэта, то статья о М. Козакове кажется несколько суховатой.

В нашей литературной науке и критике, успешно воевавшей с поверхностным биографизмом, мы утеряли в пылу битвы долю понимания того, что личность писателя и его книги неразделимы. В академическом литературоведении стало дурным тоном говорить о личности писателя. За «науку» почитается иной раз лишь комментируемый пересказ произведения или его социологический анализ. Все же, что хоть немного связано с личным элементом, кажется сомнительным и «ненаучным».

В своих книгах о литературе Федин, Антокольский и другие писатели восстанавливают истинную меру вещей. «Огромное, почти решающее значение для литературной судьбы писателя имеет его индивидуальность»,— утверждает Федин. И далее он как бы поверяет эту мысль, припоминая творческие биографии многих писателей. «Каждую особенность своей биографии,— пишет Федин о Новикове-Прибое,— этот богатый человек обратил в качество своей литературы: он писал расчетливо-метко, как крестьянин, поэтично, как моряк, целеустремленно, как революционер. Книги его представляют воплощение его жизненных свойств». То же органическое единство личности и творчества писателя мы ощущаем в статьях Федина о Фадееве и Эренбурге, в превосходном мемуарном очерке о немецком писателе Леонгарде Франке.

Но особенно удачны у Федина изящные миниатюры. На трех-четырех страничках он умеет точно и «ухватисто», как говорил Толстой, определить основное свойство личности и таланта писателя. Веселый, седоволосый, стремительный Тихонов, крепкий, кряжевый Новиков-Прибой, болезненно чуткий, обидчивый и наблюдательный Зощенко — все они схвачены Фединым в самых характерных и выразительных их чертах и после чтения долго стоят перед глазами.

Не удивительно, впрочем, что талантливый писатель точно и живо набрасывает портреты своих современников и друзей. Но когда, говоря о событиях столетней давности и о людях, давно ушедших, Федин заставляет нас чувствовать себя свидетелями происходящего, знакомцами великих поэтов прошлого — это совсем особое искусство. Тяжкий морок дней гибели Пушкина, толпа, запрудившая Мойку, тело мертвого поэта, «скачущее» в телеге в Святые Горы и осужденное на беспочестные похороны,— одна из самых горьких страниц в русской литературной истории рассказана Фединым так, что сжимается сердце. Статья о Пушкине — из лучших в книге.

В статьях П. Антокольского, написанных в том же жанре, опять трудно определить, где кончается исследование и начинается воспоминание, где рассказ о судьбе поэта переходит в разговор о его поэзии. Мало и плохо сказать, что очерки о Багрицком, Луговском, Гудзенко написаны интересно и увлеченно. Антокольский приближает к нам этих людей, поощряет нас любоваться их душевной щедростью и обаянием, обнаруживая то же и в их стихах, и заставляет заново горько сожалеть об их преждевременной гибели. «...Я обязан обойтись без выражения личных чувств. Они ни при чем»,— говорит Антокольский в статье о Луговском, своем поэтическом сверстнике и товарище. В статье и в самом деле не найдешь слезливости, сентиментальности или панибратства, которые всегда так вредят впечатлению. Но этот сдержанный рассказ светится искренним уважением и любовью, которые тут же передаются читателю.

Привлекательная черта «литературных портретов» Антокольского — их подвижность и отсутствие парадности. Автор хочет «обрисовать облик любимого поэта в его красоте и силе, в его сложности и противоречиях». И Гудзенко, и Тихонова, и Луговского Антокольский видит разными в разные годы жизни, и, дружески следя за их

путем, он радуется возмужанию их талантов, новым поискам и достижениям в поэзии.

Лицо поэта, рожденное свободным единением поэтических, личных, исторических ассоциаций, надолго остается в памяти. Это ли не лучшая похвала автору, выступающему в трудном, но, может быть, наиболее привлекательном для читателей критическом жанре «литературного портрета»?

5. КУЛЬТУРА ХУДОЖНИКА

В нашей критике очень редко заходит речь о культуре писателя. Этой странности есть свое объяснение. Культуру часто плоско понимают как обыкновенную воспитанность или грамотность, и, может быть, поэтому сказать о писателе, что ему недостает культуры, считается обидным выпадом, граничащим с «личностью».

Именно поэтому хочется специально приветствовать открытый разговор на эту щекотливую тему, затеянный П. Антокольским в книге «Поэты и время» и подхваченный в других сборниках.

Если художественная книга всегда в какой-то мере есть поучение, новое знание о жизни, то писатель должен быть достоин того, чтобы учить, то есть призван знать больше и понимать вещи глубже, чем большинство его читателей. В узком смысле, в отношении материала изображения, это как бы само собой разумеется. Нельзя хорошо и свободно писать о том, чего не знаешь до последнего штриха и точки. «Лишь имея материал в избытке, зная его прочно и точно, можно начать свою работу мастера,— верно замечает М. Шагинян.— Потому что ведь в каждом деле — от глыбы мрамора для скульптора и до куска кожи для закройщика обуви — материал должен быть с припуском, должен быть больше того, что хотят из него сделать резец скульптора или нож сапожника». Это не вызывает сомнений. Но художник должен быть человеком знающим и в другом, более общем смысле, он должен стоять по своей образованности «с веком наравне». Речь идет и о специальной филологической подготовке, об осведомленности в теории искусства («Филология для писателя и поэта,— утверждает П. Антокольский,— то же самое, что для музыканта хроматическая гамма и для художника мертвый гипс»), и о более глубоком знакомстве с достижениями человеческой мысли вообще.

Высокая культура нужна поэту не для того, чтобы блеснуть своей начитанностью и ввернуть в стихотворение какие-нибудь «яйца Леды» или египетские пирамиды, звучные имена Ронсара или Бодлера. Как раз эти изящные погремушки и фальшивые украшения тотчас выдадут недостаток вкуса у автора и изобличат поверхностное эстетство.

Настоящая образованность нужна поэту для расширения его нравственных и умственных представлений, нужна как стимул и опора самостоятельной мысли. Интеллектуальная узость, вялость мысли, отсутствие исторического понимания, неумение оторваться от частных впечатлений и перепрыгнуть через предвзятость — недуги, к несчастью, еще достаточно распространенные в литературе, чтобы не обращать на них внимания. Творчество скудеет и глохнет, если ум поэта не обогащается все новыми понятиями и мыслями, если художник устает узнавать и интересоваться всем, что ни есть значительного, будь то впечатления современности или прошлый опыт человечества, оставшийся в сгустках культуры.

«Все многообразие жизни должно стать достоянием стиха»,— верно утверждает В. Саянов. Он напоминает, между прочим, об опыте лучших поэтов прошлого, приводя пример Баратынского. «...Как много идей и предметов в этих стихах,— пишет В. Саянов о томике Баратынского,— о скольких людях они говорят: здесь и послания, и любовные стихи, и эпиграммы, и элегии, и романсы; стихи о Риме, о смерти, о Финляндии, о призвании поэта, о Гете, о веке, шествующем «путем своим железным», о суеверии, о природе, о предрассудках и о многом другом,— и все это не беззаботный переход от материала к материалу, а последовательное развитие органической, внутренней темы поэта». Но дело, конечно, не в одном обилии поэтических предметов и разнообразии тем. Суть — в самом подходе художника к жизни, опирающемся на общую культуру. Это было важно всегда, но это во сто крат важнее для современного советского писателя, работника общества, идущего к коммунизму — поре самого высокого расцвета духовной культуры.

П. Антокольский в одной из своих статей спорит со словцом Пушкина: «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата», убедительнее всего опровергаемым, впрочем, простой ссылкой на творчество автора «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова». «Поэт должен быть и политиком, и философом, и историком,— пишет Антокольский,— и вообще широко и полно осведомленным человеком, знатоком чужой души, проницательным, многосторонне вооруженным деятелем. Он должен быть таким деятелем не в декларациях, а в самых стихах, внутри стихов, в их тексте».

П. Антокольский, как и другие авторы, не сводит культуру к сумме тех или иных сведений. Для него культура не просто книжное дело, а знание современной жизни и умение в ней разбираться. Общая образованность и жадное любопытство к современности идут всегда рядом, формируя культуру вкуса писателя и культуру его ума. Это дает широту перспективы, поощряет «лелеющую душу гуманность», которую так ценил в поэте Белинский, укрепляет идейность и демократизм писателя.

Подлинная культура всегда демократична, она не уводит в интеллигентские скиты, а ставит писателя ближе к народу. Потому что культура, как говорит Антокольский, «это в с я история народа, бережно им хранимая, и в с е его будущее, свято им облюбованное».

В своих книгах о литературе писатели ведут благородную борьбу за широту духовных интересов, за искусство думающее, зоркое, сознательное, не терпящее отвычки мыслить и чуждое шаблону и вычурности.

6. УЧЕНИК И МАСТЕР

Начинающий писатель часто приступает к зрелому мастеру с неотвязными вопросами, как скорее, проще и успешнее стать художником. Прежде всего приходится объяснять, что «скорее» и «проще» в этом деле никак не выйдет, а затем — что всякий дальнейший разговор лишен смысла, если у начинающего нет таланта «величиною хотя бы с чечевичное зерно», как говорил Чехов.

Но когда эти предисловия сказаны и начинающий признан не безнадежным, а сам мастер готов приступить к обучению, встречается препятствие неожиданного свойства. «Писатель, в первый раз занимающийся с начинающим автором, в большинстве случаев чувствует себя бессильным, — пишет М. Шагинян — То ему кажется, что он «пуст», всякое мастерство, весь многолетний опыт схлынули с него, съехали, как выносят мебель из квартиры. То, наоборот, мастерство вдруг представляется ему улиткой, так материально слитой с его мозговой раковиной, что никакими усилиями, ни за какие усики вы ее оттуда, из головы, не вытянете». Первая минута потерянности проходит скоро, но уступает место сомнениям, каким способом повести обучение. Верно, казалось бы, начать с общих представлений об искусстве, сказать о призвании художника, выдвинуть общеэстетические критерии. В этом случае ученик будет почтительно внимать, соглашаться, даже поддакивать, но вряд ли много извлечет для практики своего творчества. Тогда мастер перейдет к доказательствам, возьмет материал себе более близкий, будет приводить примеры, делиться наблюдениями, ссылаться на свой литературный опыт. Все это, вероятно, будет очень любопытно услышать, но, наверное, не подвинет ученика в его собственном творчестве. Легко указать на какой-то художественный прием, показать его силу и выразительность и посоветовать его использовать. Однако что казалось превосходным в одном случае, выйдет неуместным в другом, и если учеником будет усвоен «наилучший» прием Гоголя или Тургенева, Павленко или Федина, он рискует остаться лишь повтором, слепком с чего-то действительно живого и подлинного.

«Улитка мастерства» выходит из «раковины», опыт писателя оживает в умных, метких и плодотворных замечаниях, когда он видит перед собою рукопись ученика и слышит его прямые вопросы. «...Приступая к занятию с начинающими авторами,— замечает М. Шагинян,— писатель не столько делится с ними готовым, сколько по-сократовски п р и х о д и т к выработке в м е с т е с н и м и того самого знания, которое должен им передать». Обучение литературному мастерству «вообще» — занятие мало полезное. Чем ближе к рукописи или печатному тексту ведется творческий разговор, тем он успешнее. Сказанное верно в приложении не только к устной беседе, но и к «советам молодым», предназначенным для печати.

М. Шагинян в своих «Беседах с начинающими авторами» идет по правильному пути предметного анализа. (Жаль только, что «Беседы» эти, написанные в тридцатые годы, несколько устарели по материалу, а частью и по характеру рассуждений.) Сильная сторона «Бесед» М. Шагинян состоит в том, что она разбирает на наших глазах, что называется, «по косточкам» несколько рассказов своих литкружковцев, убедительно выясняя, как иногда от мелочей, от деталей зависит успех или неуспех в искусстве.

Подобного же способа — не общих заповедей, а конкретных советов — придерживается обычно К. Федин. В его «Литературных беседах» мы найдем немало дельных замечаний, правильных указаний на то, чего нужно бояться, чего следует избегать, каких ошибок не стоит повторять. «Решительнее всего следует избегать,— пишет, например, К. Федин,— механического соединения (слишком обычного у нас) темы любви с темой строительства». «Нельзя, кроме того,— продолжает К. Федин,— понуждать героев высказываться непременно по всем злободневным вопросам» и т. п. К. Федин дает молодежи литературные советы, к которым следует прислушаться: скажем, творческую работу лучше начинать с малых форм, с рассказа, не надо бояться написать — и выбросить написанное, если оно не удовлетворяет; хорошо пройти школу газетной работы, учащей дорожить словом (об этом же пишет М. Шагинян в статье «Газета и мастерство писателя»).

Однако порой при чтении «Литературных бесед» К. Федина возникает некоторая неудовлетворенность, связанная, видимо, с характером публикации материала. Заметки К. Федина напоминают собой письма без адреса: мы не знаем, о каких романах, повестях, рассказах идет речь, и смысл замечаний для читателя (не для адресата, разумеется) иной раз теряется.

Читая с пользой книги писателей о литературе, молодой автор не должен ждать непреложных правил, твердых рекомендаций «делать то-то и не делать того-то». Самая важная заслуга писательских книг о мастерстве в том, что они тревожат мысль и рождают ассоциации, побуждают к писанию, заставляют требовательнее относиться к своей работе. Не должно разочаровывать искреннее признание К. Федина: «Действительно, в конце концов писатели всегда учатся «сами». Никто не подумает отрицать пользу советов опытного писателя новичку. Но ведь даже простейший совет,— скажем, не повторять без надобности одно и то же слово,— останется втуне, если сам молодой писатель долгим трудом не приучит себя избегать повторений».

Этого нельзя забывать, если в самом деле хочешь стать «мастером».

7. ПИСАТЕЛЬ-КРИТИК

Мало обаятельный образ критика, «толстопузого насмешника», лицемера и пустозвона, глухого к искусству и одержимого лишь «злобой дня», время от времени появляется в поэтических исповедях и лирических отступлениях. Совсем недавно, к примеру, мимоходом язвительно посмеялся над ним Н. Вирта в повести «Наша Берта». Нельзя сказать, что сам тип этот вымышлен болезненно чуткой фантазией писателей или является лишь реакцией на незаслуженно испытанные некогда обиды. Критик-лицемер и критик-пустозвон или узкий доктринер, предвзятый судия существуют и в самом деле; это не надо доказывать тем, кто исправно читает литературную прессу. Досадно только, что по смежности антипатия к определенной разновидности критики переносится иногда на весь этот род литературы.

«В писательской среде,— с сожалением отмечает В. Саянов,— еще бытует порой неправильное отношение к литературной критике... Посидишь на собрании, и ясно почувствуешь, что для некоторых писателей критик — существо второго сорта. Писатель творит, а критик «при сем присутствует». Было время, когда писали Белинские и Добролюбовы, а теперь, дескать, «полезли из щелей мошки и букашки». Странное рассуждение! И всего удивительней, что именно подобные слова произносятся невдумчивыми читателями по отношению к самим современным писателям».

Голос В. Саянова — один из немногих писательских голосов, поддержавших критику сочувственным словом. Предубеждение и недоверие к критике еще стойки.

В сборниках писателей о литературе звучит одна характерная нота: «Мы не

критики и, бога ради, не смотрите на нас как на критиков. Мы «просто» художники, в качестве таковых и высказываемся».

Перелистаем некоторые сборники. «...Не хотелось бы писать каноническую рецензию», — заявляет один из писателей. «Я не профессиональный критик и не умею этого»,— объясняет он. «Это заметки,— пишет о своей книге другой автор,— в большинстве лишенные исследовательского или критического характера». «...Мне хочется сказать, что я никогда не чувствовал и не считал себя критиком-профессионалом»,— уточняет третий. В отдельных случаях эти оговорки нужны, но, взятые в целом, они перестают казаться случайными. Можно увидеть в них род скромности и нежелание притязать на чужое поле деятельности. Однако упорное опасение писателей, как бы их не приняли за критиков, и одновременно ощутимые уколы в адрес современной критики заставляют порой подозревать иное.

Писателю не лестно, чтобы его, «художника», сочли критиком, но ему нравится, когда написанные им будто невзначай статьи расцениваются выше профессиональной критики. А ведь так, по справедливости, оно часто и бывает.

К. Федин в одной из своих статей утверждает, что писатели выступают за критиков в порядке, что ли, товарищеской выручки. «...Художник в наших условиях,— сетует писатель,— нередко вынужден говорить, выступать с декларациями и докладами. Он несет порядочную долю чужих обязанностей, прежде всего — литературного критика и пропагандиста. Сколько раз писатели выступали по разным вопросам советской литературы?» Это все сказано, кстати, для того, чтобы подчеркнуть, «как слабо справляется со своими широкими задачами критика».

Итак, «чужие обязанности», «художник вынужден выступать»... Мы бы, возможно, посочувствовали писателям, если бы не помнили о традициях русской литературной критики, о том, что это занятие никогда не казалось обузой Пушкину, Некрасову, Щедрину, Горькому, видевшим в критике естественную часть своей литературной работы. Будем, впрочем, считать, что у Федина мы имеем дело со случайной оговоркой, а не с принципиальным убеждением, тем более, что статья, которую мы цитировали, не принадлежит к числу недавних.

Нам кажется самоочевидной мысль, что писатель, взявшийся за критические или историко-литературные статьи, выступает как критик. И если в последнее время все чаще слышны суждения, что критик тоже писатель, тем более мы не должны лишать признания достижения писателей в критике. А раз так, то не существует различных законов, принципов для «просто» критики и для «писательской» критики. Никому, вероятно, не придет в голову роман, написанный критиком, судить по особым законам «романов критиков». То же и с критикой, выходящей из-под пера прозаиков и поэтов.

Это не значит, что в писательских статьях совсем нет «специфики». Но искать ее следует не в методе анализа. Если к знанию жизни, к историческому изучению литературы и теоретической осведомленности добавляется личный опыт художественного творчества, высокий вкус, то критика от этого приобретает новую истинность и глубину.

Мы вслушиваемся в суждения поэтов об искусстве по-особому доверчиво и чутко. В хорошем писателе всегда дремлет проницательный критик. Это не должно удивлять, потому что само художественное творчество есть дело не только творца, но и критика: у каждого крупного писателя талант определяется не только созидающим, животворящим свойством, но и контролирующим, оценивающим, критическим. Чувство меры и вкуса, такое дорогое нам в писателе, всегда есть в большой части результат работы этого «внутреннего критика».

Высказываясь о поэме или повести, писатель, выступающий в роли критика, особенно тонко подметит свойство дарования автора и будет бережен и деликатен в оценке: он знает, чего стоит искусство. Но зато уж от него надо ждать и самого сурового осуждения серости и фальши в литературе. Впрочем, последнего как раз не хватает во многих сборниках: писатели предпочитают хвалить за успех своих товарищей по перу, но часто умалчивают о дурном и неудачном, считая, вероятно, отрицание — задачей критики в узком смысле слова.

По поводу книг о писательском труде, о мастерстве в свою очередь можно поставить вопрос: с каким мастерством написаны эти книги? Положительным примером в этом смысле может служить книга К. Фе-

дина, который не допускает небрежности в языке, будь то выступление «на случай» или газетный фельетон. В этом принципиальная позиция художника. «Учиться мастерству писателя,— пишет Федин,— надо не в одном каком-нибудь жанре, а во всяком. Как только ты взял в руку перо, ты уже в ответе за все свое искусство. Если ты ремесленник в газетном очерке, в статье, в рецензии, в письме к товарищу, ты никогда не станешь мастером в рассказе и в романе».

Привлекательная особенность статей писателей о литературе состоит и в яркой, самобытно творческой форме, лишенной, за редкими исключениями, штампов учености, сугубо «литературоведческого» языка, затемняющего смысл и заставляющего читателя отворачиваться от книги. Но это опять-таки нельзя считать исключительной привилегией писательской критики. Вне зависимости от того, кто выступает с критической статьей, художник или критик, она должна быть, помимо всего, хорошо написана.

Мы коснулись лишь нескольких сборников советских писателей о своем труде, отметили немногие проблемы, в них поставленные, но уже по тому малому, что сказано, видно, как книги эти заметны и нужны в сегодняшней литературной жизни.

В них не только закреплен творческий опыт старшего поколения советских писателей, но и намечаются пути совершенствования советского искусства, осваивающего средствами художественного слова движущуюся социалистическую действительность.

А. БЕРЗЕР

★

РЕВОЛЮЦИЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫЙ...

1

Если попытаться коротко, одним словом, определить содержание книг Аркадия Гайдара, то этим словом будет революция. О чем бы ни рассказывал писатель — о боях гражданской войны или о мирных детских играх, о коллективизации деревни или о жизни пионерского лагеря,— во всем этом всегда мы слышим музыку революции, узнаем ее поступь, чувствуем ее дыхание.

Революция никогда не становилась для Гайдара историей, она всегда была животрепещущей современностью, и писатель в каждом новом своем произведении запечатлевал ее неповторимые черты и рассказывал о них своему читателю.

Юношеская влюбленность в новую, рожденную революцией действительность, почти детская радость, простосердечие в отношении к жизни, чистота и ясность чувств — все эти свойства таланта Гайдара и определили тот адрес, ту аудиторию, к которой прежде всего обращены его произведения. Мы говорим «прежде всего» потому, что книги Гайдара относятся к тем произведениям, которые остаются с человеком на всю его жизнь. Каждый возраст открывает в нем новые особенности, каждый возраст по-новому ощущает воспитательную силу, благородство и мудрость его книг. И, конечно, только взрослый читатель может в полную меру оценить все совершенство, эстетическую прелесть и гармоничность произведений Гайдара.

Революция как основа жизни советского общества — это не просто главная тема творчества Аркадия Гайдара. Это основа его мастерства, определившая своеобразие художественной ткани его произведений, их сюжет, характеры героев, ту особенную, по-гайдаровски поэтичную манеру повествования, тот неповторимый голос писателя, который мы всегда безошибочно узнаем из множества других голосов.

В чем же она, эта неповторимая гайдаровская манера, из чего она складывается, что составляет ее существо — об этом и хотелось поговорить в статье. Попробуем для этого внимательно, строчка за строчкой, перечитать повесть Аркадия Гайдара «Военная тайна».

2

В ранних книгах Гайдара революционные события были в центре произведения, непосредственно им посвященного. Писатель рассказывал о том, как совершалась революция, как стремительно и гордо неслись по полям родной страны отряды Красной Армии, как соединялась жизнь детей, мечтающих о необыкновенном подвиге, с революцией.

Так, например, через всю повесть «Р. В. С.» проходит мысль о резкой враждебности старого мира детям, их счастью, их будущему, о горе, которое несет ребенку злобный мир угнетения и несправедливости.

Это ясно видно в одном эпизоде, имеющем в повести особое значение.

Главный герой «Р. В. С.» Димка нашел на сеновале спрятанную винтовку. Там застал его белобандит Головень и с криком «Ты что, собака, здесь делаешь?» бросился на Димку. Перепуганный мальчуган побежал. «Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как рассвирепевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка.— Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще».

Вдруг характер повествования резко меняется. «Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не сметь! — повторил незнакомец...»

Так впервые ворвалась на страницы повести и в Димкину жизнь революция, и два мира как бы столкнулись над мальчиком в борьбе за него. Повествование приобретает стремительность, фраза становится динамичной, подвижной, словно дыхание свежего ветра ударило по строчкам, выстроило слова в новом порядке. И коротенькое «не сметь», дважды повторенное всадником «в черном костюме, с красной звездой», и то, что он «крикнул гневно и повелительно» и «сильными руками» поднял за плечи Димку и поставил его на землю, и то, как «растерянно» стоял перед ним до этого, казалось бы, всемогущий Головень,— во всем этом выражена добрая сила революции. Это именно могучая сила, она кажется Димке даже какой-то волшебной. Эта сила выражена в гневной и повелительной интонации, с которой по-хозяйски прозвучало властное и доброе слово «не сметь».

Гайдар стремится показать внутренний смысл великих перемен на самом главном и дорогом для него — на отношении к ребенку. Спасение ребенка всадником с красной звездой на груди приобретает символическое значение, раскрывая гуманизм революции, ее человечность и красоту.

Знаменательна и концовка этой главы: «И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд».

В ритме повествования появились интонации народного, богатырского эпоса: «Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел...» Однотипные построения фраз, повторы, которые звучат с все большим и большим нарастанием, напряжением, передают скрытую радостную музыку революции. И, наконец, заключительная фраза: «Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд». Как бы мы ни прочитали ее — вслух или про себя,— мы обязательно почувствуем паузу перед вынесенными на конец словами «красный отряд», как будто автор на секунду затаил дыхание для того, чтобы произнести эти такие дорогие для него слова. И поэтому звучат они, как строка стихотворения, по-особому торжественно и поэтично.

Так — как сказка, как песня — ворвался в жизнь мальчугана и в творчество Аркадия Гайдара красный отряд.

В произведениях Гайдара отчетливо видно, как идея писателя определяет каждую клеточку художественной ткани, подбор слов, их порядок, их расстановку, смену эпизодов. Влюбленность в революцию — это не отвлеченно декларированная идея, это стиль, язык — вся совокупность художественных средств, которые пронизаны светом этой идеи, служат ей, подчиняются, рождены ею к жизни. Это и есть мастерство.

Писатель знает, что юному читателю нужны не сухие разъяснения, разжевывание и непрестанное комментирование каждого факта, каждого события. Он безгранично верит в огромную восприимчивость и силу детской фантазии, детской сообразительности и ума, с одной стороны, и в неотразимую силу художественного слова — с другой. Именно поэтому он разговаривает с юным читателем только на языке искусства.

В тридцатых годах, в последующих произведениях, Гайдар переходит к новым темам, новым героям. Но тема революции не отодвигается назад, в прошлое, а, наоборот, своеобразно расширяется, развивается.

Если изложить в нескольких словах содержание повести «Военная тайна», то можно сказать, что она написана о жизни

ребят в пионерском лагере, в Крыму, на берегу Черного моря. Со страниц этой повести встает залитый солнцем лагерь пионеров с беззаботными детскими играми, шалостями, ссорами, разговорами. Все это верно, но все это бесконечно мало для того, чтобы понять, как безграничны просторы этого пионерского лагеря, как широко раздвинуты его горизонты.

В книгах Гайдара обычно нет развернутых экспозиций, вступлений, описаний предыдущей жизни героев и т. д. Гайдар так легко и как будто незаметно начинает свой рассказ, словно мы уже знаем героев, недавно расстались с ними и опять встречаемся на первой странице повести.

...Комсомолка-пионервожатая Натка Шегалова по дороге в Крым проездом очутилась в Москве. На вокзале ее встретил дядя, «крепкий старик с орденом». Он предлагает задержаться в Москве, но Натка отказывается:

«Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Буденный, да еще какие-то начальники. А я нигде, ни на чем, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— А ты постарел, дядя,— продолжала Натка.— Я тебя еще знаешь каким помню? В черной папахе. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена... Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка,— улыбнулся Шегалов.— Давно это было. Еще в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал».

Разговор развивается естественно и легко, в нем нет ничего искусственного. И с первых же строчек с ним входит в повесть образ гражданской войны, великих революционных событий, которые хотя и ушли в прошлое, но для Гайдара не стали прошлым. Ими всегда напоен воздух его книг. И хотя герои, казалось бы, и не говорят об этом прошлом, они говорят совсем о другом — Натка объясняет, почему она не может задержаться в Москве,— героические воспоминания незаметно и как бы независимо от них входят в их разговоры. И этим писатель подчеркивает близость революционных событий, насыщенность ими всей жизни героев, независимо от их возраста.

Во всех книгах Гайдара тридцатых годов олицетворением этого прошлого выступает один из взрослых героев. Какое бы произведение мы ни взяли — «Дальние страны» или «Голубая чашка», «Судьба барабанщика» или «Тимур и его команда»,— всегда мы найдем в них такого героя — легендарного, романтичного и в то же время близкого, конкретного. Он очень редко специально рассказывает о прошлом, но с ним это прошлое входит в произведение.

Появление такого героя в разных книгах — не случайное совпадение. Он имеет для Гайдара принципиальное значение, помогает раскрыть специфику его произведений, то отношение к прошедшим дням, которое для него характерно. Прошлое для писателя — это не воспоминания, не предмет любования, оно важно прежде всего своей связью с настоящим, своим значением для настоящего, теми нитями, которые тянутся из прошлого в будущее. Поэтому легендарный участник гражданской войны занимает в сюжете его произведений особое место, определяя ту тему преемственности революционных поколений, которая лежит в основе его книг. В каждой книге эта тема ставится и решается по-разному, в каждой книге — свое содержание и свои герои. Но эта тема как бы одухотворяет все творчество Гайдара, определяет его высокое революционное звучание. И решается она не в общих декларациях, не в лирических отступлениях, не в отдельных вставных новеллах, а всем произведением в целом, всей силой таланта, мастерства художника.

Собственно, главным содержанием этих произведений и является единство поколений, тот путь, по которому идут юные герои, чтобы стать рядом с отцами в общем революционном строю. Где лежит этот путь? Как пойти по нему? На эти вопросы и отвечает творчество Гайдара.

...Натка продолжает забрасывать своего дядю вопросами.

« — Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый ее бестолковым, шумным натиском.— Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!»

Это первая реплика Шегалова, и может показаться, что она прозвучала вне связи со всем тем, что говорит девушка, со всем тем, что ее волнует. А Натка рассказывает

о своей жизни. «И послали на пионерработу,— упрямо повторила Натка.— Летчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями... А я сижу на пионерработе и не знаю — почему».

Продолжается разговор, продолжаются жалобы Натки, и вдруг опять, на первый взгляд неожиданно, обрывая нить разговора, Шегалов говорит: «И посмотрю я на тебя... ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!.. Тоже была летчик! — с грустной улыбкой докончил он...»

И в конце этой сцены читаем: «Он любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии».

Так раскрылся смысл этого разговора, значительность троекратного повторения темы, которая звучит как ведущая мелодия в симфоническом произведении: сначала еще недостаточно внятно и ясно, потом все отчетливее и сильнее и, наконец, в финале становится мощной, властно несущей ту мысль, которую хотел выразить художник.

И весь разговор Натки с Шегаловым приобретает более широкое значение. Рядом с Наткой, с ее жалобами и тоской по героическим делам, становится другой образ — образ погибшей девушки, и слова об их сходстве, трижды повторенные в диалоге, связывают их вместе, вносят новый оттенок в то, что говорит Натка.

Вместе с этой вечно юной для Гайдара темой гражданской войны сразу же входит в произведение еще одна тема.

...Утром в вагоне-ресторане Натка нашла прошлогодний журнал. «Перед ней лежала фотография, обведенная черной траурной каемкой: это была румынская, вернее, молдавская еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присужденная к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишиневской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрепанные косы и глядевшие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы.

...Марица Маргулис».

И возникает в повести новая линия. Можно подумать, что случайно появилась она в книге, как случайно наткнулась Натка в вагоне-ресторане на прошлогодний журнал с портретом погибшей комсомолки Марицы Маргулис. Но у Гайдара каждая случайность важна, значительна, неслучайна. И образ Марицы Маргулис становится в дальнейшем существенной частью сюжета произведения, потому что журнал не просто лежал на столике, а был забыт маленьким Алькой, «шестилетним белокурым мальчуганом, но с глазами темными и веселыми».

Появление Альки с отцом следует сейчас же за описанием портрета Марицы Маргулис. В книгах Гайдара необычайно существенны эти переходы от одного эпизода к другому; в чередовании эпизодов у него есть всегда особый смысл, который иногда виден сразу, а иногда раскрывается постепенно. «Темные и веселые глаза» белокурого Альки и «глядевшие в упор яркие, спокойные глаза» Марицы Маргулис... Потом, когда мы узнаём, что Алька — сын убитой комсомолки, мы понимаем, что есть глубокая внутренняя закономерность в такой расстановке эпизодов, потому что романтический образ Марицы подготовляет появление маленького Альки и ту роль, которую суждено ему сыграть в этой повести.

И вот весело, солнечно затрепетало море, зашумел ребячьими голосами пионерский лагерь. Живо, увлекательно текут детские игры, идут детские споры, ссорятся и сближаются между собой ребята, выстраиваются на линейки, рапортуют на сборах. Идет полнокровная, широкая жизнь пионерского лагеря. «Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повертывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперед, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трех русских девочек и затесавшегося к ним октябренка Карасикова».

Это озорные ребята, которые дерутся, таскают без разрешения яблоки, задирают

друг друга. Совсем обыкновенные мальчишки и девчонки с их обыкновенными радостями, заботами, волнениями. Но в произведениях Гайдара этот мир детской жизни, детской игры никогда не бывает замкнут в себе, он широко распахнут в «большую» жизнь.

Сейчас же вслед за приведенным выше описанием следует такой диалог:

«— Толька, — спросил Владик, — а ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них маневры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька.— Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

— Ничего не врать, мне мама все рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу».

Очень редко дети намеренно ведут разговоры о событиях взрослого мира, но их беседы, споры незаметно для них «насыщаются» тем самым главным, что происходит в мире. И это как бы меняет масштабы этого детского мира, придает ему широту, поэтичность. Кажется, что в книгах Гайдара много воздуха, света, солнца.

Вместе с тем писатель всегда очень точно соблюдает особенности детской психологии, он никогда не «овзрослает» своих героев. Гайдар широко использует свойственное детскому мышлению богатство ассоциаций. Основываясь на них, он создает прелестные детские диалоги, которые отличаются тончайшими, исполненными юмора и поэзии переходами от детской игры к раздумью над жизнью.

« — Толька! — тихо и оживленно заговорил вдруг Владик.— А что, если бы мы с тобой были ученые? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрешься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь все это враки, Владик,— усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы? — заинтересовался Толька.— Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы».

Владик загорается от собственных слов, воображение его начинает работать все быстрее и живее. И все это точно передано в его речи. У Гайдара речевая характеристика выражается не только в подборе слов, но и в передаче тональности речи, воспроизведении самой манеры говорить, интонации. Мы узнаем героя не только по тому, что́ он говорит, но и по тому, как он говорит. Мы физически слышим, ощущаем эту речь, ее течение, ее паузы, ее перебои. Два характера — Владика и Тольки — вырисовываются вполне отчетливо. Толька более реалистичен, трезв, он спокойно и немного равнодушно пытается охладить фантазера Владика: «И я читал... Так ведь все это враки, Владик». И ответ Владика: «Ну и пусть враки! Ну, а если бы?» Как хорошо в этой реплике выражен горячий, нетерпеливый, увлекающийся характер мальчика. Видишь его сосредоточенный, серьезный взгляд, его загоревшиеся глаза. У Гайдара всегда передана особенная мальчишеская интонация, которую он с такой музыкальной точностью умел воспроизводить. И одновременно в этих нескольких словах выражена особенность детской фантазии вообще, умение ребенка поверить в вымысел, зная, что он — вымысел, его способность не обмануться, нет, а «отключиться» от невероятности мечты, как бы вынести эту невероятность за скобки, а потом легко, радостно, самозабвенно отдаться мечте, игре, самой заманчивой и невозможной фантазии. Именно поэтому и рассудительный Толька очень быстро соглашается с доводами Владика.

И вот заработало воображение, полилась игра-мечта.

«— ...Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

— Зачем же билеты? — удивился Толька.— Ведь нас бы и так никто не увидел.

— Чудак ты! — усмехнулся Владик.— Так мы бы сначала не натершись поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натерлись. Потом перешли бы границу».

Различие в характерах двух ребят тонко выражается в своеобразии реплик каждого из них. Толька все время вносит «поправки» чисто логические. Он не опровергает выдумки Владика, но не дает ему отступать от точной схемы, которую они оба приняли. Владика же все время захваты-

вают новые подробности, новые образы, новые повороты игры.

Захлебываясь, Владик продолжает:

«— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик! — поеживши сь, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть? — холодно ответил Владик...— Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали? — нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натертые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры отперты, часовые побиты. Небось сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да еще четыре года сидеть, конечно обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных...

— Нельзя наедаться,— серьезно поправил Толька.— Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные — они ведь не натертые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут! — согласился Владик. И оба они расхохотались».

Эта детская мечта полна благородства и чистоты, светлой мечты о революционном подвиге. И вполне закономерно для ребят, что в самый высокий момент, когда в их воображении уже растворились все тюремные камеры и освобожденные ими узники капитала бросились на волю, именно в этот момент наибольшего напряжения героических чувств и мыслей следует, казалось бы, столь неожиданная, а на самом деле вполне естественная фраза: «Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных...»

А Толька, который свято соблюдает форму игры, ее основные правила и условия, тут же поправляет своего друга. Игра закончилась — «и оба они расхохотались», расхохотались над тем, что только что было для них таким значительным и важным.

«....Сказки все это,— помолчав, сознался и сам Владик.— Все это сказки. Чепуха!»

«— Сказки,—повторил он, поворачиваясь к Тольке.— А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

— Как невидимый? — насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и все никак найти не может... В Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда,— с гордостью ответил Владик... усмехнулся и добавил уже снисходительно: — Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?»

Фантастическая история с порошком, делающим человека невидимым, незаметно переходит в мальчишескую игру в подвиг, а эта игра сменяется настоящей жизнью, гимном коммунисту и революционной борьбе во всем мире. И все эти переходы совершаются с необычайной плавностью, естественностью, как и естественны они в детском мышлении, в детском восприятии мира.

Так легко и просто, без малейших натяжек развивается ребячий диалог, что трудно даже представить, что он направляется умелой рукой писателя, трудно представить, что это не стенографическая запись стихийно возникшего, случайно подслушанного разговора двух мальчишек, а тонко продуманная, точно рассчитанная, железно необходимая часть сюжета, глубоко выражающая идею писателя, его взгляд на мир.

Мастерство писателя опирается на особенности детской психологии, она является основой тех искрометных ассоциаций, переходов, которых так много в его книгах и которые никогда не ощущаются как специальные приемы именно потому, что целиком определены, продиктованы и обусловлены характером ребенка.

Как будто стихийно текущий детский диалог всегда выходит на главное направление жизни, всегда, с чего бы он ни начи-

нался, неизбежно поворачивается к огневой линии жизни, к той революционной теме, которая, как красная звездочка, горит на страницах книг Гайдара. И оттого, что нет в этом повороте ничего нарочитого, что совершается он как бы мимоходом, от этого высокое героическое начало, не теряя своей высокой героичности, приобретает черты повседневности и повсеместности, а вся окружающая жизнь кажется столь насыщенной подлинно гражданским пафосом, что он неизбежно с разных сторон обступает ребят, создавая ту поэтичную атмосферу революционности, которой проникнуты книги Гайдара.

Писатель никогда не рассказывает о главном «от себя», очень редко он поручает это взрослым героям. Самые дорогие и заветные свои мысли он раскрывает в движении детского образа, в детском поступке, в речи. Гайдар не боится доверить детям огромной важности чувства и мысли.

«— Владик,— с любопытством спросил Толька,— вот ты всегда что-нибудь выдумаешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет,— ответил Владик.— Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а теперешним, со звездою и с маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский».

В этих словах сокровенные чувства Гайдара, его убежденность в том, что герои революции — самые прекрасные на земле. И то, что выражено это устами ребенка, немного наивно, придает особую чистоту этим словам. Вчитаемся в них внимательно, и мы услышим, что вместе с детским голоском Владика здесь звучит и голос самого Гайдара, как будто вместе, вдвоем, произносят они эти слова, произносят как клятву, как присягу.

Полно высокого смысла то, что Маяковский и Гайдар, два столь различных писателя, «революцией мобилизованные и призванные», обращаясь к юноше, обдумывающему житье, решающему, «сделать бы жизнь с кого», отвечают ему «не задумываясь»:

С товарища
Дзержинского.

Романтика гражданской войны и вошедшая с образом Марицы Маргулис тема международной борьбы коммунистов по мере дальнейшего развития сюжета то сливаются вместе, то развиваются отдельно, для того чтобы в дальнейшем опять соединиться в теме революционного подвига.

Сначала их несет образ Владика Дашевского. Сам Владик, его игры-сказки, его разговоры словно прорывают повседневную жизнь пионерского лагеря.

Эти черты облика мальчика глубоко обусловлены особенностями его жизни, его биографии. Владик гордится тем, что он родился на фронте в дни гражданской войны. Это — прошлое, о котором никогда не забывает мальчик. А настоящее для него неразрывно связано с образом сестры, польской коммунистки, которая томится в тюрьмах панской Польши. Это — и гордость и глубокая боль, которую мальчуган тщательно и сурово скрывает от всех. Поэтому так естественны именно в устах Владика мечты о раскрывающихся темницах, о выпущенных на волю коммунистах.

Это же можно проследить и на образе маленького Альки, сына Марицы Маргулис. Писатель еще до нашего знакомства с мальчиком еле заметными штрихами подчеркивает его особое место в произведении. Первое появление Альки, как мы уже говорили, следует сейчас же за описанием портрета Марицы Маргулис. Писатель объясняет эту связь много позже, а пока она кажется немного таинственной, загадочной. Тут нет настоящей тайны, ведь ни Алька, ни его отец не скрывают своей близости к Марице. Но они и не рассказывают о ней. И от этой недоговоренности, от отдельных намеков, брошенных другими людьми, возникает та романтическая приподнятость, которая сопровождает маленького Альку. Образ убитой комсомолки как бы озаряет маленького героя. Этот мальчик приходит в повесть, гордо неся великое знамя пролетарского интернационализма. И оттого, что несет это знамя самый крохотный герой повести, оно кажется особенно добрым.

Ребята в лагере и Натка еще не знают, чей сын Алька, а читатель уже догадывается об этом. Большое значение имеет сцена, в которой Натка узнает «тайну» Альки и его отца, Сергея Ганина.

Идет веселый пионерский костер. На нем Натка встречает друга своего отца, старого большевика Гитаевича, который был на фронте вместе с Ганиным.

« — Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка.— А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки...

Музыканты ударили «Марш Буденного». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колесных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька».

И кажется, что это не только обычный праздник в пионерском лагере, кажется, будто это одновременно парад в память Марицы Маргулис. Это живой ответ на вопрос Натки, потому что четкие шеренги пионеров как бы идут на смену Марице, символизируя связь революционных поколений. И то, что под звуки «Марша Буденного» расступились ряды пионеров и на площадку выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции», а в нем Алька, сын Марицы, еще более усиливает обобщающее значение этой сцены. В ней словно слышится ровный, размеренный и легкий звук шагов в пионерских колоннах, шелест знамен. И серьезность, значительность этого описания перерастает рамки детского праздника.

Только после того как прошли отряды пионеров, Гитаевич ответил на вопрос Натки:

« — У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита...

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула пораженная Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька».

Пауза, которая пролегла между вопросом и ответом, подготовляет этот ответ, участвует в нем, делает его более весомым и убедительным. А облик счастливого, смеющегося Альки, который возникает сейчас же после горестного восклицания девушки, с новой силой повторяет тему вечно живой связи поколений, горького и одновременно радостного движения жизни. В тонкой смене контрастных сцен раскрывается идея, становится наглядной, зримой, неопровержимо убедительной.

«Где бы ни появлялся этот маленький темноглазый мальчуган,— рассказывает Гайдар об Альке,— на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы,— всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнет его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого малыша».

В общей картине жизни пионерского лагеря, которую несколькими штрихами нарисовал здесь Гайдар, жизни шумной, веселой, беззаботной, отношение к Альке, те несколько слов о нем, что вполголоса прибавляли ребята,— тоже одно из средств, помогающих раскрыть чувства дружбы и солидарности, которые так сильны в этой повести. В заботе об Альке выражается восхищение матерью мальчика и всем тем, что связано с ее образом. Отношение к Альке объединяет ребят вокруг высокой идеи, является одним из средств, помогающих художественно, эмоционально, через характеры героев и их взаимоотношения выразить эту идею.

Особенно хорошо это видно на отношениях Владика и Альки. Сначала два эти героя не связаны между собой; каждый из них по-своему передает главную тему произведения — мечту о подвиге, о месте новых поколений в революционном строю, о том, как битвы за революцию, уже прошедшие, нынешние и грядущие, соединяются в жизни маленьких героев — будущих граждан Советской страны.

Сближение мальчиков произошло после того, как Владик услышал слова Альки: «А моя мама тоже в тюрьме была убита». Вскоре после этого, наблюдая за Влади-

ком, Натка заметила, «с какой настойчивостью этот дерзкий мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь».

Гайдар умеет в своих книгах показать благородство и широту чувства в детской дружбе; это именно мальчишеская дружба — сдержанная, немногословная, без излияний и объяснений. Но в ней много душевной щедрости, верности и серьезности переживаний. Владик говорит Альке: «Идем, Алька. Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?» Пожалуй, может показаться, что и смысла-то особого нет в этих словах, но происходит это потому, что они призваны заменить другие слова, которые переполняют Владика и высказать которые ему не позволяют его мальчишеская гордость и суровость. В этом отрывистом «Эх, ты!» — нахлынувшее чувство, скрытая ласка, выраженные коряво, застенчиво.

Но и сам Алька — не отвлеченный символ. В произведениях Гайдара вообще никогда не бывает таких образов, которые были бы просто обобщенными носителями каких-либо понятий, какой-либо идеи. Они несут эту идею в его книгах лишь потому, что она раскрывается в живом характере, в конкретных человеческих чертах. Этот маленький человечек достоин нести эстафету поколений не только потому, что он сын овеянной романтической славой Марицы Маргулис, но прежде всего потому, что сам он исполнен прелести, обаяния.

Особенности биографии мальчика находят подкрепление и развитие в его характере. И в этом глубокий нравственный и поэтический смысл этого образа. Именно нравственный и поэтический в их неразрывном единстве, потому что у Гайдара эти понятия никогда не отрываются друг от друга, не существуют самостоятельно. Поэтому никогда не бывает у него абстрактного морализирования, отвлеченного нравоучительства, которое так отталкивает и в книгах для детей и в книгах для взрослых. Мысль никогда не отделяется у Гайдара от художественной ткани, замысел — от выполнения, идея — от формы. В слове — простом, ясном, обычном слове — открывает он чудесные богатства, тончайшие оттенки психологического рисунка, образного постижения мира.

Этой радостью узнавания жизни проникнут образ маленького Альки. В повести воспроизведен решительный и смелый детский характер. В каждом слове раскрывается его привлекательность. Вот Владик рассказывает Альке, что Натка по ошибке решила, что он купается в море, а за купание без спроса из лагеря сейчас же отправляли домой.

«— Завтра меня из отряда выгонят,— объяснил он Альке.— Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал,— заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел».

Смена самых разноречивых чувств, буря детских переживаний запечатлены в этом маленьком эпизоде. Сначала Алька спокоен, он знает, что Владик прав, и поэтому не верит, что ему может что-либо угрожать. Но это спокойствие сменяется смятением, испугом перед тем, что правда сама по себе не всесильна, предчувствием несправедливости и в то же время горячей верой в правду. Весь этот комплекс сложных, противоречивых чувств с детской наивностью, незащищенностью выражен в коротенькой реплике Альки: «А ты правду скажи, что только полоскал,— заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька». Страх за Владика переплетается здесь со страхом за правду, и потому с таким волнением заглядывает мальчуган в глаза своему старшему другу и ждет от него подкрепления, поддержки. Но поддержки нет. И тогда в волне сбивчивых торопливых слов: «Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел»,— в этих коротких фразах, в повторении слов, в прерывающемся от волнения голосе мальчика уже не только чувство, но и безотчетное стремление действовать, самому защищать справедливость. А это активное начало, выраженное в безыскусственной ребячьей форме, и передает самое существо этого детского образа. Поэтому с таким волнением мечется по лагерю маленький Алька, ища способы «оправдать» Владика, поэтому в отчаянии убегает он из лагеря, когда ему кажется, что его детских силенок не хватит, чтобы до-

биться справедливости, и поэтому вновь возвращается он обратно, веселый, как солнечный зайчик, когда наконец справедливость побеждает.

Так этот маленький герой, как характер, подкрепляет свою связь с Марицей Маргулис. А это самая глубокая, внутренняя связь, которая прежде всего интересует Гайдара,— не внешняя, не парадная, не декларативная, а изнутри идущая эстафета поколений.

Эта эстафета со скорбной торжественностью вновь возникает в описании смерти Альки, погибшего от вражеского удара камнем в висок. В солнечный мир детской игры, казалось бы безмятежный и непоколебимый, ворвалась большая жизнь с ее сложнейшими противоречиями, напряженной борьбой и потерями. И жертвой этой борьбы становится самый маленький, самый любимый герой повести — Алька.

Гибель Альки показана глазами его отца — Сергея Ганина: «В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. А на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш — Алька».

Это мгновенное чередование картин — мертвая Марица, тюремные башни и ржавые цепи, убитый Алька,— как вспышки молнии, еще раз освещает неразрывную связь поколений.

Печальны последние страницы повести; образ Альки как бы освещает их, делает особенно благородным это горе, которое охватило всех — и больших и маленьких обитателей лагеря. «Печаль моя светла» — эту пушкинскую строчку могли бы повторить и герои и читатели этой повести. (Да и вообще в благородстве и гармоничности чувств, в ясной соразмерности частей, в человечности всего творчества Гайдара — во всем этом есть черты высокой, именно пушкинской поэтичности.)

Гайдар не готовил своих героев к легкой, бездумной жизни, он не «дистиллировал» действительность, не «снимал» трудностей и горестей. Он сам в повести «Школа» определил жизненное содержание, которое вмещается для него в определение «светлый», которое, пожалуй, точнее всего применимо к его творчеству. Борис Гориков, подросток, который впервые вступает на путь революции, с волнением вчитывается в густо-красные буквы большого плаката: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма». «Это «светлое царство»,— рассказывает он,— которое пролетариат должен был завоевать, увлекало меня своей загадочной, невиданной красотою еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майн-Рида восторженных школьников. Те страны, как ни далеки они, все же разведаны, поделены и нанесены на скучные школьные карты. А это «светлое царство», о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям».

Со свойственной юношеству неопределенной загадочной романтичностью представляет герой таинственные владения неразведанного и неизведанного будущего. Их очертания хотя и прекрасны, но туманны, и борьба за них только смутно красива. Но, узнав все горести и радости настоящей борьбы, пройдя трудный и славный путь революции — подлинную школу жизни, уже на последних страницах повести юноша говорит: «Я ушел воевать за «светлое царство социализма». Царство это было где-то далеко; чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий.

Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шебалов и десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое.

А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь.

И через эту глубокую ненависть далекие огни «светлого царства социализма» засияли еще заманчивее и ярче».

Первоначальная, абстрактно-романтическая, по-детски наивная формула героя «Школы» постепенно наполняется жизненным содержанием, становится выстраданной, мужественной, конкретно революцион-

ной. И она сохраняет при этом всю свою поэтическую сущность.

«Светлое царство социализма» никогда не становилось под пером Гайдара розовым. Реальная жизнь с ее реальными трудностями делалась тем светлее, заманчивее, чем напряженнее шла борьба за нее.

Именно к борьбе за «светлое царство социализма» и готовит своих героев и читателей Гайдар, именно этой главной цели подчинено все своеобразие его таланта.

И поэтому смерть маленького Альки в повести «Военная тайна» не случайный трагический эпизод, призванный символизировать трудности жизни вообще. В нем заключен очень точный смысл. Он особенно полно раскрывается в картине похорон мальчика. Картина эта запечатлена глазами Натки:

«Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова — шахтер.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причесанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден...

...Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг».

И кажется, будто не на похороны пришли герои повести, а на суровую военную поверку, будто сразу с этого горького рубежа шагнут они в бой. Все, даже самые мелкие детали строго подобраны, подчинены главному. И большой красный флаг над могилой Альки, и военный орден на груди его отца Сергея, его вычищенные сапоги, подтянутый ремень, его неподвижная, спокойная и суровая поза часового, застывшего у знамени,— все это символизирует мысль о том, что трагической смертью погиб не просто славный, любимый всеми малыш, но и будущий солдат революции. И этим еще раз подчеркивает писатель всю серьезность, значительность того жизненного предначертания, которое ждет его юных героев. Образ переполненного горем Владика в этой сцене как бы на мгновение проецируется в будущее, словно прожектор осветил на секунду его грядущий путь, и мы увидели, «что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет».

С волнением и нежностью вглядывался писатель в лица своих юных героев, отчетливо понимая, какая славная и трудная доля ждет их в приближающейся военной грозе, которую так ясно ощущал Гайдар, какая ответственность за судьбу Родины ляжет на их плечи. Он хотел, чтобы они встретили ее в великом строю революционных поколений.

Эта идея наиболее полно раскрывается на последних страницах повести, когда Натка опять возвращается к поставленному перед собой в начале произведения вопросу о цели и смысле жизни. «И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились,— подумала Натка.— А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать,— думала Натка.— Надо их беречь. Чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает кто хочет».

Думая «о самом важном», бродит девушка по улицам Москвы, и снова вплетается в текст знакомая песенная фраза, которая прозвучала в первых раздумьях Натки. Но теперь она кажется звонкой, уверенной: «Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок только потому, что туда прошел с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод».

Самые дорогие и для автора и для героини мысли о цели жизни, подводящие итог всему развитию повествования, знаменательно обрамлены образом Красной Армии — сначала далекими боями гражданской войны, а затем, в конце, марширующим дружным взводом красноармейцев. Так опять идея преемственности поколений находит неповторимое выражение в самой форме повествования.

И как заключительный аккорд, радостный, задорный,— последняя фраза произведения: «Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал».

Так, веселым ребячьим смехом, заканчивается эта повесть, в каждой строке которой воспитательное и художественное слиты в таком нерасторжимом единстве, что даже при анализе нет никакой возможности отделить одно от другого. Именно поэтому так ложатся в душу книги Гайдара, так формируют характер, так вооружают и вдохновляют своих читателей.

Великую жизненную проверку выдержали эти книги, самое большое испытание на прочность — они участвовали в воспитании поколения людей, победивших в Великой Отечественной войне.

Известно изречение о том, что войну выигрывает школьный учитель. Минувшую войну вместе с другими учителями жизни выиграл и советский писатель Аркадий Гайдар.

3

В произведениях Гайдара нет мелких тем, боковых событий, второстепенных фактов и эпизодов. Это не значит, что он писал всегда только о необычайном, высоком, выдающемся. Совсем нет. Обычные люди в их обычных делах встают со страниц его книг. Но в подходе к ним, в отношении к их делам и судьбам, к их поступкам и мыслям писатель всегда соблюдал самый точный масштаб — соотносил их поведение и в большом и в малом, с критериями, моралью, гуманизмом революционной борьбы. Он умел вывести своих героев на магистральную линию жизни, умел показать, что путь к подвигу совершается ежедневно, ежечасно, что он состоит подчас из маленьких побед и маленьких трудностей. И писатель всегда связывал эти повседневные дела своих юных героев с большой жизнью, большими подвигами, большими мечтами. Поэтому так далеко раздвинуты границы его повествования, так далеко, что прошлое, настоящее, будущее связываются воедино. Именно эта связь времен, широко и вольно раскрывающаяся на страницах его книг, устремленность в грядущее и вместе с тем — и, может быть, именно потому — непосредственная близость к великому прошлому и позволяют определить место каждого, пусть самого маленького, героя в эстафете поколений, позволяют соотнести его образ с поэзией революции.

Эта главная для Гайдара тема составляет существо любой его книги, любого периода его творчества. В произведениях писателя, посвященных непосредственно революции и гражданской войне, таких, например, как «Р. В. С.» или «Школа», эта тема раскрывалась в прямой форме, и путь к подвигу, воспитание характера были одновременно путем к революционному действию.

В произведениях Гайдара тридцатых годов главной становится тема революционной преемственности поколений. Прошлое для писателя не воспоминание, далекое и прекрасное, а обращенная в грядущее программа жизни. Мы пытались это показать на таком значительном произведении Гайдара тридцатых годов, как «Военная тайна». Это же можно проследить и на других книгах писателя. В каждой из них глубоко по-своему, по-разному решалась эта ведущая тема творчества Гайдара.

...Большая жизнь страны пришла на маленький, глухой железнодорожный разъезд («Дальние страны»), ворвалась в жизнь детей, мечтающих о незнакомых таинственных странах. Но «дальние страны» не механически соединяются с дальним полустанком, с жизнью детей. Это соединение — в борь-

бе, в процессе которой и приобретают реальные очертания туманные романтические контуры будущего. А главное, в том, что маленькие герои находят свое место в этой борьбе. И пусть они не совершают необычайных подвигов, пусть для одного из них подвиг в том, чтобы честно признаться в своем проступке, но писатель наполнил это признание подлинно гражданским пафосом. Ребята встали в один ряд со своими отцами. Читатель чувствует, что из этого ряда они уже никогда не выйдут, что это не только их настоящее, но их «дальние страны», их будущее.

Совсем другой, тяжелый путь у маленького барабанщика (повесть «Судьба барабанщика»); горькие испытания выпали на долю этого мальчугана, но и он идет в общий строй, для того чтобы найти в нем свое место.

Не только в поведении героя, в его поступке выражается эта главная для Гайдара мысль. Поступок у него важен не сам по себе, а как часть большой этической проблемы, как нравственный итог. Строй высоких революционных чувств определяет любую сферу деятельности героев даже тогда, когда эта деятельность, казалось бы, далека от активных общественных вопросов, когда в произведении на первый взгляд даже не совершается никаких событий.

Трудно, например, рассказать содержание такого неповторимого гайдаровского произведения, как «Голубая чашка», трудно определить тот конкретный возраст, к которому оно обращено. Совсем маленький читатель найдет в нем поэтическую историю странствий по полям и лугам, прелестные картины природы, милый образ маленькой Светланы, занятные встречи с разными людьми. Главного он, конечно, не сможет понять, но он обязательно почувствует ту победу добрых чувств над мелкими, которая одержана в этой повести.

Но чем старше станет читатель, тем шире раскроется перед ним философский подтекст этой мудрой вещи. О чем рассказывается в ней? О том, как разбилась голубая чашка? Да пожалуй, это — главное событие в произведении. И вместе с тем это повесть о любви, о ревности, о ее мучениях, о настоящих чувствах и мелких, призрачных, которые угрожают счастью, детству, семье.

Разбитая голубая чашка становится олицетворением тех испытаний, которым подверглись герои произведения. Кажется, что их любовь, их жизнь разобьются вот так же нелепо и бессмысленно, как только что разбилась голубая чашка...

Уходит из дому герой повести с маленькой Светланой. Что же помогло им вернуться назад? И на этот раз, как всегда, писатель выводит судьбы своих героев на широкие просторы жизни, помогая им понять, что же главное в их жизни и что второстепенное.

С горькими словами обиды: «Прощай, Маруся! А чашки твоей мы все равно не разбивали»,— уходят в путь маленькая Светлана и ее отец. А навстречу им бегут поля и леса, самые разные люди — и маленькие и большие, их жизнь, их труд. И чем дальше идут герои, чем шире становятся картины жизни, тем меньше, мельче начинают казаться и им и читателю оставленные дома осколки разбитой чашки. И чем интереснее окружающая жизнь, тем тусклее и скучнее кажутся события, вызвавшие уход из дома. Первой начинает это понимать Светлана, которая своим детским чутьем осознает, что разлад в жизни отца и матери больше всего угрожает ее счастью. Это — детское чувство, а не сознательная мысль. И это очень тонко показывает писатель.

«Вдруг Светлана притихла и задумалась.

А тут еще, пока мы ели, вдруг спустился на ветку серый чиж и что-то такое зачирикал.

Это был смелый чиж. Он сидел прямо напротив нас, подпрыгивал, чирикал и не улетал.

— Это знакомый чиж,— твердо решила Светлана.— Я его видела, когда мы с мамой качались в саду на качелях. Она меня высоко качала. Фють!.. Фють!.. И зачем он к нам прилетел так далеко?

— Нет! Нет! — решительно ответил я.— Это совсем другой чиж. Ты ошиблась, Светлана. У того чижа на хвосте не хватает перьев, которые выдрала ему хозяйкина одноглазая кошка. Тот чиж потолще, и он чирикает совсем не таким голосом.

— Нет, тот самый! — упрямо повторила Светлана.— Я знаю. Это он за нами прилетел так далеко».

Мотив возвращения настойчиво врывает-

ся в этот разговор. И хотя спор идет только о чиже, нам ясен тот внутренний смысл, который вложил в него писатель, понятно, почему Светлане обязательно хочется, чтобы прилетел к ним «тот самый» чиж и почему так упрямо сопротивляется этому ее отец.

Мотив возвращения входит в повесть еще не как действие, желание, а пока еще только как настроение.

И вот, как бы для укрепления и подлинного осмысления этой мелодии, входит в повесть еще одна тема. «Папка,— усаживаясь мне на живот, попросила Светлана,— расскажи что-нибудь про маму. Ну, например, как все было, когда меня еще не было». И начинается рассказ о том, что было, когда не было еще на свете маленькой Светланы... А была гражданская война... В захваченном белыми городке томилась семнадцатилетняя Маруся. На помощь ей и всем людям неслась Красная Армия, а вместе с ней и отец Светланы. Сквозь огонь великой революционной борьбы прошла эта первая большая любовь.

Опять незабываемые дни революции спешат на помощь людям, спешат на помощь их настоящему и будущему. Все стало на свое место в масштабе большой жизни, больших, настоящих чувств.

«— Нет,— твердо решил я, отбрасывая носком сапога валявшиеся черепки голубой чашки.— Это все серые злые мыши. И мы не разбивали. И Маруся ничего не разбивала тоже».

Так тема революции, ее образ, ее строй определяют не только те произведения Гайдара, которые отражают непосредственно события революции, не только те его книги, в которых говорится о революционном воспитании новых поколений, но и те, которые посвящены самым интимным, сугубо личным вопросам. В этом цельность мироощущения революционного писателя, единство его взглядов на жизнь.

Предчувствие грядущей войны окрашивает все книги Гайдара.

«...Ты, когда был на войне, много раз прыгал (с парашютом.— *А. Б.*)?» — допытывается у отца маленький Алька из «Военной тайны».

«— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?» — уверенно и бесстрашно спрашивает Алька.

...Идет по дороге Светлана («Голубая чашка») и слышит выстрелы.

«— Бой неподалеку! — вскрикнул Пашка...

— А кто с кем? — дрогнувшим голосом спросила Светлана.— Разве уже война?»

В «Тимуре», написанном в канун суровых лет войны, писатель начертил своим героям конкретную программу жизни, «разработал» ее тщательно, со всеми подробностями. И мы знаем, что ребята жили по этой программе тогда, когда писателя уже не было в живых. Благородный образ Тимура, завершающий галерею ребячьих образов Гайдара, наиболее полно выражает героическое начало. Можно с особой реальностью и достоверностью представить себе Тимура в дальнейшие годы, на самых сложных, самых ответственных участках жизни, рядом с прославленными, любимыми героями.

Революция — душа творчества Гайдара. Все свои книги он посвятил утверждению ее красоты, всю жизнь он боролся за нее — с оружием или пером в руках.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Блинкова. Правдоподобие и правда.— **Нат. Соколова.** В стране микронов.— **А. Синявский.** О новом сборнике стихов Анатолия Софронова.— **И. Серман.** Образ человека в литературе древней Руси.— **Ю. Манн.** Пафос упрощения.— **Дм. Урнов.** Северный свет.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Хавин. Наступление на промышленную целину.— Кандидат юридических наук **Б. Габричидзе**, кандидат исторических наук **К. Федоров.** Против ревизионистских измышлений.— **Н. Явно.** Ядерное оружие должно быть запрещено! — Кандидат географических наук **И. Забелин.** Великий путь.— **А. Иглицкий.** Рассказы о шахматах.

Литература и искусство

Правдоподобие и правда

На перекресток нескольких дорог выходит очень молодой человек. Он не задумывается над тем, какую из этих дорог выбрать, его притягивает к себе та, которая как бы продолжает знакомый ему путь... И вдруг через некоторое время юноша начинает понимать, что тропка, казавшаяся ему надежной и удобной, заводит его в тупик, и лишь те, другие, незнакомые пути, которые не так давно то ли испугали его, то ли вызвали его пренебрежение, являются настоящими, правильными, и только они могут вывести его к широким, бескрайним жизненным просторам, к настоящему, большому делу.

Необходимость глубокого знания жизни, активного участия в ней молодых людей является одной из ведущих тем литературы наших дней — особенно тех книг, что предназначены для юношеского чтения. Нет нужды доказывать, как неисчерпаема тема становления человеческого характера, с каким разнообразным кругом современных проблем связана она, как актуальна не только для вступающих в жизнь молодых людей, но и для всей советской общественности, и как важно, чтобы она была воплощена в художественном произведении во всей своей глубине и жизненной достоверности.

Повесть И. Гофф «Поэтом можешь ты не быть...», посвященная первым жизненным шагам вчерашнего школьника, написана легко и занимательно. В ней действуют люди разного возраста и разного мироощущения, и для каждого из них автор находит соответствующую интонацию, которая сливается с общим лирическим звучанием произведения. Легкий налет юмора сопровождает художественную характеристику юноши Виктора — главного героя повести, подчеркивая его житейскую неосведомленность и наивность; оттенок грусти лежит на всем облике писателя Усольцева — человека не слишком удачной личной и творческой судьбы; жизнерадостностью, определенностью отличается художественная характеристика студента Артема, молодого поэта, прошедшего в армии и на производстве со-

---

Инна Гофф. «Поэтом можешь ты не быть...» Повесть. «Юность», 1959, № 2.

лидную школу жизни. В реалистическо-гротесковой манере, выбивающейся из общего лирико-эпического тона повести, создан образ мещанина и пошляка Кукина, что подчеркивает чуждость его той среде, в которой он обосновался.

Художественный вкус проявила И. Гофф как живописец города. Городской пейзаж обычно редко сопровождает действие художественного произведения, а ведь он всегда активно воздействует на настроение людей. Описание города — с его многообразием красок, звуков, с его постоянным движением — принадлежит к лучшим страницам повести.

«Было еще по-утреннему свежо, но августовское солнце припекало, обещая жаркий день. Видимо, недавно по улице проехала поливальная машина: мокрый асфальт дымился, просыхая. От него исходило душное, влажное тепло. На углу женщина продавала астры и георгины, время от времени опрыскивая их водой, чтобы не завяли. Мчались машины, обдавая запахом бензина: бирюзовые «Победы», шахматные такси с зеленым глазком, проплывали черные, блестящие, похожие на рояль «ЗИЛы». Почти гуськом ползли троллейбусы, набитые пассажирами. Весело перекликались маляры на металлических лесах огромного дома».

Москва предстает в повести в своем многообразии: мы видим вчерашние окраины, превращающиеся на наших глазах в стройные магистрали, и древнюю вечную красоту Кремля; любуемся простором широких проспектов — и оказываемся в самой толчее суетливого старого «центра»; Москва — во все времена года, Москва — в любое время суток, со своим ритмом, своими традициями, со своей неповторимой, «неустоявшейся» красотой.

«Москва лежала перед ним, доверчиво открыв ему свои просторы. Старые домишки внизу, вокзальная башня с часами были в тени, зато ослепительно сияло вдали озаренное солнцем здание университета на Ленинских горах.

Москва была бесконечна, до самого горизонта, растворившегося в дымке. Так же чувствуешь себя, впервые выйдя на берег моря».

Простыми и вместе с тем выразительными словами даны отдельные художественные характеристики, изложен ряд эпизодов повести.

Вчерашняя школьница Ариша совершает поступки, непонятные ее сестре — официантке Леле, за что Леля называет ее «романтичкой». Это очень хорошо подмечено: Леля знает, что люди, которым не сидится на месте, которые мечтают о необыкновенном, называются романтиками, но вот как употребить это слово в единственном числе женского рода? И решает — «романтичка». И в этом словечке не только Лелино представление о правилах грамматики, но и несколько высокомерное отношение к этой странной группе людей. И надо же, чтобы судьба так странно подшутила: практичная Леля вслед за сестрой оставляет родной город, квартиру в новом доме, множество поклонников, чтобы уехать в Сибирь к полюбившемуся ей с первого взгляда комбайнеру. Может быть, и у нее где-то в глубине души билась романтическая жилка?

Гибкость интонаций, так же как и выразительность деталей, радующих своей жизненной достоверностью, свойственны лишь тому писателю, который обладает чутким слухом и зорким глазом.

Но почему же в таком случае кончаешь чтение повести с явственным ощущением досады и неудовлетворенности? Почему точность и конкретность многих описаний и эпизодов в конце концов воспринимается не как художественное воплощение жизненной правды, а лишь как ее имитация?

Чтобы разобраться в этом, сперва проследим за основным в произведении — за тем, что завело в тупик его главного героя.

Виктор Назаров мечтал быть геологом. Не попав по конкурсу в геологоразведочный институт, он неожиданно оказывается студентом института, где совершенствуют свое мастерство литературно одаренные молодые люди. Что заставило Виктора, никогда не стремившегося к литературному творчеству, решиться стать писателем? Лишь страстное желание остаться в Москве. «Кем угодно буду работать: носильщиком, дворником... Говорят, дворников прописывают в Москве». «С отчаяния» Виктор за двое суток написал три рассказа, в которых, к его собственному удивлению, обнаружились литературные способности. В этих рассказах юноша описал своего отца, соседа и свадьбу своей сестры и на этом исчерпал запас своих жизненных наблюдений, потому что больше у него тем для творчества не оказалось. Новые темы может дать ему лишь настоящее знание

жизни, активное участие в ней; поняв это, Виктор расстается с институтом и уезжает в Сибирь с геологической экспедицией.

Будущее героя остается неясным: может быть, набравшись серьезных наблюдений, повзрослев, он станет писателем, а может быть, и нет — это уже не важно, ведь «поэтом можешь ты не быть...» Важно автору другое — убедить читателя, что молодой человек должен обязательно познать практику жизни, прежде чем окончательно выбрать специальность. Нужно ли было доказывать эту очевидную истину с такой нарочитостью, просвечивающей сквозь всю нехитрую историю Виктора? Нужно ли было так целеустремленно подбирать для героя повести только те качества, которые заранее определили случайность и неправдоподобие его пребывания в столь специальном, столь отличном от всех других вузов институте?

Эта нарочитость приводит и к тому, что литературная одаренность юноши, творческий характер его натуры — то есть то, что, по рекомендации автора, является основным в его образе,— нам представляются весьма сомнительными. К литературе Виктор, по всей видимости, весьма равнодушен, знает ее еле-еле в объеме школьной программы.

Житейская неосведомленность, естественная для восемнадцатилетнего юноши, не знавшего никаких реальных трудностей, доведена волей автора у Виктора до явной инфантильности, определяющей не только его поведение, но и мировосприятие. Ему несвойственно даже то стремление осмыслить жизнь, которое обычно появляется у подростков в четырнадцать-пятнадцать лет, а у творчески одаренных ребят носит часто особо напряженный характер. Говорит он словами убогими и стандартными: «Башковитая, наверно. Соображает», «...если ты это сделаешь,— все!» Он ведет дневник, в котором нельзя обнаружить ни литературной одаренности, ни потребности творчества.

О заметной глазу читателя заданности художественного произведения М. Пришвин как-то сказал: «Истинного реалиста можно так узнать, перечитывая его какую-нибудь вещь: если он не реалист, а придумщик, то непременно откроется читателю сюжетная канва, по которой он расписывал».

Сюжетная канва в повести И. Гофф не только обнажена, но явно не совпадает с вышитым по ней рисунком.

Но дело не только в этом. Проблема человеческого становления юноши, его перехода во взрослое состояние вплотную соприкасается в повести с другой проблемой — становления писателя, формирования творческой художнической индивидуальности. Виктор попадает в среду, где это формирование происходит.

«Мы не можем создать нечто на пустом месте,— говорит один из преподавателей института,— но мы можем помочь вырасти художнику, сократить путь его исканий, закалить его в спорах, дать толчок его мыслям». Это — декларация, и она вполне уместна, потому что самое существование литературного института часто вызывает недоумение («Разве можно выучить на писателя?»). Но что же мы узнаем из художественного материала повести?

Прежде всего нам сообщается об отличительных качествах «настоящего студента»: «Слушать лекции по выбору, зная, на каких нужно сосредоточить внимание, а на каких можно заняться каким-нибудь другим, более стоящим делом: почитать книгу или завести переписку с кем-нибудь, состязаясь в остроумии».

А вот как представлен учебный процесс: «Идет лекция — старославянский. Юс большой и юс малый. Скука. Кто-то из ребят острит: «Так мотай себе на юс».

Конечно, каждый студент к каким-то лекциям относится пренебрежительно; конечно, чтобы с увлечением слушать лекцию о мертвом языке, нужно обладать особыми лингвистическими интересами. Но ведь это все маленькие детали правды, а где же большая жизненная правда? И семинары, те самые, на которых надо «закалить в спорах» и «дать толчок мыслям» будущего художника слова, и экзамены — все это изображено столь же шутливо, легковесно и даже неуважительно. Студенческая жизнь представлена вне трудовых будней, вне творческого напряжения. Основное, что характеризует ученические годы молодых писателей,— это «шпаргалитет» (комитет по составлению шпаргалок), чрезвычайно случайные оценки на каких-то странных экзаменах, капустники, остроумия да и вообще смысла которых понять невозможно, стихи и частушки — тоже не слишком смешные, как, например, некий «Гимн хвостовиков»:

Но если ране
На обезьяне
Был хвост один для всех пород,
У нас их восемь.
Отметить просим
Как шаг
Вперед...

Студенческая дружба, товарищество в повести обращены в основном в сферу бытового, или, так сказать, воскресного... Можно ли себе представить молодежь — а тем более творческую — без страстных споров о жизни, об искусстве, о своем призвании? Ведь герои повести — совсем молодые люди, в их годы все увлечения, весь процесс осмысления действительности протекает чрезвычайно бурно, вызывая особо сильные переживания. Ни об этих спорах, сомнениях и открытиях, ни о самом творческом процессе мы из повести ничего не узнаем. Самая сложная проблема, что стоит перед Виктором,— это найти тему для рассказа. А если он не найдет темы, то его вызовут на комитет комсомола — ему грозят конкретные неприятности. О тех юных писателях-счастливцах, которые уже нашли тему, сообщается, что они по вечерам сидят в читальне и пишут,— вот и весь творческий процесс! Можно еще представить себе, что Виктору — очень юному и неразумному — недоступны сложные мысли о творчестве и искусстве; но вот рассуждает Артем — взрослый, умный и «бывалый». В его уста вложены самые глубокие и серьезные мысли повести. Каковы же они? А вот: «Артем высказал мысль, что напрасно некоторые думают, будто большой точности требуют только точные науки. Работа над словом тоже требует большой точности. Потом заговорили о цели в жизни. Артем сказал, что цель в жизни каждый понимает по-своему. На Кавказе ишаку к оглобле привязывают клочок сена, и он бежит, стараясь его догнать. Для ишака — это цель, которая движет его вперед. Есть и люди, которым достаточно клочка сена, чтобы маячил перед носом...»

С отсутствием осмысления гражданского долга писателя, надо думать, связана и недостаточная четкость в воплощении образов старшего поколения писателей.

...Единственная книга Усольцева вышла больше четверти века назад. С тех пор он служит литературе как педагог и рецензент. Во всем его облике есть нечто значительное, импозантное, чему не противоречит налет суровости и чудачества, естественного для одинокого, не избалованного жизнью человека [1].

Но самое главное в содержании этого образа, именно то, что определенными нитями в повести должно вести к младшему поколению — примером или предостережением,— остается неясным: что же было причиной кратковременности творческого успеха писателя? Потому ли так сложилось, что он мало знал жизнь, недоставало ему «бывалости»? А может быть, не хватало знаний или творческой активности? Или есть некий закон, по которому человек определенной творческой индивидуальности не может создать больше одной книги? Намек автора на то, что «уход Кати (жены Усольцева.— *М. Б.*) был приговором его дальнейшему творчеству», звучит недостаточно, ну, скажем, искренне. Другой намек — что слишком рано похвалил его Горький — произнесен застенчивой скороговоркой и тоже остается авторским предположением. Что-то в этом образе скрыто, недоговорено писательницей, а именно этого чего-то не хватает, чтобы образ был раскрыт, чтобы выяснилось сокровенное его «зерно».

Зато вполне четок творческий путь и судьба известного поэта Оленева — того самого, ради кого оставила Усольцева жена.

«Деревенский парень, рабочий, шахтер до сих пор еще крепко сидели в нем, изысканно одетом, немолодом уже человеке, и в этом была, пожалуй, скрыта таинственная сила его стихов. Он-то знал, как делается фарфор!.. Он сеял хлеб, рубал уголек, воевал. И когда теперь Оленев говорил в стихах от лица своего народа, то говорил он с полным правом на это».

Но почему-то есть в этом человеке, уставшем «от славы», нечто нерасполагающее. И вот что остается загадочным: происходит это по воле автора или вопреки ей? Или попросту: нравится автору этот человек или чем-то ему он не по душе? Старая истина —

[1] Кстати заметим, что писательница поставила Усольцева перед нами в очень неловкое положение, заставив его приписать Чехову знаменитый афоризм Вольтера: «Все жанры хороши, кроме скучного». А когда Виктор, вспоминая слова Чехова о том, что можно написать рассказ о пепельнице, заменяет ее чернильницей, Усольцев его не поправляет. Не повезло в повести и Чехову и Усольцеву.

без авторского пристрастия образ произведения не обретет ни убедительности, ни определенности.

Оленев, очевидно, должен воплощать представителя старшего поколения писателей, передающего эстафету молодой смене, но в сюжетную ткань произведения образ его не вплетен.

Поверхностное, неполноценное изображение среды, которую И. Гофф не могла не знать и к которой не могла быть равнодушна, наталкивает на такую мысль: увлеченная основной идеей повести — о необходимости для будущего писателя познания жизни в трудовой сфере,— писательница сделала крен в сторону несколько уничижительного отношения к высшему образованию, к теоретической школе творчества в данном случае. И хотя она этого, очевидно, никак не хотела, но ее изображение жизни института, чей точный адрес мы получили, невольно наталкивает на мысль: если этот институт таков, то нужен ли он?

Авторская предвзятость ведет иногда к явственной подмене подсказанного жизнью образа другим, что делается в угоду обжитой в литературе ситуации.

Будущий критик Тая предстает перед нами в образе веселой и непосредственной девушки, по натуре активной и прямой. Литературу она знает и любит, хотя по молодости лет говорит о ней слишком уж профессиональным языком. Она откровенно влюблена в красивого Виктора и ведет себя часто неловко... Но вдруг на этот полнокровный жизнерадостный образ накладывается сетка мрачной схемы, связанной с его, так сказать, социальной атрибуцией. Оказывается, что отец Таи — профессор, что живет ее семья в высотном доме, в квартире, уставленной мебелью, «дорогой даже на вид». А за этим потянулась привычная цепочка: глупая мещанка мать (хотя отец очень хороший), надменная, но льстивая с влиятельными людьми домработница, увлечение девушки модернистским искусством, и главное — скользкий полированный стол, «писать за таким легко... Мысли не задерживаются, скользят по поверхности». А как же примирить этот скользкий стол с Таиной прямой и резкой критикой стихов демагога Кукина? Как можно поверить в то, что Тая, которая так хорошо дружит со своими товарищами студентами из общежития, презирает людей, живущих в старых домах, а официантку в кафе считает существом совсем иной породы, чем она сама? Спору нет, в человеке могут уживаться самые противоречивые качества; и могло случиться, что морально здоровая девушка поддалась нездоровым влияниям, что хорошие черты в ее натуре соседствовали со вздорными или вовсе дурными. Но психологический анализ этого явления автор подменяет привычной и стандартной схемой, почему образ лишается не только содержательности и глубины, но и художественной цельности.

Показательно, что удались писательнице те характеры, что стоят в стороне от основной проблемы произведения и существуют в повести более или менее самостоятельно,— официантка Леля, Кукин. Иногда это и вовсе эпизодические лица — отец Виктора, геолог Ростислав.

Остро и смело разоблачает И. Гофф в образе студента-поэта Кукина пошляка и мещанина, превратившего свою биографию (армия, работа на заводе) в объект своеобразной спекуляции. К сожалению, этот тип нам в жизни знаком — со своим самодовольством, невежеством, назойливыми воплями о «родном запахе» завода, со своей ловкостью во всевозможных кляузах. Знакомы нам и специфические обороты его речи: «Во дают! Нет, врете! Меня так просто не выкурите! Кукин еще себя покажет! А что... не пойти ли нам ради этого случая опрокинуть по маленькой с прицепом?» Правильно говорит студент Артем, сам немало поработавший на заводе, что такие рабочие, которые постоянно хвастаются своим рабочим званием, ему не встречались — «попадались иногда, но это большей частью болтуны, бездельники...» Кукин скорее не бездельник, а ремесленник, он и о стихах своих говорит: «сработано». Рифмует он по каждому поводу, который, как представляется ему, даст возможность «протолкнуть» его произведения независимо от того, знакомо ему то, о чем пишет, или нет.

Именно потому, что ряд образов повести создан интересно, и потому, что повествовательная манера И. Гофф доказывает ее одаренность, особенно досадно, что ее творческие достижения остались за гранью центральных проблем произведения. Ведь подходит она к ряду чрезвычайно интересных и актуальных вопросов: возмужанию молодого человека, становлению творческой индивидуальности, к теме передачи творче-

ского опыта, традиций и знаний старшего поколения писателей молодому. Однако ни одна из этих проблем не раскрыта во всей ее сложности, каждая из них лишена не только философской глубины, но и художественной и жизненной конкретности. Поэтому правда заменяется правдоподобием. Поэтому так не соответствует весь характер повести ее многообещающему заголовку.

М. БЛИНКОВА.

★

В стране микронов

Я сказала вчерашнему десятикласснику, токарю третьего разряда с завода «Тизприбор»:

— О размере изделия люди заботятся с незапамятных времен. А вот когда, по-твоему, появилось понятие шероховатости поверхности? Когда начали измерять чистоту обработанной поверхности, заботиться о ней?

— В девятнадцатом веке, я думаю,— ответил юноша, пожимая плечами.— В середине девятнадцатого...

С первого дня своей цеховой жизни он привык видеть на чертежах те небольшие треугольнички, обращенные острием вниз, с помощью которых обозначаются классы чистоты, и просто не представлял себе производство без этой борьбы с мельчайшими, невидимыми неровностями, ничтожными отклонениями от заданного стандарта.

В девятнадцатом веке? О нет, наука, призванная разгадывать тайны невидимых гребешков и впадин, родилась позднее. Ее создали советские ученые.

Как часто оказывается, что мы мало, досадно мало знаем о замечательных свершениях наших современников!

«В дни исторических битв сорок третьего года,— пишет очеркист Юрий Вебер в своей книге «Профиль невидимки»,— в затемненной от воздушных нападений Москве, в притаившемся переулочке, где нашел себе убежище один из институтов Академии наук, тихо и незаметно совершалась скрупулезная, строгая работа. Здесь, в небольшом кабинете с опущенными шторами, несколько человек проводили дни и ночи за бесконечными таблицами и расчетами». И только после войны, перестраиваясь на мирный лад, промышленность страны почувствовала значение того, что совершилось в небольшом академическом кабинете. Предстояло поднять производство на новый уровень, уровень особо строгой, «чистой» работы — вот что стояло за маловыразительным индексом ГОСТ 2789—45 нового стандарта.

В нашей памяти военная пора осталась как пора героического напряжения народа на фронте и в тылу, когда все было подчинено одной цели — победить врага. Мы знаем, что ученые в непривычных условиях, очень часто при отсутствии необходимого оборудования и материалов, решали сложнейшие задачи, откликались на требования, которые диктовал фронт. Но, к сожалению, у нас реже говорят и пишут о том, что в эти суровые годы советская наука продолжала работать на будущее, на завтрашний день. Да, свыше шестисот научно-исследовательских институтов было уничтожено захватчиками, видные ученые добровольно ушли на фронт, многие из них погибли, как один из основоположников советской метеоритики Л. Кулик. И все-таки люди науки продолжали наблюдать за звездами, открывать новые математические закономерности, развивать теоретическую физику, электронику, учение об атомах... Достаточно вспомнить, что решающий успех в построении современных мощных ускорителей, необходимых для исследования ядерных процессов, был достигнут благодаря работе В. Векслера, выдвинувшего и обосновавшего в 1944 году так называемый принцип автофазировки в машинах типа циклотрона. Мы знаем, к чему это привело в пятидесятых годах!

Во время войны был создан и «свод законов о гребешках» — скромная техническая победа на фоне всемирно-исторических событий, волновавших тогда человечество. Но предстояло еще создать измерительные приборы, которые помогли бы соблюдать новый ГОСТ, поднять производство на следующую ступень. Это была задача уже послевоенного времени. О том, как она решалась, и рассказывает документальная повесть «Профиль невидимки».

Ю. Вебер. Профиль невидимки. Редактор В. Мальт. 144 стр. Детгиз. М. 1958.

Миллионы людей в нашей стране — на заводах, на стройках, в исследовательских институтах — заняты техническим творчеством, создают и внедряют новую технику, внося свой вклад в общенародное дело строительства коммунизма. «В Советском Союзе созданы неограниченные возможности для творческого развития науки и техники, новых открытий и изобретений» (Н. С. Хрущев). Великая летопись создания и освоения новой техники во всех отраслях нашего многосложного хозяйства, во всех углах нашей необъятной Родины порождает своих летописцев. Эту почетную обязанность приняли на себя в первую очередь наши очеркисты, связавшие свою судьбу с судьбой советской индустрии.

Очеркист Юрий Вебер — один из тех, кто обладает счастливым даром просто и ясно говорить о сложном, специальном. Он умеет раскрыть самую суть технического творчества, воссоздать психологию людей, жизнь которых отдана этому творчеству, посвящена поискам нового, людей, чьи «малые ежедневные открытия», складываясь вместе, как раз и составляют «общий поток развития новой техники, технического прогресса».

О Ю. Вебере можно сказать то, что он говорит об одном из своих героев,—ему присущ интерес к миру малых величин, микронных измерений, где так много невидимого, неуловимого, таинственного, где исследователь, вооружившись терпением, ищет «ключи точности», сражается за десятые и сотые доли микрона. Писатель остается верен «стране микронов» и теперь, когда повествует о создании прибора высокой чувствительности для определения чистоты поверхности, для выявления мельчайших неровностей на этой поверхности, не различимых простым глазом впадин и гребешков.

История создания этого уникального прибора раскрывается в «Профиле невидимки» как длинная цепь человеческих исканий и усилий, тревог и волнений, «без которых, пожалуй, и нет жизни». Вкладывают свой труд в общее дело, отдают прибору кусочек сердца и молодой заводской конструктор Клейменов, и Александр Иванович Бояров, научный работник с большим опытом, и слесарь-лекальщик Гордеев, замечательный умелец, и электрики Мила Платонова, Марк Вятич. На каждом новом этапе встает новая задача, не менее сложная, чем те, что остались позади, возникают новые трудности, препятствия. Создан искусственный палец для ощупывания поверхности изделия — нужно создать плечо, которое бы двигало этот палец. Создана механическая часть прибора — нужно начинать думать об электрическом рычаге и электрическом мозге. Читатель, следуя от одной ступени к другой, становится как бы соучастником героев книги, он вместе с Клейменовым переживает «этап покорного ученичества», накопления материала, вместе с Бояровым выигрывает «лабораторное сражение на карточках», вместе с Марком Вятичем бьется над сложнейшей монтажной схемой электронного усилителя...

В книге нет никаких внешних эффектов, нет как будто бы особых происшествий. Обыкновенные люди в обыкновенных, будничных пиджаках, сидя за своими рабочими столами, что-то пишут, производят расчеты, иногда спорят между собой, не повышая голоса, а главное — думают, думают и еще раз думают. Ю. Веберу удалось не только внятно расшифровать эти раздумья, споры и донести до нас, непосвященных, смысл происходящего. Ему удалось и другое — писатель сумел выявить внутренний драматизм, присущий всем «перипетиям лабораторной борьбы», сумел в будничном, обыкновенном, каждодневном увидеть поэзию творческих исканий, романтику дарования. А это не так легко! И вот что характерно. Книга «Профиль невидимки» проиллюстрирована, причем иллюстрации все получились как-то на один лад — скучные человеческие фигуры в скучных позах наклоняются над столом, над бумагами. Это соответствует букве, но не духу книги. Художник не смог своими средствами раскрыть то, что раскрыл писатель, он не нашел ключа и остановился перед запертой дверью. Осталась оболочка, но ушло существо, вне его досягаемости оказался широкий мир творчества, где кипят страсти и в исканиях закаляются характеры. А между тем книга «Профиль невидимки» интересна именно как книга борьбы и преодоления, высокого творческого накала — автор, следуя заветам А. М. Горького, изображает науку и технику «не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции».

Ю. Вебер пишет не о новой технике как

таковой, но о людях, создающих эту новую технику. Пожалуй, лучше всего удаются автору скрытные герои, сдержанные, не бросающие слов на ветер, нелегко приоткрывающие свой богатый внутренний мир, люди «с подтекстом». Возможно, что сама манера письма Ю. Вебера — скуповатая, сдержанная, изящная в своей простоте (если воспользоваться его же определением) — хорошо подходит именно для решения этой задачи. Мы запоминаем и научного работника Боярова с его «экономной деловитостью», «тихой твердостью» и «короля лекальщиков» Гордеева, немногословного, ироничного, по-своему преданного прибору. Бледнее получились другие — например, главный конструктор Георгий Иванович или профессор Дьяченко. Что же касается молодого конструктора Клейменова, то мы отчетливо представляем себе логику его технических рассуждений, но не очень ясно ощущаем Клейменова, как живого человека с неповторимой, своеобразной индивидуальностью. Может быть, тут дают себя знать трудности «портретирования» реальных людей, те трудности, с которыми приходится сталкиваться всякому очеркисту, работающему на строго документальной основе, не зашифровывающему ни места действия, ни имен и фамилий участников?

В предыдущей книге Ю. Вебера «Разгаданный секрет» в центре повествования стоял один герой — слесарь Дмитрий Семенов, талантливый изобретатель, который сумел механизировать тончайшую операцию доводки измерительных плиток. Но там дело происходило в тридцатых годах, в иной обстановке, на ином уровне развития нашей техники, нашей индустрии. А книга «Профиль невидимки» — безгеройная книга. Или, точнее, многогеройная. Прибор, как эстафета, переходит от конструктора к слесарю, от механиков к электрикам, электронщикам, от людей завода к людям исследовательского института. Такое построение книги не выдумано автором, но подсказано жизнью, продиктовано материалом. Сегодня техническое творчество, как правило, является творчеством коллективным, объединяющим людей многих специальностей, самых разных отраслей промышленности, науки.

Если судьба Дмитрия Семенова была подробно прослежена на протяжении ряда лет, то иначе обстоит дело в новой книге. В «Профиле невидимки» каждый показан только в какой-то определенный момент, только в связи с историей прибора и в меру своего участия в этой истории. Хорошо это или плохо? В очерковом деле нет рецептов, нет и не может быть единого эталона, пригодного на все случаи, не существует двух одинаковых решений — все зависит от материала, от авторского замысла, от той задачи, которую поставил перед собой очеркист. В данном случае Ю. Вебер вправе был избрать именно такое построение. Главным героем книги не стал кто-то один из числа создателей прибора — им стал сам прибор. Он рождается на глазах читателя, как мысль, потом — как чертеж, воплощается в металл, обрастает деталями, обогащается электроникой, растет, мужает, порой капризничает, восстает на человека, уступает — и берет назад свои уступки. «Человек и своенравная электроника, вышедшая вдруг из повиновения. Кто кого?»

Вы следите за тем, что Д. Гранин в свое время в «Искателях» удачно назвал «воспитанием прибора, формированием его характера»,— и вот оказывается, что прибор вам не безразличен, что вы привязались к нему, как привязывается человек к соседскому парнишке, который родился и вырос у него на глазах. И вам уже жаль пропустить какой-то существенный момент из биографии прибора. И вам уже горько, обидно, когда Марк и Мила, не доведя работу до конца, вынуждены демонтировать схему, все эти лампы и катушки, принесшие «столько хлопот, огорчений и потому-то, вероятно, ставшие как-то по-своему близкими». И вам уже по-настоящему радостно, когда прибор наконец ожил, подал голос: «Как будто что-то затеплилось там, внутри прибора, не то похоже на легкое движение, не то какой-то тихий звук. Знаете, как бывает в радиоприемнике, когда его включишь и разогреваются лампы. Ничего еще нет, но прибор уже живой».

И еще одна особенность отличает книгу — это авторское вмешательство в повествование, авторский голос «за кадром». По сути дела, писатель входит в книгу как один из ее героев, он наблюдает, осмысляет, обобщает. Ю. Веберу хорошо удаются лирические (я не побоюсь этого слова) и лирико-публицистические отступления, свободные рассуждения — о чутье эксперимен-

татора, о скромной черной работе в науке, о значении ручного труда в век механизации и автоматизации, о том, как сегодня смыкаются наука и производство, и еще о многом, многом другом... Наблюдения и раздумья автора, данные ненавязчиво, как бы между прочим, органично входят в повествование, неотделимы от него.

Хорошую, содержательную книгу Ю. Вебера, изданную Детгизом и получившую первую премию на недавнем конкурсе Министерства просвещения РСФСР, с интересом прочтет и взрослый читатель и юноша, обдумывающий «сделать бы жизнь с кого». Для него она может стать книгой открытых дверей, помогающей выбрать специальность по душе, определяющей его дальнейшую судьбу.

Нат. СОКОЛОВА.

★

О новом сборнике стихов Анатолия Софронова

Стихи А. Софронова последних лет, опубликованные в его новой книге «От всех широт», большей частью связаны с его многочисленными поездками за границу, с путевыми впечатлениями автора. Это произведения, действительно летящие «от всех широт»,— посвященные Индии и Китаю, Англии и Исландии, Египту и Индонезии, Австралии и Японии. С первого же взгляда они поражают своей географией, масштабами и маршрутами дальних путешествий, обилием редких имен и названий: Ява, Суматра, Порт-Саид, Редфорт, Джамна, Рейкьявик, Акурейри...

Зарубежная тема не нова в нашей литературе. Многие советские поэты, начиная с Маяковского, выступают в разных странах как посланцы дружбы и носители новой, социалистической культуры. Нередко они привозят оттуда прекрасные стихи. И каждый раз, когда сталкиваешься с поэзией на эту тему, от нее ожидаешь большего, чем от «обыкновенных» стихов. Ведь произведение подобного рода предполагает новый взгляд и свежесть восприятия, оно вводит нас в ту страну, которую мы не знаем или знаем недостаточно, «не по-нашему», «не по-своему». Вместе с поэтом мы, русские, советские люди, вступая на чужую землю, как бы уподобляемся Христофору Колумбу. Недаром Маяковский назвал свои очерки «Мое открытие Америки». Это не было спором с великим мореплавателем. Это было «свое» — его, Маяковского,— открытие.

Трудно переоценить значение зарубежной темы для советского читателя. В произведениях Н. Тихонова, К. Симонова, П. Антокольского, М. Бажана, А. Малышко, Мирзо Турсун-Заде и многих других поэтов, создавших на материале заграничных поездок обширную и разнообразную литературу, мы не только знакомимся с жизнью других стран, но также яснее сознаем свое место и роль в мире, где у нас немало врагов, но неизмеримо больше друзей, и где советский человек — строитель первого в истории социалистического государства — чувствует себя в первом ряду борцов за мир, за свободу и счастье человечества.

В работе над зарубежной тематикой А. Софронов придерживается давней и хорошей традиции, прочно утвердившейся и в нашей литературе, и в нашем быту, в сознании каждого советского гражданина. Мотивы дружбы и братства между народами, сочувствия угнетенным классам и нациям, любви к родному краю составляют идейное наполнение книги «От всех широт». В этом ее очевидное достоинство. Автор книги, высказывающий близкие нашему сердцу мысли и чувства, вызывает уважение как гражданин Советской страны.

Но сколько-нибудь значительных поэтических открытий новые стихи А. Софронова, к сожалению, не содержат, потому что великие идеи предстают здесь по преимуществу в виде общих понятий. Для того чтобы стать явлением настоящего большого искусства, эти понятия нуждаются в ярко выраженной индивидуальной трактовке, в образной конкретизации, в наличии оригинального поэтического взгляда на мир.

Автор много ездил и многое видел, он проделал большую полезную работу и собрал большой материал, о чем говорит хотя бы его книга очерков на ту же тему. Но в стихах Софронова, перегруженных

Анатолий Софронов. От всех широт. Стихи. Редактор В. Котов. 120 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

названиями разных стран, рек, морей, городов, улиц, лицо именно этой страны, именно этого народа зачастую лишь едва намечено. Общее и отвлеченное преобладает здесь над конкретным и индивидуальным, декларация — над картиной, идея — над образом.

Есть у меня друзья на белом свете,
Считай их день, неделю — не сочтешь;
И друг за друга мы всегда в ответе,
И каждый чем-нибудь особенным хорош!

...На всех долготах и земных широтах,—
Куда б судьба тебя ни занесла,—
Тебя встречает, обнимает кто-то,
Ты узнаешь друзей — и нету им числа!

Вот эти друзья «вообще», безыменные «кто-то» (кто-то встречает, кто-то обнимает), иногда, впрочем, названные по имени, но редко раскрытые как живые человеческие лица, и являются героями стихов А. Софронова. Чем же особенно хорош каждый из них, поэт не говорит. Поэтому, при всем географическом разнообразии, его стихи страдают поэтическим однообразием. В них нередко повторяются одни и те же слова, формулы, положения. Так, рукопожатие представителя другой нации становится тем символическим жестом, который, переходя из одного стихотворения в другое, постепенно утрачивает свою живительную теплоту и превращается всего-навсего в условное, отвлеченное обозначение идеи дружбы, в повторяющийся литературный прием, в штамп.

Меня в Каире друг назвал
При первой встрече просто братом
И просто руку мне пожал,
Как могут руки жать солдаты...
(«Дорога в Порт-Саид»)

Мне запомнилось рукопожатье
Над фиордом в тиши голубой...
(«Рукопожатье»)

Запомним мы друзей из Акурейри,
Рукопожатья, взгляды и слова.
(«Исландскому народу»)

Пусть ты не знаешь языка,
Пришел сюда таким,
Но руку жмет тебе рука:
Москва — Пекин, Москва — Пекин.
(«Песня»)

Ты руки честных пожимал,
Без перевода понимал.
(«Над Бенгальским заливом»)

Потому и понятны
пожатья мужские...
(«Зимнее...»)

В пожатье руки братские сплелися,
И дружбы круг незыблем и широк.
Есть у меня друзья на белом свете,
Пожатья их я чувствовал в руках...
(«Есть у меня друзья на белом свете...»)

Автор как бы находится в плену своей фразеологии. Он топчется на месте, не в силах преодолеть тесные границы раз и навсегда заданного лексикона. Вместо того чтобы выразить предмет словами, поэт как бы надевает на него постоянную словесную маску, скрадывающую реальные черты, физиономию жизни. Привязалось, например, слово «шрамы», и вот оно уже употребляется всюду — к месту и не к месту, точно автор им пользуется автоматически, по привычке. И на зданиях Плимута «всюду виднеются шрамы», и на теле яванца «под рубахой — черный шрам», и щит лондонской рекламы «черными шрамами букв поражен», и в Нагасаки «шрам не зажил еще у людей ни один» (хотя, как известно, шрам появляется на месте зажившей раны).

Разумеется, у каждого поэта есть свой стиль, свой словарь. Но эти «шрамы» не приметы творческой индивидуальности автора, а результат шаблонных поэтических решений.

В стихах А. Софронова можно встретить запоминающиеся детали, открывающие на минуту живую картину. Например, на вечерних улицах Лондона поэт видит женщин, стоящих «в нимбах неоновых»... Но таких деталей немного. Приметы чужой земли, так называемый местный колорит, характерные черточки национального быта, психологии тонут в потоке общих фраз, которые сами по себе могут быть очень правильными, но мало нас удовлетворяют в силу своей применительности ко всем вообще и ни к кому в частности. Создается впечатление, что автор смотрит на жизнь в большинстве случаев из кабины самолета; земля в его глазах застлана туманом; ее формы и образы сливаются в одно расплывчатое пятно. В этом смысле названия некоторых произведений приобретают значение автохарактеристики: «Над Суматрой», «Над Бенгальским заливом», «Над австралийской пустыней».

Я все пишу тебе с полетов,
И все на разной высоте...

Дело, конечно, не в условиях поездок автора и даже не в беглости его путевых наблюдений. В стихах А. Софронова часто и самые близкие, хорошо знакомые явления предстают в виде холодной абстракции, потому что поэт общими рассуждениями о жизни подменяет ее конкретное изображение. Книга «От всех широт» замыкается стихотворением «Современник», героем которого выступает наш советский человек сегодняшнего дня. Но это опять-таки не живое лицо, а сухая, отвлеченная, выведенная логическим путем формула, воспроизводящая некие атрибуты некой субстанции:

Мой верный товарищ, мой друг,
современник,
Работник, кующий истории звенья.
Всему, что когда-то в салютах звучало,
Ты знаешь, кто дал и конец и начало.
Давай же посмотрим мы мирной порою,
Кто зданье великой победы построил
И кто тебя вывел, товарищ, в герои.

...Ты был в пионерском отряде горнистом.
Ты был комсомольцем, ты стал
коммунистом,
Ты можешь быть слесарем, зодчим,
министром —
Любые пути тебе в жизни открыли,
Лишь было бы сердце да были бы крылья,
Да воля большая, да творческий разум.
Захочешь — добьешься ты многого разом...

Перед нами, по сути дела, не образ, не характер, а растяжимое понятие, схематическая идея современника, лишенного каких бы то ни было индивидуальных признаков. В этой идее ни слесарь, ни зодчий, ни министр себя не узнают, а найдут лишь анкетные данные даже не своей, а какой-то универсально-безличной биографии. Широкая, пожалуй слишком широкая, трактовка темы оборачивается здесь неоправданными длиннотами. Мысль автора, растекаясь в многословии, движется медленно и часто застревает на одном месте:

К заводу спешил ты в рабочей спецовке,
Спешил до гудка ты, траву приминая,
Встречала прохладой тебя проходная,
Знакомая, близкая, просто родная.

Герой спешит, но автор не торопится, повторяя одни и те же слова и обороты, и какой-то вялостью, необязательностью веет от этого перечисления: «знакомая, близкая, просто родная...»

В последних стихах А. Софронова слабо выражены не только конкретные черты жизни и людей, о которых в них рассказывается, но и конкретное авторское лицо, индивидуальный взгляд поэта, присущий только ему и никому больше. Они часто звучат как подражание Есенину, Маяковскому, Исаковскому и другим поэтам. Но говорить здесь нужно не о заимствованиях, а о более глубокой причине: у А. Софронова нет своего устойчивого, ясно выраженного индивидуального стиля. Именно потому, что он пишет слишком «общо», его муза легко настраивается на чужие интонации, знакомые нам по другим образцам.

Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Как свежо, как неповторимо звучало в стихах Н. Тихонова это сравнение человека со сказкой и песней! Но когда А. Софронов, говоря о Григе, пользуется сходными сравнениями —

Как будто бы из сказки стародавней
И вместе с тем, как песня, молодой —

они теряют в его стихах первоначальную яркость, превращаются в обычное «общее место», мало чем отличающееся от других «общих мест», мирно соседствуя с такими же безликими, никому не принадлежащими оборотами:

Он, в скалы врос, возник для жизни
в бунте,
Наполненный суровой простотой,
Навеки обратив себя в «Пер Гюнте»
К бессмертной жизни вечной красотой.

Тихоновский образ в новой интерпретации как-то стерся, потерял лицо, постарел, поблек. О каком же заимствовании или влиянии может идти речь? Здесь стоит говорить лишь об утрате.

Временами в стихах о загранице А. Софронов сознательно стремится к тому, чтобы в памяти читателя возник образ и стих Маяковского;

Пейзажи не трону,
не трону погоду,
Не буду тревожить
отдельные лица я,—
Хочу посвятить
всю данную оду

С благодарностью
в целом
английской полиции...

Да, при чтении этих строчек действительно вспоминается Маяковский. О том, как далеко и насколько верно следует автор этой традиции, речь впереди. Теперь же хочется ответить на другой вопрос: ну а где же сам А. Софронов как таковой, в чистом виде, вне «общих мест» и литературных реминисценций?

Наиболее удачными стихами А. Софронова в поэтическом отношении представляются именно те, в которых отчетливее всего слышна личная интонация. Это главным образом произведения, проникнутые любовью к родной земле, тоской по родному дому, жене — по всему тому, что поэт оставил на время путешествия. Личное преломление большой общей темы придает этим стихам жизненность:

Как австралийский бумеранг,
Твоею пущенный рукой,
Перелетая океан,
Лечу к тебе, к тебе, домой.

...И ты зови, зови, зови,—
От всех широт, из дальних стран,
К тебе, к тебе, как бумеранг,
В ладони
теплые
твои.

Вместе с тем среди немногих стихотворений А. Софронова, окрашенных сильным чувством, встречаются и такие, с которыми хочется спорить. Спор в данном случае возникает по существу авторской концепции, а вопрос о художественном достоинстве вещи остается в стороне. Впрочем, самый этот факт уже говорит об известном поэтическом качестве произведения: если оно как-то задевает, волнует заключенной в нем мыслью — значит у него есть свое лицо и с ним можно согласиться или не согласиться (чего нельзя делать со штампом или схемой).

Стихотворение, возбуждающее желание спорить и принадлежащее к лучшим вещам А. Софронова, называется «Когда человеку за сорок...». В нем поэт говорит о себе самом и, касаясь тех мнений, которые ему приходилось слышать о себе как о человеке, высказывает свое жизненное кредо.

Когда человеку за сорок,
Когда он уже поседел,—
За ним обязательный ворох
Прошедших событий и дел.

И как бы он сам ни старался
Укрыться от них и уйти,—
Он с ними навек повязался,
И нету другого пути.

Кого-то когда-то обидел,
Кому-то чего-то не дал;
Кого-то увидев — не видел,
Кого-то узнав — не узнал!

Тяжелые все прегрешенья!
Но как бы мне руки сложить,
Чтоб эти случайные мненья
Мне дали б по-своему жить.

В этом признании друзья поэта почему-то усматривают покаяние и сокрушаются, что их товарищ «сдается на милость врагу», «ищет спокойную пристань», тогда как раньше он «был неплохим коммунистом». Поэт им возражает:

Да, было мне горько, не сладко,
Но сладости я не хочу.

Не надо тягучих сиропов
И песен, что пел соловей,—
Не надо мне тонкой Европы
С ее психологией всей.

С ее двусторонним виденьем,
Где вместе и «против» и «за»...

Стихотворение заканчивается утверждением правильности того прямого пути, которым и впредь поэт желает следовать.

И если пойду я не прямо —
Пусть взгляд от меня отведут!

Несмотря на опасность «двустороннего виденья», следует заявить откровенно, что высказанные здесь мысли возбуждают двойственное, противоречивое чувство. Прямота, о которой говорит поэт, достойна всяческого уважения, если под ней понимать идейную принципиальность, твердость духа и т. д. Но в том-то и дело, что в данном стихотворении к этому понятию примешивается иной оттенок, в отношении которого приходится выступать уже не «за», а «против». «Случайные мненья», которые никак не идут к человеку, действительно принципиальному, в ходе стихотворения не снимаются, а под видом прямоты как бы утверждаются и оправдываются. Но разве истинная прямота коммуниста, непримиримость к врагам состоят в том, чтобы кого-то когда-то обидеть, кому-то чего-то не дать, кого-то увидев, не видеть, кого-то узнав, не узнать? Это скорее напоминает мелкие бытовые дрязги, а не борь-

бу за свои принципы и идеалы, и мы относимся с недоумением к тому, что автор как-то смешивает, совмещает столь разные вещи под единым именем «прямоты».

Вызывают возражение и слова А. Софронова по поводу «тонкой Европы». С Европой у нас, как известно, давние и сложные отношения. Многое мы отвергаем и многое принимаем. На заре советской поэзии А. Блок, не раболепствуя «перед Европою пригожей», но предрекая поражение старому миру, угрожающему нам войной, говорил в то же время, что мы любим и ценим все лучшее, что создано европейской культурой.

Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Маяковский достаточно резко, прямо, по-коммунистически принципиально разоблачал пороки западной буржуазной цивилизации. Но к ее явлениям он подходил очень глубоко, показывая жизнь в ее сложности, противоречивости. Знаменитый Бруклинский мост вызывал в нем восхищение как создание современной техники и культуры, и вместе с тем он с гневом и болью писал о том, как американские безработные кидаются с Бруклинского моста. Обо всем этом приходится напоминать, потому что строкам А. Софронова —

Не надо мне тонкой Европы
С ее психологией всей —

недостает глубины, и в них сказывается упрощенная прямолинейность. Примитивное решение темы вообще нередко дает о себе знать в поэтическом творчестве А. Софронова[1]. В его стихах встречаются образы, которые режут слух своей аляповатостью, отсутствием чувства меры, вкуса. В стихотворении «Исландскому народу» Софронов пишет:

Мы видели суровую природу,
Считали горы по крутым зубцам —
Они под стать исландскому народу
Его поэтам и его борцам.

Народные желанья прочитали
В его душе открытой и простой...

Хорошая, правильная мысль выражена здесь очень неуклюже: в душе народа прочитали народные желанья... Эта досадная тавтология — следствие нечуткости автора к движению своего стиха, к его смыслу и звучанию.

В основу сатирического стихотворения А. Софронова «Откуда ангелы?» положен такой острый, актуальный материал, как пребывание американских солдат в Англии. Однако для его воплощения поэт избрал сюжет не первостепенной значимости — появление в Англии незаконнорожденных детей — и, следуя этим легким путем, на поводу у сюжета, начал размениваться на мелочи, обыгрывать различного рода «веселые» детали, связанные с незаконнорожденными малютками. В итоге большая политическая тема свелась к тому, что американцам «очень нравится ходить с красавицей», «хватать за талию, ну, и так далее...», в результате чего —

Родится лапонька...
А где же папонька?
Да ведь у папеньки
Стыда ни капельки.
...Взмахнул он крыльями
Над эскадрильями,
Взлетел над берегом
И — скок в Америку.

---

[1] В этой связи обращает на себя внимание такой факт, как перепечатка поэмы А. Софронова «Батожок», написанной в 1944 году, в его новой, вышедшей недавно книге «Избранных стихов». Эта поэма уже вызывала справедливую критику, и странно, что автор счел возможным опубликовать ее теперь в новом издании. «Батожок» посвящен казацкой нагайке, плетке, описанной с необыкновенной тщательностью, с любовью и восхищением:

А на правой стороне,
На витом винтом ремне,
Вниз стекал, как ручеек,
Тонкий жесткий батожок;
Светло-желтый, сыромятный,
Гладко сделанный, опрятный,
Заплетенный в три ряда,—
Не забудешь никогда,

Многие предметы военного снаряжения, солдатского обихода вошли в нашу поэзию вместе с изображением фронтовой жизни. Воспевались и сапоги, и шинель, и наша честная винтовка-трехлинейка. Но казацкая нагайка вызывает у нас совершенно иные ассоциации, не связанные с Отечественной войной и уходящие в дореволюционное прошлое. Не следовало ею подменять, как это делает Софронов, благородное оружие советского воина, тем более не следовало возводить плетку в ранг самостоятельной поэтической темы, в объект эстетизации.

Публикация этой поэмы в 1958 году Государственным издательством художественной литературы вызывает недоумение.

Сюсюканье с «лапонькой» нарушает тональность сатирического произведения, мельчит образ самого сатирика.

К сожалению, в нашей современной поэзии появляется еще немало произведений, написанных на весьма невысоком художественном уровне, и стихи А. Софронова в этом смысле не являются каким-то исключением. Но вредно выдавать этот уровень за высокий класс мастерства. Это значило бы снизить общие требования, которые мы предъявляем к современной поэзии, запутать, сбить с толку и читателей и поэтов, предложив последним равняться на такие образцы, которые еще очень далеки от художественного совершенства.

Между тем в периодической печати появились отзывы и статьи, в которых стихи А. Софронова последних лет не только получили завышенную оценку, но и были в смысле их литературного качества поставлены в образец, в передний ряд нашей современной поэзии. Так, например, А. Марков утверждал в «Литературной газете» (7 октября 1958 г.), что новая книга А. Софронова «От всех широт» в смысле мастерства «стоит на хорошем, добротном уровне (подчеркнуто мною.— *А. С.*). Здесь прежде всего нужно говорить о емкости, зримости образа, точности выражения. «Пленившие небо и землю Британии»,— говорит автор об американцах в Англии. Какое точное слово — «пленившие», и не что-нибудь, а небо! Поставь здесь другое слово, и оно окажется не на месте... Вот примеры таких же точных, безошибочных «попаданий» поэта: «Чтоб Англии земли ангары не пучили» — удивительная зримость в этом эпитете «не пучили»...»

Странные порой происходят вещи! Стоит придать языку мало-мальски заметную образность, и в этом уже усматривают огромные достижения. Элементарную литературную грамотность выдают за откровение. Конечно же, в стихах А. Софронова есть и метафоры и эпитеты, в которых путается поэт А. Марков (второй пример, им приведенный, это не эпитет, а метафора). Некоторые из этих образов не плохи, но особой «емкостью» и «зримостью» тут не разживешься. Кстати сказать, «Чтоб Англии земли ангары не пучили» — не такая уж находка, поэт выразился здесь очень неуклюже, неловко, и подобных нагромождений следует избегать, чтобы было ясно, кто кого «пучит»: ангары — земли Англии, или наоборот.

«А возьмите такую немаловажную сторону нашего ремесла, как рифма,— продолжает А. Марков.— Приведу только один пример из стихотворения «Откуда ангелы?» Разве это не то, о чем Маяковский говорил как о рифме — «бочке с динамитом»: «сужены — южными», «Лондона — продано», «грохоте — похоти» и другие. Благодаря точной рифмовке стихи запоминаются, стреляют!»

Приведенные Марковым примеры сделаны «под Маяковского». Но существует большая разница между ними и подлинным Маяковским, который, во-первых, был неустанным изобретателем новых рифм и новых способов рифмовки (А. Софронов же пользуется рифмами, в лучшем случае созданными по типу рифм Маяковского), а во-вторых, никогда не калечил им в угоду смысл слова. Одну из рифм А. Софронова, очаровавшую А. Маркова, стоит привести в контексте как пример искажения русского языка. Американские солдаты, пленившие Англию,

Привыкли в грохоте
Мечтать о похоти...

Мечтать о похоти так же трудно, как мечтать о голоде, о жажде и т. д. Мечтать можно об их удовлетворении, утолении, насыщении, но мечтать о самом желании, «мечтать о похоти» нельзя.

Многие стихи потому и не удались А. Софронову в поэтическом отношении, что он здесь лишь внешне следует за Маяковским, пытается почти буквально воспроизвести его образы, интонацию, подделываясь под чужой стиль, и вместе с тем нарушает некоторые основные принципы Маяковского. При этом легко обнаруживается, что это нарушение — не плодновых творческих исканий, не проявление самобытности поэта, а результат неумения, небрежности, торопливости и т. д. Например, подражая Маяковскому, поэт в то же самое время рифмует случайные, не ударные в смысловом отношении слова или пользуется «кое-какими рифмами («коттеджам — колледжей», «ушло — повело» и т. д.), по поводу которых Маяковский, как известно, высказывался весьма иронически.

И с точки зрения ритмической организации речи произведения Софронова в большинстве случаев походят на Маяковского лишь «лесенкой». Это опять-таки только наружное сходство с Маяковским, потому что стих А. Софронова часто спотыкается, вязнет, звучит расслабленно, тяжело.

Здесь все в памяти ранней еще,
но и давней,
Под подошвой еще не истерся порог...
Но из каждого
старого
черного камня
Рвется к солнцу
и все раздвигает росток.

Такого нагромождения «все» и «еще», утяжеляющего стих, делающего его аморфным, вялым, Маяковский бы не потерпел.

Поэтому нельзя согласиться и с той оценкой, какую получила книга «От всех широт» в рецензии В. Литвинова («Знамя», 1959, № 4): «...Софронов всегда тяготел к распевному, мягко инструментованному стиху. Но вот поэт обратился к зарубежной теме, и в новой его книжке отчетливо зазвучали энергичные «разговорные» метры Маяковского». Стихам Софронова, написанным под Маяковского, не хватает именно энергичности, собранности, волевого напора. Обращение поэта к новой теме не повлекло глубокой перестройки его художественной системы, он усвоил лишь некоторые внешние признаки стиха Маяковского. Отсюда некоторая принужденность, искусственность, неуверенность А. Софронова, заметная именно в тех случаях, где Маяковский был «самим собою» и где его, ни на кого не похожая интонация звучала в высшей степени свободно и естественно.

Наши современные поэты, желая подражать Маяковскому, часто пользуются его «лесенкой», но забывают при этом, что разбивка строки в стихах Маяковского не главное, а производное, вспомогательное средство, что это лишь способ графически выделить, подчеркнуть ритм, интонацию. А если нет соответствующего ритма, сколько ни разбивай стихи лесенкой — не поможет.

Насколько чужда, не органична «лесенка» Маяковского стихам А. Софронова, показывает следующий пример:

...Наших друзей боевые колонны;
Наших друзей трудовые
колонны,—
Вот он, наш брат и наш
друг и товарищ,
Вот он, Китай молодой!
...Листья зеленые ветер колышет,
Дали широкие к счастью
зовут!..

Попробуйте прочитать эти стихи вслух, делая паузы в обозначенных местах разбивки, как полагается, и вы увидите, что «дорожные знаки» расставлены здесь случайно, как попало.

Стоит ли искусственно подводить под «хороший, добротный уровень» стихи, явно до него не дотягивающие? Давайте лучше повысим наши критерии в оценке художественного качества новых произведений. Вспомним Маяковского:

Дайте крепкий стих
годочков этак на́ сто,
чтоб не таял стих,
как дым клубимый,
чтоб стихом таким
звенеть
и хвастать
перед временем,
перед республикой,
перед любимой.

Вот к такому добротному, крепкому стиху стоит стремиться и таким стихом можно хвастать.

А. СИНЯВСКИЙ.

★

Образ человека в литературе древней Руси

Когда мы хотим представить себе образ мыслей и характер творчества древнерусского литератора, то прежде всего нам вспоминается пушкинский Пимен, величавый в своем спокойствии и отрешенности от злобы дня, летописец, завещающий своему преемнику:

Описывай, не мудрствуя лукаво,
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны...

Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси. Редактор В. П. Адрианова-Перетц. 186 стр. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1958.

Но в этом образе простодушно-мудрого летописца, в непосредственности его суждений и оценок, воспроизводящей, как казалось Пушкину, народное отношение, народное недоверие к царю-узурпатору, поэт не увидел работы художнической фантазии и вымысла. Он был убежден, что у нас до XVIII века не было литературы. «...К сожалению,— писал он в 1830 году,— старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник: «Песнь о полку Игореве».

Тогда, на том уровне развития науки о литературе, такое представление было закономерным. Но со времени Пушкина наши понятия о древнерусской литературе, о богатстве ее содержания, о ее художественном своеобразии расширились неизмеримо. Д. Лихачев приводит сделанные исследователями приблизительные подсчеты числа писателей, создававших литературу древней Руси. Эти цифры поражают, особенно если припомнить, как незначителен был круг грамотных людей и как далек был тогда народ от книжности и письменной литературы.

Но как бы ни возрастало количество вновь найденных и обнародованных произведений древнерусских писателей, то предубеждение, с которым раньше относились к русской литературе до XVIII века, не могло быть рассеяно простым накоплением фактических знаний. Потребовалось другое — понять древнерусскую литературу как художественное творчество, проникнуть в сознание русского писателя, например, XI века, постичь строй его мыслей и убеждений, его отношение к своему литературному делу. Задача эта в дореволюционной русской науке оказалась под силу очень немногим выдающимся талантам, таким, как Ф. Буслаев или А. Шахматов.

Советские ученые еще увереннее повели свою работу в этом направлении. Но их исследования приобрели не только бо́льший размах. Интерес к социальной роли литературы, к отражению в ней проблем общественной жизни и народной борьбы, отношение к литературе как художественному выражению народного сознания в его изменяющемся и многообразном развитии— все это дало возможность советским ученым — как никогда это не удавалось ранее — раскрыть миропонимание русских литераторов XI—XVII веков, понять их художественные устремления, их творческие муки и сомнения. Идя от общественной жизни и общественной борьбы к литературе, советские ученые стали лучше представлять себе самую природу художественных форм, созданных древнерусской литературой.

В книге Д. Лихачева — яркой, талантливой — достижения советской науки применены уже не к отдельному произведению древнерусской литературы и даже не к какой-либо эпохе ее развития. Автор рассматривает литературу XI—XVII веков в целом, во всем ее многовековом развитии, но под одним определенным углом зрения, который он характеризует так: «В книге сделана попытка рассмотреть художественное ви́дение человека в древнерусской литературе и художественные методы его изображения».

Читатель не найдет здесь подробного исторического очерка всего сложного хода развития русской литературы XI—XVII веков. Книга имеет замкнутое, кольцевое, новеллистическое построение. Начинает свое изложение автор в сущности с «конца», а не с начала. За «Вступительными замечаниями» следует глава «Проблема характера в исторических произведениях начала XVII века», в последующих главах дается характеристика наиболее значительных художественных литературных стилей русского средневековья. В заключительных главах автор вновь возвращается к литературе XVII века, в которой он наблюдает зарождение очень многих существенных черт литературы нового времени.

Такое — очень неожиданное для ученой книги — построение вполне себя оправдывает. Читателю с самого начала дается мерило эстетического совершенства и идейного богатства, взятое не из арсенала литературы совсем другого времени, других социальных эпох. Оставаясь в пределах древнерусской литературы, Д. Лихачев уже в первой главе своей книги интересно и остроумно объясняет, почему у русских историков со времен Карамзина сложилось убеждение, что сильные, сложные, интересные человеческие характеры появились на Руси только в XVI веке: «Дело не в том, что сильные и сложные характеры в русской истории начинают якобы появляться только с XVI в., а в том, что сложность человеческого характера становится предметом особого внима-

ния писателей — современников начала XVII в. Сильные и сложные характеры были в русской истории всегда, но лишь с начала XVII в. перед историческими писателями встала особая задача их замечать и описывать. Эта задача была выдвинута перед литературой самой политической жизнью и вместе с тем она отвечала внутренним потребностям развития самой литературы».

Уже по первой главе книги видно, что автора в древнерусской литературе интересует ее человеческое, общественное содержание. Человек и его общественная судьба, человек и его психология, человек и эволюция общественного идеала, борьба демократических сил за утверждение своего понимания ценности человеческой личности — таков краткий перечень вопросов, освещаемых в книге Д. Лихачева.

В русской книжной литературе XI—XIII веков образ человека служит только одной идее — осуществлению феодально-рыцарского идеала общественного поведения. «Каждое действующее лицо летописи изображается только с той его стороны, с которой оно характерно как представитель определенной социальной категории. Князь оценивается по его «княжеским» качествам, монах — «монашеским», горожанин — как подданный или вассал». Литература этой эпохи еще не пытается объяснить поступки человека его психологией.

«Литературные портреты князей,— говорит автор,— выступают перед нами как бы высеченными из камня, подобно «прилепам» владимиро-суздальских соборов: с той же мерою обобщения и с тем же минимумом жизненно наблюденных деталей». Конечно, и летописец XI—XIII в. не был лишен своих личных сочувствий и пристрастий, он вносил какие-то добавочные, личные оттенки в свой рассказ о событиях и поступках князя, но принципиальной стороны дела это не изменяло. Обычно в литературе этого времени тот князь, которому летописец сочувствует, уже с юности полон всех феодальных добродетелей, верен княжеской чести и славе, храбр в бою, добр и щедр к своей дружине, милостив к побежденным, благочестив и уважителен к церкви и т. д. Словом, князь — всегда князь! И таков каждый персонаж литературы этого времени, стиль которой Д. Лихачев, по сходству с фресками и иконописью эпохи, называет «стилем монументального историзма».

Дальнейшее движение литературы идет по двум основным направлениям: возникает и все усиливается интерес к внутренним причинам человеческих поступков, то есть к психологии личности, и, несколько позднее, в литературу начинает все заметнее и ощутимее вторгаться художественный вымысел.

Уже в XVI веке интерес к психологии сказывался появлением в произведениях явно вымышленных речей персонажей, речей, предназначенных психологически мотивировать их поступки и поведение. Так, например, «убиваемый Андрей Боголюбский,— пишет автор,— творит пространную молитву, которую никто не мог слышать, кроме его убийц, если бы они только имели терпение ее дослушать. Тем не менее молитва Андрея приводится полностью». Стремление писателя домыслить за героя, воссоздать его мысли и чувства такими, какими они могли бы быть, равноправие фактического изложения и художественного фантазирования — таков был очень важный этап на пути перехода от исторического к вымышленному литературному герою.

Если литература XI—XVI веков в принципе всегда имеет дело с исторически существовавшим лицом, будь то деятель русской истории или персонаж из священного писания, то в литературе XVII века появляется уже полностью вымышленный персонаж, по отношению к которому автор и не требует от читателя веры в его реально-документированное существование.

Д. Лихачев связывает это существенное изменение в литературе с более четким размежеванием общественных сил внутри объединенного национального государства. «Резкое разделение литературы в XVII в. на литературу феодальных верхов и литературу демократическую, появление демократической сатиры, разоблачавшей отрицательные явления социального строя XVII в., явились событиями чрезвычайной важности, повлекшими за собой развитие новых, более совершенных форм художественного обобщения». В литературу приходит безвестный герой, часто без определенного общественного положения: купеческий сын, отбившийся от занятий своих родителей (Савва Грудцын, молодец в «Повести о Горе Злочастии», купец в «Повести о купце»), то это недовольный своим положением певчий

(в «Стихе о жизни патриарших певчих»), то спившийся монах и т. д. Героями литературы становятся неудачники или, наоборот, ловкачи и плуты (Фрол Скобеев). Появляется в литературе и понятие личной судьбы, «доли», в противоположность идее родовой судьбы, характерной для литературы XI—XVI веков.

С точки зрения Д. Лихачева, именно демократическая литература XVII века сделала важнейшее «открытие», во многом предопределившее художественное развитие двух последующих столетий. Таким открытием автор справедливо, на наш взгляд, считает утверждение абсолютной ценности человеческой личности, провозглашенное вопреки официальной церковно-ортодоксальной точке зрения на человека.

«Человеческая личность эмансипировалась в России,— пишет Д. Лихачев,— не в одеждах конквистадоров и богатых авантюристов, не в пышных признаниях артистического дара художников эпохи Возрождения, а в «гуньке кабацкой», на последней ступени падения, в поисках смерти как освобождения от всех страданий. И это было великим предвозвестием гуманистического характера русской литературы XIX в. с ее темой ценности маленького человека, с ее сочувствием каждому, кто страдает и кто не нашел своего настоящего места в жизни».

Прочитав небольшую книгу Д. Лихачева, даже предубежденный читатель почувствует невольный интерес к литературным исканиям древней Руси, к тем ее писателям, которым были знакомы и муки слова («суть словеса скудна»,— жалуется Епифаний Премудрый, литератор XIV века) и творческие радости.

В книге несколько десятков иллюстраций — фотоснимков с картин и фресок древнерусских живописцев. Они нужны автору для подтверждения часто проводимых им аналогий между живописью и литературой определенных периодов и стилей. Иногда такие сближения удачны, иногда кажутся неубедительными и неоправданными. Такова, на наш взгляд, аналогия (в главе «Психологическая умиротворенность XV века») между «тихими ангелами» Андрея Рублева и героиней «Повести о Петре и Февронии Муромских». Ведь и сам Д. Лихачев пишет, что, «к сожалению, древнерусская письменность не знала сочинений, специально посвященных литературному творчеству, в которых все эти принципы были бы систематически изложены... Высказываний об искусстве в целом в древней Руси больше, и они очень помогают понять принципы литературного творчества XI—XVI вв.». Автор имеет в виду так называемые «подлинники», то есть руководства по иконописанию. Кажется, следует более осторожно отнестись к этим старинным руководствам для живописцев. Думается, что в этом вопросе ближе к истине не Ю. Дмитриев, на статью которого ссылается Д. Лихачев, а изображенный большим любителем старинной русской живописи Лесковым в «Запечатленном ангеле» каменщик, объясняющий, как разнообразна манера у русских иконописцев.

По-видимому, развитие русской живописи XI—XV веков шло более интенсивно, чем развитие литературы, и проводить аналогию между ними надо очень осторожно.

Книга Д. Лихачева, полная живого интереса, основанная на больших знаниях ученого и смелом проникновении в природу художественного творчества древней Руси, неотразимо убеждает читателя в том, что, говоря словами ее автора, «русская литература родилась не в XVIII веке и не в Петербурге» и что уже в те далекие времена она «обладала непреходящими ценностями».

И. СЕРМАН.

★

Пафос упрощения

Статья Е. Смирновой-Чикиной «Легенда о Гоголе», написанная живо, с несомненным увлечением автора своим предметом, думается, привлечет к себе внимание самого широкого читателя. Во-первых, она затрагивает обширную и важную тему (эта тема далеко выходит за рамки скромного подзаголовка статьи «К истории II тома «Мертвых душ») и, во-вторых, отличается редкой неумолимостью и категоричностью выводов. А для резонанса литературоведческой работы это немаловажно: вопрос о частной трактовке того или другого произведения или отдельного фак-

Е. Смирнова-Чикина. Легенда о Гоголе. «Октябрь», 1959, № 4.

та из жизни писателя еще может остаться в узкой сфере внимания специалистов, но когда речь заходит об оценке целого периода биографии и творчества такого художника, как Гоголь, причем сама эта оценка отличается решительной оригинальностью,— то данный вопрос перестает быть делом внутрилитературным и, можно сказать, затрагивает интересы всех читателей, от убеленных сединами библиофилов до школьников, получивших первое представление об авторе «Мертвых душ». Словом, с этой стороны рецензируемая работа о Гоголе — несомненно примечательное явление, и нам остается только проследить, насколько примечательна она и с другой своей стороны, то есть со стороны своего содержания, смысла, иными словами, насколько удовлетворяет она тому законному интересу, который вызывают к себе подобного рода работы.

Статья Е. Смирновой-Чикиной посвящена последним годам жизни писателя. Главная ее мысль сводится к тому, что Гоголь после получения знаменитого зальцбруннского письма Белинского стал на новый путь; он решительно пересмотрел свои позиции, осудил свои заблуждения, причем при исправлении допущенных ошибок соблюдал черед и последовательность: вначале отказался от «сказанного» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» («так выполнил Гоголь первое требование Белинского...»), затем стал вынашивать новые творческие планы («стал осуществлять второе...»). Результаты оказались самые благоприятные. «В борьбе за Гоголя, против реакционной клики,— пишет автор статьи,—победил В. Г. Белинский, вернувший Гоголя к деятельности в духе передового, демократического направления критического реализма, одним из создателей которого был автор «Ревизора» и I тома «Мертвых душ» (разрядка моя.— *Ю. М.*).

Как же так? — может спросить читатель, хорошо знающий главные факты биографии Гоголя. Разве не известно усиление религиозно-мистических настроений в последние годы жизни писателя? Сближение его с реакционерами и святошами? Работа над вторым томом «Мертвых душ», в котором наряду с сатирическими образами Петуха, Хлобуева и других должны были впервые предстать герои, «одаренные божескими доблестями»,— помещик Костанжогло и откупщик-миллионер Муразов? Что-то, к сожалению, не очень вяжутся подобные факты с тем безоговорочным утверждением, которое мы привели выше. Но все дело в том, что автор статьи «Легенда о Гоголе» пересматривает эти факты.

Прежде всего Е. Смирнова-Чикина дает иную интерпретацию второму тому «Мертвых душ», в корне отличающуюся от принятой до сих пор. Она указывает, что известные, оставшиеся несожженными пять глав второго тома по своей идейной направленности не имеют ничего общего с окончательной редакцией поэмы — с той редакцией, над которой Гоголь работал после получения зальцбруннского письма Белинского и которую он уничтожил. В новой редакции, по ее мнению, не стало ни Муразова, ни Костанжогло; критик так и пишет: «...крепостник Костанжогло перестал быть положительным героем II тома». Небывалых высот достиг в этой редакции сатирический пафос писателя, не сдерживаемый более никакими предубеждениями и иллюзиями насчет хороших помещиков и купцов. С другой стороны, Тентетников, который «как антиправительственный публицист ссылается в Сибирь», являл здесь, по мнению автора статьи, «образ положительного героя, взятого из самой жизни»... Таков был, по мнению Е. Смирновой-Чикиной, второй том «Мертвых душ», и думается, что лучшего трудно было бы и пожелать; остается только ждать убедительных аргументов, которые бы подкрепили эту интерпретацию. Но об аргументах мы скажем несколько ниже, пока же постараемся не упустить дальнейшего хода мысли исследовательницы.

Второй том «Мертвых душ» — такой, каким его рисует Е. Смирнова-Чикина,— не надо было сжигать, и автор статьи полагает, что Гоголь уничтожил его по ошибке. «...Происходило следующее, — говорит Е. Смирнова-Чикина,— Гоголь после решительного объяснения с Толстым (известным реакционером, в доме которого жил последние годы Гоголь.—*Ю. М.*), видимо, решив уехать, стал уничтожать все лишнее, в том числе и черновики, как он это обычно делал». Вместе с этими черновиками в

печку была положена и чистовая рукопись второго тома «Мертвых душ». Далее автор статьи опровергает мнение о том, что смерть Гоголя явилась следствием тяжелой и длительной болезни, поскольку писатель до последних дней деятельно трудился над вторым томом, и непосредственно связывает наступление смерти с ошибочным уничтожением рукописи. Е. Смирнова-Чикина так и пишет: «...Не болезнь, а гибель творений, роковая ошибка их уничтожения и варварские методы лечения (зачем надо было лечить писателя при отсутствии болезни — это, правда, остается непонятным.— *Ю. М.*) свели Гоголя в могилу». Развязка этой истории, устанавливаемая Е. Смирновой-Чикиной, относится уже ко времени после смерти писателя и носит несколько авантюрный характер. «Борьба закончилась преступлением,— говорит автор статьи,— противники Гоголя уничтожили черновые рукописи последней редакции II тома «Мертвых душ». Таким образом, ничего не осталось от того варианта поэмы, который так смело и уверенно охарактеризовал нам автор статьи.

Мы обещали после рассказа о выводах работы разобрать ее аргументацию, но тут с сожалением должны отметить, что, хотя аргументы в работе отличаются той же решительностью и подчас неожиданностью, они все же значительно уступают выводам по своей полноте и систематичности. В этом отношении в статье определенно чувствуются «ножницы» между аргументами и выводами. Но все же некоторые аргументы в работе есть. Для удобства анализа их можно разделить на три группы.

Представьте себе, что в подтверждение факта, что данное лицо находилось в такое-то время в Туле, мы бы сказали, что его не было в это время в Рязани. «Позвольте,— возразил бы нам каждый читатель,— ваш ход мысли был бы верен, если бы на земном шаре, кроме Рязани и Тулы, ничего бы не было, но поскольку это не так, то потрудитесь или непосредственно доказать пребывание данного лица в Туле или уж — если вам так удобнее — докажите его отсутствие во всех других местах». Как это ни странно, но способ аргументации автора статьи «Легенда о Гоголе» обладает именно такой логикой, причем исследовательница выбирает сложнейший путь: она подходит к определенному тезису не «со стороны Тулы», а со стороны «всего земного шара».

Для доказательства мысли, что во втором томе «Мертвых душ» Гоголь отказался от образов Костанжогло и Муразова, автор статьи приводит единственный аргумент: «...в 1850 году никто из слушавших не называет этих фамилий». Ну и что ж, что не называет? Разве это исчерпывает собою дело? Кстати, сама же Е. Смирнова-Чикина тут же, мельком, говорит, что годом раньше о Костанжогло слышала А. Смирнова-Россет, но почему-то совершенно игнорирует этот факт. Между тем вот письмо А. Смирновой-Россет, написанное Гоголю после чтения поэмы, 1 августа 1849 года,— оно не оставляет никаких сомнений в существовании и Костанжогло и Муразова в окончательной редакции: «Как жаль, что Вы так мало пишете о Тентентникове, меня они все очень интересуют, и часто я думаю о Костанжогло и Муразаче. Уленьку немного сведите с идеала и дайте работу жене Костанжогло: она уже слишком жалка. А впрочем, все хорошо». А. Смирнова-Россет слышала примерно «девять» глав поэмы, в то время как Л. И. Арнольди, Д. А. Оболенский и другие слышали только первые одну-две главы — и вот причина, почему они говорят главным образом о Тентетникове и не упоминают Костанжогло. Автор же статьи, не вдаваясь в суть дела, ссылается на большинство слушателей и обходит свидетельство А. Смирновой-Россет, видимо считая, что вопрос здесь вполне решается абсолютным «большинством голосов».

(Кстати заметим, что А. Смирнова-Россет не единственный человек, упоминавший Костанжогло и Муразова. С. Т. Аксаков, который, по его признанию, «слышал четыре» главы второго тома,— это было в 1849—1850 годах,— писал вскоре после смерти Гоголя и известия об уничтожении рукописи «Мертвых душ»: «И Уленька, и Тентетников с их взаимною любовью, и генерал Быстрищев, и К о с т а н ж о г л о, и братья Платоновы, и многие другие — все погибли, и навсегда!» (разрядка моя.— *Ю. М.*). Еще один пример. «Гоголь читал... С. П. Шевыреву несколько глав II тома,— пишет Е. Смирнова-Чикина,— но последний не знает о Костанжогло». Нет, знает — и знает довольно твердо! Так, в первом издании черновых глав второго тома была помещена редакторская заметка Н. Трушковско-

го, где тот, ссылаясь на С. Шевырева (который «своими советами много способствовал настоящему изданию»), отметил ряд пропусков в тексте. Например: «Здесь в разговоре между Костанжогло и Чичиковым пропуск. Должно полагать, что Костанжогло предложил Чичикову приобрести покупкою именье соседа его, помещика Хлобуева» и т. д.

Сходным образом доказывает автор статьи и антикрепостнический, антидворянский характер мировоззрения Гоголя в эту пору. В качестве аргументов здесь фигурирует и то, что «в окружении Гоголя часто обсуждались факты убийств помещиков, например, Линовского, Симона Диманш (в действительности — Луизы Симон-Диманш, француженки, любовницы А. В. Сухово-Кобылина; последняя, видимо, как Елизавета Воробей у Собакевича, претерпела превращение и стала лицом мужского пола и даже помещиком.— *Ю. М.*)», и высказывание писателя о том, что «дворянство — сущий вздор, был бы кусок хлеба», и его мысли «о привлекательности труда, о любви к бедности» и многое другое, вплоть до «хлопот писателя о фонде помощи бедным талантливым студентам». Словом, автор и здесь стремится взять количеством, рассчитывая, что последнее непременно перейдет на каком-то этапе в новое качество. Но вряд ли это в данном случае возможно.

Наряду с аргументацией, которая строится по принципу «большинства голосов», важное место в статье занимает и другой способ доказательства. В основе его лежит избирательность фактов с точки зрения их соответствия или несоответствия выдвинутой концепции: первые принимаются, вторые просто отбрасываются. Например, автор статьи подчеркивает, что в некрологе М. Погодина «многое сомнительно», и большинство сообщаемых им фактов начисто отметает, но фразу Гоголя, что он случайно сжег второй том, принимает без всякой проверки, хотя сообщает об этом тот же Погодин. С другой стороны, автор «с полным к ним доверием» относится к воспоминаниям врача А. Тарасенкова в той их части, где «описываются... картины жизни, виденные самим мемуаристом», но почему-то его свидетельство о болезни Гоголя («Гоголь был в эту последнюю зиму погружен в себя...» и т. д.) приводит как пример искажения облика писателя, хотя, собственно, это и есть одна из «картин жизни, виденных самим мемуаристом». Из воспоминаний же Шевырева (переданных Оболенским) берутся только те факты, которые могут подкрепить тезис о Тентетникове как о «положительном герое, взятом из самой жизни», но опускаются другие, имеющие связь с «антинигилистическим» замечанием об «огорченных людях» в опубликованной редакции. Далее. В одном случае окружавшие Гоголя лица аттестуются как отъявленные клеветники и создатели «легенды» (скажем, С. Аксаков, почему-то названный «идеологом «официальной народности»), в другом случае автор статьи полагается на тех же лиц, как на вполне уважаемых людей (в том числе и на С. Аксакова), и расценивает их «восторженные отзывы» о втором томе «Мертвых душ» в пользу своей концепции, хотя, казалось бы, похвалы А. Смирновой или С. Шевырева (считавшего, как известно, недостатком первого тома поэмы «односторонность», пристрастие сатирика к «темным сторонам» действительности) говорят сами за себя и должны были насторожить исследовательницу.

К подобному методу доказательства следует отнести также и те случаи, когда факты, противоречащие выдвинутой концепции, хотя и упоминаются, но никак не анализируются. Каким образом эти факты вяжутся с концепцией — предоставлено догадываться самому читателю. Так, о паломничестве Гоголя в Иерусалим говорится вскользь, как о прогулке до угла Никитского бульвара и обратно, хотя примирить этот факт, то есть паломничество в Иерусалим, с «пересмотром (Гоголем.— *Ю. М.*) социальных и политических идей, изложенных в «Переписке», довольно затруднительно. Так же мимоходом упоминает Е. Смирнова-Чикина о другом факте, противоречащем ее концепции,— о работе Гоголя над «Размышлением о божественной литургии». Правда, автор статьи и в том и в другом случае говорит, что Гоголь «сохраняет свою религиозность», и, видимо, считает это уже объяснением. Но в действительности и поездку Гоголя в Иерусалим и его работу над «Размышлением...» нельзя объяснить одной только чистой религиозностью, поскольку таковой не существует, и следует рассматривать в связи с общим мировоззрением писателя той поры. «Человечество нынешнего века

свихнуло с пути только оттого, что вообразило, будто нужно работать для себя, а не для бога», — говорил Гоголь в одном из писем 1849 года. Он связывал идею нравственного, религиозного самоусовершенствования художника с его способностью находить в жизни «положительные явления»: «...пока в самом художнике не произошло истинное обращенье ко Христу, не изобразить ему того на полотне»,— писал Гоголь в статье «Исторический живописец Иванов». Разве не очевидна, таким образом, связь обоих упомянутых исследователем фактов с реакционными идеями второго тома?

Наконец, доказательства третьего рода строятся по принципу, отмеченному в свое время еще Гоголем в первом томе «Мертвых душ»: «Сперва ученый... начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то страна?.. Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или, просто, показалось ему намеком, уж он разговаривает с древними писателями запросто, задает им вопросы и сам же отвечает на них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно — и рассуждение заключено словами: так это вот так было, так вот какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Нужно добавить, что такой переход от предположения к утверждению совершается в «Легенде о Гоголе» почти без задержки, на протяжении одной страницы, а то и одного абзаца.

Известно, что в начале февраля 1852 года между Гоголем и протопопом Матвеем Константиновским произошла ссора, причины которой не выяснены. «Можно предположить, — говорит автор статьи, — что отец Матвей мог потребовать отречения Гоголя от писательства, от «Мертвых душ», от их публикации...» Далее мы узнаем, что красноречие Константиновского «не подействовало на Гоголя», что он «отказался выполнить фанатические требования», — как будто первоначальное предположение уже само собой доказалось. А через страницу обо всем этом говорится как о вполне установленном факте: «Гоголь отказался исполнить его (Константиновского. — *Ю. М.*) требование не печатать II том «Мертвых душ».

Другой пример. Вначале исследователь находит лишь «основание предположить, что во II томе Гоголь вернулся к идеям и настроениям I тома», но затем, на всем протяжении статьи, об этом говорится как о доказанном факте. Вначале Е. Смирнова-Чикина высказывает лишь догадку, что Толстой «мог изъять и другие бумаги», в том числе черновики второго тома, потом о похищении им этих черновиков она говорит как о поступке само собой разумеющемся.

К аргументации, внутренней пружиной которой является переход от предположения к утверждению, автор статьи прибегает особенно часто — и, думается, это не случайно. Ибо, как ни удобны первые два способа доказательства, последний имеет над ними явные преимущества. Доказательства по принципу «большинства голосов» предполагают все-таки наличие такого большинства, аргументация на основе избирательности фактов тоже невозможна без тех фактов, которые надлежит избрать. Аргументация же третьего рода свободна от этих ограничений, поскольку, как показывает рецензируемая статья, предположить можно все, а самый переход этого предположения в утверждение совершается автоматически, без малейших усилий со стороны пишущего. Это единственный из известных нам способов доказательства, который позволяет обходиться вообще без фактов, и в том, конечно, его неоценимые преимущества.

Мы вполне разделяем гнев Е. Смирновой-Чикиной против окружавших Гоголя «царских сановников и светских дам, реакционных профессоров, ласкаемых двором, церковников и мракобесов, сплотившихся между собой...», и тоже полагаем, что их свидетельства о великом писателе нуждаются в самой строгой критической проверке. Однако вряд ли эту проверку следует осуществлять таким способом. А кроме того, если понимать «легенду о Гоголе» так, как ее понимает Е. Смирнова-Чикина, то надо признать, что она называет далеко не всех своих противников. Ведь не кто иной, как Чернышевский, писал о «так называемом аскетическом направлении», овладевшем писателем в последние годы его жизни (что не помешало критику выделить то ценное, здоровое, что было в главах второго тома поэмы). Ведь это слова Добролюбова, что Гоголь в последние годы жизни «предался отвлеченнейшему из за-

нятий — идеальному самоусовершенствованию». Мы уже не говорим о работе В. Короленко «Трагедия великого юмориста», содержащей анализ последних лет жизни и творчества Гоголя. Таким образом, уж если быть последовательным, то и эти имена надо причислить к ряду создателей «легенды о Гоголе» — так, как ее понимает автор рецензируемой статьи.

И уж, конечно, несправедлива Е. Смирнова-Чикина к советским литературоведам. Из ее статьи получается, что в освещении последнего периода жизни Гоголя они чуть ли не продолжают традиции А. П. Толстого и П. А. Кулиша. Исключений Смирнова-Чикина не делает никаких, поскольку упоминаемые ею две книги Д. Иофанова и С. Машинского лишь устанавливают «новые факты жизни Гоголя детских и ученических лет», а предисловие С. Машинского к сборнику «Гоголь в воспоминаниях современников» дает «критический обзор приводимых воспоминаний». «До настоящего времени,— говорит автор статьи,— вопрос о сожжении II тома «Мертвых душ» рассматривался согласно реакционной легенде, созданной А. П. Толстым». Но кто же эти авторы, распространяющие в нашем литературоведении «легенду» А. П. Толстого? Может быть, В. Гиппиус, С. Данилов, В. Десницкий, М. Храпченко, В. Ермилов, Г. Поспелов, Н. Степанов, С. Машинский или кто-нибудь еще? Но почему в таком случае Е. Смирнова-Чикина не приводит их доводов, не опровергает их аргументов?

Мы далеки от того, чтобы считать все вопросы, связанные с последними годами жизни и деятельности Гоголя, выясненными и окончательно решенными. Но одно дело конкретный анализ сложных, противоречивых биографии и творчества Гоголя тех лет и другое дело — произвольное освобождение писателя от этих противоречий и этой сложности. Вряд ли такая «юбилейная методология», к сожалению еще не изжитая до конца в нашем литературоведении, нужна и полезна. При анализе творчества великого писателя можно было бы обойтись и без нее.

Снова повторим в интересах справедливости: работа Е. Смирновой-Чикиной написана живо, свободно, с несомненным увлечением автора своим предметом. Но, увы, это не пафос исследования. Это скорее пафос упрощения, который заставляет автора прокладывать свою концепцию вопреки всем и всяческим препятствиям — очевидным фактам и свидетельствам.

Ю. МАНН.

★

Северный свет

Герой последнего романа А. Кронина — редактор провинциальной газеты Генри Пейдж. Мистер Смит, конкурент, уверял Пейджа: «Я, если вы разрешите мне так выразиться, проникся к вам искренней симпатией и уважением... Мы будем вести борьбу честную и открытую. Позвольте же мне пожать вам руку». Пейдж поверил. Получив, однако, удар в спину, он растерялся.

Но ведь не только редактор «Северного света» слышал подобные уверения.

— Мы рады видеть вас у себя. Мы будем дружно работать,— обещал главный врач больницы начинающему медику Эндрью Мэнсону — герою романа «Цитадель» (1937).

— Вы талант. Вам помогут,— обнадеживали художника Стивена Десмонда, героя романа «Могила крестоносца» (1956).

И Дэвид Фенвик («Звезды смотрят вниз») и доктор Веннер (пьеса «Юпитер смеется») — все они слышали нечто похожее, до поры до времени обольщались уверениями, потом... От Мэнсона потребовали взяток, картины Десмонда сочли «непристойными» — в них слишком откровенно изображалась война. Люди лучших побуждений испытывали горечь разочарования, замыкались, и далеко не каждый из них находил в себе силы оправиться от потрясения. А. Кронин неоднократно писал об этой трагедии буржуазного интеллигента — художника, ученого, служащего. Вот почему, когда был издан «Северный свет» (1957), английские критики отметили, что Кронин обратился к своей излюбленной теме.

А. Кронин. Северный свет. Роман. «Иностранная литература», 1959, №№ 1, 2.

Если современный английский писатель уповает на милосердие, если, следя по его книгам за схваткой добра и зла, временами можно содрогнуться и вместе с тем чувствовать, что справедливость где-то рядом и большего потрясения она не допустит, если рассказ занимателен, слог подвижен и прост, англичане видят в этом славную традиционность и называют своего современника «новым Диккенсом». После «Замка Броуди» (1931) Кронин получил этот титул. В стенах мрачного здания, где жили герои его первого романа, казалось, витал дух «старой доброй Англии». То он вселялся в самого мистера Броуди, становясь жестоким, то в миссис Броуди, делаясь сварливым, то в молодую мисс Броуди — и был наивно благороден. В любом обличье его нетрудно узнать. Прямодушный или коварный, он — все тот же «старый и добрый» — незримо управляет борющимися характерами: давая волю их страстям, готов в любую минуту восторжествовать и образумить читателя. Благодаря ему привычные понятия добродетели не теряют осязаемости, не распадаются от бесконечных столкновений, как это происходит с ними в книгах Джойса, Хаксли, Н. Дугласа.

Еще в XIV веке путники, случайно съехавшиеся в харчевне «Табард» под Кентербери, грустили о былом. Уже тогда о «старой доброй Англии» лишь хранили воспоминания. Двести лет спустя Фальстаф в таверне «Подвязка» вздыхал о времени кентерберийцев. Оно казалось ему «старым и добрым». Сменялись века. В поместье «Дингли Делл» друзья Пиквика, а немного позже на постоялом дворе «Трех моряков» герои Томаса Харди скорбели о безвозвратно ушедшей старине шекспировской давности. Так «старая добрая Англия» — неведомое, тронутое темной позолотой время — превратилась в ускользающий идеал английской литературы. Не все, конечно, питали к нему почтение. Вдруг иногда срывалось: «Милая старая Англия! Да поразит тебя...» Обходились и без проклятий, без вселенских ниспровержений, хранили про себя горькую разочарованность и в идеалах прошлого, и в иллюзиях настоящего — писали, как Могэм и Грин.

Будь то другой современный английский писатель — не Кронин,— столь пространный экскурс был бы неуместен. Но не случайно Кронина сочли «новым Диккенсом». Во всех его романах — от первого до последнего — есть призыв к «естественной добродетели», трезвый критицизм сплетается в них с наивной, хотя и потрепанной, однако все еще прочной верой в спасительную силу общечеловеческой добропорядочности. Иногда это выглядит трогательным, иногда кажется нелепым, но во всех случаях дело не обходится без трагических травм.

Участь многих воевавших интеллигентов миновала Кронина — он не вернулся с фронта «потерянным». Потому, может быть, что он не сидел в окопах, не месил сапогами грязь, не таскал винтовку,— служил хирургом во флоте. Возможно, потому также, что ему не была свойственна болезненно-ранимая восприимчивость. В его послевоенных настроениях нет ощутимого надрыва, его не терзает самоанализ, пишет он не о себе, не прибегает к новейшим формальным средствам. Цельность натур, изображаемых Кронином, ясность моральных выводов, простота его письма казались многим старомодностью. Но никому не пришло в голову упрекнуть писателя, назвать это стилизацией. После нервозной литературы двадцатых годов в старомодности «Замка Броуди» почувствовали свежесть. Постепенно архаический налет исчезал из книг Кронина. Последующие, самые знаменитые его романы — «Звезды смотрят вниз», «Цитадель» — во всех отношениях были уже более современными.

Война не изгладилась из памяти писателя, изредка он вспоминал о ней; все же основным материалом ему служили послевоенные годы, проведенные среди шахтеров Уэльса. Работая медицинским инспектором, обследуя условия шахтерского труда, Кронин нашел тему, которая занимает его до сих пор. Конфликт, встревоживший писателя, обнаружился там, где, казалось, социальные столкновения не играют существенной роли, стерты острые углы нравственных вопросов.

«Дайте мне честно заниматься своим делом, будь я врач или инженер, художник или журналист... Бог с ними — с политикой и моралью. Мне их заменит профессионализм» — такова в грубой формулировке программа Кронина и его героев. Это не значит, что писатель чуждался проблем

политики и нравственности. Для его героя, занятого делом, они утратили всепоглощающее, подчас даже обременительное значение, какое имели они для Олдингтона и Грина.

Но как только энтузиаст, засучив рукава, погрузился в работу, ему предложили отказаться от простейших принципов порядочности, заключить сделку с совестью. И проблемы, навязчивость которых он собирался преодолеть отточенным профессионализмом, неумолимо явились на его пути, превратив его, современного человека, вооруженного знанием, в допотопного Дон-Кихота.

Не интеллигент вообще, а специалист в своей области, всесторонне оснащенный, благонамеренный и, тем не менее, трагически беспомощный,— эта фигура не была открытием Кронина. Не только Кронина интересует эта тема. В Америке о том же писал Синклер Льюис, пишет и теперь Митчел Уилсон. Об этом — известный нашему читателю роман Ф. Джексона «...Да поможет мне бог», об этом — недавно изданный в Англии роман А. Томаса «Директор».

...Генри Пейдж — редактор «Северного света» — продолжает фамильную традицию. И дед его и отец издавали единственную в провинциальном городке газету. Ежедневно они сообщали своим согражданам новости, обращались к ним со словами привета, призыва и поучения. Поколение за поколением крепило репутацию «Северного света». Генри Пейдж унаследовал прочную веру в полезность своей миссии. Он пользовался симпатией видных лиц города и вместе с тем «испытывал тревожное чувство ответственности» перед простыми людьми. Пейдж искренне полагал, что это уравновешенное положение в обществе, эта простая пропорция в сочетании демократизма, патриотических устремлений и личного благополучия есть зримый итог его труда, есть тот идеал, от которого совсем близко до «старой доброй Англии». Семейная жизнь не удалась Пейджу. Жена его оказалась ограниченной мещанкой, сын вернулся с войны нервнобольным, дочь росла пустой, себялюбивой модницей. Всем этим внутреннее равновесие Пейджа было поколеблено, однако совсем не нарушилось. Он, по-прежнему убежденный и стойкий, делал свое дело.

И вдруг все сотряслось до основания. К «Северному свету» протянулись руки газетных магнатов. Пейджу предложили продать газету. Он отказался. Сумма была удвоена. Пейдж снова отказался. К нему приехал для переговоров м-р Смит.

И тут Пейдж вспомнил об Англии, той Англии, «какой она была когда-то и какой она должна стать когда-нибудь снова. Он любил свою родину глубокой любовью — даже ее почву, даже соль омывающего ее моря. Эта любовь не ослепляла его, он видел упадок, которым была отмечена вся жизнь нации со времени войны. Но ведь упадок — всего лишь временное последствие этой титанической борьбы. Это так, и не может быть иначе. Англия воспрянет вновь».

Пейдж принял вызов могущественного противника. Поначалу ему пришлось плохо. Он с надеждой обратился к памяти предков, надеясь найти вдохновляющий пример. Им случалось, он обнаружил, переживать тяжелые времена, но никто из них не сталкивался со столь великим, всепроникающим цинизмом. В броню цинизма закован не только противник. Цинизм кривит жалкой улыбкой лица друзей, заставляет дрогнуть протянутую в первом порыве руку, делает окружающих безучастными к судьбе борца за общее благо.

Пейдж на себе испытал «новейшее» отсутствие порядочности. У него переманивали сотрудников редакции. Готовились лишить его типографии. Была скомпрометирована жена его сына. Расшатанные нервы молодого Пейджа не выдержали, и он покончил с собой. Сам Пейдж все же не утратил преданности делу — «Северному свету».

— Наша газета,— повторял Генри,— в своих малых масштабах следует примеру тех великих газет, которые остаются верны своим принципам, тех газет, которые стараются повышать культуру читателей и прилагают все усилия к тому, чтобы воспитывать граждан с широким кругозором, а не невежественных дикарей, вскормленных на смеси нездоровой эротики, низкопробной сенсации и скандальных сплетен.

Пейдж победил. И буквально и в переносном смысле он победил чудом. Сохранившаяся, казалось, лишь в трещинах ветхих трактирных каминов и морщинах древ-

них кабатчиков «старая добрая Англия» вдруг откликнулась на отчаянный призыв о помощи. В согражданах Пейджа пробудился «старый добрый дух» сострадания и справедливости. Увидев, что их маленькой, но верной газетке приходится туго, они встали на ее защиту. «Северный свет» не только уцелел, но и вытеснил конкурента. Пейджу оставалось лишь, благодарно и с облегчением вздохнув, сказать: «Видите, я говорил — она воспрянет!» Он, однако, не произнес ни слова, а только, вдвойне сосредоточенный, вдвойне убежденный в полезности своей миссии, принялся за работу.

В некоторых романах Кронина последних лет («Ключи царства», «Могила крестоносца») излюбленный им герой лишился изначальной уравновешенности. Он страдал от духовных и физических недугов, в нем появилась ущемленность. Он больше, чем прежде, думал о себе. Вот почему могло показаться, что интересы Кронина сместились. Однако в «Северном свете» все стало попрежнему. Ущемленный, издерганный Дэвид Пейдж-младший отодвинулся на второй план, Генри Пейдж-старший — «здоровый дух в здоровом теле» — снова сделался центральной фигурой.

Кронин обрел утраченную было цельность. Пафос его романа сочетал возмущение и трогательность. Вновь появилась в нем знакомая «диккенсовская» застенчивость: негодующий краснеет оттого, что не смог сдержать порыва; до глубины души тронутый неловко прячет блеснувшие слезы.

Редактор газеты «Северный свет» боролся не только за традиционную, вернее сказать, исконную веру в человечность, но также за традиционную, не тронутую новейшими увлечениями форму газеты. Подобно своему герою, автор романа «Северный свет» отстаивает традиционную форму жанра. Кронин всем своим существом, если можно так выразиться, защищает «старо-добро-английскую» традицию. Он от начала до конца последователен — и в проповеди и в приемах. В его книгах можно найти описания, которые встречаются на страницах английских романов более чем вековой давности. Кажется, движения, порывы, пойманные словом лет двести тому назад, так и застыли, и только теперь Кронину с его бережным тактом разрешено было тронуть хрупкие реликвии. От прикосновения они не рассыпались; пыль слетела, они ожили, сохранив и грубоватую пластичность и подчеркнутое изящество.

Не следует преувеличивать «старомодность» вкусов Кронина, тем более что он совершенно не занимается ни реставрацией, ни стилизацией. Но все-таки «старомодность» дает себя знать в изображении психологии действующих лиц. Как ни близок Генри Пейдж Кронину, писатель все время наблюдает своего героя со стороны. Кронин выступает в роли постоянного, иногда даже лишнего свидетеля и рассказчика. Это и есть, пожалуй, наиболее ощутимое проявление приверженности Кронина к старинной традиции. По сути дела, в «Северном свете» нет непосредственного изображения психологических процессов, о них рассказывается. А рассказ по природе своей предполагает осмысление. Между тем не все душевные движения могут быть логически оформлены без потерь. Некоторые из них в описании — не изображении — утрачивают первородные качества. Вот почему, как правило, Кронину удаются те места, где у героя есть время подумать. В моменты перелома, при резкой смене внутреннего ритма, краски под его пером бледнеют.

Странные иногда превращения происходят с героями романа. Каждый из них сам по себе вполне реальный характер, но если взглянуть на них, когда они вместе, в их соотношении станет заметна схема — схема, заманчивая по своей простоте и кажущейся эффективности. Принцип этой схемы гласит: чтобы роман был интересен, нужно положительное чуть ухудшить, отрицательное слегка улучшить.

Сплетение противоположностей писатели обнаружили в человеческой душе сотни лет тому назад. В далекие времена это была не «ходячая» схема, но открытие. С тех пор литература намного глубже проникла в недра человеческой природы — туда, где таятся бо́льшие сложности, нежели прямое противоборство «добра и зла». Это не значит, что «старый добрый» прием отслужил свое. Отчего не использовать его, коль скоро писатель подметил в изображаемом конфликте нечто первозданное. Если, однако, все характеры умещаются в рамках «противоборствующей»

диалектики, это будет лишь видимость жизни.

Кронин не хочет примитивно «ухудшить» своего положительного героя. Он стремится усложнить его. Пейдж испытывает смутное влечение к жене своего сына. Его собственная жена начинает кое-что подозревать, и читатель некоторое время разделяет ее подозрения. Очень скоро, однако, становится ясным, что ничего противоестественного в симпатии Пейджа к Коре нет. Пейдж питает к невестке искренние отеческие чувства. Мотив этот повисает в воздухе. Читатель оказывается в положении жены Пейджа: он вынужден удовлетвориться успокаивающим объяснением. Между тем он и не подумал бы подозревать высоконравственного редактора, если бы тот сам не подал повода. В какой-то момент поведение Пейджа действительно было неопределенным. Читатель насторожился... Вдруг неопределенность испаряется. Без мук, без колебаний, будто ничего и не было. Стало быть, либо автору что-то не удалось, либо на самом деле никакой сложности нет, и это всего-навсего попытка заинтриговать читателя. В таком случае подобный прием нарушает строй серьезного психологического романа. Это тем более досадно, что фигура Пейджа оживает на первых же страницах и не нуждается ни в каком возбуждающем интерес подспорье. Наконец, это просто невыгодно Кронину, ибо во второй половине романа он делает Кору центром основной сюжетной интриги, совершенно независимой от мимолетной или мнимой слабости Пейджа. Однако читателя, однажды разочарованного, не легко убедить.

В этом смысле Кронину больше удался отрицательный персонаж — противник Пейджа, журналист Най. В его характере не чувствуется ни слащавого «улучшения», ни схематичного усложнения. Кронину удалось последовательно обнаружить противоречивые мотивы поведения этого человека. Най откровенно отрицателен. Никаких случайных сомнений и заблуждений у читателя на этот счет не возникает. Иногда, однако, субъективная логика Ная не то чтобы оправдывает, но объясняет его поведение настолько, что нельзя просто воскликнуть: «Подлец!», вернее будет добавить: «Несчастный!» Таким образом Кронин достигает цели в стремлении показать, что гибель человечности, потеря высоких принципов — не вина конкретного человека, а порочность системы. Най — жертва «милостей» этой системы, точно так же как Пейдж — жертва ее жестокости.

Най — фигура знакомая. Кажется, с ним или с кем-то очень похожим уже приходилось встречаться. Когда, захмелев, он начинает пьяную исповедь, вспоминается: опиекурильня, летчик Труэн, его откровенный разговор с Фаулером... «Тихий американец» Грина.

Ежедневно, повинуясь приказу, капитан Труэн бомбит и сжигает напалмом мирные вьетнамские селения. Иногда ему чудится, будто внизу его родина и в огне земляки. Он — сгоревший дотла человек. Ему многое понятно, однако страшно задуматься. Только наркотик встряхивает мысль, вызывая горькие признания.

— Разве для меня это — колониальная война? Думаете, я стал бы воевать за плантаторов Терр-Руж?.. Но мы — профессионалы, мы должны драться, пока политики не прикажут нам перестать. Наверное, они соберутся и договорятся о заключении того мира, который мы могли бы иметь с самого начала...

В течение многих лет Най в качестве репортера колесил по стране. Он видел трагедии и катастрофы, страдания и смерть. Но ни в чем ему не дозволялось принять человеческого участия. От него требовали сенсационной информации. Вот почему, когда взгляд его тяжелеет от вина, он твердит: «Потерял свою журналистскую невинность...»

Жизненная борьба так или иначе лишает невинности. Одни, утратив ее, становятся циниками, другие — зрелыми людьми. Во всяком случае, Пейдж к этим «другим» не принадлежит. Схватка не нарушила ни его иллюзорных представлений, ни его твердой, хотя и несколько наивной веры. Он все тот же патриархальный «сеятель добра». Пейдж устоял, внутренне сохранился, но это случайность, вернее — «литература». На то была добрая (инерция искушает добавить «старая») воля Кронина. Другому — не Кронину,— пожалуй, и не поверили бы. По адресу героя, подобного Пейджу, читатель выразился бы, странно сказать, словами Ная:

— Сюсюкающий ханжа, служитель общества? Как вам понравилось оборудова-

ние? Прямо какой-то каменный век... А заметили старушенцию на заднем плане? Просто дух мамаши Гамлета. И бородатые предки по стенам... и побуревшая литография «Открытие Манчестерского судоходного канала, 1894 год» над столом...

Однако слов циника читатель не повторит. Обаяние человечного таланта Кронина, воспоминания о «Замке Броуди», «Звездах», «Цитадели» оберегают его последний роман. Читатель узнает: простота, близкая иногда упрощенности, человечность с оттенком сентиментальности — старые знакомые, которым принято прощать слабости. В то же время, как старых знакомых, читатель узнает гражданское мужество, стойкость писателя, решительно протестующего на этот раз против губительной власти газетных монополий. Их еще издалека приветствуют — этих старых добрых друзей.

Дм. УРНОВ.

★

Политика и наука

Наступление на промышленную целину

Ни на одной карте не найти поселка Сора Красноярского края. А между тем это новый очаг нашей индустрии. Здесь добывается сырье для металлургической промышленности, рядом с карьером поднялись корпуса обогатительной фабрики, где руда превращается в концентрат.

Много таких городков и рудников выросло и растет сейчас у вновь разведанных месторождений. Много новых географических названий можно найти в литературе, выпущенной за последнее время в Восточной Сибири.

О Соре и о ряде других еще мало кому известных предприятий, поселков рассказали в своей книге «Проблемы промышленного развития Красноярского края» сотрудники Красноярской комплексной экспедиции Совета по изучению производительных сил Академии наук СССР С. Левченко, А. Зубков, Б. Горизонтов.

Для замечательных событий, происходящих сейчас в Восточной Сибири, показательна судьба Назарова (близ Ачинска). Эта еще в недавнем прошлом безвестная деревня, насчитывавшая едва лишь сотню дворов, теперь превратилась в промышленный центр. Здесь сооружен угольный разрез, строится и второй. Назарово вместе с двумя другими селениями — Ирша и Бородино — скоро будет давать намного больше угля, чем его добывалось во всей царской России. Семилетним планом предусмотрено также строительство в Назарове одной из самых крупных тепловых станций в стране. Ее мощность составит миллион двести тысяч киловатт. Она будет работать на местном угле.

Минет несколько лет, и Назарово, равно как и Ирша, как и Бородино, где еще недавно шумела тайга, обретет такую же известность, как Горловка, Караганда, Днепрогэс.

В докладе на XXI съезде партии Н. С. Хрущев поставил задачу — создать в Восточной Сибири мощные промышленные узлы: Ачинско-Красноярский и Братско-Тайшетский. Восточная Сибирь стала передним краем борьбы за семилетку.

Уже в послевоенные пятилетки темпы роста промышленности района намного опережали стремительные темпы индустриального развития Советского Союза в целом. В этом, в частности, убеждаешься, знакомясь с цифрами, которые приведены в книге С. Н. Корзинникова «Промышленность Иркутской области за 40 лет» и в ряде других работ. Промышленность Иркутской области в 1957 году дала валовой продукции в 50 раз больше, чем в 1913 году (по СССР в целом — в 33 раза), в 4,7 раза более, чем в 1940 году (по СССР — в 3,9 раза).

О развитии производительных сил Иркутской области. Сборник. Ответственный за выпуск К. В. Чуйко. 358 стр. Иркутское книжное издательство. 1959.

С. Левченко, А. Зубков, Б. Горизонтов. Проблемы промышленного развития Красноярского края. Редактор К. Лыжин. 171 стр. Красноярское книжное издательство. 1958.

К. Лыжин. Красноярский край. Редактор И. Гребцов. 452 стр. Красноярское книжное издательство. 1958.

В. И. Павличенков. Ангарск. Планировка и стройка города. Под редакцией П. А. Володина. 113 стр. Госстройиздат. М. 1958.

Список грандиозных строек Иркутской области возглавляет Братская ГЭС. Недалеко то время, когда могучие потоки вырабатываемой ею дешевой электроэнергии будут направлены на предприятия, в колхозы и совхозы, в молодые города.

Уже вступила в строй Иркутская ГЭС — первая из великого каскада гидроэлектростанций Ангары.

В Шелихове создается алюминиевый комбинат. Развернулись работы по сооружению Коршуновского горнообогатительного комбината — будущей сырьевой базы Восточно-Сибирского металлургического завода. Далеко на севере, в Бодайбинском районе, сооружается Мамаканская ГЭС.

На берегах Енисея идет подготовка к строительству Красноярской ГЭС — величайшей в мире. Небольшой городок Ачинск превращается в центр алюминиевой промышленности.

За семь — десять лет Восточная Сибирь изменит свой облик, совершит при помощи всей страны подлинную индустриальную революцию.

Какой разительный контраст с тем, что было здесь до Великого Октября!

Единственной отраслью промышленности на бескрайней территории Сибири была добыча золота, контролируемая английской акционерной компанией. Иностранные капиталисты не спешили вкладывать средства в хлопотливое дело освоения угольных запасов, рудных месторождений, гидроресурсов. Зато они охотно прибирали к рукам золотые и пушные богатства, приносившие быструю и большую прибыль. Английские акционерные общества владели золотыми сокровищами недр Лены, Бодайбо, Олекмы, Амура и хищнически эксплуатировали их.

Кладами Восточной Сибири нельзя было овладеть по крохам, по кусочкам, разрозненными частями. Их надо было разрабатывать комплексно, по единому плану, охватывающему изучение недр, прокладку дорог, строительство электростанций и рудников, сооружение заводов.

Освоение естественных богатств Восточной Сибири оказалось под силу лишь социализму.

Уже с начала первой пятилетки геологи, изыскатели, ученые самых различных специальностей неутомимо трудились над подготовкой к великому строительству. Об этом убедительно рассказывают рецензируемые книги. Бюро по изучению Ангаро-Енисейской проблемы при Главэнерго в 1932 году совместно с Госпланом СССР собрало в Москве специальную конференцию. Сборник, суммирующий результаты работы Бюро, носил лаконичное, но в то же время много говорящее название: «Ангаро-Енисейстрой».

Все новые и новые экспедиции отправлялись на берега сибирских рек-исполинов, в таежную глухомань. Они стирали с карты Восточной Сибири одно белое пятно за другим. В результате этого подлинно титанического труда по одному Красноярскому краю было зарегистрировано 3 182 новых месторождения!

Даже в самую трудную пору Великой Отечественной войны ни на один день не прекращалась самоотверженная работа геологов и изыскателей. Когда весь мир напряженно следил за великой битвой под Сталинградом, группа исследователей направилась к хребтам Ала-Тау, чтобы изыскать наиболее выгодную трассу будущей южносибирской магистрали (она введена в эксплуатацию в декабре 1957 года).

Изыскатели столкнулись с огромными трудностями. Но ни разу не мелькнула у них мысль об отступлении. Они погибли, но выполнили свой долг. Составленную ими карту и дневник, в котором были суммированы их наблюдения, нашли в сумке руководителя партии — инженера Александра Кошурникова. Эти материалы использовали проектировщики трассы. Нельзя без волнения читать воспроизведенные в книге К. Лыжина «Красноярский край» страницы дневника Кошурникова. Рядом с короткими сообщениями о катастрофическом истощении продовольственных запасов—записи наблюдений над режимом реки, серьезные поправки на географической карте, мысли о лучшем направлении трассы. За этими строками, набросанными в последние дни, а может быть, и часы жизни, встает героический образ нашего современника, для которого дело, порученное ему партией, государством, дороже самой жизни.

В подлинную эпопею изучения и разведки богатств Восточной Сибири вложили свой самоотверженный труд десятки тысяч советских людей. В сборнике «О развитии производительных сил Иркутской области» мы находим ряд интересных материалов, говорящих о том, что все основные проблемы

были предметом широких и плодотворных дискуссий, которые помогли определить наиболее эффективные пути развертывания капитального строительства.

Множество мыслей возникает при чтении книги В. И. Павличенкова «Ангарск». Автор рисует картину глубоко продуманного строительства. В юном городе Ангарске, где, по данным последней переписи, живет 134 тысячи человек — в полтора раза больше, чем в старинном Чернигове,— круглосуточное горячее водоснабжение (от ТЭЦ), централизованное тепло- и газоснабжение. Подавляющая часть домов строилась по типовым проектам. А это позволило намного удешевить работы. В Ангарске вовсе не знали так называемого «временного строительства».

Мне вспоминаются Магнитогорск и поселок Горьковского автозавода, какими я наблюдал их в 1932 году. Ряды невзрачных, неуклюжих бараков. В них же ютятся маленькая больничка, школа. Водопровода еще нет — воду приходится таскать из редких колодцев. Г. К. Орджоникидзе, посетив Горьковский автозавод, сказал, что многое еще нужно сделать для того, чтобы поселок стал подлинно социалистическим.

Конечно, возникновение таких временных «баракогородов» объяснялось в основном бедностью страны в то время и необходимостью возможно скорее ввести в строй промышленные объекты. Но сказывалось и то, что тогда лишь прокладывались пути и в проектировании, и в организации строительной индустрии, и в градостроении.

Опыт строительства в Восточной Сибири — еще одно убедительное свидетельство того, насколько своевременно наша страна перешла к семилетним планам развития народного хозяйства при одновременной разработке перспективного плана на более долгий период.

Книги, о которых идет здесь речь, как бы дополняют одна другую и составляют своеобразную библиотечку, дающую хорошее представление о сегодняшнем и завтрашнем дне Восточной Сибири.

В то же время книги эти страдают серьезным недостатком: в них почти нет людей. Да, как это ни странно, в книгах о Восточной Сибири нет тех, чьими руками создается ее новая могучая индустрия.

По данным экономико-статистического сборника «Иркутская область», только за 1950—1957 годы количество промышленных рабочих в области увеличилось на 85 процентов, то есть за семь лет почти удвоилось. Откликаясь на призыв Коммунистической партии, тысячи и тысячи советских людей приходят в восточносибирскую тайгу, чтобы поставить ее богатства на службу стране.

Читатель хочет узнать, каков облик нового пополнения. На этот вопрос книги ответа не дают.

Многое мог бы увидеть, рассказать вдумчивый очеркист. Но в каталогах Ленинской библиотеки я нашел лишь единичные, изданные в последние годы книжки очерков о Восточной Сибири. Автор одной из них—красноярский писатель Игн. Рождественский сумел подметить ряд серьезных проблем, значение которых выходит далеко за пределы того рудника, о котором он пишет. С большой теплотой показал он людей, осваивающих богатства этой кладовой металла.

Впрочем, в журналах и газетах появилось немало очерков о Братской ГЭС, немало писалось об Иркутской ГЭС. И это хорошо. Но беда в том, что пишут главным образом лишь об этих колоссах. Как ни странно, наши литераторы повторяют ошибку неопытных юношей и девушек, которые все жаждут обязательно работать только на стройках-гигантах.

Хочется сказать несколько слов о распространении издаваемой на местах литературы. В Восточную Сибирь прибывает множество рабочих с Украины, из центральных областей, Прибалтики. Именно в Донбассе и Иванове, в Минске и Риге нужны хорошие книги, рассказывающие о Восточной Сибири. Но их там нет. Литература, выходящая в Восточной Сибири (да и не только там), не имеет выхода к всесоюзному читателю, к тому читателю, которому она должна подчас помочь в выборе жизненного пути.

А. ХАВИН.

★

Против ревизионистских измышлений

Сорок лет назад, в лекции, прочитанной в Свердловском университете, В. И. Ленин сказал, что «едва ли найдется другой вопрос, столь запутанный умышленно и неумышленно представителями буржуазной науки, философии, юриспруденции, политической экономии и публицистики, как вопрос о государстве».

Ленинские слова полностью сохранили свою актуальность сегодня, когда особенно усилилось идеологическое наступление со стороны наших противников на передовую теорию рабочего класса — в прямой связи с тем, что созидательная, преобразующая роль социалистического государства в жизни общества все более возрастает. Победоносные идеи марксизма-ленинизма овладели сознанием миллионов людей во всем мире. Двадцать первый съезд КПСС призвал продолжать непримиримую борьбу с враждебной идеологией, с реформизмом и особенно с ревизионизмом как главной в современных условиях опасностью в коммунистическом движении. Этой цели отвечает книга В. Чхиквадзе и С. Зивса «Против современного реформизма и ревизионизма в вопросе о государстве».

Что же пишут по вопросу о государстве реформисты? Их многочисленные трактаты, заявления и программы тщатся доказать следующее положение: современное буржуазное общество, мол, настолько изменилось, что наступает эра абсолютной классовой гармонии; само слово «пролетариат» безнадежно устарело; рабочие и капиталисты стали равноправными социальными партнерами.

В рецензируемой книге убедительно разоблачена вся вздорность подобных утверждений. Хорошо написаны страницы, где рассказывается об омоложенной наследниками Бернштейна и Каутского побасенке относительно надклассового характера современного буржуазного государства. По мнению английского лейбориста Сержента Флоренса, оно является неким «надклассовым арбитром»; бельгийский правый социалист Франсуа Лорэн видит в нем «регулятор» или «амортизатор» классовой борьбы; их швейцарский единомышленник оппортунист Йорди считает его «нейтрально-пассивным наблюдателем». Эта концепция рисует невинную картину, где буржуазное государство изображено всего лишь в виде сторожа.

Большинство реформистов протаскивает другое, еще более далеко идущее положение о том, что при «чистой демократии» утвердилось государство социального благоденствия, которое, мол, не только другим не мешает, но и само тянется к социализму.

Авторам книги удалось наглядно показать существо этой «теории». С ее помощью оппортунисты пытаются отвлечь пролетариат капиталистических стран от классовой борьбы. Зачем, говорят они, бороться за социализм, если само буржуазное государство стремится к всеобщему благополучию, дает развиваться почкам социализма на дереве буржуазного общества.

Бельгийский профессор Луи Давон недавно возвестил, что на его глазах происходит «юридическая революция». Ее признаки: расширение компетенции государства и примата государства в области экономики. «Революция» происходит в рамках буржуазной законности. При посредстве этой ловко сочиненной конструкции Давон из понятия социалистической революции устраняет ее суть, сердцевину,— необходимость низвержения эксплуататорского строя.

Нечто схожее с рассуждениями Давона имеется и в тексте программы Союза коммунистов Югославии. Там сказано, что буржуазное государство якобы все больше «становится над обществом и проявляет тенденцию ко все большему ограничению как роли частного капитала, так и рабочего класса, не затрагивая при этом самой основы капиталистической системы».

Много интересных фактов и правильных оценок найдет читатель в тех разделах книги, где описывается, как реформисты восхваляют буржуазную демократию и как в плену этих сладких речей оказались некоторые ревизионисты. В Польше Л. Колаковский и государствовед М. Соболевский призывали к «интегральной» демократии, совмещающей буржуазную и социалистическую демократии.

По мнению одного из теоретиков лейбористской партии Джона Стречи (который, надо заметить, для пущей объективности

В. Чхиквадзе, С. Зивс. Против современного реформизма и ревизионизма в вопросе о государстве. Редактор Э. Струков. 168 стр. Госполитиздат. М. 1959.

пользуется марксистской терминологией), современная демократия в ее английской и североамериканской форме является основным средством преобразования общественных отношений. Читателю его книги «Современный капитализм» навязывается мысль, будто политическая форма власти буржуазии может служить орудием перехода к социализму.

На примерах нынешнего состава правительств США и Великобритании В. Чхиквадзе и С. Зивс показывают, как в этих странах в результате «сердечного согласия» денежных тузов и чиновников снижается уровень жизни простых людей. Рассуждения реформистов о некоей «чистой», «абстрактной» демократии — дополнительное свидетельство того, что они присоединяют свой голос к хору пропагандистов теории «государства всеобщего благоденствия» и тем самым стремятся навести еще более густую тень на классовую сущность буржуазной демократии.

Политические порядки в странах капитала подтверждают вывод, сделанный Марксом: «Современная государственная власть — это только комитет, управляющий общими делами всего класса буржуазии». Полностью сохранили свое значение и слова В. И. Ленина: «...при капитализме мы имеем государство в собственном смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим и притом большинства меньшинством».

Авторы отражают наскоки антимарксистов на учение о диктатуре пролетариата и вскрывают истинное назначение различного рода рекомендаций о «социализме без государства», о немедленном отмирании социалистического государства.

Нападки на диктатуру пролетариата со стороны реформистов ныне проходят по двум наиболее распространенным вариантам. Нынешний теоретик австрийской социалистической партии Бенедикт Каутский в который раз твердит, что самый термин «диктатура пролетариата» у Маркса носит случайный характер. Этот «аргумент» уже применял лидер II Интернационала, известный ренегат Карл Каутский.

Другие антимарксисты стремятся уверить, что диктатура пролетариата в Советском Союзе ничего общего с Марксовым пониманием не имеет. Итальянский ревизионист А. Джолитти делает вывод о неприменимости диктатуры пролетариата в экономически развитых странах. Канадский ревизионист Ги Карон утверждает, что диктатура пролетариата — «иностранное и недемократическое явление». Реформисты горячо приветствуют тех, кто изменяет знамени революционного марксизма. Но таких очень мало, и об этом весьма сожалеет правая французская социалистка Сюзанна Лабэн. Она страшно раздосадована идейной монолитностью коммунистов, в чем видит «руку Москвы».

Дело, конечно, в том, что единство и сплоченность братских коммунистических и рабочих партий зиждется и крепнет на такой прочной основе, как проверенное жизнью и временем всепобеждающее учение марксизма-ленинизма. Авторы книги делают правильный вывод, что всякое отрицание необходимости исторической роли диктатуры пролетариата современными реформистами есть не что иное, как стремление продлить господство буржуазии.

Веско и убедительно критикуются в книге тезисы ревизионистов о том, что при социализме рабочий класс может обойтись вообще без своего государства. Об этом, в частности, писали недавно французский ревизионист Анри Лефевр и его единомышленник из Западной Германии Фрид Штернберг. К ним примыкают многие из югославских ревизионистов.

Сочиненная югославскими авторами «теория» немедленного отмирания социалистического государства находится в вопиющем противоречии с ленинскими положениями. Она не отвечает требованиям самой жизни и практики в странах социализма. Кстати, югославские авторы не приводят каких-либо веских фактов и доводов об отмирании государства в ФНРЮ.

В книге содержится важное указание на то, что программы и теоретические выкладки реформистов не совпадают с мнениями и чаяниями рядовых социалистов, социал-демократов, лейбористов. Они мало верят в басню о буржуазном государстве как органе всеобщего благоденствия и ведут борьбу за улучшение жизненных условий трудящихся, против господства монополистического капитала.

Жаль, что в книге почти ничего не сказано о теории и практике венгерских ревизионистов. Более четко надо было показать различие между реформистами и ревизио-

нистами. Из отдельных недочетов укажем на следующий. На странице 157 авторы пишут: «Функции упраздненного министерства труда в значительной части были переданы профсоюзам». Но такого министерства не существовало.

Книга В. Чхиквадзе и С. Зивса написана хорошим языком и принесет немалую пользу широким кругам советских читателей.

Кандидат юридических наук
Б. ГАБРИЧИДЗЕ.
Кандидат исторических наук
К. ФЕДОРОВ.

Ростов-на-Дону

★

Ядерное оружие должно быть запрещено!

«Эту книгу должен прочесть каждый, кто не хочет, чтобы погибло человечество»,— так отозвался Бертран Рассел о новой работе американского ученого Лайнэса Полинга «Долой войну».

С исключительной силой и убедительностью звучит в книге призыв к борьбе против тех, кто препятствует решению важнейшей проблемы современности — прекращению ядерных взрывов и запрещению ядерного оружия.

«Я верю в мораль, в справедливость, в гуманность»,— пишет Полинг и обращается ко всем людям с призывом направить все свои силы, всю энергию на дело защиты человечества от нависшей над ним опасности.

В какой-то степени мы представляем себе страшную разрушительную силу, заключенную в ядерном оружии, и пагубные последствия испытаний атомных и водородных бомб. Но только ученые могут раскрыть перед миром истинные размеры этой опасности. Такова цель книги профессора Лайнэса Полинга. Помещенные в ней таблицы, схемы, графики делают ее на первый взгляд обычным научным трудом. Однако неопровержимый язык фактов не только обогащает знаниями, но и пробуждает тревогу, негодование, стремление бороться за самое дорогое, что есть на земле,— за жизнь человека.

Наши читатели знают о книгах видных английских ученых Джона Бернала и Бертрана Рассела, посвященных борьбе за мир [1]. К этим работам тесно примыкает и книга «Долой войну». Наиболее подробно в ней разбирается вопрос о влиянии на человеческий организм последствий испытаний ядерного оружия. Страшная опасность угрожает прежде всего будущему человечества — детям — ввиду вредного воздействия радиоактивности на гены родителей.

«Супербомба огромной силы,— пишет Полинг,— испытания которой проводились Соединенными Штатами 1 марта 1954 года, явилась источником радиации, приблизительно равной той, которая накапливается за целый год испытаний ядерного оружия. Отдав приказ об испытании такой бомбы, глава государства обрек 15 тысяч еще не родившихся детей на жизнь, полную страданий, или на раннюю смерть». Последствия уже проведенных испытаний ядерного оружия, указывает Полинг, будут оказывать свое губительное действие на множестве грядущих поколений и явятся причиной того, что на земле родится около миллиона детей с неизлечимыми заболеваниями и около двух миллионов детей умрут в утробе матери или вскоре после рождения.

Уже после выхода в свет книги Полинга правительство Соединенных Штатов провело в районе Тихого океана новую серию экспериментальных взрывов: были взорваны пятьдесят супербомб огромной мощности. Эта цифра особенно показательна, если учесть, что за все послевоенные годы Соединенными Штатами было произведено сто сорок взрывов атомных и водородных бомб.

В следующих главах Полинг пишет об огромном вреде, который причиняют организму людей продукты ядерного распада, образующегося вследствие взрывов.

Источником губительной радиации являются элементы углерод-14 и стронций-90. Они поглощаются растениями и животными вместе с кальцием и содержатся в молоке коров, в овощах, употребляемых в пищу. Если клетка человеческого организма подверглась усиленной радиации в результате распада стронция-90 или углерода-14, то

Linus Pauling. No more war. London. 1958 (Лайнэс Полинг. Долой войну. Лондон. 1958).

[1] См. «Новый мир», 1959, № 4.

в ее молекулах может возникнуть ускоренное ненормальное деление. На этой почве развиваются смертельные заболевания—лейкемия (белокровие), костный рак, злокачественные опухоли.

Десять тысяч смертей от лейкемии, девяносто тысяч смертей от других неизлечимых раковых заболеваний — вот во что обошлось человечеству испытание одной лишь супербомбы, взорванной США.

«Каждый год в мире умирает примерно тридцать миллионов человек,— пишет Полинг.— Можно сказать, что сто тысяч человек, умирающих преждевременно, лишь незначительное увеличение общей смертности — всего на одну треть процента. Правда, тут все зависит от того, кто как понимает слово «незначительный». Для Лайнэса Полинга не существует незначительных чисел, когда речь идет о человеческих жертвах. Каждая человеческая жизнь для него священна и значительна.

Лайнэс Полинг не одинок. Он выступает от лица многочисленных деятелей науки, разделяющих его убеждения и взгляды. Тем беспощаднее Полинг обрушивается на таких ученых, которые, поправ свой долг, встают на защиту воинственных устремлений американского империализма, использующего их услуги в Комиссии по атомной энергии. Сдержанный тон книги резко меняется. С глубоким возмущением Полинг разоблачает апологетов ядерного оружия: Либби, Теллера, Лэттера и им подобных, которые неоднократно на страницах печати и в устных выступлениях заверяли, что увеличение радиоактивности не влечет за собой вредных последствий и что вообще «атомное оружие можно применять гуманным путем» — в виде «чистой» бомбы.

В публичной дискуссии Полинг вынудил этих ученых признать несостоятельность подобной аргументации, которую они пытались объяснить желанием «уменьшить чрезмерные страхи» населения. Профессор Полинг подчеркивает, что эти попытки «успокоить людей» в действительности направлены на то, чтобы обмануть общественное мнение. Долг ученого — открыть народу всю истину, какой бы страшной она ни была. «Народ должен получать полную и правдивую информацию обо всем, что связано с атомной опасностью. Это имеет величайшее значение... Если наше будущее в области атомной энергии включает атомную войну, то мир погиб». Каждая сброшенная бомба, указывает Полинг, превратит в пепел все вокруг на пространстве диаметром в двадцать миль. Огромное количество людей погибнет от действия небывало интенсивной радиации, выделяющейся немедленно после взрыва. Даже в убежищах, защищенных слоем бетона в два фута толщиной, все будут уничтожены гамма-лучами и нейтронами, возникающими в результате взрыва. Это может произойти при взрыве одной только бомбы. Если же представить возможные последствия целого ряда ядерных взрывов, которые неминуемо произойдут, то выясняется, что мир понесет потери поистине катастрофические — 800 миллионов убитых и миллионы умирающих мучительной смертью. А природа человеческой зародышевой плазмы может в результате возникшей радиоактивности измениться таким образом, что человек, каким мы его знаем, прекратит существование.

Но хотя Полинг не щадит читателя, книга его глубоко оптимистична. Само ее название показывает убежденность автора в том, что его голос будет услышан, его призыв будет поддержан всеми народами.

«Мы живем в небывалую эпоху в истории цивилизации, в эпоху, когда война перестанет быть средством решения важнейших международных проблем. Мы вступаем в длительный период всеобщего мира, такой период, когда споры между государствами будут разрешаться силой человеческого разума, международного права».

Книга «Долой войну» подводит итог деятельности лауреата Нобелевской премии профессора Полинга в борьбе за мир, столь же важной для него, как и научная работа. Полинг предпринял длительную поездку по многим странам с целью привлечь возможно более широкие круги общественности к тому благородному делу, активным участником которого он является. Этого высокого человека с энергичным лицом слышали на многих митингах в Америке и Европе; по московскому радио он обратился ко всему миру, предупреждая о грозящей опасности, призывая к борьбе против нее.

Его усилия не пропали даром. Свидетельством тому является «Петиция ученых Организации Объединенных Наций», основой которой послужило выступление профессора Полинга на конференции по международным проблемам в Санта-Барбаре 26 марта

1957 года: «Вместе со всеми людьми мы испытываем глубокое беспокойство за благо всех народов. Как ученые мы осведомлены о тех спасностях, которые угрожают человечеству, и потому на нас лежит особая ответственность за то, чтобы о них были осведомлены все. Мы считаем необходимым, чтобы были предприняты немедленные действия для выработки международного соглашения о прекращении испытаний ядерного оружия всех видов»,— так сформулировано основное положение Петиции ученых, составленной Лайнэсом Полингом и врученной им в конце 1957 года Дагу Хаммаршельду, генеральному секретарю ООН.

Перед этим Полинг разослал текст Петиции виднейшим представителям науки различных стран, со многими из них он встретился лично. В результате 9235 выдающихся ученых поставили свои подписи под этим документом. Среди них—216 членов и членов-корреспондентов Академии наук СССР, 101 член Академии наук США, члены Лондонского Королевского Общества (английская Академия наук), 36 лауреатов Нобелевской премии из двенадцати стран.

Петиция ученых явилась важным событием в деятельности сторонников мира. Общая декларация, принятая на юбилейной сессии Всемирного Совета Мира в мае 1959 года, отмечает широкий отклик, который встретила инициатива профессора Полинга в сознании народов.

В заключительных главах книги автор останавливается на методах подготовки международного соглашения о запрещении ядерных испытаний. На основании конкретных и убедительных доводов, анализируя политику Советского Союза и США, Полинг подчеркивает, что именно США препятствуют заключению соглашения, ибо Советский Союз готов к сотрудничеству для решения этой важнейшей международной проблемы.

«На долю нашего поколения,— говорит Н. С. Хрущев,— выпала великая историческая задача — вывести человечество из мрачного тупика кровопролитных войн, в который завел его империализм. Перед человечеством открывается светлая перспектива мирной жизни. Однако было бы опасно недооценивать угрозу войны. Народы должны проявлять высокую бдительность по отношению к проискам агрессивных империалистических сил. Мира не ждут — мир отстаивают в борьбе. Только упорная борьба против военной угрозы может обеспечить прочный мир на земле».

Вкладом в эту борьбу служит книга Лайнэса Полинга. Ее следует перевести на русский язык.

Н. ЯВНО.

★

Великий путь

Безмолвие ледяной пустыни нарушил резкий звук выстрела. Остановившийся отдохнуть путешественник вскочил и увидел далеко впереди черные фигурки людей. Один из незнакомцев, вооруженный гарпуном, бежал к саням. Не раздумывая, путешественник погнал собак ему наперерез. Они встретились и... обнялись как братья.

С этого эпизода встречи автора с эскимосом Папик начинает свое повествование один из крупнейших полярных исследователей нашего столетия датчанин Кнуд Расмуссен. «Герой данной книги — эскимос»,— прямо заявляет он во вступлении. Но читатель, перевернув последнюю страницу, выносит убеждение, что в книге есть еще один герой — сам автор.

К. Расмуссен. Великий санный путь. Перевод с датского А. В. Ганзен. Редактор С. Н. Кумкес. 183 стр. Географгиз. М. 1958.

К сожалению, оба «действующих лица» повествования — редкие гости в советской литературе. У нас почти нет книг об эскимосах — самом северном народе земли. Мало что знают широкие круги читателей о Кнуде Расмуссене, а имя его стоит в истории полярных путешествий рядом с именами Нансена и Амундсена.

Старинное эскимосское предание рассказывает, что однажды молодые люди решили обойти вокруг света. Они разделились на две партии и пошли в разные стороны. Они посетили все северные страны и вернулись в родные места глубокими стариками.

— Мы прожили богатую жизнь,— сказали они при встрече,— и, пока достигли своей цели, набрались знаний и мудрости, чтобы передать будущим поколениям.

Кнуд Расмуссен, родившийся и выросший в Гренландии среди эскимосов, услышал

эту легенду в детстве и запомнил на всю жизнь. У него зародилась мечта повторить путь легендарных путешественников, оставшихся верными мечте своей юности,— пройти вдоль всего арктического побережья Северной Америки, познакомиться с его населением — канадскими эскимосами, о которых почти ничего не было известно.

В первую полярную экспедицию Расмуссен отправился в 1902 году, когда ему было всего двадцать три года, а к осуществлению главной цели своей жизни смог приступить только в 1923 году. Вместе с двумя спутниками эскимосами он начал путешествие на запад, от Гудзонова залива к берегам Аляски. Оно продолжалось год и два месяца, и за это время путники проехали на собаках более восемнадцати тысяч километров. Экспедиция Расмуссена оказалась самым крупным санным путешествием, совершенным когда бы то ни было в полярных странах. Научный отчет ее составил несколько объемистых томов. За год до смерти Расмуссен пишет книгу «Великий санный путь» и посвящает ее датской молодежи. Подобно легендарным странникам эскимосам, он стремится передать в ней грядущим поколениям свои знания, свою мудрость, накопленные в долгих скитаниях...

Расмуссен рассказывает о самобытной, уходящей в прошлое под натиском «цивилизации» культуре эскимосов, об их истории, о тяжелой, требующей предельного напряжения сил борьбе за существование. Перед читателем проходят яркие, живо и тепло написанные сцены охоты и переселений, редких пиршеств и частых голодовок, игр и заклинаний; со страниц книги звучат легенды, песни.

Любой народ, на каком бы уровне развития он ни находился, достоин уважения; нет на земле племен, более благородных, чем другие. Но слова эти, верные сами по себе, лишь в очень малой степени выражают мудрость Расмуссена, суть его книги.

Бесспорен факт, что наряду с социальной эволюцией имеет место культурная и психологическая эволюция человечества — изменяется, расширяясь, круг знаний, совершенствуются моральные нормы, медленно, но неуклонно накапливается человеческое в человеке. Так уж сложилась история, что в прошлом именно европейские страны на некоторое время опередили страны других континентов, самочинно взяли на себя роль законодателей культурных и моральных норм. Там, где сталкивались разные цивилизации, представители европейской всегда выступали в роли судей, насаждали свои каноны, требовали соблюдения своих правил, не считаясь с укладом жизни других племен, карали по своим законам. Не удивительно, что туземцы встречали европейцев недоверчиво, часто враждебно, скрывали от них самое заветное.

Многие путешественники европейцы, даже не разделявшие бредовых идей о «высших» и «низших» расах, не могли завоевать глубоких симпатий местных жителей потому, что оставались для них выходцами из чужого мира. И сами путешественники как бы всматривались со своей, более высокой ступеньки цивилизации в другую, не спускаясь на нее даже временно. Таким способом можно немало узнать о народе, но нельзя его понять; а без понимания — и знания непрочны, неполны. Вот почему многие племена так и остались для европейца «дикими».

Расмуссен жил одной жизнью с эскимосами не потому, что находился среди них, а потому, что сумел поставить себя на их место, взглянуть на быт, на культуру, на мораль изнутри, а не сверху. «Я вижу тысячи мелких становищ,— пишет Расмуссен,— давших содержание нашему путешествию, и меня охватывает великая радость: мы встретились со сказкой; сказкой были все наши пестрые переживания среди замечательнейших племен из живущих на свете». Книгу заканчивают следующие строки: «Мы пережили чудесное ощущение, связанное с познанием той истины, что мы на всем огромном протяжении от Гренландии до Тихого океана нашли единый народ с единым языком».

Подвиг жизни Расмуссена — единственный в своем роде — и заключается в том, что он отдал все свои силы, всю свою энергию не изучению одного племени, а познанию всего народа, разрозненного на мелкие племенные группы, но объединенного и общей историей, и едиными чертами культуры, и, наконец, живущего в сходных, повсюду одинаково суровых природных условиях Севера.

Именно потому, что Расмуссен изучил жизнь всего народа, находящегося на определенном уровне развития и живущего в определенной своеобразной природной обстановке, он смог понять, принять и оправдать многое такое, на что не пошли бы дру-

гие европейцы. Чтобы убедиться в этом, нужно прочитать всю книгу. Но вот два наиболее выразительных примера.

У некоторых эскимосских племен существует обычай убивать новорожденных девочек. С точки зрения европейской морали — это не только жестокость, но и преступление. Но применимы ли в данном конкретном случае (уровень развития плюс условия жизни) критерии европейской цивилизации? Расмуссен полагает, что не применимы. «Ярче всего борьбу за существование,— пишет он,— иллюстрирует стремление как можно больше сэкономить на деторождении. Ведь только соображениями экономии вызван обычай убивать новорожденных девочек, если они заранее не обещаны семье, имеющей сына... Эти детоубийства отнюдь не проявление жестокости... Нет, настолько жестока борьба за существование, что поколение за поколением на опыте убеждается, насколько невозможно одному добытчику прокормить больше строго необходимого числа членов семьи».

А сразу за этими рассуждениями в книге следует рассказ о зимней охоте на тюленей, в которой Расмуссен принимал участие наравне с другими, и читателю дано убедиться в справедливости сделанного вывода. Рассказ заканчивается такими словами: «Так проходит час за часом, и я понимаю, какой требуется ловцу запас терпения и выносливости, чтобы заниматься таким промыслом в непогоду и при температуре —50 градусов. Мне четыре часа показались вечностью, а есть люди, способные простоять полсуток без перерыва, когда дело идет о том, чтобы добыть мяса для голодных жены и ребятишек!»

Или другой пример. Расмуссен едет к племени «охотников на мускусных быков». Полицейские власти характеризуют их как шайку воров и убийц. Они и на самом деле недавно убили двух американских путешественников за то, что один из них избил хлыстом эскимоса. «Таким образом,— пишет автор,— виновником катастрофы был, несомненно, он сам». Расмуссен признает, что темперамент этих охотников не всегда согласуется с моралью белых людей, но он на стороне гордых эскимосов, не позволивших обращаться с собой, как со скотиной. Он даже живет в хижине у одного из не пойманных полицией убийц и находит его прекрасным человеком.

Но вот еще характерный для Расмуссена нюанс: «Слишком легко говорят о «разбойничьих шайках» этого племени, совершенно не считаясь с тем, что люди эти проще нас, белых, смотрят на жизнь и смерть, не делая между ними такой торжественной разницы. Нравы и обычаи их совершенно отличны от наших; пресловутое истребление «лишних» девочек создает такие ненормальности быта, что борьба за женщину, а отсюда многие случаи кровной мести выработали своеобразную мораль у этих легкомысленных и темпераментных детей природы».

Итак, мало признать равенство всех племен и народов. Великий путь сближения народов — это путь глубокого взаимопонимания, уважения к традициям, обычаям, культуре, путь искреннего уважения человека к человеку, на каком бы уровне цивилизации люди ни находились. По этому пути всю жизнь шел замечательный датчанин Кнуд Расмуссен, на этот же путь стремился направить он молодежь, которой посвятил свою книгу — своеобразный итог его трудной, полной лишений жизни.

Расмуссен не ставит в ней социальных проблем, не задумывается о грядущем неизбежном изменении быта эскимосов. Вернее, те случаи внедрения капиталистической цивилизации в жизнь эскимосов, которые он наблюдал, вызывали у него лишь чувство отвращения, а об иной цивилизации он не мечтал. В этом — известная ограниченность книги Расмуссена, которую советский читатель легко заметит, но и легко дополнит своими знаниями о судьбе небольших северных племен, живущих на территории Советского Союза и имеющих возможность свободно развивать свою культуру.

Гуманистическая, полная веры в человека и любовью к человеку книга Расмуссена наверняка найдет своего читателя в нашей стране. Хочется пожелать, чтобы нашли дорогу к советскому читателю и другие книги замечательного датского ученого и путешественника.

Кандидат географических наук
И. ЗАБЕЛИН.

★

Рассказы о шахматах

Польское издательство «Спорт и туризм» выпустило интересную и необычную книгу — «С шахматами через века и страны». Она вышла в Варшаве на трех языках: польском, русском и немецком.

Книга Ежи Гижицкого принадлежит к редкому жанру шахматной литературы. В ней, за малым исключением, нет ни партий, ни задач, словом, ничего того, что требует специальной шахматной нотации. Но разочарован читатель не будет. Ему не доведется, правда, познакомиться с «приключениями на шахматной доске», то есть с различными неожиданными и красивыми комбинациями, но зато он узнает о множестве «приключений» самих шахмат — эпизодах их полуторатысячелетней истории, узнает о многих выдающихся людях, которые отдавали шахматам скупые часы своего досуга, о многочисленных произведениях искусства, которые воспели древнюю «игру мудрецов».

Читатель убедится в том, что «следы» шахмат—единственной игры, имеющей свою писаную историю,—встречаются в самых разнообразных областях человеческого творчества: в литературе, живописи, в трудах по математике, истории, археологии, в кино.

Долгий и длинный путь совершили шахматы через века и страны — из Индии во все уголки мира. Они выросли из древней индийской игры «чатуранги» («четырехсоставный»), воплотившей в причудливой резьбы фигурах тяжелую поступь боевых слонов, быстрый бег колесниц, стремительность всадников и размеренный шаг пехотинцев.

На протяжении следующих столетий игра постепенно изменялась, приобретая новые правила, утрачивая старые; но ее содержание неизменно становилось все более глубоким.

С постепенным развитием культуры шахматы, бывшие на заре своего рождения неотъемлемой принадлежностью дворцов, получили доступ сперва в замки вельмож и рыцарей, а затем и в дома простых горожан. С одинаковым увлечением велись бескровные сражения и на богато инкрустированной доске из перламутра или фарфора и на простой деревянной или картонной.

Во времена средневековья шахматы подвергались гонению со стороны церкви. И все же они проникали даже в монастыри. В книге Чистовича «Феофан Прокопович и его время» мы находим любопытное, относящееся к 1731 году объявление казанского митрополита о Феодосии Яновском, новгородском архиерее: «...Да он же, Францышка, на московском подворье велел с колокольни старинные колокола продать, чтобы не мешали ему во всю ночь в шахматы играть...»

Тяга к шахматам издавна была свойственна русскому народу, что нашло, между прочим, отражение в ряде былин.

Любопытен следующий эпизод. В 1685 году, когда во Франции царствовал Людовик XIV, в Париж прибыло московское посольство. Желая во всем блеске продемонстрировать преимущества французской культуры, парижане предложили русским состязаться в благородном искусстве шахматной игры. Результаты этой по существу первой исторически достоверной встречи русских и западноевропейских шахматистов выразительно описаны во французской хронике XVII века: «Эти русские превосходно играют в шахматы; наши лучшие игроки перед ними школьники».

Рассказывая о появлении в России шахмат, автор допускает ошибку, утверждая, что они проникли в нашу страну также и с севера вместе с тевтонским рыцарством. Общеизвестно, что «псы-рыцари» культуртрегерами отнюдь не были и что Тевтонский орден начал агрессию на Восток в начале XIII века. Между тем во время раскопок в Киеве были обнаружены шахматные фигуры, бывшие в употреблении в Киевской Руси уже в XI—XII веках. Ошибка Гижицкого тем более удивительна, что тут же помещена фотография этих фигур.

В книге история шахмат доведена до наших дней. «С 1948 года,— гласит подпись под фотографией нынешнего чемпиона мира,— скипетр шахматного короля принадлежит советскому гроссмейстеру Михаилу Моисеевичу Ботвиннику».

Ежи Гижицкий. С шахматами через века и страны. С предисловием Давида Бронштейна. С польского языка перевели Надежда Ланьцут и София Вильгельм. 336 стр. Варшава. 1958.

Автор не обходит стороной спора, старого, как сами шахматы: в чем их обаяние и в чем их сущность? В главе «Спорт, наука или искусство» и в других приводятся подчас прямо противоположные высказывания многих людей — представителей различных эпох и профессий (Лейбниц: шахматы служат «для усовершенствования искусства умозаключения и сообразительности»; Гёте: «Шахматы — это пробный камень для ума»; Алехин: «Художественные достижения шахмат ставят их в ряд других искусств»).

Трудность, а может быть и невозможность, дать однозначное определение шахмат — лучшее свидетельство их многогранности, богатства содержания.

Одной из своих граней, а именно возможностью точного расчета, не зависящего от случайностей, шахматы издавна привлекали математиков. Уже самое рождение шахмат связано со знаменитой легендой о растущем в геометрической прогрессии количестве пшеничных зерен. Замечательные ученые Эйлер и Гаусс, а позднее русские математики К. Яниш и Н. Бугаев занимались различными шахматно-математическими проблемами.

Рассказав об этом, автор переходит к увлекательному повествованию о шахматных автоматах, «духовным отцом» которых был знаменитый Лейбниц.

Первый шахматный «автомат» связан с именем венгра Кемпелена. Его изобретение приводило в изумление и восхищение буквально всю Европу. С автоматом играл Наполеон. Кемпелен демонстрировал «механического шахматиста» и в Петербурге, при дворе Екатерины II. Но Кемпелен был обманщиком: внутри его «автомата» помещался человек.

В наши дни созданы быстродействующие счетные машины, «играющие» в шахматы. Все же «электронный мозг», легко осваивающий элементарные комбинации, не в состоянии — да, вероятно, и никогда не будет в состоянии — разгадать тайну тех позиций, которые в силу их сложности нельзя исчерпать вариантами и при оценке которых сильный шахматист руководствуется в значительной мере интуицией.

В главе «Кто и когда» рассказывается об исторических личностях, любивших шахматы. «В шахматы,— пишет автор,— играли короли, но играли в них и те, кто свергал королей».

Список открывает Карл Великий (VIII—IX века). О популярности шахмат при его дворе свидетельствует средневековая поэма «Песнь о Роланде» и — уже с полной достоверностью — сами шахматные фигуры, принадлежавшие императору франков и сохранившиеся до нашего времени. Читатель найдет беглые зарисовки, посвященные таким историческим персонажам, как Иван Грозный, Петр I, сделавший шахматы неотъемлемой принадлежностью ассамблей, Карл XII, философствующий Фридрих II, обменивавшийся с Вольтером глубокомысленными письмами, в части которых встречались упоминания о шахматах (они играли партию по переписке). В излюбленном месте встреч парижских шахматистов — «Кафе де ла Режанс» — нередко можно было видеть Руссо, Дидро, вождей революции Марата и Робеспьера и задушившего революцию Наполеона.

В «благородном цехе шахматистов» (выражение И. С. Тургенева) мы встречаем такие имена, как Данте, Боккаччо, Рабле, Мицкевич, Пушкин, Чернышевский, Л. Н. Толстой.

В книге приведены сведения о К. Марксе и В. И. Ленине как шахматистах.

Нужно оговориться: большинство этих людей не только любили шахматы, уделяя им часок-другой, но и оставили высказывания о них или, больше того, выразили отношение к ним средствами своего высокого искусства. Фирдоуси, включивший в свою бессмертную эпопею «Шахнаме» легенду о происхождении шахматной игры, говорил, что он так часто обращается к шахматам, чтобы «вдохновиться их поэзией».

Естественно, что в работе Ежи Гижицкого наиболее широко представлены произведения польских писателей и поэтов. В частности, автор подробно цитирует поэму «Шахматы», принадлежащую талантливому польскому поэту Яну Кохановскому (1530—1584).

Одна из глав книги носит название «Художественная мозаика». Впрочем, мозаичность, пестрая смесь самых разнообразных материалов — исторических фактов и легенд, поэм и эпиграмм — характерна для всей книги.

Рассказывая о попытках «осовременить» шахматы, автор приводит следующий печальный курьез. После первой мировой войны кое-кем предлагалось увеличить число фигур путем добавления к ним «самолетов» и «танков». А совсем недавно на Западе появились «атомные шахматы» с новой фигурой — «атомной бомбой», «взрыв» которой уничтожает на определенном участке доски все фигуры, в том числе и свои (!). Меняется и сама цель игры — ею является уже не мат королю, а «тотальное» снятие с доски всех фигур противника. Итак, даже шахматы должны напоминать людям об атомной войне!..

Наш отзыв о книге Гижицкого был бы неполным, если бы мы умолчали о ее иллюстрациях, представляющих не меньший интерес, чем текст.

Начнем с того, что на 312 страниц основного текста приходится ровно столько же иллюстраций. Среди них — несколько цветных на отдельных листах. Иллюстрации весьма разнообразны по жанру. Здесь и репродукции картин больших мастеров старого времени, а также гравюр и литографий (интересна миниатюра из рукописи XIII века короля Кастилии Альфонсо Мудрого, составившего руководство к шахматной игре), рисунки современных художников (среди них немало шаржей и юморесок, в том числе из польской и советской печати), фотографии знаменитых шахматистов и людей, известных в других областях искусства, кадры из кинофильмов и так далее. Иллюстрации живут подчас отдельно от текста и сами могут служить своеобразной историей шахмат.

Оформлена книга с большим вкусом, отпечатана на отличной бумаге, ее полиграфическое исполнение высокого качества.

Хороший пример заслуживает подражания. И здесь нужно согласиться с мнением гроссмейстера Д. Бронштейна. В предисловии к книге он справедливо указывает на то, что у нас выпускается прежде всего учебная шахматная литература. Книги же для «шахматного чтения» почти не выходят. А ведь иногда хочется прочитать и шахматный рассказ, и воспоминания «бывалых людей» о минувших шахматных битвах и их героях, решить исполненную остроумия задачу-шутку.

Многочисленные любители шахмат с большим интересом встретили книгу А. Котова «Записки гроссмейстера» («Молодая гвардия»), книгу М. Тайманова «Зарубежные встречи» (Лениздат). Если добавить сюда еще сборник новелл А. Гербстмана «Падение черного короля» (Алма-Ата), то вот, пожалуй, и все издания для «шахматного чтения», появившиеся в последние годы. Выходившие ранее шахматные альманахи можно лишь случайно встретить у букинистов.

Возвращаясь к книге Гижицкого, отметим, что при всех ее достоинствах — она одинаково интересна и доступна гроссмейстеру и начинающему любителю,— в ней имеется ряд отдельных неточностей (например, первый международный турнир в Лондоне состоялся не в 1854, а в 1851 году, матч Ласкер — Шлехтер происходил не в 1900, а в 1910 году, и т. д.).

Перевод с польского на русский, к сожалению, далеко не всегда находится на должной высоте. Особенно это относится к стихам.

В заключение выразим благодарность нашим польским друзьям за оригинальную, полную богатейшего, подчас уникального материала книгу о древнейшей игре человечества.

А. ИГЛИЦКИЙ.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ИЗ ПЕРЕПИСКИ А. С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ С Н. А. РУБАКИНЫМ

В эпистолярном наследии А. С. Новикова-Прибоя наиболее значительное место занимает переписка с Николаем Александровичем Рубакиным (1862—1946), автором известных трудов «Среди книг» и «Россия в цифрах». Эта переписка велась с 1909 по 1912 год, когда Новиков-Прибой жил в эмиграции, и, возобновившись в 1923 году, закончилась в 1928 году. Переписке предшествовала личная встреча, состоявшаяся в 1908 или в начале 1909 года. Ниже публикуются два письма А. С. Новикова-Прибоя к Н. А. Рубакину и три письма Н. А. Рубакина к А. С. Новикову-Прибою. Публикация писем **В. Красильникова.**

1-го мая 1912 г.

Дорогой Николай Александрович!

Шлю Вам свое сердечное спасибо за Ваш драгоценный для меня подарок — «Среди книг». Не нарадуюсь я, перелистывая Вашу книжку. Сохраню ее на всю жизнь. Она будет для меня лучшим советником по части чтения. Мало того, с помощью ее я сумею сделать указания по выбору книг и своим товарищам-матросам, солдатам, рабочим и крестьянам, которые больше, чем кто-либо, нуждаются в этом.

Затем, я хотел бы Вам сообщить, что в своих письмах по самообразованию, рекомендуя разные книги лучших авторов, Вы напрасно не порекомендуете вместе с тем и лучший энциклопедический словарь. А между тем последний для людей, преследующих цели самообразования, необходим. Мне представляется так, что если какой-нибудь человек из рабочих, хотя бы он был и малограмотный, будет иметь хорошее руководство по выбору книг, энциклопедический словарь и стремление к науке, то этого уже достаточно, чтобы он через три-четыре года стал интеллигентным человеком. А книги так или иначе, но он сумеет достать. Скажу о себе. Когда я достал энциклопедический словарь Павленкова и каталоги Панова и Лебедева, так я, читая с помощью их книги, в один год подвинулся вперед настолько, что сам удивлялся над собой.

В настоящее время я очень занят: день на службе нахожусь, а по вечерам печатаю на машине большую рукопись одного писателя. Но недели через две или три буду свободен, тем более, что жену провожу в С.-Петербург и сам должность свою брошу. Тогда напишу Вам побольше и о себе, и вообще об эмигрантах. Может быть, сумею написать для Ваших этюдов, что читают эмигранты, если только эта Ваша книга еще не переиздана.

Коли найдется у Вас свободная минута, черканите словцо-другое, как Ваше здоровье и какие еще пишете книги.

Всего Вам наилучшего.

Ваш **А. Новиков.**

P. S. Привет Вашей жене.

Что-то долго в Русском Слове нет Ваших статей. Разве не будете больше печатать?

Забыл я: поздравляю Вас с праздником пролетариев.

30/I-24 г. Москва.

Дорогой Николай Александрович!

Большое спасибо Вам за письмо, которое меня так обрадовало. Я не мог ответить Вам сразу, т. к. недавно вернулся из продолжительной командировки. От Центрального Комитета союза водников я был послан на коммерческие суда, чтобы познакомиться с современным бытом моряков. Таким образом мне удалось побывать в Англии, Германии, Голландии и Латвии. Материал собрал очень интересный, но я за него чуть не поплатился жизнью. Дело в том, что при возвращении из Англии в Северном море на нас налетел сильный циклон. Трепка была невероятная. Пять судов вместе с людьми пошли на дно. А наш пароход настолько был разбит, что едва дотянулся до Кильского канала.

Теперь я сижу в Москве — изображаю свои переживания на бумаге. И делаю это с удовольствием, ибо палуба под ногами не качается и сумасшедшие волны не обливают с ног до головы холодною водой. В квартире тихо. Только восьмимесячный карапузик мой что-то лопочет на своем языке: очевидно, хочет выразить свои философские взгляды на жизнь.

О Вас я, дорогой Николай Александрович, вспоминаю с благодарностью. На Ваших научно-популярных книгах я, как самоучка, воспитывался. Они заменяли для меня школу. А потом, продолжая умственно развиваться, я руководствовался Вашими указаниями — что читать и как читать. Они были для меня профессорскою головою. До знакомства с Вами я не видел ни одного живого писателя. Вы были первым. А в то время у меня было представление о писателях, как об адмиралах во флоте,— боязливое. Помню, как волновался я, впервые отправляясь к Вам на квартиру. Но Вы встретили меня, начинающего в литературе, с доброй улыбкой, по-отечески обласкали, окрылили. Словом, знакомство с Вами — личное и по книгам — дало мне возможность положить под череп капитал знаний, который никто не украдет и не конфискует. Вот почему я так много обязан Вам.

На днях вышлю Вам еще одну свою книгу, вышедшую вторым изданием,— «Морские рассказы».

Вы спрашиваете — служу ли я? Теперь нет. А раньше, как за границей, так и в России, все время служил и занимался той или иной работой, чтобы существовать. Для литературы оставалось времени мало — только часы отдыха. А во время империалистической войны и в первый период революции совсем забросил писательство: не до того было. И только за последнее время начал увлекаться своим любимым делом. Житейский опыт, необходимый для писателя, имею большой и чувствую себя более подготовленным для литературы. Правда, порою все еще трудновато приходится жить, но жду лучшего. Я ведь обзавелся семьей. Имею двух сыновей, причем старший из них уже читает Ваши книги. В особенности круто приходилось год тому назад. Я имел одну только комнату. В ней нас жило пять человек. Жена работала в учреждении, а я бегал на рынок, стряпал с проворством лучшей кухарки и писал своих «Подводников». Случалось, что увлечешься какой-нибудь мыслью, забудешь о кухне, а там, смотришь, уже каша горит. Спасешь кашу и сядешь за стол — суп начинает бунтовать, плескаясь через край кастрюли. Пока все уладишь с кухней — в голове станет пусто. Опять настраивай себя на писательский лад. Потом кто-нибудь придет — остановишься на полуфразе, поговоришь и снова водишь пером. Теперь начинаю лучше жить. У меня две комнаты. Книги идут бойко: каждое издание расходится в 2—3 месяца.

Кое-кому из писателей я сообщал о Вас. Они обещали выслать Вам свои книги. Это все публика, вышедшая из низов.

Читательнице моей передайте, что с погибшей подводной лодки люди спасались на глубине 98 футов, как сказано в моей повести, и что приблизительно такой случай был. Так погибла лодка А.Г.14. Некоторые, что спаслись с нее, сошли с ума. А когда подняли лодку, старший офицер поступил на нее командиром вместо погибшего командира.

Пока до свидания.

Привет Вашей семье. Желаю Вам всего доброго.

Ваш **А. Новиков-Прибой.**

(Конец 1924 — начало 1925 г.) [1]

Дорогой А. С. Спасибо, что Вы направляете ко мне молодых писателей, выдвинутых трудклассом. Получил книги Ляшко, Демидова, Волкова, Ваши, а также извещение «Кузницы» об уже посланных, благодаря Вам, всех ее изданиях. Я их еще не получил. Спасибо за хлопоты. Просто душа радуется, сколько новых сил прет вперед и вверх. Мне очень хочется написать об этом новом крупном явлении в истории русской литературы. Хотелось бы получить для такой моей работы биографии: Вашу, Демидова, Ляшко, Волкова, Семенова, Герасимова и всех др. При случае передайте им эту мою просьбу. Я хочу написать статью об этом в Америку. Мне очень понравились Ваши морские рассказы. Они хорошо читаются здешними читателями.

[1] Письмо не датировано. Время написания установлено приблизительно в связи со следующим письмом от 6/VI 1925 года.

В № 85 газеты «Накануне» за этот год от 11-го апреля я напечатал статью о моей здешней библиотеке. Хочу сохранить ее для русского народа [1]. В настоящее время я веду переговоры с «Землей и фабрикой» о переиздании моих книжек. Это будет шестнадцатый миллион экземпляров. Я рад работать под одним флагом с Вами и Вашими соратниками. Шлем Вам привет. Как Ваши наследники? Много ли орут благим матом?

Ваш **Н. Рубакин.**

Лозанна. 6/VI. 1925.

Дорогой Алексей Силыч. Посылаю Вам при сем вырезку из нью-йоркской газеты Нов. Рус. Слово. В ней идет речь о журнале «Зарница», который стали теперь издавать русские внепартийные рабочие, по-хорошему относящиеся к современной России. В № 1 помещена моя статья (начало) о писателях, выдвинутых из недр пролетариата и крестьян, в том числе о Вас и о Демидове. Сказал и о «Кузнице» вообще. Демидова я считаю таким же талантливым, как и Вас, но Вы — представитель главным образом пролетариата, а он — крестьянства. Его роман «Жизнь Ивана» действительно замечателен. В следующих №№ пойдет моя специальная статья о Демидове, о Вас, о Степном, о Бахметьеве, о Дорохове и о всех, кто прислал мне свои книги и автобиографии, которые я внимательно изучил. О Вас будет же специальная статья, с Вашей автобиографией. Могу ли я воспользоваться для нее тем, что Вы мне дали в 1908 г., Вашими воспоминаниями о жизни матросов в эпоху 1903—1908 годов? Без Вашего разрешения я этого не сделаю.

«Зарницу» рабочие издают в складчину, разделяя мои взгляды на самообразование. Они же издают так и мои научно-популярные книжки.

Ваш **Н. Рубакин.**

Лозанна, 30 мая 1928 г.

Дорогой Алексей Силыч!

Смотрю на лежащие передо мной на рабочем столе Ваши произведения [1] и искренне радуюсь. Наконец-то и Вам удалось-таки выбраться из узких и опасных фиордов литературных исканий в широкое, свободное море свободного творчества. Поздравляю самым энергичным образом. О Вас и Ваших статьях [2] готовится статья на французском языке. Постараюсь организовать и перевод Вашего замечательного рассказа «Две души». Надо сделать Вас известным и на Западе. Большое спасибо за книги.

В Международный список наиболее выдающих книг, согласно поставленным условиям, помещаются только книги, выходящие первым изданием. Будем ждать с нетерпением Вашего нового произведения о море. От таких веет у Вас морской свежестью.

Крепко жму руку и желаю дальнейших успехов.

Ваш **Н. Рубакин.**

---

[1] Все книги библиотеки Н. А. Рубакина составляют теперь особый «Рубакинский фонд» Государственной библиотеки имени В. И. Ленина в Москве.

[1] Имеется в виду Собрание сочинений А. С. Новикова-Прибоя.

[2] Очевидно, оговорка. В Собрании сочинений А. С. Новикова-Прибоя, о котором идет речь в письме, входили лишь художественные произведения.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МАРКСИЗМА. Госполитиздат. М. 1959. 392 стр. Цена 11 р.

Подготавливая к печати второе издание Сочинений Маркса и Энгельса, научные сотрудники Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС провели большую работу по исследованию архивных и других документальных источников. Результаты этих исследований в виде докладов и сообщений, сделанных на научных сессиях Института, и составили содержание аннотируемого сборника.

В книге рассматриваются такие темы, как разработка Марксом и Энгельсом вопросов исторического материализма в произведении «Немецкая идеология», публицистическая деятельность Маркса и Энгельса перед революцией 1848—1849 годов, французское издание первого тома «Капитала», и другие.

Как замечает издательство, сборник не претендует на сколько-нибудь полное освещение истории формирования и развития марксизма; его задача — раскрыть на конкретном материале отдельные стороны этой широкой проблемы, проследить ряд событий, связанных с жизнью и деятельностью великих основателей научного коммунизма.

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ (Документы). Профиздат, М. 1959. 175 стр. Цена 2 р. 50 к.

Год назад Совет Министров СССР и ВЦСПС утвердили Положение о постоянно действующем производственном совещании на промышленном предприятии, стройке, в совхозе, МТС и РТС, в котором были четко определены права и задачи производственных совещаний.

Подъем творческой активности широких масс имеет решающее значение для успешного выполнения грандиозных задач нынешней семилетки. Сейчас, когда в нашей стране по всему фронту развертывается строительство коммунизма, с особой силой звучат ленинские слова: «...привлечь еще больше рабочих и трудящихся крестьян к управлению промышленностью и народным хозяйством вообще... привлечь обязательно в большей степени профессиональные союзы...»

В привлечении трудящихся к управлению производством большую роль играют производственные совещания, позволяющие сочетать принципы единоначалия с осуществлением контроля снизу. Учитывая это, декабрьский Пленум ЦК КПСС (1957 г.) счел целесообразным превратить производственные совещания на предприятиях и стройках в постоянно действующие.

Сборник документов, выпущенный Профиздатом, представляет собой первую попытку обобщить опыт работы постоянно действующих производственных совещаний. Сюда вошли материалы Центрального архива и отделов ВЦСПС, Московского городского и областного совнархозов, архивов Челябинского обкома профсоюза рабочих черной металлургии, московских заводов, а также выступления профработников в печати.

Большинство документов сборника публикуется впервые.

В. В. КОЛБАНОВСКИЙ. Самая человечная. Госполитиздат. М. 1959. 84 стр. Цена 1 р.

Как жить, чтобы по праву называться советским человеком, как бороться с пережитками прошлого в сознании людей? Эти и многие другие вопросы освещаются в серии «Популярные брошюры по вопросам коммунистической морали», к выпуску которой приступила редакция массово-политической литературы Госполитиздата. Библиотечка включает двадцать брошюр, которые намечено выпустить в течение 1959—1960 годов.

Первый выпуск серии — брошюра В. Колбановского «Самая человечная» — служит как бы введением ко всему изданию. В доходчивой форме рассказывается в ней о том, что такое коммунистическая мораль, почему она является самой прогрессивной в мире; на многих примерах, взятых из жизни, показано, как у нас вырастают люди «нового духовного облика, каких еще не знала история».

Следующие выпуски также затрагивают вопросы, интересующие каждого. Их названия говорят сами за себя: «Воля рождается в борьбе», «По-коммунистически жить и работать», «В жизни всегда есть место для подвига», «Быт не частное дело», «О сыновнем долге» и так далее.

Серия рассчитана на массового читателя, особенно на широкие круги молодежи. Брошюры, в основу которых положен богатый фактический материал, окажут помощь лекторам, пропагандистам, агитаторам.

НИКОЛАЙ НИКИТИН. Избранное. В двух томах. Том I. 512 стр. Цена 9 р. 50 к. Том II. 588 стр. Цена 10 р. 75 к. Гослитиздат. М.—Л. 1959.

В двухтомник Н. Никитина включены избранные произведения, написанные писателем в разные годы творческой деятельности. Здесь есть рассказы, относящиеся к двадцатым годам: «Суровый день», «О бывшем купце Хропове», есть вещи, созданные Н. Никитиным сравнительно недавно: «Джим», «Буран». Популярный среди читателей роман «Северная Аврора» по причине того, как пишет в предисловии автор, что он «широко издавался», в двухтомник не вошел. Естественно, что в «Избранное» попало не все, что было создано писателем (нет повестей «Полет», «Обоянь», «Лужских рассказов», пьес «Линия огня», «Северные зори» и др.). Но уже по тому, что есть в двухтомнике,— а вошли сюда вещи, наиболее значительные для творчества Н. Никитина,— читатель может судить, насколько близко к сердцу принимал и принимает писатель события нашей жизни, как волнуют его насущные проблемы современности.

В 1927 году Н. Никитин написал повесть из комсомольской жизни «Преступление Кирика Руденко» (ею открывается первый том), в которой поднимал вопросы новой, социалистической морали, этики, осуждал пережитки прошлого — хулиганство, пьянство, собственнические инстинкты. Повесть «Поговорим о звездах» (1934) также посвящена молодежи. Тема ее — социалистическое строительство, роль комсомола в эпоху первой пятилетки, индустриализации страны. «Все, что я видел на Днепре и на Волге, а в юности на Волхове... все, что пережил... как бы соединилось вместе»,— говорит автор по поводу этой своей повести.

Второй том целиком занимает роман «Это было в Коканде». В нем автор рисует борьбу советских людей за освобождение Средней Азии от феодального гнета, за новый, социалистический Узбекистан. «Избранное» открывается статьей «От автора», в которой Н. Никитин рассказывает о своей творческой биографии, об истории возникновения своих произведений.

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Воениздат. М. 1959. 664 стр. Цена 11 р. 90 к.

Задача книги — показать то новое, что создают сейчас наши писатели на военную тему. Поэтому в сборник вошли отрывки из произведений, написанных только в 1959 году. Среди них — главы из романов и повестей, уже опубликованных в различных журналах (К. Симонов — «Живые и мертвые», П. Вершигора — «Рейд на Сан и Вислу», Г. Бакланов — «Пядь земли»), или публикуемые впервые.

Тема Великой Отечественной войны находит у авторов, представленных в сборнике, интересное и своеобразное освещение.

О первых трудных днях войны, о героической обороне Брестской крепости пишет С. Смирнов в главах из новой художественно-документальной повести «Брестская крепость», о самоотверженной борьбе советских партизан с немецко-фашистскими захватчиками в Могилевской, Брянской и Смоленской областях рассказывает О. Горчаков в романе «Путь партизана»», отрывок из которого («Операция «Репейник») помещен в сборнике. П. Далецкий во фрагментах из романа «Сорок лет спустя» повествует о последних месяцах войны на Дальнем Востоке.

Материал книги расположен хронологически — от начала Отечественной войны и до наших дней.

ИВАН ЖИГАЛОВ. Штормовой океан. Историческая повесть. «Молодая гвардия». М. 1959. 302 стр. Цена 5 р. 95 к.

В основе повести И. Жигалова — моряка, военного журналиста — лежат подлинные события, и действуют в ней реальные исторические лица. Главный герой повести, адмирал А. С. Максимов, служивший во флоте еще при царизме, с первых же дней Великой Октябрьской революции перешел на сторону Советской власти и сделал много полезного для создания и укрепления Военно-Морских Сил нашей страны.

Повесть знакомит с историей русского флота конца XIX — начала XX века. Автор рассказывает о революционной борьбе моряков, об их участии в трех русских революциях. Последняя, двенадцатая глава повести, озаглавленная «Советская Республика флот уже имеет», повествует о начале строительства отечественного военного флота. «Нашему молодому флоту предстоит еще много работы впереди. Но энергии и желания работать у него много, а в этом — залог успеха»,— говорил на проводившихся тогда учениях Балтийского флота М. В. Фрунзе.

Книге предпослано предисловие, написанное генерал-майором профессором С. Найдой.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ЛЕНИНГРАДА. Очерки. Лениздат. 1959. 588 стр. Цена 14 р.

За свою двухсотпятидесятилетнюю историю Ленинград внес огромный вклад в культуру нашей страны. В Петербурге жили и творили великие русские писатели Фонвизин и Крылов, Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Гоголь, Некрасов и Чернышевский, Салтыков-Щедрин и Достоевский, Горький и Маяковский и многие другие.

Город давал писателям обильный материал, сыграв в жизни и творчестве каждого из них большую роль.

Давно стихами говорит Нева,
Страницей Гоголя ложится Невский,
Весь Летний сад — Онегина глава,
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

В предисловии к очеркам говорится, что авторы «делают первую попытку познакомить советского читателя со многими памятными литературными местами Ленинграда, иногда сказать о его роли и значении в жизни и творчестве того или иного писателя, поэта, об отношении их к городу, и хотя бы в общих чертах, но все же показать образ Петербурга, каким он воссоздан в произведениях писателей и поэтов XVIII—XIX веков».

В сборник включены очерки о крупнейших писателях, жизнь и творчество которых тесно связаны с Ленинградом, и несколько обзорных статей: «Русские писатели XVIII века», «Литературные общества начала XIX века», «Писатели-декабристы».

Книга иллюстрирована.

В. ОСОКИН. В. Васнецов. «Молодая гвардия». М. 1959. 237 стр. Цена 5 р. 55 к.

В предисловии к этой книге, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», П. Соколов-Скаля говорит о трудностях, которые стоят перед биографом прославленного русского художника В. М. Васнецова. Великий живописец «был человеком замкнутым, скромным, не любил говорить о себе, не жаловал тех искусствоведов, которые пытались выпытать у него сокровенные слова о своих переживаниях. Он не оставил никаких литературных высказываний...» Автор книги пошел по пути создания художественной биографии Васнецова, воссоздавая облик художника не только по оставшимся в незначительном количестве документам. Он встречался с людьми, знавшими художника, знакомился с местами, где побывал Васнецов. И то и другое дало ему ценный материал.

Автор стремится раскрыть весь сложный творческий путь этого замечательного мастера кисти, высоко ценимого Стасовым, Третьяковым, Горьким. В книге рассказана история создания Васнецовым его шедевров: «После побоища Игоря Святославича», «Аленушка», «Богатыри», «Иван Грозный» и других. Читатель познакомится и с людьми, окружавшими художника, и прежде всего с передовым отрядом русских художников-передвижников.

Книга богато иллюстрирована репродукциями (отчасти цветными) произведений Васнецова, снимками мест, в которых жил и работал художник, и его портретами.

ДЖОВАННИ ПЕШЕ. Солдаты без формы. Перевод с итальянского. Воениздат. М. 1959. 168 стр. Цена 5 р. 60 к.

Автор книги — итальянский коммунист Джованни Пеше прошел трудный путь антифашистской борьбы. Он воевал в составе интернациональных бригад в Испании в 1936—1939 годах (Д. Пеше — автор книги «Гарибальдиец в Испании»), томился в фашистских концлагерях и тюрьмах и, наконец, участвовал в национально-освободительном движении в Италии. Д. Пеше — один из первых руководителей партизан в Турине, а затем в Милане.

Книга «Солдаты без формы» — документальное повествование о героических делах гаристов, городских партизан Италии в период движения сопротивления в 1943—1945 годах. «Гаристы сражались, совершали героические подвиги потому, что имели такого надежного, вдохновляющего их на подвиг руководителя, как могучая коммунистическая партия,— пишет Д. Пеше.— Они показали, что мелкие группы, разбросанные в разных районах города, даже если они и плохо вооружены, могут наносить врагу чувствительные удары именно потому, что они связаны со всем народом. В этой великой битве все нам служило орудием борьбы: и забастовка, и бомба, и пистолетный выстрел, и автоматная очередь, и подпольная газета, и уличная демонстрация».

Книга заканчивается рассказом о победоносном народном восстании в Северной Италии в апреле 1945 года.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Материалы июньского Пленума ЦК КПСС. О работе партийных и советских организаций и советов народного хозяйства по выполнению решений XXI съезда КПСС об ускорении технического прогресса в промышленности и строительстве. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 29 июня 1959 года.

Героическим трудом воздвигнем величественное здание коммунизма! Обращение Пленума ЦК КПСС к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза. 56 стр. Цена 60 к.

Н. С. Хрущев. За дальнейший подъем производительных сил страны, за технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства. Речь на Пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 года. 48 стр. Цена 50 к.

Н. С. Хрущев. Служение народу — высокое призвание советских писателей. Речь на III съезде писателей 22 мая 1959 года. 32 стр. Цена 35 к.

История Коммунистической партии Советского Союза. 744 стр. Цена 10 р.

О предварительных итогах Всесоюзной переписи населения 1959 года. Сообщение Центрального статистического управления при Совете Министров СССР. 24 стр. Цена 25 к.

Ай Сы-ци. Лекции по диалектическому материализму. 308 стр. Цена 5 р. 25 к.

А. Алексеев, М. Рабинович. Семилетка и экономическое соревнование социализма и капитализма. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Костин. Шестнадцатый съезд ВКП(б). 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

Т. Лильин. Их славит Родина. 176 стр. Цена 2 р.

А. Е. Мординов. О социалистическом содержании и национальной форме советской культуры. 288 стр. Цена 7 р.

V съезд Социалистической единой партии Германии. Берлин, 10—16 июня 1958 года. 724 стр. Цена 11 р. 60 к.

Уильям З. Фостер. Закат мирового капитализма. 224 стр. Цена 2 р. 70 к.

Хо Ши Мин. Избранные статьи и речи. 816 стр. Цена 10 р. 50 к.

СОЦЭКГИЗ

В. В. Воровский. Статьи и материалы по вопросам внешней политики. 356 стр. Цена 4 р. 50 к.

Восстание И. Болотникова. Документы и материалы. 456 стр. Цена 7 р. 70 к.

А. А. Дольская. Социалистический закон народонаселения (на примере СССР). 156 стр. Цена 4 р. 25 к.

А. А. Зворыкин. Создание материально-технической базы коммунизма в СССР. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

Критика теорий «регулируемого капитализма». Сборник статей. 180 стр. Цена 4 р. 85 к.

Ф. И. Нотович. Бухарестский мир 1918 г. 260 стр. Цена 6 р. 55 к.

М. Ф. Овсянников. Философия Гегеля. 306 стр. Цена 9 р. 75 к.

В. А. Попов. Земельная реформа и аграрные отношения в Японии после второй мировой войны. 212 стр. Цена 4 р. 45 к.

Проблемы новой системы планирования и финансирования чехословацкой промышленности. Перевод с чешского. 288 стр. Цена 6 р. 90 к.

Пын Мин. История китайско-советской дружбы. 360 стр. Цена 9 р.

А. М. Сиволобов. Аграрные отношения в современной Бразилии. 212 стр. Цена 5 р. 55 к.

Б. Я. Смулевич. Критика буржуазных теорий и политики народонаселения. 432 стр. Цена 12 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Бирзе. И подо льдом река течет... Повесть. Перевод с латышского. 180 стр. Цена 2 р. 35 к.

И. Варламова. Любить и верить. Повесть. 364 стр. Цена 6 р. 80 к.

А. Глумов. Юные вольнодумцы. Исторический роман. 772 стр. Цена 13 р. 65 к.

Н. Горбунов. Минуты жизни. Повесть и рассказы. 180 стр. Цена 3 р. 45 к.

А. Гурштейн. Избранные статьи. Перевод с еврейского. 256 стр. Цена 6 р.

Д. Давыдов. Стихотворения. 284 стр. Цена 3 р. 50 к.

Н. Калитин. Слово и мысль. О поэтическом мастерстве Маяковского. 216 стр. Цена 5 р. 50 к.

Киргизские рассказы. Сборник. 279 стр. Цена 4 р. 90 к.

Г. Красильников. Старый дом. Повесть и рассказы. Перевод с удмуртского. 240 стр. Цена 4 р. 90 к.

А. Кудрейко. Свершение. Стихи. 188 стр. Цена 3 р. 20 к.

М. Левитин. Веселый разговор. Рассказы и фельетоны. 236 стр. Цена 2 р. 80 к.

П. Малакшинов. Учитель. Роман. Перевод с бурятского. 552 стр. Цена 9 р.

С. Машинский. Гоголь и «дело о вольнодумстве». 296 стр. Цена 6 р.

Г. Пагирев. Стихотворения. 180 стр. Цена 3 р.

В. Тевекелян. За Москвою-рекой. Роман. 406 стр. Цена 6 р. 90 к.

Т. Хадкевич. Даль полевая. Роман. Перевод с белорусского. 464 стр. Цена 8 р. 35 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

И. С. Брагинский. Жизнь и творчество Садриддина Айни. 199 стр. Цена 2 р. 80 к.

Ван Вэй. Стихотворения. Перевод с китайского. 145 стр. Цена 80 к.

Г. А. Гуковский. Реализм Гоголя. 531 стр. Цена 12 р. 90 к.

Фридеш Карикаш. Янош Корбей. Перевод с венгерского. 127 стр. Цена 2 р. 15 к.

С. Кирсанов. Стихи. 224 стр. Цена 4 р. 40 к.

Джалил Мамед-Кули-заде. Избранное. Перевод с азербайджанского. 367 стр. Цена 6 р. 80 к.

Мао Дунь. Перед рассветом. Роман. Перевод с китайского. 520 стр. Цена 9 р. 45 к.

З. Ниношвили. Восстание в Гурии. Исторический роман. Перевод с грузинского. 135 стр. Цена 1 р. 40 к.

Воранц Прежихов. Ландыши. Перевод со словенского. 400 стр. Цена 7 р. 65 к.

Рассказы индийских писателей. Сборник в двух томах. Том 1. Переводы с хинди и урду. 487 стр. Цена 9 р. 55 к. Том 2. Переводы с бенгали, малаялами, пенджаби, тамили, хинди. 455 стр. Цена 9 р.

Иван Тарба. Стихи и поэмы. Перевод с абхазского. 224 стр. Цена 4 р. 5 к.

Цюй Цю-бо. Очерки и статьи. Перевод с китайского. 272 стр. Цена 6 р. 13 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Бибик. К широкой дороге. Роман. 592 стр. Цена 10 р. 30 к.

И. Бирюков. Америка двадцатилетних. Очерки. 96 стр. Цена 1 р. 40 к.

Майя Ганина. Разговор о счастье. Очерки и рассказы. 224 стр. Цена 4 р. 65 к.

Исмаил Гезалов. Простор. Роман. Перевод с азербайджанского. 288 стр. Цена 5 р. 80 к.

Гусейн Гусейнов. Звонкое русло. Стихи. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 2 р. 90 к.

А. Кожин. Песня в горах. Очерки. 208 стр. Цена 4 р. 65 к.

И. Кремлев. Былое. 255 стр. Цена 5 р. 30 к.

Муса Магомедов. Горный источник. Стихи и поэма. Перевод с аварского. 79 стр. Цена 2 р. 75 к.

Мао Цзе-бэнь. Это изобретено в Китае. Очерки. 160 стр. Цена 2 р. 35 к.

С. Михеева. Личная жизнь Степана Силина. Роман. 464 стр. Цена 8 р. 35 к.

Л. Островер. Ипполит Мышкин. 239 стр. Цена 5 р. 20 к.

Г. Ошеверов. Наследники Фучика. Очерки. 78 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Штекли. Кампанелла. 445 стр. Цена 8 р. 30 к.

ДЕТГИЗ

В. Бороздин. Тимкины язычки. Рассказы. 96 стр. Цена 2 р. 40 к.

М. Блинкова. Р. И. Фраерман. Критико-библиографический очерк. 64 стр. Цена 90 к.

А. Гофмейстер. Кто не верит — пусть проверит. Перевод с чешского. 200 стр. Цена 5 р. 70 к.

О. Дриз. Веселый пекарь. Стихи и сказки. Перевод с еврейского. 128 стр. Цена 2 р. 60 к.

О. Коряков. Хмурый Вангур. Повесть. 128 стр. Цена 3 р.

И. Котляр. Мой воздушный шар. Стихи и сказки. Перевод с еврейского. 80 стр. Цена 2 р. 25 к.

Л. Лесник. Лесные тропы. Рассказы. 200 стр. Цена 4 р. 80 к.

Е. Пермяк. На все цвета радуги. Рассказы и сказки. 224 стр. Цена 4 р. 30 к.

А. Тверской. Песня над Босфором. Рассказы о Назыме Хикмете. 196 стр. Цена 6 р. 40 к.

Г. А. Тихов. Шестьдесят лет у телескопа. 160 стр. Цена 4 р. 20 к.

К. Урманов. Березы в алмазах. Рассказы. 112 стр. Цена 2 р. 45 к.

М. Шагинян. Повесть о двух сестрах и волшебной стране Мерце. 120 стр. Цена 2 р. 90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы ветроэнергетики. 136 стр. Цена 7 р.

Н. А. Гусев. Некоторые закономерности водного режима растений. 158 р. Цена 10 р. 25 к.

Достижения советской микробиологии. 128 стр. Цена 5 р. 75 к.

Н. И. Евстюшин. Развитие аэросанного транспорта в СССР. 292 стр. Цена 12 р. 85 к.

С. В. Зонн. Почвенная влага и лесные насаждения. 198 стр. Цена 8 р. 80 к.

Кормовая база животноводства СССР и пути ее развития. 205 стр. Цена 13 р.

Материалы и исследования по русской диалектологии. Новая серия. Том 1. 139 стр. Цена 9 р. 30 к.

Новая химия. Перевод с английского. 208 стр. Цена 4 р. 25 к.

Основные вопросы планирования единой энергетической системы СССР. 175 стр. Цена 9 р. 60 к.

Очерки истории болгарской литературы XIX—XX вв. 520 стр. Цена 20 р.

М. В. Сергиевский. Молдаво-славянские этюды. 212 стр. Цена 7 р. 90 к.

Теплоэнергетика. Выпуск 1. 144 стр. Цена 7 р. 30 к.

П. В. Щиголев. Электролитическое и химическое полирование металлов. 187 стр. Цена 8 р. 60 к.

ГЕОГРАФГИЗ

И. П. Герасимов. Мои зарубежные путешествия. 182 стр. Цена 4 р. 30 к.

А. Гумбольдт. Картины природы. 286 стр. Цена 4 р. 40 к.

И. Забелин. Очаг жизни. 102 стр. Цена 1 р. 45 к.

Д. Корбетт. Леопард из Фудрапраяга. 140 стр. Цена 2 р. 65 к.

С. Напалков. Корабль идет на запад. 107 стр. Цена 1 р. 65 к.

В. М. Синицын. Центральная Азия. 454 стр. Цена 15 р.

А. Ф. Трешников. Закованный в лед. 212 стр. Цена 9 р. 20 к.

Д. И. Щербаков. В стране народа Таи. 116 стр. Цена 1 р. 80 к.

МЕДГИЗ

Г. В. Архангельский. Ф. И. Иноземцев и его значение в развитии русской медицины. 268 стр. Цена 9 р.

Ревматизм у детей. 292 стр. Цена 12 р.

И. Б. Ростоцкий. Лекарь без чина. 152 стр. Цена 4 р. 80 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Р. Байнер и др. Основы сельскохозяйственной техники. 551 стр. Цена 18 р. 10 к.

З. Х. Диланян. Молочное дело. 424 стр. Цена 8 р. 70 к.

М. П. Елсуков, А. И. Тютюнников. Однолетние кормовые культуры в смешанных посевах. 307 стр. Цена 5 р. 20 к.

Л. М. Ковалев. Медоносные ресурсы и развитие пчеловодства в центральных районах СССР. 306 стр. Цена 5 р. 75 к.

Коллектив авторов. Герои Алтая. 225 стр. Цена 2 р. 95 к.

Коллектив авторов. Краткий справочник по электрификации сельского хозяйства. 250 стр. Цена 5 р. 50 к.

Коллектив авторов. Повышение плодовитости сельскохозяйственных животных. 438 стр. Цена 7 р. 30 к.

Коллектив авторов. Сорго — ценная кормовая культура. Сборник статей. 206 стр. Цена 2 р. 60 к.

М. А. Лазаревский. Сорта винограда. 426 стр. Цена 8 р. 55 к.

В. В. Мацкевич. Новая порода мясного скота Санта-Гертруда. 63 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. А. Потоков. Микроорганизмы в жизни растений. 189 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Д. Роуз. Защита растений. Перевод с английского. 285 стр. Цена 12 р. 50 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Д. С. Карев, В. П. Радьков. Судоустройство и уголовный процесс стран народной демократии. 288 стр. Цена 5 р. 60 к.

П. С. Ромашкин. Амнистия и помилование в СССР. 364 стр. Цена 7 р. 85 к.

З. М. Соколовский. Оценка заключений криминалистической экспертизы письма. 80 стр. Цена 1 р. 25 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес). Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 20/VI-59 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/VII-59 г. А 03572. Формат бумаги 70×108 1/16. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 1258.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.